3 1761 08114715 9

P
LSlav
R

РУССКАЯ МЫСЛЬ

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
ПЕТРА СТРУВЕ

438080
3.10.49

КНИГА VIII—IX.

СОФІЯ
1921

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ 3 ВЫП. ЖУРНАЛА „РУССКАЯ МЫСЛЬ“

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ.

1. Къ старымъ и новымъ читателямъ „Русской Мысли“. — **Ред.** 2. Размышленія о русской революціи. I. Послѣ міровой войны. II. Новая жизнь и старая мощь. — **П. Струве.** 3. Бѣлыя мысли (Подъ новый годъ). — **В. Шульгина.** 4. Воспоминанія **кн. Е. Н. Трубецкого.** Часть I. Гл. 1—5. 5. Изъ книги вольныхъ сонетовъ: „Томленіе духа“. Стихотвореніе **Вл. Н—аго.** 6. Въ сумеркахъ культуры. — **К. Зайцева.** 7. Европа и Евразія. (По поводу брошюры князя Н. С. Трубецкого „Европа и Человѣчество“) — **Петра Савицкаго.** 8. Дневникъ **З. Н. Гиппіусъ.** Часть I. Исторія моего дневника. Часть II. Черная книжка. 9. Исходъ. Разсказъ. — **Ив. Бунина.** 10. Женщины. Драматическій отрывокъ. — **И. Сургучева.** 11. Идея родины въ совѣтской поэзіи. — **Петроника.** 12. Историческіе матеріалы и документы. Идеологія Махновщины. — **П. Стр.** 13. Критика и библіографія. 14. Памяти А. А. Шахматова. — **Юр. Никольскаго.**

МАРТЪ-АПРѢЛЬ.

1. Изъ С. П. Б. — скаго дневника 19 года. Стихотворенія. — **З. Гиппіусъ.** 2. 1920 годъ. Очерки. — Вмѣсто предисловія. Новогодняя ночь. Ангелъ Смерти. „Отрядоманія“. — **В. Шульгина.** 3. Петроградъ. Стихотвореніе. — **Глѣба Струве.** 4. Дневникъ. — **З Н. Гиппіусъ.** Часть II. Черная книжка (продолженіе). Сѣрый блокнотъ. 5 Стихотворенія. — **Вл. Дитерихса.** 6. Собственность и крестьянское движеніе. — Проф. **Ал. Билямовича.** 7. Воспоминанія **кн. Е. Н. Трубецкого.** Часть I. Главы 6—8. 8. Чудакъ. Разсказъ. — **Кн. В. Барятинскаго.** 9. Горькій о Ленинѣ. — **Н. Н. Львова.** 10. Поэтическое творчество Анны Ахматовой. — **К. Мочульскаго.** 11. Критика и библіографія. 12. На гробъ Л. М. Лопатина. — **Георгія В. Флоровскаго.**

МАЙ-ІЮЛЬ.

1. „1920 годъ“. Очерки (продолженіе). — Исходъ. Стесселіада. Звѣзды. У Катовскаго. По шпаламъ. — **В. Шульгина.** 2. Странствія. Россія. Стихотворенія. — **В. Сирина.** 3. Посрамленный Каліостро. Повѣсть. — **гр. А. Н. Толстого.** 4. Буржуазная Европа и совѣтская Росія. — **К. Зайцева.** 5. Родникъ въ пустынѣ. Повѣсть. — **Г. Гребенщикова.** 5. Экономическое положеніе и общественные классы совѣтской Россіи. I. Исторія совѣтскаго хозяйства. II. Экономическое положеніе Совѣтской Россіи къ лѣту 1921 года. III. Положеніе отдѣльныхъ слоевъ населенія въ Совѣтской Россіи. — **С. С. Ольденбурга.** 7. Воспоминанія **кн Е Н. Трубецкого** (продолженіе). Часть I. Главы 9—10. 8. Историко-Политическія замѣтки о современности, I—VI. **П. Струве.** 9. Русскія дѣла. (Политическій обзоръ). — **С. С. Ольденбурга.** 10. Критика и библіографія. 11. Археологическая хроника Болгаріи. — **А. Грабара.**

1920 годъ.

Очерки.

(Продолженіе)

Recurrens.

Съ первой квартиры, куда мы прибились съ сыномъ, пришлось уходить черезъ нѣсколько часовъ: меня узнали. „Вся улица“, т. е. нѣкоторое количество евреевъ, говорили про то, что я вернулся. Мы ушли.

Не забуду этого „перехода.“ У меня была температура около 41°. Мнѣ казалось совершенно немыслимымъ, что я пройду два квартала, которые надо было пройти. Но пробираясь, держась за стѣнки домовъ, я увидѣлъ Владиміра Германовича. Онъ шелъ мнѣ навстрѣчу, и видъ у него былъ тоже нехорошій. Онъ былъ не одинъ, и по лицу его я понялъ, что не надо признаваться: я отвернулся къ стѣнкѣ, и онъ прошелъ около меня. . . Это былъ послѣдній разъ, что я его видѣлъ.

Въ эту же ночь онъ заболѣлъ сыпнымъ тифомъ. И въ эту же ночь его арестовали и отвезли въ чрезвычайку. Тамъ онъ и умеръ. Умеръ въ ужасныхъ условіяхъ. Много дней къ нему никто не входилъ, и когда, наконецъ, пустили близкихъ... словомъ, это было ужасно. . .

Въ эту ночь случилось и другое событіе. Былъ внезапный обыскъ въ той квартирѣ, гдѣ я пріютился сначала. Арестовали всѣхъ, кто тамъ былъ Правда, черезъ нѣкоторое время выпустили. Но меня-бы вѣроятно не выпустили. . .

* * *

Владиміръ Германовичъ I. былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которые такъ цѣнны въ русской жизни. Происхожденіемъ нѣмецъ, онъ былъ русскимъ патріотомъ; давно извѣстнымъ типомъ — Штольцомъ среди Обломовыхъ . . .

Послѣднее дѣло, въ которое онъ вложилъ свою удивительную энергію, былъ такъ называемый „Отрядъ В. В. Шульгина“, продѣлавшій весь походъ съ полковникомъ Стесселемъ. Весьма возможно, что все это была ошибка и этого отряда не надо было, но нельзя не отмѣтить этой настоящей deutsche Treue, которая побуждала В. Г. стоять до конца, сдѣлать все возможное, исполнить свой долгъ до послѣдней черты. . .

* * *

Всѣ мы четверо (одинъ изъ фрагментовъ Стесселіады) переболѣли возвратнымъ тифомъ. Объ этомъ не стоило бы упоминать, если бы это не было такъ типично для нашей эпохи. Мало кто изъ русскихъ временъ борьбы Бѣлыхъ съ Красными избѣжалъ того или иного тифа. „Abdominalis“, „Exanthamaticus“ и „Recurrens“ были истинными архангелами русской революціи Многіе испытали всѣ три тифа. Мы обошлись однимъ.

* * *

Можетъ быть, читателю будетъ интересно знать, что моя семья, съ которой я разстался гдѣ то въ румынской деревнѣ и собирался встрѣтиться въ Бѣлградѣ, очутилась . . . въ Одессѣ.

Румынамъ непріятно будетъ, быть можетъ, прочесть эти строки. Но „сами боги не могутъ сдѣлать бывшее небывшимъ“, — говоритъ греческая поговорка. На слѣдующій день послѣ нашего ухода румыны выгнали изъ своей страны оставленныхъ нами женщинъ и дѣтей. Напрасно сочинялись пламенныя телеграммы королевѣ румынской о помощи и милосердіи. Конечно, если бы Ея Величество получила эти телеграммы, вѣроятно, что милосердіе было бы оказано. Но въ томъ то и дѣло, что никакихъ телеграммъ румынскіе офицеры не принимали, и вотъ произошла эта невозможная исторія: доведенныхъ до послѣдней грани отчаянія и усталости женщинъ выгнали къ большевикамъ. Нѣкоторыя не выдерживали и искали въ своихъ сумочкахъ яду. По счастью у другихъ хватило мужества перенести все до конца и удержать ослабѣвшихъ.

Къ чести „товарища Катовскаго“ надо сказать, что его штабъ принялъ этихъ несчастныхъ прилично. Особыхъ издѣвательствъ не было, онѣ получили даже возможность нанять подводу за „царскія пятисотки“ и пріѣхать въ Одессу.

* * *

Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Въ этомъ я убѣдился. . . Насъ пріютили всѣхъ. . . Когда меня раздѣвали, я пробовалъ бормотать этимъ до той поры мнѣ незнакомымъ людямъ:

— Вы вѣдь не знаете, что у меня. . . Можетъ быть „сыпнякъ“ . . .

На что хозяйка отвѣтила:

— Это будетъ восьмой въ моей квартирѣ. . .

* * *

Recurrens былъ какъ recurrens. . . Четыре приступа. . .

Меня лѣчилъ одинъ врачъ . . . Онъ приходилъ каждый день и очень хорошо зналъ, кто я.

Это я пишу такъ, на всякій случай, для тѣхъ, кто обуянъ жаждой разстрѣливать „комиссаровъ“. . . Смотрите, не разстрѣляйте въ припадкѣ святой мести тѣхъ, кто, ежедневно рискуя головой, спасалъ жизнь вашимъ близкимъ и друзьямъ...

Такіе случаи бывали и будутъ. Ибо не всѣ вѣдаютъ, что творятъ. . .

* * *

Этотъ докторъ былъ окномъ нашей больной комнаты въ міръ, котораго я не могу назвать Божьимъ, ибо онъ былъ большевистскимъ.

Перевязывая сыну отмороженныя ноги, онъ начиналъ говорить о политикѣ. Разговоры эти сводились къ обсужденію тѣхъ слуховъ, которыми питалась Одесса. Каждый день она изобрѣтала что нибудь новое, — безъ промаха лживое... Но все же всѣ вѣрили и надѣялись.

Я обыкновенно въ этихъ случаяхъ свѣтилъ доктору огаркомъ свѣчи, который немедленно гасился, какъ только опе-

рація кончалась. Ибо свѣчи были въ то время уже предметомъ роскоши. Тогда разговоръ продолжался въ сумеркахъ масляной коптилки, — инструментъ, бывшій въ эту зиму во всеобщемъ употребленіи въ Одессѣ.

* * *

Recurrens длился приблизительно мартъ мѣсяцъ. Я имѣлъ время подумать. Я думалъ и во время приступовъ, и въ перерывы, и во время выздоровленія.

И странно. . . Жизнь окрашивалась то въ терпимые, то въ мутные, то въ безысходно мрачные тона.

Все отъ точки зрѣнія. . .

Когда я смотрѣлъ назадъ, въ недавнее прошлое, теперешняя наша жизнь казалась чуть ли не раемъ. . . Давно ли мы замерзали на снѣгу ночью, скрываясь какъ волки въ заросляхъ и лѣсахъ . . . А теперь мы имѣемъ кровъ и пищу... насъ лѣчили, о насъ заботились, сколько возможно. . .

Когда же я сравнивалъ съ далекимъ прошлымъ, давно прошедшимъ, на душѣ становилось сѣро до мути.

Слѣдующія строки я пишу только потому, что вѣдь такъ, какъ мы — жили всѣ, въ этомъ большомъ городѣ. . . А въ другихъ большихъ городахъ жили неизмѣримо хуже.

* * *

Маленькая комната, гдѣ насъ трое или четверо. Не топлено. . . Никто не топилъ этой зимою въ Одессѣ. А измученный послѣ болѣзни организмъ проситъ тепла. Тепло иногда и приходитъ утромъ съ солнцемъ. Проснешься рано и долго ждешь этого красноватаго, перваго луча, который, загорѣвшись краснымъ пятномъ, желтѣя и теплѣя, двигается по стѣнѣ. По его движенію мы научились узнавать и время.

Часовъ вѣдь нѣтъ. . .

Когда немножко нагрѣетъ комнату, начинается комично мерзкое занятіе. Ужасно трудно отъ нихъ избавиться. Для этого надо постоянно мѣнять бѣлье. Если перемѣнъ нѣтъ, мыть надо. И моется, но вѣдь въ холодной водѣ. Для горячей надо дровъ. А другія вещи, напримѣръ, которыми укрываешься, разные фрагменты бывшихъ пальто, ихъ надо бы

продезинфецировать. Но это не такъ просто. Конечно, въ концѣ концовъ справляются, но путемъ упорной борьбы. Борьба ведется: или просто охотой, или стиркой, или утюгомъ... Сильно горячимъ утюгомъ выгладить вещи по швамъ очень хорошо... Рекомендую всѣмъ впавшимъ въ соціализмъ...

* * *

Затѣмъ слѣдуетъ приготовленіе какого то суррогата чая или кофе на керосинкѣ... Ого, какая это возня!... Фитили не горятъ, вѣчно что то портится... Скучно и грязно... И никакихъ способностей.

Мы вѣдь были артисты, поэты и писатели и...

... Рождены для вдохновенья,

Для звуковъ сладкихъ и молитвъ...

* * *

А тутъ...

Надо стоять въ очереди за керосиномъ нѣсколько часовъ, потомъ бѣжать куда то за хлѣбомъ, потомъ... Потомъ уборка комнаты, мытье посуды, стирка, починка, тысяча этихъ изводящихъ мелкихъ дѣлъ. Потомъ надо взять обѣдъ. Опять бѣжать куда то въ очередь. Съ обѣдомъ мы устроились поразительно дешево. 18 рублей обѣдъ... Но это потому, что... словомъ, черезъ кого то мы стали семьей какого то „спеца“. Обѣдъ состоялъ изъ какого то варева въ родѣ супа или борща, безъ мяса, конечно. Кромѣ того каша. Каша перемежалась: гречаная, пшенная и „шрапнель“. Шрапнель многіе саботировали. Другіе, болѣе смиренные, съѣдали. Мы брали два обѣда на трехъ.

Общее правило послѣ тифовъ: звѣрскій голодъ. Надо жировъ. Ихъ и покупаютъ. За деньги все можно достать пока. Но вѣдь денегъ хватитъ еще на нѣкоторое время, а дальше что?...

Что дальше?...

Гонишь эту мысль пока свѣтло.

Почитаешь у окна въ креслѣ. Окно низкое и выходитъ на улицу. Видишь людей, иногда они любопытно засматриваютъ въ окошко. Тогда непремѣнно кто нибудь обезпокоится: не выслѣдили-ли уже!...

* * *

Я читалъ, что попало. Но больше всего мнѣ нравился одинъ польскій романъ. Дѣйствующія лица исключительно графы и князья. Описывается великосвѣтская охота, балы и все это remue-menage большого свѣта. Княжна Гальшка Збаражская правитъ четверкой великолѣпныхъ лошадей, окруженная свитой не ниже барона. Ея братъ никакъ не можетъ жениться на дѣвушкѣ колоссальнаго состоянія, потому что она не записана въ какую то родословную книжку.

Мнѣ доставляло искреннее удовольствіе сопоставленіе этого міра съ тѣмъ, что шмыгало у меня за окномъ. . . Для любителя контрастовъ это было весьма недурно. . .

* * *

Сыну, Лялѣ, который лежитъ съ отмороженными ногами и голодаетъ между приступами „развратнаго" тифа, тоже нравится польскій романъ. Но иногда онъ швыряетъ книжку и съ неподражаемымъ выраженіемъ апострофируетъ:

— Буржуи проклятые. . .

Когда же дѣло осложняется какой нибудь психологической драмой , онъ презрительно прибавляетъ:

— Съ „нравственнаго жиру" бѣсятся. . .

* * *

И дѣйствительно. . .

Немножко смѣшными кажутся эти „душевныя страданія", когда всѣ „живы и здоровы" и находятся въ полной безопасности. . .

Мы знаемъ только двѣ „психологическія" муки: когда близкимъ людямъ грозитъ тяжкая болѣзнь или смертельная опасность. . .

* * *

Но онѣ возвращаются, эти мысли о томъ, что будетъ дальше, когда стемнѣетъ. Когда стемнѣетъ, въ комнатѣ почти мракъ. Электричества нѣтъ, керосинъ слишкомъ дорогъ, горитъ коптилка на маслѣ. Она даетъ столько свѣта, сколько лампадка, но послѣдняя — утѣшеніе сердцу, а эта наводитъ мракъ на душу.

* * *

Что впереди? Какой выходъ изъ этого положенія?

Ну, хорошо, — теперь я боленъ. Стесселевскія деньги еще есть. Но дальше?

Служба? . . . У кого? У большевиковъ? Нѣтъ! . . .

Частную найти очень трудно: Гдѣ? Все закрывается и притомъ. . . Не сказать, — кто я, — подвести. . . А сказать. . . кто пріиметъ? . . .

* * *

Отъ собственнаго положенія мысли бѣгутъ къ общему. Что дѣлается?

* * *

Это былъ первый періодъ, когда большевики покончили, какъ они думали, съ Деникинымъ, и пытались, или симулировали попытку, смягчить терроръ. Въ Москвѣ была объявлена амнистія и даже отмѣнена смертная казнь. Правда (и это кажется единственный разъ, когда „украинская соціалистическая совѣтская республика“ воспользовалась своей самостійностью) было разъяснено изъ Харькова, что все это къ Украинѣ не относится: здѣсь молъ продолжается контръ-революція и потому и терроръ долженъ продолжаться. Но все же общее настроеніе сказалось и въ Одессѣ.

Конечно, чрезвычайка должна убивать кого нибудь. Для власти, держащейся только на крови, опасно не упражнять людей въ убійствѣ: отвыкнутъ, пожалуй. Поэтому убивателямъ нашли дѣло. На этотъ разъ, впрочемъ, это еще была наиболѣе благоразумная локализація кровожадности: чрезвычайкамъ приказали убивать „уголовныхъ“.

Одесса съ поконъ вѣковъ славилась, какъ гнѣздо воровъ и налетчиковъ. Здѣсь повидимому съ незапамятныхъ временъ существовала сильная грабительская организація, съ которой болѣе или менѣе малоуспѣшно вели борьбу всѣ пятнадцать (нѣтъ, ихъ было, кажется, 14), — всѣ четырнадцать правительствъ, смѣнившихся въ Одессѣ за время революціи. Но большевики справились весьма быстро. И надо отдать имъ справедливость, въ уголовномъ отношеніи Одесса скоро стала совершенно безопаснымъ городомъ. . .

* * *

Остальныхъ пока не трогали. Въ отношеніи офицеровъ нѣсколько разъ объявлялись сроки, когда всѣ бывшіе бѣлогвардейскіе офицеры могутъ заявить о себѣ, за что не будутъ подвергнуты наказаніямъ. Часть „объявилась", часть — нѣтъ.

Разумѣется, все это не относилось къ лицамъ, имѣвшимъ съ большевиками особые счеты, вродѣ меня.

* * *

Однако, въ направленіи „смягченія" были даже довольно странные факты.

Въ одинъ прекрасный день пришелъ циркуляръ изъ Москвы, повидимому отъ Луначарскаго, — предписывавшій читать лекціи рабочимъ и солдатамъ, съ цѣлью развитія въ нихъ „гуманныхъ чувствъ и смягченія классовой ненависти". Во исполненіе этого тѣ, кому сіе вѣдать надлежитъ, обратились къ цѣлому ряду лицъ съ предложеніемъ читать такого рода лекціи и съ предоставленіемъ полной свободы въ выборѣ темъ и въ ихъ развитіи. Эти лекціи состоялись. Одна изъ нихъ имѣла особенно шумный успѣхъ и была повторена нѣсколько разъ. Это была лекція объ Орлеанской Дѣвѣ. Почему коммунистамъ вдругъ пришла мысль поучать „рабочихъ и крестьянъ" разсказами о французской патріоткѣ, *спасавшей своего короля*, объяснить трудно. Но это фактъ. . .

* * *

Что же, можно изъ этого сдѣлать какой нибудь выводъ?... Неужели большевики дѣйствительно поумнѣли?...

Вздоръ! Все это на первыхъ порахъ. За „эскападами" товарища Луначарскаго стоитъ власть, которую такъ ненавидятъ, что ей остается одна дорога: дорога террора. И они начнутъ его опять, непремѣнно начнутъ.

Единственное, что могло бы „измѣнить курсъ", это если бы кто нибудь изъ нихъ, напр. Ленинъ, понявъ, что они идутъ въ пропасть, разстрѣлялъ бы всѣхъ своихъ друзей и круто повернулъ бы прочь отъ соціализма. . . Но вѣдь это невозможно.

* * *

Гдѣ фронтъ? Существуетъ ли онъ вообще? Какъ будто бы Крымъ еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы онъ удержался. Что тамъ происходитъ?

Слухи. . . Да вѣдь какъ вѣрить этимъ слухамъ. Развѣ давно вся Одесса повѣрила тому, что украинцы гдѣ то совсѣмъ близко. Потомъ ихъ замѣнили румыны. Затѣмъ румынъ смѣнили какіе то союзники. Послѣ союзниковъ была очередь сербовъ. Затѣмъ исправили: не сербы, а болгары. Послѣ болгаръ была очередь поляковъ. Наконецъ самое послѣднее изобрѣтеніе: столько то полковъ нѣмцевъ перешло румынскую границу и находится уже въ нѣмецкихъ колоніяхъ. Все это вздоръ, всѣ эти слухи плодитъ страстная жажда освободиться отъ большевиковъ какою угодно цѣной.

Обыкновенно въ безсонныя ночи я додумывался до трехъ часовъ. Я зналъ, что это три часа, потому что въ это время кто то оглушительно среди мертвой тишины стрѣлялъ изъ Нагана передъ самымъ окномъ. Выстрѣлъ этотъ звучалъ непріятно, какъ то жутко. . .

Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это ѣдутъ разстрѣливать. . .

Можетъ быть и разстрѣливаютъ — только мы не знаемъ...

* * *

Такъ тянулись дни и ночи. На страстной недѣлѣ я въ первый разъ вышелъ. Какъ трудно было передвигать ноги! Я зашелъ въ церковь. Служили панихиду по комъ то, а послѣ панихиды какая то женщина обносила „церковныхъ старичковъ“ кутьей и колевомъ, какъ принято. И мнѣ дали. Я ѣлъ во первыхъ потому, что былъ голоденъ, а во вторыхъ потому, что я былъ очень радъ, что меня приняли за церковнаго старичка. Значитъ, мнѣ нечего было опасаться: теперь меня никто не узнаетъ. Послѣ этого я поплелся на свиданіе, которое было у меня назначено съ моимъ родственникомъ Ф. А. М. Свиданіе должно было произойти въ Александровскомъ паркѣ у колонны.

Когда я походилъ, я увидѣлъ, что у колонны одинъ человѣкъ. Это долженъ былъ быть онъ. Я подходилъ тоже

совершенно одинъ. Кромѣ насъ двоихъ никого не было. Но мы долго стояли другъ противъ друга, не рѣшаясь подойти. Я никакъ не могъ опредѣлить, онъ это или нѣтъ. А онъ смотрѣлъ на меня очевидно съ той же мыслью. Наконецъ я рѣшился. Да, это былъ онъ. Дѣйствительно, узнать его было невозможно. Онъ же со своей стороны утверждалъ, что никто въ цѣломъ мірѣ меня не узнаетъ.

Когда я шелъ обратно, я хорошо разсмотрѣлъ себя въ большой зеркальной витринѣ.

Да, дѣйствительно. На меня смотрѣлъ человѣкъ лѣтъ около шестидесяти пяти съ большой сѣдой вьющейся бородой. Согнутый, еле двигающій ногами. . . „Церковный старичекъ“ — одно слово.

Это была работа рекурренса. Оказывается, что болѣзнь искусный гримировщикъ. Это, впрочемъ, было до нельзя кстати. . .

* * *

На Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть захотѣла сдѣлать любезность по отношенію къ христіанскому населенію, потому что послѣ цѣлой зимы безпросвѣтнаго мрака на три дня Пасхи дали электричество во всѣ квартиры.

Кромѣ того у насъ былъ роскошный домашній обѣдъ. Главное блюдо составляли мидіи, — ракушки, которыхъ во множествѣ выбросило сжалившееся надъ несчастными бѣлыми доброе Черное Море . . . Вѣра и Ваня (дѣти хозяевъ) цѣлый день ихъ собирали. . .

Страхи.

Ирина Васильевна поступила въ театръ. Объявила у себя „балетную студію“, что по большевистскимъ законамъ давало ей право на лишнюю комнату: большевики покровительствуютъ искусствамъ. Вотъ именно эту комнату замѣсто балеринъ послѣ Пасхи заняли бывшій редакторъ „Кіевлянина“ и поручикъ инженерныхъ войскъ В. А. Л.

Отвыкшіе отъ всякаго комфорта, мы умѣли цѣнить то, что обыкновенно въ прежнія времена даже не замѣчалось.

* * *

Удобная кровать . . . чистыя простыни . . . одѣяла . . . подушки . . . два мягкихъ кресла . . . диванчикъ . . . даже маленькій письменный столъ . . . на дверяхъ портьеры . . . изъ хорошей старорежимной сѣрой парусины . . .

Я помню, сколько разъ, просыпаясь по утрамъ, я мечтательно смотрѣлъ на эти портьеры и думалъ:

— Вотъ рубашка, вотъ гм . . . гм . . . — а впрочемъ вышелъ бы и верхній, лѣтній костюмъ . . .

Полъ былъ паркетный. Я тщательно выметалъ его по утрамъ и мечталъ хоть одинъ разъ „ополотериться“, какъ сказалъ бы Игорь Сѣверянинъ, то есть натереть его воскомъ.

И потомъ . . . вѣдь въ этой квартирѣ можно было прилично вымыться . . . Правда, при соціалистическомъ режимѣ вода въ водопроводѣ не всегда идетъ и никогда не идетъ въ верхніе этажи. Въ этомъ домѣ воду можно было получить только во дворѣ. И это была моя обязанность. Я отправлялся въ маленькій садикъ, гдѣ среди цвѣтовъ былъ не фонтанъ, но кранъ, или, какъ говорятъ въ Одессѣ, „крантъ“, и таскалъ ведрами воду. Норма была восемь ведеръ, которыя я вливалъ въ ванну, и было всѣмъ благо.

Иногда я пилилъ дрова, но это, такъ сказать, по большимъ праздникамъ.

Но кромѣ всѣхъ этихъ благъ въ этой квартирѣ оказалась еще . . . гитара . . .

Да, смѣйтесь . . .

„Нужда пляшетъ, нужда скачетъ . . .“

Я рѣшилъ, что пора „пѣсенки пѣть“ . . .

* * *

Дѣло въ томъ, что деньги быстро таяли . . .

Все мое состояніе заключалось въ двадцати англійскихъ фунтахъ и остаткѣ отъ тѣхъ „колокольчиковъ“ (Деникинскія тысячерублевки), которые тогда въ лѣсу были розданы Стесселемъ . . .

Кстати долженъ сказать, что „колокольчики“, несмотря на оффиціальное запрещеніе подъ страхомъ разстрѣла, котировались на подпольной биржѣ Одессы. Стоимость ихъ, кажется, не падала ниже трехсотъ совѣтскихъ рублей, но порою подымалась до „al pari“.

Огромное количество людей въ Одессѣ занималось спекуляціей на деньгахъ. Да и могло ли это быть иначе. Куда же могли дѣваться эти „кошмарическія“ стада всевозможныхъ биржевиковъ, которые наполняли Фанкони и Робина и густой толпой стояли на углу Дерибасовской и Екатерининской, торгуя кокаиномъ, сахаромъ и валютой.

Одесская Чрезвычайка вела съ ними борьбу, многихъ разстрѣляла, но остальные продолжали работать. Но, разумѣется, теперь работа шла въ самомъ строгомъ подпольи. Итакъ деньги таяли. Служить у большевиковъ я не могъ и не хотѣлъ. Пристраиваться къ какимъ нибудь кооперативамъ было трудно: незнакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь не столько за себя, сколько за меня, всячески отговаривали. Что дѣлать? . . .

И вотъ выходомъ изъ положенія явилась гитара.

Старикъ съ сѣдой бородой . . . Ясно, что человѣкъ зналъ лучшія времена . . . какое нибудь небольшое кафе . . . разбитый, надтреснутый голосъ . . . такой же разбитый, какъ и безвозвратное прошлое . . . старинные романсы . . . исключительно старинные, такіе забытые, и такіе незабываемые . . . Жалобный звонъ струнъ . . . очень тонно . . .

И вотъ я дѣйствительно подготовлялъ себѣ такое мѣстечко. Составилъ себѣ уже цѣлый репертуаръ, мобилизовалъ голосъ . . .

Помню, мнѣ когда то П. Н. Милюковъ сдѣлалъ комплиментъ. Я жаловался, что совсѣмъ не могу говорить въ Думѣ изъ за крайней слабости голоса. Онъ мнѣ отвѣтилъ:

— Да, голосъ у васъ очень слабый . . . Но онъ поставленъ какъ у пѣвца. Вы не поете? . . .

И вотъ на старости лѣтъ оказалось, что я пою . . . для развлеченія пролетаріата . . .

„Нужда пѣсенки поетъ“ . . .

— Кто не трудится, тотъ да не ѣстъ . . .

* * *

Ирина Васильевна (настоящее ея имя другое) въ этотъ день очень безпокоилась . . .

Ей почудилось, что кто то слѣдитъ не то за ней, не то за мной, — вообще что то жуткое. Я кое какъ ее успокоилъ. Но къ вечеру „инцидентъ“ всплылъ снова, въ формѣ категорическаго „предчувствія“ у Ирины Васильевны, что ночью прійдетъ чрезвычайка, а потому мнѣ совершенно невозможно оставаться въ квартирѣ. И это предчувствіе росло, въ такой угрожающей формѣ, что мы съ поручикомъ Л. рѣшили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно въ эту ночь она никому спать не дастъ.

* * *

И мы ушли . . .

Но это легко уйти, когда знаешь, куда пойти. А вѣдь мы отлично понимали, что во всякой квартирѣ намъ, быть можетъ, и не откажутъ, но особаго счастія не ощутятъ: вѣдь вездѣ каждую ночь можетъ быть обыскъ, и тогда хозяинъ квартиры будетъ отвѣчать за укрывательство контръ-революціонеровъ.

Поэтому мы рѣшили ночевать на улицѣ. Но опять таки это удобно можно было бы сдѣлать „подъ игомъ самодержавія“. Но въ свободномъ соціалистическомъ государствѣ всякаго человѣка, который осмѣлится показаться на улицѣ позже извѣстнаго часа, ловятъ, какъ преступника и тащатъ въ участокъ. Почему при соціализмѣ нельзя ходить по ночамъ, никакъ не могу понять.

Мы рѣшили ночевать гдѣ нибудь въ подъѣздѣ.

* * *

Нѣтъ, это слишкомъ холодно. Эти камни обладаютъ удивительной способностью быстро остывать. И притомъ эта ниша, куда мы залѣзли, плохо защищаетъ отъ взоровъ патрулей. А сейчасъ патрули пойдутъ. На улицахъ уже ни одного человѣка. Идетъ тихій, мирный дождь. Удивительно, какъ быстро большевики покончили съ грабителями, налетчиками и всякими уголовными.

Надо пройтись. Ну, въ концѣ концовъ наскочимъ на патруль, какъ нибудь вывернемся. И потомъ — блестящая мысль: пусть патруль насъ забираетъ. Въ концѣ концовъ не разстрѣляютъ же за это, за позднее хожденіе, переночуемъ въ участкѣ, гдѣ во всякомъ случаѣ теплѣе...

Пошли... На одномъ изъ перекрестковъ:

— Стой...

Мы остановились.

— Откуда такъ поздно, товарищи?...

— Да развѣ жъ поздно?... Вотъ бѣда, часовъ нѣтъ!... Что, будете забирать насъ, товарищи, въ раіонъ?

— А вы кто такіе?... Далеко вамъ?

— Да нѣтъ, не далеко намъ... Тутъ на Канатной.

Патруль, собравшись вокругъ насъ кучкой, раздумывалъ.

— Ну, идите... домой... все равно...

Вотъ неудача...

* * *

Идемъ дальше. Дождикъ пересталъ, — работаетъ луна. Это большое подспорье соціалистическому хозяйству. При соціализмѣ, какъ общее правило, — электричество не горитъ. Совершенно тихо. Вдругъ снова наткнулись на патруль.

Эти насъ взяли. Мы едва успѣли условиться, что сочинять, какъ насъ раздѣлили.

Старшій подошелъ къ Вовкѣ и о чемъ то съ нимъ бесѣдовалъ на ходу. Потомъ подошелъ ко мнѣ.

— Откуда вы идете, товарищъ?

— Съ Ришельевской.

— А номеръ?

Я сказалъ условленный номеръ.

— У кого же тамъ были?

Я сдѣлалъ застѣнчивое лицо.

— Да это... его знакомые... онъ молодой... я тамъ въ первый разъ и былъ...

— Ну да, а фамилія какъ?

Я сказалъ нарочно исковерканную фамилію, но похожую на ту, которую долженъ былъ сказать Вовка. При этомъ прибавилъ, что можетъ быть и не такъ, потому что я этихъ барышенъ не знаю, мнѣ старому не интересно...

— Значитъ, выпивали, товарищъ?

— А что же я пьяный, что ли?

Я дунулъ ему въ носъ.

— А чѣмъ занимаетесь?

— Артистъ... музыкантъ... Раньше на роялѣ и на скрипкѣ давалъ уроки, а теперь на гитарѣ... Спеціальность „старые романсы“... Ученики ко мнѣ ходятъ... Самъ голосъ я уже потерялъ, не выступаю... Послѣ тифа...

Заинтересовавшись подошелъ другой патрулистъ.

— Такъ вы, товарищъ, гитаристъ?... Я тоже на гитарѣ играю. Хорошая у васъ гитара?

— Ничего себѣ... Только раньше я привыкъ играть на одиннадцатиструнной, а это обыкновенная — семиструнная... Ничего, сходитъ.

— А какіе романсы, товарищъ?

— Исключительно самые старинные. Ну вотъ, напримѣръ, „Тигренокъ“, „А изъ рощи, рощи темной“, „Три созданія небесъ“, — вотъ тоже замѣчательный романсъ... Это не то, товарищъ, что теперь пошло — Вертинскій-Верединскій... „Лиловый негръ ей подаетъ манто“... ну, какой смыслъ!... Почему онъ „лиловый“, когда всѣ негры черные?

Тутъ я рѣшилъ остановить потокъ своего краснорѣчія: кажется, было довольно. Патруль явно убѣдился въ нашей невинности и подлинности. Старшій сказалъ дружелюбно:

— Ну если, товарищи, у васъ документы въ порядкѣ, то вамъ ничего не будетъ... Сейчасъ и отпустятъ...

* * *

Раіонъ... Темень полная. Патруль, ругаясь, поднимается по лѣстницѣ на ощупь. Вводятъ насъ въ какое то помѣщеніе. Тутъ тоже абсолютно темно. Въ темнотѣ старшій кому то докладываетъ про насъ. Происходитъ ругань, въ виду того, что нѣтъ ни свѣта, ни спичекъ. Наконецъ, съ трудомъ находятъ. Зажигаютъ какую то коптилку, которая считается лампой. Участокъ. За перегородкой начальство въ видѣ какого то еврея. Нотабена: патруль, какъ повидимому вся низшая милиція, — изъ русскихъ. А начальство, такъ, приблизительно съ чина околодочнаго надзирателя, — евреи.

Начальство спрашиваетъ, кто мы, гдѣ живемъ, документы. Предъявляемъ . . .

Комиссаръ занялся тѣмъ, что вызвалъ по телефону адресный столъ: провѣрить, живетъ ли такой то по указанному мною адресу. Но видимо съ отвѣтомъ что то не ладилось . . .

— Что? Нѣтъ свѣта въ адресномъ столѣ? . . . Не можете дать справки? Что? Разбили себѣ голову? . . . Обо что? . . . О шкафъ? . . . Что за безобразіе . . .

Въ концѣ концовъ, проэкзаменовавъ насъ еще о родѣ нашихъ занятій, причемъ снова на сцену выплыла гитара и старинные романсы, намъ объявили, что мы свободны. Но это совсѣмъ не входило въ мои планы.

Прежде всего я разсудилъ, что прятаться отъ чрезвычайки выгоднѣе всего въ раіонѣ, ибо карающей рукѣ Совѣтской власти не прійдетъ въ голову искать контръ-революціонеровъ въ своей собственной полиціи. А во вторыхъ, куда же намъ итти? . . . Опять на улицу? . . . Но первый патруль схватитъ насъ снова.

Поэтому я попросилъ разрѣшенія переночевать здѣсь въ раіонѣ, каковое милостиво получилъ.

Мы улеглись на широкомъ подоконникѣ. Начальство „дормировало“ на деревянныхъ скамейкахъ.

* * *

Утромъ мы были разбужены довольно страннымъ инцидентомъ.

Начальство хотя и грозно, но довольно безпомощно взывало:

— Вѣстовой! . . . Что вы не слышите, вѣстовой! . . .

Да, у нихъ есть „вѣстовые“ . . . Въ этомъ государствѣ соціалистовъ, тѣхъ самыхъ соціалистовъ, которые чуть ли не краеугольнымъ камнемъ своей программы ставили борьбу противъ „деньщиковъ“ . . .

— Вѣстовой! . . .

Въ отвѣтъ на послѣдній отчаянный призывъ неожиданно раскрылся . . . шкафъ . . . Большой шкафъ для дѣлъ . . . И съ верхней полки раздалось:

Чого? . . .

Потомъ свѣсились громадные сапоги, которые вмѣстѣ съ нечесанной головой прыгнули въ комнату.

Посмотрѣвъ на насъ „вѣстовой Украинской Совѣтской Соціалистической Республики“ добродушно изрекъ:

— Такая наша квартира . . .

* * *

Было уже совсѣмъ свѣтло. Мы пошли. Но такъ какъ въ пять часовъ утра возвращаться не приходилось, рѣшили пройтись по базару, благо онъ подъ бокомъ.

Какая красота, этотъ базаръ . . .

Правда, ничего, кромѣ редиски... Но зато ея то уже вдоволь. Она собрана въ большія корзины, которыя напоминаютъ огромныя чудовища съ сотнями усиковъ — это хвостики редисокъ. Чудовища розовыя, красныя и лиловатыя всѣхъ оттѣнковъ, впрочемъ есть желтыя и бѣлыя.

Мы купили по пучку (50 рублей пучекъ) и лазили по базару, аппетитно закусывая . . . Захотѣлось бубликовъ. Торговка долго почему то смотрѣла на Вовку. Наконецъ сказала:

— Извиняюсь, вы русскій?

— Русскій . . .

Она перекрестилась . . .

— Вотъ, повѣрите, первый разъ, какъ ушли Деникинцы на русскомъ человѣкѣ студенческую фуражку вижу . . . Ахъ, жиды проклятые . . .

* * *

Въ это утро была суббота.

А потому, пробродивъ изрядное количество времени по улицамъ, мы сподобились увидѣть „субботникъ“ . . .

Субботникъ — это послѣднее слово соціалистической изобрѣтательности.

Субботникъ — это значитъ, что каждую субботу, въ такомъ то часу, всѣ истинные сыны Совѣтской Республики должны собраться на такую то улицу. . . Сегодня они и собрались здѣсь. . .

Впереди — колоссальный красный плакатъ съ золотой надписью: „Кто не трудится, да не ѣстъ“ . . . За плакатомъ оркестръ военной музыки. За оркестромъ — небольшая во-

енная часть, которой командуетъ товарищъ командиръ, расписанный, какъ картинка. Красные чакчиры, гусарскіе сапоги, голубой доломанъ. . . Безъ погонъ, но на рукавѣ роскошно вышитая золотомъ и серебромъ звѣзда. На головѣ кубанка, ноги пружинятъ, голосъ звенитъ. . . Смотря на него, вспоминается пѣсня:

„Я возьму воровскую дубину. И разграблю я сто городовъ,
„Разукрашу себя, какъ картину“. . .

Самъ же „субботникъ“ стоитъ вдоль улицы, въ нѣкоторомъ родѣ поротно. Вглядываюсь въ лица — почти сплошь евреи. . . Вглядываюсь подробнѣе, — вижу массу студентовъ, или во всякомъ случаѣ еврейчиковъ въ студенческихъ фуражкахъ. . . Стараюсь сообразить, почему бы это, — и догадываюсь: вѣдь это цвѣтъ націи, это „партійные коммунисты“, для которыхъ участіе въ субботникахъ — обязательно. . .

Впереди плакатъ, посрединѣ плакатъ, сзади плакатъ. . .

Музыка играетъ маршъ, товарищъ командиръ въ красныхъ штанахъ командуетъ съ непередаваемой интонаціей наглости и презрѣнія, и субботникъ дефилируетъ. . .

Куда? Зачѣмъ? . . .

Совершать „пресловутое русское дѣло“... Въ завтрашней оффиціальной газетѣ въ отдѣлѣ извѣстій можно прочесть, что сегодняшній субботникъ прошелъ съ громаднымъ успѣхомъ и что собравшіеся „истинные граждане совѣтской республики“ безъ всякаго вознагражденія: „перенесли съ мѣста на мѣсто столько то десятковъ шпалъ, вымели столько то квадратныхъ аршинъ такого то двора, перетолкали безъ помощи паровоза цѣлыхъ пять ужасно тяжело нагруженныхъ вагоновъ“ . . .

* * *

Лиловый ирисъ стоялъ на балконѣ. . . Это былъ знакъ, что можно безопасно входить въ квартиру.

Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки.

Но что такое „фактъ“?... Когда онъ свѣтитъ изъ прошедшаго, тогда его называютъ воспоминаніемъ. Когда же его лучъ пробивается сквозь „туманъ будущаго“, — это предчувствіе. . .

* * *

„Безпричинные страхи“ Ирины, конечно, были предчувствіемъ факта. Она только не могла справиться съ четвертой координатой, — съ временемъ. . .

То, чего она боялась теперь, случилось нѣсколько позже.

Курьеръ.

Мы знали къ концу апрѣля, что Крымъ держится, что борьба возобновилась, что во главѣ арміи сталъ генералъ Врангель. Однако меня удивляло, почему наши крымскіе друзья не подаютъ никакихъ извѣстій.

Правда, нѣсколько разъ бывало такъ, что по Одессѣ бѣжалъ слухъ: высадилось столько то человѣкъ. Но это обыкновенно сопровождалось черезъ нѣкоторое время разъясненіемъ, что всѣ они или часть попали въ Чрезвычайку и разстрѣляны. . .

* * *

Я получилъ приглашеніе отъ своего родственника Ф. А. М. увидѣться съ нимъ по важному дѣлу. Я пошелъ къ нему ночевать. Онъ жилъ далеко, на Молдаванкѣ.

Былъ май мѣсяцъ, на улицахъ было много цвѣтовъ и много жизни. Правда, особенной жизни. . . Веселящагося, жизнерадостнаго русскаго лица здѣсь нельзя было встрѣтить. Но еврейская молодежь „фетировала“ весну. . .

Я добрался до Молдаванки. Научились мы, контръ-революціонеры, ходить необычайно. Вѣдь лучшее средство, если существ. `тъ опасность, что за вами слѣдятъ, — это бѣшеная быстрота ходьбы. Ибо тѣ, которые слѣдятъ, тоже должны будутъ неистово нестись, обгоняя всѣхъ, и вамъ скоро это станетъ ясно.

* * *

У Ф. А. я засталъ ошарашивающую новость: курьеръ изъ Севастополя. Онъ былъ тутъ же въ комнатѣ, этотъ человѣкъ, и мало того — онъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей . . . словомъ Ф. М. его хорошо зналъ. Его инициалы Н. Л. Б.

Вотъ наконецъ первыя, болѣе менѣе достовѣрныя извѣстія о Крымѣ.

Да, армія существуетъ. . . Перешейки держатъ крѣпко и не думаютъ уступать. Армію нельзя узнать, — дисциплина возстановлена, грабежи и всякія мерзости прекращены безпощадными, но умѣлыми дѣйствіями генерала Слащева.

Былъ бунтъ капитана Орлова, но онъ подавленъ. Теперь положеніе прочное. Намѣчаются реформы — земельная, волостная. . . Съ рабочими отношенія урегулировались въ Севастополѣ. Вообще въ Крыму полны надеждъ. . .

Онъ пріѣхалъ за информаціей, проситъ дать ему всякія письменныя сообщенія обо всемъ, что мы знаемъ. На дняхъ онъ ѣдетъ обратно, тѣмъ же путемъ, — черезъ Тендру. . .

Было рѣшено, что Ф. А. М. поѣдетъ съ нимъ. . .

* * *

Ф. М. пришелъ ко мнѣ передъ отъѣздомъ проститься. Выяснилось, что Н. Л. Б. ѣхать еще не можетъ. Но взамѣнъ себя онъ предложилъ одного изъ своихъ товарищей. Они, оказывается, вчетверомъ пріѣхали изъ Крыма. Одинъ изъ этихъ четырехъ, совершенно вѣрный человѣкъ, долженъ былъ сопровождать Ф. М.

* * *

Ф. М. или Эфемъ, какъ онъ иногда подписывался, былъ мнѣ близкимъ человѣкомъ. Я любилъ его какъ младшаго брата. Поэтому больно мнѣ было, что онъ такой грустный и даже совсѣмъ какъ то „не въ себѣ“ былъ при нашемъ разставаніи. . .

Я вышелъ провожать его на лѣстницу. . . Онъ спускаясь смотрѣлъ на меня своими красивыми глазами, и были они полны чего то прощальнаго и обреченно-смирившагося, и вся его удаляющаяся, слегка согнутая фигура сжала мнѣ сердце тоской. . .

* * *

Я приписывалъ его состояніе, „не въ себѣ“, тому настроенію, которое было для него характерно послѣднее время. . .

* * *

Это подготовлялось въ немъ давно. Но окончательно утвердилось въ послѣднее время.

Онъ пришелъ къ Богу. Въ особенности къ Христу. . .

Онъ былъ необычайно талантливъ, но очень непостояненъ. Онъ бросилъ политехникумъ для живописи, живопись для беллетристики, беллетристику для скульптуры, скульптуру для Краснаго Креста, Крестъ ради изобрѣтенія какого-то новаго мотора и, наконецъ, во время революціи принялъ участіе въ политической борьбѣ. И вотъ тутъ и сформировалось это. . .

Онъ разувѣрился въ силѣ разума. Онъ понялъ, что идутъ вѣрно только тѣ, кто имѣетъ Бога въ сердцѣ. Онъ сталъ искать вѣры. И она пришла къ нему, пережившему и передумавшему всѣ ухищренія ума, — простая и безхитростная...

На этой почвѣ у него родилась мысль. . . Чисто христіанская. . . Онъ все мечталъ о созданіи, какъ онъ говорилъ, „Политическаго Краснаго Креста“. . . Чтобы было такое учрежденіе въ гражданской войнѣ, которое при Красной власти имѣло бы право „печаловаться“ о бѣлыхъ, а при Бѣлой — о Красныхъ. . . Такое учрежденіе, которое признавали бы обѣ стороны. . . Это учрежденіе онъ мечталъ назвать „Обществомъ имени Св. Николая Мирликійскаго“. . . Чтобы это понять, надо вспомнить картину Рѣпина, гдѣ св. Николай останавливаетъ мечъ, занесенный надъ головой осужденнаго...

* * *

На слѣдующій день мнѣ сообщили, что онъ ушелъ со своей квартиры, — такъ было условлено — вмѣстѣ съ пріятелемъ Н. Л. Б. Они должны были добраться до знакомыхъ рыбаковъ, которые переправятъ ихъ на Тендру. На Тендрѣ уже наши — генералъ Врангель. . . Переходъ моремъ верстъ семьдесятъ. . . Можетъ быть, Богъ поможетъ. . .

* * *

Если бы Эфемъ добрался благополучно и оттуда, изъ Крыма, прислалъ бы деньги и инструкціи, можно было-бы

кое что сдѣлать. Хотя изъ Одессы бѣжали всѣ, кто могъ, но все же кое кто остался, волей или неволей. Мы могли бы работать. . . Этотъ курьеръ изъ Крыма подбодрилъ всѣхъ насъ. . .

Появился просвѣтъ. . . Вѣдь этотъ курьеръ значитъ, что есть еще земля обѣтованная, клочекъ русской земли, гдѣ нѣтъ этихъ проклятыхъ красныхъ знаменъ, гдѣ не слышно гнуснаго интернаціонала, гдѣ люди вольно и легко дышатъ.

Надо работать для нихъ, для тѣхъ, кто борется, кто идетъ намъ на помощь. . .

„Котикъ".

Я помню хорошо этотъ день. Это было начало мая, кажется, 6-ое число. Я по обыкновенію сидѣлъ около раскрытаго окна и пробовалъ набросать на бумагу то, что было очень давно. Въ окошко мнѣ виднѣлась часть города съ садиками и двориками.

Въ этихъ садикахъ всюду шевелились работающіе на землѣ люди. Можно было безъ всякаго колебанія сказать, кто они. Это, конечно, были буржуи, контръ-революціонеры, паріи совѣтскаго режима. Въ соціалистической республикѣ почему то устроено такъ, что чиновники, профессора, писатели, адвокаты, торговцы, офицеры, словомъ, люди интеллигентныхъ профессій должны работать физическимъ трудомъ. А люди мускульнаго труда должны работать головой.

Что же дѣлаютъ эти „буржуи" на хорошенькомъ квадратикѣ, гдѣ зеленые узоры, на желто-коричневомъ фонѣ раскалившейся одесской земли?... Кажется, ухаживаютъ за розами. . . Неужели розы есть въ Совѣтской республикѣ?... Представьте себѣ, — есть. . . Не только розы, — масса цвѣтовъ на улицѣ. Просто удивительно, — почему нѣтъ декретовъ объ уничтоженіи всѣхъ цвѣточныхъ заведеній и запрещеніи продажи цвѣтовъ на улицѣ. Что можетъ быть буржуазнѣе цвѣтовъ . . . Ѣсть, пить, — это вѣдь во всякомъ случаѣ и пролетарское занятіе. Но цвѣты?... Ленинъ и нарциссы. . . Троцкій и фіалка. . .

Глупые люди. . . Я бы на ихъ мѣстѣ этого не потерпѣлъ. . . Какъ они не понимаютъ, что, пройдя по городу, въ которомъ тамъ и здѣсь на углахъ огромныя, яркія пятна массированныхъ въ одномъ мѣстѣ этихъ чудныхъ существъ, — цвѣтовъ, самый жалкій, самый забитый, самый загнанный въ щель буржуй вздохнетъ полной грудью и станетъ напѣвать:

„Ще не вмерла Украина". . .

* * *

Итакъ, былъ чудный майскій день... Въ окошко, кромѣ мыслей о буржуяхъ, трудящихся надъ розами, врывались звуки военной музыки.

Удивительно, какъ большевики полюбили военный оркестръ. Бѣдна все таки человѣческая изобрѣтательность. Для того, чтобы поддерживать бодрость духа въ арміи, гимнъ которой „отречемся отъ стараго міра", — не нашли иного средства, кромѣ средства стараго, какъ міръ... мѣдь бряцающую.

Противъ моей квартиры за квадратиками съ розами — большое красивое зданіе. То есть оно, собственно, потому кажется красивымъ, что оно свѣже оштукатурено. Въ соціалистическомъ раю не моются не только люди, но и дома. Это подлинное царство „неумытыхъ рылъ", и по весьма простымъ причинамъ. . . нѣтъ воды для лицъ, нѣтъ денегъ для ремонта домовъ. Кто будетъ ремонтировать?... Частная собственность уничтожена. Дома управляются „домкомами", т. е. комиссіями, избранными населеніемъ дома. „Избранный" домкомъ, разумѣется, не можетъ потребовать съ „избирателей" такой платы за квартиру, которая дала бы возможность ремонтировать домъ. И потому дома постепенно разрушаются, и ужъ конечно не до того, чтобы штукатурить фасады. . .

И вотъ посреди этихъ угрюмыхъ, постарѣвшихъ, покрывшихся преждевременными морщинами домовъ нарядненькой, чуть голубоватой свѣжей штукатурочкой кокетничаетъ это большое зданіе. . .

Что это такое?... Ну, разумѣется, это то, чѣмъ только интересуются въ царствѣ „трудящихся" . . . Это — штабъ.

Т. е. мѣсто, гдѣ разрабатываются способы, какъ принудить 150 милліоновъ народа трудиться не покладая рукъ, для того, чтобы 150 тысячъ бездѣльниковъ, именующихъ себя „пролетаріатомъ“, могли бы ничего не дѣлать. (Этотъ строй, какъ извѣстно, называется „диктатурой пролетаріата“ . . .)

Такъ вотъ, противъ наряднаго совѣтскаго штаба, влѣзшаго въ зданіе, которое было построено до революціи для Военнаго Округа, всегда происходятъ какіе то парады.

Парадоманія у большевиковъ ничуть не меньше, чѣмъ въ эпоху Павла I. Вотъ играютъ „встрѣчу“. Кого это встрѣчаютъ? . . . Ахъ, да . . . нашъ городъ посѣтилъ высокій гость, — товарищъ Луначарскій . . . Питомецъ Кіевской Императорской Александровской Гимназіи, нынѣ нѣчто въ родѣ министра искусствъ соціалистической республики. Почему ему устраиваютъ *военную* встрѣчу, — понять трудно: это пахнетъ Гоголемъ. . .

Музыка замолкаетъ. Слышны какіе то отдѣльные нечленораздѣльные звуки, какъ изъ испорченнаго, поставленнаго на чердакѣ, граммофона. Очевидно товарищъ Луначарскій говоритъ рѣчь. Затѣмъ . . . ахъ, что это такое?! . . . Да, — это оно. . . Знакомое, могучее, непобѣдимое. . . Ахъ, глупые, глупые люди, несчастное русское стадо! . . . Кричатъ „ура“. . . Волной перекатываясь, затихая и снова взмывая, волнующее, щемящее. . .

Есть ли предѣлъ русской дури. . .

Кому кричатъ „ура“, завѣтное, русское „ура“, прокатившееся по всему міру, отъ Парижа до Пекина, отъ Швеціи до Персіи? . . . Кому? Одному изъ тѣхъ негодяевъ, которые заставили русскую громаду рѣзать другъ друга и въ награду за море крови подарили имъ голодъ, холодъ и темноту. . .

И кричатъ „ура“ . . .

Значитъ, еще не конецъ. . . Значитъ, дурацкія головы, судьба будетъ еще хлестать васъ по щекамъ до тѣхъ поръ, пока не поумнѣете. . .

* * *

— Васъ желаетъ видѣть какая то дама. . .

Слѣдуетъ продолжительное совѣщаніе. Общее правило въ соціалистической республикѣ, что каждый незнакомый человѣкъ можетъ быть шпіонъ. Я вдругъ начинаю понимать,

почему образовался этотъ обычай при встрѣчахъ протягивать открытую руку. . .

Это вотъ почему. . . Въ вѣкъ звѣриный, когда по мрачной землѣ бродили люди, видѣвшіе за каждымъ стволомъ дерева смертельную опасность, люди свирѣпѣе скифовъ, они все-же иногда встрѣчались. . . И если у нихъ не было враждебныхъ намѣреній, что бывало не часто, они показывали другъ другу открытую ладонь, въ доказательство того, что въ рукѣ нѣтъ камня. Затѣмъ тихонько съ опаской подходили другъ къ другу, ближе и ближе и, наконецъ, чтобы убѣдиться окончательно, ощупывали другъ другу руки. И съ теченіемъ времени это превратилось въ дружественное рукопожатіе.

Такъ и сейчасъ. . . Въ этомъ царствѣ XX вѣка, нео-звѣриномъ, люди опять ощущаютъ справедливость старинной поговорки: homo homini lupus est. И они не смѣютъ прямо и просто подойти другъ къ другу. Подозрительно и долго, по разнымъ, неуловимымъ для свѣжаго человѣка, но явственнымъ для истаго контръ-революціонера признакамъ, опредѣляется — не изъ чрезвычайки-ли этотъ человѣкъ, въ данномъ случаѣ эта дама.

Но скоро я понялъ, что это просто Вѣра Михайловна. . .

* * *

Когда я съ нея познакомился, мы очень быстро сблизились . . . какъ это бываетъ только у большевиковъ, на почвѣ общей опасности и взаимопомощи. Оттѣнки вѣдь въ Совдепіи не въ модѣ. [illegible] напримѣръ, одно — „къ стѣнкѣ“. . . Такъ и въ человѣческихъ отношеніяхъ. . .

Вчера вы не были знакомы . . . сегодня у васъ дружба въ буквальномъ смыслѣ слова не на жизнь, а на смерть . . . ибо завтра вы спасли ее, или она васъ . . . а послѣзавтра васъ вмѣстѣ разстрѣляютъ. . .

И вотъ она сказала мнѣ. . .

— Вы знаете, что, кажется, изъ всѣхъ людей на свѣтѣ, я больше всего ненавидѣла васъ. . .

— За что?

— За ваши рѣчи въ Государственной Думѣ. . . Вѣдь я — убѣжденная эсъ-эрка . . . т. е. была. . .

— А теперь? . . .

— И теперь тоже . . . то есть нѣтъ . . . то есть не знаю . . . во всякомъ случаѣ. . .

Я не сталъ разспрашивать объ этомъ „всякомъ случаѣ“... Дѣло было и такъ ясно. . .

* * *

Какъ много теперь такихъ на свѣтѣ . . . сознавшихся . . . несознавшихся . . . и полусознавшихся, какъ Вѣра Михайловна. . .

* * *

Вѣра Михайловна была очень взволнована.

Вотъ что произошло.

Въ кафе, куда она случайно зашла, пришелъ какой то субъектъ. Онъ обратился къ прислуживающей въ этомъ кафе дамѣ. Извѣстно, что революція произвела въ Россіи революцію также и въ кафе. Образовался цѣлый рядъ предпріятій, содержимыхъ такъ называемыми „дамами изъ общества“. Поэтому вы никогда не можете быть увѣреннымъ, что барышня, которая подаетъ вамъ кофе или пирожокъ, не какая нибудь звонкая русская фамилія или что нибудь въ этомъ родѣ. Во всякомъ случаѣ, профессія, именуемая на Западѣ кельнершами, почти цѣликомъ перешла къ интеллигентнымъ русскимъ женщинамъ.

Это кафе было въ этомъ родѣ. Между столиками бродили придымленной походкой „бывшія дамы“.

Этотъ субъектъ пилъ кофе и говорилъ непонятныя вещи. Онъ, молъ, пріѣхалъ изъ Крыма и имѣетъ важное порученіе. Отъ кого?... Отъ „Слова“? Къ кому? . . . Къ „Вѣди? . . . Усталыя дамы съ придымленной походкой ничего не поняли въ этой таинственности. Онѣ не знаютъ никакого „Слова“ и никакого „Вѣди“. . .

Тогда субъектъ сталъ говорить прямѣе. Онъ присланъ къ В. В. Шульгину, и въ Крыму ему сказали, что онъ доберется до него черезъ это кафе. . .

На блѣдныхъ лицахъ бывшихъ дамъ отразилось изумленіе и страхъ. Конечно, онѣ слыхали мою фамилію и очень понимали, что вести со мною знакомство въ настоящую ми-

нуту не безопасно. Но вѣдь онѣ по настоящему никакого понятія обо мнѣ не имѣли. А вдругъ этотъ человѣкъ провокаторъ. . .

Вѣра Михайловна слушала все это, не подавая виду. И вотъ прибѣжала сообщить мнѣ. Субъектъ говорилъ о томъ, что онъ имѣетъ очень важное порученіе изъ Крыма, что ему совершенно необходимо меня повидать, что онъ привезъ деньги для меня. Онъ будетъ ожидать завтра цѣлый день въ такой то квартирѣ. Онъ называлъ себя „котикомъ“.

Вѣра Михайловна сидѣла на подоконникѣ. Обвивая ее съ двухъ сторонъ, врывались желтые звуки мѣдныхъ инструментовъ. Какому еще великому человѣку играли встрѣчу?...

Въ эту минуту, несмотря на запрещеніе, въ комнату вошла Ирина. У нея былъ румянецъ на щекахъ и голубые глаза явственно доказывали, что она или скажетъ дерзость или будетъ плакать. За ней съ виноватымъ и хмурымъ видомъ вошелъ Вовка — поручикъ Л. Очевидно ему не удалось ее удержать, какъ ему было приказано. Я понялъ, что ничего не подѣлаешь, и познакомилъ этихъ дамъ.

Обсужденіе положенія началось вчетверомъ.

Ирина сразу приняла агрессивное положеніе.

— Ясно, что этотъ „Котикъ“ провокаторъ... Отъ „Слова“ къ „Вѣди“!... Вѣдь это прямо очевидно... Ваши письма были озаглавлены отъ „Вѣди“ къ „Слову“... Естественно, что провокаторъ, чтобы заслужить довѣріе, употребитъ тѣ же выраженія въ обратномъ порядкѣ... И потомъ этотъ разсказъ...

Она запнулась, потому что этотъ разсказъ обозначалъ, что Эфема схватили... Разсказъ былъ такой. Будто въ день, когда онъ долженъ былъ уѣхать съ товарищемъ того курьера, который былъ присланъ изъ Крыма, его видѣли на улицѣ на извощикѣ съ какими то вооруженными красноармейцами. Этотъ разсказъ страшно взволновалъ меня, и я далъ сейчасъ же ордеръ по всей линіи, узнать черезъ наши связи, — не попалъ ли Эфемъ въ одно изъ мѣстъ заключенія, которыхъ было нѣсколько. Главное было на Маразліевской, огромный домъ, который одной стороной выходилъ на Канатную 29. Потомъ была еще чрезвычайка на Екатерининской, потомъ

была тюрьма и еще нѣсколько мѣстъ... Всюду были наведены точныя справки, ибо списки во всѣхъ этихъ мѣстахъ ведутся. Но нигдѣ его не было обнаружено. Это меня успокоило, и мы объяснили то, что его видѣли на извощикѣ съ красноармейцами такъ, что его спутникъ переодѣлся красноармейцемъ для безопасности. Ирина В. утверждала, что субъектъ, появившійся въ кафе, — провокаторъ. Но вѣдь можно было предположить и другое... Именно, что Эфемъ благополучно доѣхалъ, дѣйствительно передалъ письмо „Вѣди" — „Слову" и что „Котикъ" привезъ отвѣтъ.

Расчетъ времени, правда, плохо выходилъ. Прошла вѣдь только одна недѣля со дня отъѣзда Эфема. За это время ему — доѣхать до Севастополя, а „Котику" пріѣхать изъ Севастополя въ Одессу было почти невозможно. Но „почти" не есть полная увѣренность... А вдругъ Эфемъ все-же доѣхалъ, тамъ мои друзья переполошились и въ тотъ же день послали въ Одессу мнѣ на помощь...

Мы долго обсуждали этотъ вопросъ. Шансы почти уравнивались. Можетъ быть и настоящій курьеръ, можетъ быть и провокаторъ.

Въ концѣ концовъ я рѣшилъ пойти на свиданіе съ этимъ Котикомъ... Благо онъ устроилъ это очень удобно — завтра онъ будетъ ждать меня цѣлый день.

* * *

„Завтра" съ утра собиралась гроза. И разразилась она тогда, когда Ирина съ Вовкой ушли.

Планъ компаніи былъ таковъ. Вовкѣ было поручено войти въ ту квартиру, которая была указана, подъ предлогомъ, что онъ отыскиваетъ комнату. Сдѣлать рекогносцировку, такъ сказать, на взглядъ, насколько квартира подозрительна и если возможно, не спрашивая ничего, а только „ловкостью рукъ" повидать этого „Котика", какъ онъ себя назвалъ. Сдѣлавъ рекогносцировку, прійти въ одну квартиру, гдѣ я его буду ждать.

Иринѣ было приказано (именно приказано, — она только что вступила въ „организацію" и психологически душа ея жаждала приказанія) неотступно слѣдить за Вовкой, когда онъ

будетъ выходить изъ той квартиры и вообще на всякій случай. Самому человѣку очень трудно опредѣлить, слѣдятъ ли за нимъ. Для этого случая обязательно долженъ быть сопровождающій, который легко выслѣдитъ слѣдящихъ. Это слѣжка за слѣжкой.

Они ушли и пошелъ дождь, какъ говорится въ какомъ то глупомъ каламбурѣ. Этотъ дождь сыгралъ роль во всей этой исторіи.

Я слушалъ въ продолженіи часа, какъ онъ барабанилъ по крышамъ, потомъ надѣлъ какое то непромокаемое пальто, которое я случайно нащупалъ въ полутемной передней, свою черную фетровую шляпу, и вышелъ.

„Люблю грозу въ началѣ мая“ . . .

* * *

Дождь стихъ и очень пахло свѣжестью и цвѣтами. Я страшно люблю эту минуту, когда послѣ пустынности разогнанной дождемъ улицы вновь съ феерической быстротой закипаетъ жизнь. Люди почему то въ эти минуты какіе то веселые и молодые . . . Я думаю, всѣмъ, даже самымъ старымъ, хочется пошлепать по лужамъ . . .

Я поднялся въ эту квартиру.

Двѣ молоденькія барышни . . . Онѣ были предупреждены, что я прійду. Но имъ не было сказано, кто я. Имъ было сказано, что прійдетъ господинъ, которому надо видѣться съ Вовкой. И это было для нихъ достаточно.

Я сказалъ съ ними нѣсколько словъ. Обѣ были кіевлянки . . . У нихъ не было почти никакой мебели въ комнатѣ. Одна лежала на полу и что то учила. Другая сказала мнѣ, что она сестра милосердія. Обѣ были въ большой нуждѣ, но бодрыя и радостныя радостью молодости. И улыбались такъ, какъ могутъ улыбаться только кіевлянки . . .

Узнали ли онѣ меня? . . . Можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ.

Говорятъ, что женщины болтливы . . . Но какъ бы онѣ могли, если бы это было, такъ обманывать? Ни одинъ мужчина, самый скрытный, не такъ скрытенъ, какъ самая откровенная женщина. Это у нихъ въ крови.

* * *

Пришелъ Вовка. Онъ вошелъ въ квартиру и нашелъ, что все въ порядкѣ, спросилъ Котика и даже привелъ его сюда...

— Какъ... Гдѣ же онъ?...

— Въ передней...

Мы попросили барышенъ „очистить помѣщеніе", и Вовка ввелъ этого человѣка.

Это былъ человѣкъ маленькаго роста, неопредѣленныхъ лѣтъ, отъ 25 до 40... Совершенно бритый, голова и лицо. Характерно было слѣдующее: онъ производилъ впечатлѣніе мертвой головы съ этими глубоко втянутыми щеками и запавшими глазами.

— Вы — „Вѣди"?... Я присланъ отъ „Слова" къ „Вѣди"...

— Да, я — „Вѣди"... Садитесь пожалуйста...

По классическому обычаю всѣхъ Шерлоковъ-Хольмсовъ я опустился въ кресло спиной къ свѣту, чтобы мое лицо было въ тѣни. То есть я это сдѣлалъ потому, что мои глаза не выносятъ свѣта, но онъ то вѣроятно подумалъ, что я это дѣлаю изъ предосторожности. Онъ сидѣлъ около стола, маленькій, незначительный, одѣтый въ темно синій люстриновый костюмъ. Такіе стали почему то входить въ моду среди совѣтскаго чиновничества (очевидно прислали какую то партію). Это мнѣ не понравилось. Но вѣдь развѣ онъ не могъ переодѣться здѣсь...

Онъ началъ:

— Я очень боюсь... какъ бы меня не выслѣдили... Правда, я переодѣлся совершенно...

Вотъ и отвѣтъ...

— У васъ есть ко мнѣ письмо?...

— Нѣтъ, письма не успѣли написать. Меня спѣшно вызвали къ капитану Александросу, то есть къ моему начальнику...

— Гдѣ?...

— Въ Севастополѣ... Я служу въ военной развѣдкѣ... Вдругъ меня зовутъ и приказываютъ спѣшно ѣхать въ Одессу, найти васъ... Вѣдь вы господинъ Шульгинъ?

— Да, я Шульгинъ.

— Найти васъ и передать вамъ хоть на первое время деньги. Эти деньги лично для васъ... Немного... Тутъ же былъ и „Слово“... господинъ Л...

„Слово“ вовсе не господинъ Л... Это на мгновенье возобновило мои подозрѣнія... Но съ другой стороны, — откуда бы онъ могъ знать, кто такой „Слово“... Очень естественно, что „Слова“ не оказалось въ Севастополѣ, Л. вскрылъ письмо и поспѣшилъ прислать мнѣ прежде всего деньги... Но подозрительно было, почему нѣтъ хоть бы маленькой записки, какъ это у насъ было принято... Но съ другой стороны, вѣдь деньги не имѣютъ запаха, а записка... записка всегда можетъ погубить курьера.

— Хотите получить кушъ?..

Меня это выраженіе „кушъ“, подъ которымъ онъ подразумѣвалъ присланныя деньги, покоробило. Но вѣдь мало-ли какой у нихъ жаргонъ, въ этихъ развѣдкахъ.

— Пожалуйста.

Онъ вынулъ пачку денегъ.

— Тутъ немного... Лично для васъ... Сейчасъ же послѣ меня или я самъ, или другой курьеръ, привезутъ вамъ деньги на „дѣло“. Вы только напишите, что вы предполагаете дѣлать, ваши планы и размѣръ организаціи и сколько вамъ приблизительно нужно... А тутъ разными деньгами... Царскими, совѣтскими... понасобирали...

— Это же собственно чьи деньги?...

— Это... право не знаю... Мнѣ передалъ Александросъ, но я думаю, что это деньги господина Л... Вы мнѣ расписку можете написать?

— Пожалуйста...

— Еще одно...

По его лицу прошло нѣчто, что я сразу понялъ... Онъ будетъ просить какое нибудь вознагражденіе.

— Если вы можете, я вамъ часть этихъ „царскихъ“ дамъ „совѣтскими“.

Дѣло было ясно... „Царскія“ стоили во много разъ дороже, чѣмъ „совѣтскія“. На этомъ обмѣнѣ онъ зарабатывалъ порядочную сумму... Я его сразу понялъ, но рѣшилъ

ему не отказывать, — человѣкъ сто разъ рисковалъ своей жизнью, чтобы добраться до меня, какъ ему не дать.

Я далъ ему расписку, сообразивъ, что и послѣ этого вычета останется порядочная сумма по нашимъ средствамъ. Деньги перешли въ мой карманъ.

Я сталъ распрашивать его о Крымѣ . . .

— Какъ армія? . . . Дисциплина возстановлена? . . .

— Возстановлена. Въ нѣкоторыхъ частяхъ очень хорошо . . . Былъ бунтъ Орлова, но это кончилось . . . Земельная реформа производится. Съ рабочими теперь стало лучше . . . Дорого, но хлѣбъ есть . . .

— Что же, есть какое нибудь правительство? . . .

— Да . . . во главѣ стоитъ какъ . . . егофамилія! . . . онъ еще былъ при старомъ режимѣ министромъ. . .

— Кривошеинъ? — подсказалъ Вовка.

— Да, да, Кривошеинъ. . .

— Какъ вы ѣхали?

— Черезъ Тендру. . . на Тендрѣ — тамъ пунктъ. . . а оттуда знакомые рыбаки переправили.

— Сколько времени вы ѣхали? . .

— Три дня. . . тамъ очень просятъ, чтобы вы какъ можно скорѣе прислали планъ вашей работы. . . Что вы предполагаете дѣлать и все прочее. . . какъ можно скорѣе. . . я завтра хочу ѣхать обратно, — я бы и отвезъ. . .

Я принялъ рѣшеніе. Мнѣ онъ казался настоящимъ курьеромъ. Держалъ онъ себя просто, интеллигентности былъ средней. Я спросилъ его еще.

— Вы офицеръ? . . .

— Нѣтъ. . . я изъ рабочихъ. . . Ропитовецъ. . .

Значитъ, и въ этомъ пунктѣ не вретъ: мнѣ ясно было, что онъ не офицеръ. Среди же Ропитовцевъ, т. е. рабочихъ „Русскаго Общества Пароходства и Торговли“, дѣйствительно было очень много сочувствующихъ намъ элементовъ.

И я рѣшилъ такъ. То, что онъ отъ меня проситъ, я дамъ ему завтра. За сутки что нибудь выяснится. Нужно назначить ему второе свиданіе. Если выяснится что нибудь подозрительное, я не пойду.

И я сказалъ ему:

— Вотъ что. . . я приготовлю планъ. Онъ будетъ изложенъ коротко, но по возможности полно; я задѣлаю его такъ, чтобы вамъ легко было его везти. Напримѣръ, вы получите завтра коробку съ папиросами и въ одной изъ папиросъ будетъ все, что вамъ нужно. Вы передадите папиросы „Слову“.

— Хорошо. . . только пожалуйста отмѣтьте хотя бы точкой, какая будетъ папироса.

Эта фраза сильно усыпила мои подозрѣнія. Если онъ провокаторъ, неужели онъ будетъ заботиться о какой то точкѣ на папиросѣ. Очевидно въ немъ говоритъ добросовѣстность добросовѣстнаго развѣдчика. Къ тому же для провокатора онъ поразительно спокоенъ. Вѣдь онъ одинъ въ квартирѣ, въ совершенно незнакомой ему квартирѣ, и въ сущности въ нашихъ рукахъ. Допустимъ, какимъ нибудь образомъ мы узнаемъ, что онъ провокаторъ. Намъ нечего терять, потому что мы въ мышеловкѣ, — навѣрное подъѣздъ окруженъ—и тогда въ отчаяніи изъ злобы и мести можемъ и отправить его на тотъ свѣтъ. Провокаторъ все таки бы волновался. А этотъ абсолютно спокоенъ.

Въ это мгновенье распахнулась дверь и въ комнату ворвалась. . . Ирина. Именно ворвалась. Однаго взгляда было достаточно, чтобы опредѣлить, что она сильно взволнована.

— Простите, что я такъ вошла. . . Мнѣ нужно поговорить съ вами, Владиміръ Александровичъ.

Мы встали при ея появленіи. Всталъ и „Котикъ“. Она подала ему руку и по привычкѣ и въ растерянности ткнула ее ему въ губы. Тутъ произошло мгновенное замѣшательство. Котикъ, можетъ быть не привыкшій цѣловать дамамъ ручку, сильно покраснѣлъ, смутился. . .

— Владиміръ Александровичъ, можно васъ на минутку...

Они ушли въ корридоръ.

Я остался вдвоемъ съ Котикомъ и, пытаясь сообразить, что обозначаетъ появленіе Ирины, продолжалъ распросы о Крымѣ. Но предварительно я сказалъ ему на всякій случай:

— Вы простите, пожалуйста. . . и не опасайтесь. . . Она ни во что не посвящена и совершенно даже не догадывается. . . Очевидно какая то исторія. . .

При этомъ я сдѣлалъ такое выраженіе лица, чтобы можно было подумать, что Ирина закатываетъ какую то сцену молодому студенту, т. е. Вовкѣ.

Мы поговорили еще о Крымѣ. Котикъ оправился отъ смущенія и отвѣчалъ на распросы толково. Для меня было ясно, что онъ во всякомъ случаѣ былъ въ Крыму.

Вошелъ Вовка.

—Необходимо вамъ сказать два слова.

Я извинился передъ Котикомъ съ видомъ „о Господи, Боже". Я чувствовалъ, что что то случилось.

Въ темномъ корридорѣ Ирина взволнованно шептала.

— Я слѣдила за Вовкой. . . онъ вошелъ въ квартиру „Котика". . . Былъ сильный дождь. . . никого не было на улицѣ. . . А у подъѣзда, куда онъ вошелъ, я увидѣлъ двухъ. . . бритые. . . должно быть жиды. . . Одинъ побольше, другой — поменьше. . . и толстый. . . Высокій въ желтыхъ ботинкахъ, низкій въ черныхъ лакированныхъ. . . Они не уходили, несмотря на дождь. Я тоже не уходила. . . Стояла напротивъ. . . Они меня замѣтили. . . я дѣлала видъ, что пережидаю дождь. . . Вовка вышелъ. . . съ „Котикомъ"... желтые и лакированные пошли за ними. . . на углу къ нимъ подошло еще двое — ихъ четверо. . . я не могла больше слѣдить, потому что всѣ они меня хорошо замѣтили. . . этотъ мой клѣтчатый костюмъ бросается въ глаза. . . и золотые волосы. . . я должна была уйти. . . я обѣжала нѣсколько кварталовъ, чтобы ихъ сбить и пришла сюда . . . Но они тутъ!... у подъѣзда. . . желтые и лакированные!... Что мнѣ было дѣлать?!... Они васъ схватятъ, какъ только вы выйдете, они васъ схватятъ.

Я понялъ, что опасность дѣйствительно есть. Въ сущности мы были въ мышеловкѣ. . . Но надо выкручиваться какъ нибудь. . .

— Позовите сюда этихъ барышенъ. . . Пусть переодѣнутъ Ирину.

Все съ этой минуты пошло очень быстро. Я вернулся къ Котику, сообразивъ, что надо быть особенно осторожнымъ сейчасъ. Конечно, онъ провокаторъ. Какимъ образомъ эти „желтые" и „лакированные" могли очутиться здѣсь у

подъѣзда этой квартиры послѣ того, какъ они стаціонировали у квартиры Котика. Совпаденіе. . . Нѣтъ, такихъ совпаденій не бываетъ.

Я сказалъ ему:

— Вы знаете, эти барышни, въ комнатѣ которыхъ мы сейчасъ, онѣ глупенькія барышни, которыя по счастію ничего не понимаютъ. . . Но онѣ начинаютъ волноваться. . . Вѣдь я имъ даже не знакомъ, Вы — тоже. . . Какое то таинственное засѣданіе у нихъ въ комнатѣ. . . Онѣ боятся. . . Вотъ почему приходится ихъ успокаивать. . .

Сказавъ ему еще нѣсколько фразъ, я опять вышелъ въ корридоръ. Ирина была уже готова. Передо мною стояло незначительное существо, въ какомъ то длинномъ старенькомъ бурнусѣ, закутанное въ темную вуаль . . . Неопредѣленнаго возраста женщина, скорѣе пожилая, и бѣдная . . .

Я сказалъ барышнямъ:

— Проводите ее чернымъ ходомъ .. Ирина, выходите черезъ ворота . . . И не возвращайтесь домой . . . Ночуйте у знакомыхъ.

Теперь очередь была за Вовкой. Вовку „желтые и лакированные“ хорошо видѣли. И надо было, чтобы онъ ушелъ незамѣтно во что бы то ни стало, ибо если его и не схватятъ, то за нимъ будутъ слѣдить, пока не откроютъ нашу квартиру. Вотъ тутъ то сыграло роль то непромокаемое пальто, которое я случайно захватилъ, такъ какъ шелъ дождь. Я одѣлъ въ него Вовку и нахлобучилъ на него свою черную фетровую шляпу. Изъ студента, если и не наряднаго, то во всякомъ случаѣ вполнѣ студента, вдругъ получился какой то молодой еврейчикъ, не то скрипачъ, въ дешевенькомъ ресторанѣ, не то мальчикъ для подозрительныхъ порученій.

Въ это время барышни донесли, что Ирина выбралась благополучно.

— Ну, поручикъ. . . ваша очередь. . .

Онъ ушелъ. А я пошелъ къ провокатору.

Теперь вопросъ состоялъ въ томъ, какъ мнѣ уйти. . . Но это меня мало затрудняло. Изъ насъ трехъ я былъ единственный, котораго „желтые и лакированные“ не видѣли. Узнать же меня, какъ Шульгина, если даже они меня и знали

раньше, почти невозможно. Они увидятъ передъ собой старика съ большой сѣдой бородой въ какой то фуфаечкѣ, не то шарманщика, странствующаго по дворамъ, не то мастерового. Эта вязанная куртка, что была на мнѣ, она очень меня выручала.

Главный вопросъ состоялъ въ томъ, дастъ ли мнѣ Котикъ выйти первымъ. Если онъ уйдетъ первымъ, онъ конечно укажетъ меня, и меня уже не выпустятъ. Но если я уйду первымъ, то „желтые и лакированные" не могутъ знать, что я — я. . .

Я сказалъ ему:

— Знаете что. . . Я немножко побаиваюсь за васъ. . . Какъ бы васъ не выслѣдили . . . Поэтому, подождите еще четверть часа, пока стемнѣетъ. И выходите чернымъ ходомъ . . . васъ проводятъ . . . А я пойду . . . Завтра къ вамъ прійдутъ съ папиросами, и если успѣете, я бы хотѣлъ еще васъ повидать . . . Вы тогда условитесь съ тѣмъ, кто вамъ принесетъ папиросы.

Къ удивленію моему, онъ согласился. Значитъ онъ выпускалъ меня. Или онъ былъ увѣренъ въ своихъ „желтыхъ и лакированныхъ", или испугался и боялся себя выдать. Чувствовалъ ли онъ, что открытъ и, если не исполнитъ того, что я ему говорю, то съ нимъ поступятъ плохо . . . Во всякомъ случаѣ, онъ остался сидѣть въ комнатѣ, а я спустился по лѣстницѣ и вышелъ на улицу.

Тутъ только я сообразилъ, что мнѣ нечего надѣть на голову. Въ рукахъ у меня была Вовкина студенческая фуражка, но не могъ же я ее надѣть съ сѣдой бородой. Шелъ мелкій дождь. Я сдѣлалъ видъ, что мнѣ жарко и я подставляю голову „освѣжающей влагѣ". Растирая голову рукой, одновременно, я маскировалъ верхнюю часть лица, то есть собственно глаза. Говорятъ, по глазамъ легче всего узнать . . . Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и сталъ пересѣкать улицу.

Въ это мгновенье съ другой стороны улицы ко мнѣ бросилось двое. У меня было опредѣленное ощущеніе, что они меня схватятъ за руки. Я опустилъ глаза и увидѣлъ справа отъ себя „желтые". . . а слѣва „лакированные" . . . Это были они . . .

Это продолжалось одно мгновенье . . . Они заглянули мнѣ въ самое лицо съ двухъ сторонъ. Тогда я поднялъ глаза и изумленно посмотрѣлъ на одного и другого. Этотъ взглядъ рѣшилъ дѣло.

Очевидно они оба сказали себѣ: „Нѣтъ, не можетъ быть“... Они пропустили меня, и я прошелъ между ними. Мнѣ даже не хотѣлось оглянуться. Я такъ сильно чувствовалъ, что я старикъ мастеровой, которому никакого дѣла нѣтъ до этихъ господъ.

Я обернулся, пройдя два квартала. Повидимому никто за мной не слѣдилъ. Въ это мгновенье я натолкнулся на переодѣтаго Вовку, который бродилъ около, опасаясь, что со мною. Изъ предосторожности я не подошелъ къ нему, а только сказалъ:

— Идите прямо... я нагоню васъ . . .

* * *

Я нагналъ Вовку, который внимательно читалъ у какого то тамбурина.

— Вовка, этого не слѣдуетъ дѣлать . . . Эти объявленія наклеены три мѣсяца тому назадъ . . .

Онъ вздрогнулъ и обрадовался.

— Ну, погуляемъ . . . Если эти господа слѣдятъ, то пусть поработаютъ.

И мы гуляли . . . хорошимъ шагомъ . . . контрреволюціоннымъ . . . Наконецъ, мы вышли на длинную улицу, которая была хорошо видна и на которой не было ни одного человѣка. Тогда я сказалъ Вовкѣ:

— Теперь мы гарантированы . . . начисто . . .

Рекомендую вниманію тѣхъ, кому приходится скрываться отъ слѣжки, что это единственный способъ дѣйствительно быть увѣреннымъ, что за вами не слѣдятъ. Если на улицѣ есть хоть нѣсколько человѣкъ, каковы съ виду они-бы ни были, у васъ нѣтъ увѣренности. Но если вы выйдете въ такое мѣсто, гдѣ, насколько доступно оку, нѣтъ ни единаго человѣческаго существа, ваша игра отыграна . . .

Въ этотъ вечеръ по совершенно пустыннымъ улицамъ, среди дождя и темноты, мы все же разыскали Ирину. Она

ночевала у какой то своей подруги и утверждала, что за ней не слѣдили. У нея на этотъ счетъ былъ очень хорошій пріемъ, но объ немъ умалчиваю, можетъ быть пригодится еще когда нибудь . . .

Мы же съ Вовкой вернулись домой.

Мы выскочили на этотъ разъ . . . Но что же съ Ф. М.?! Если этотъ человѣкъ провокаторъ, то значитъ Эфема схватили. Откуда они могли знать „Вѣди" и „Слово", какъ не изъ писемъ, которыя были на немъ . . .

Письмо отъ Главнокомандующаго.

Вѣра Михайловна вызвала меня на свиданіе. Она назначила мнѣ Соборъ. Я пошелъ туда. За мной на такомъ разстояніи, чтобы не терять меня изъ глазъ шелъ сынъ — Ляля.

Я чувствовалъ, что вокругъ меня и всѣхъ насъ шарятъ ищущія руки Чрезвычайки. И потому надо было принимать мѣры. Мы никогда не выходили изъ дому, не осмотрѣвшись хорошен...ко, и взяли себѣ за правило всегда обращать вниманіе, не слѣдитъ ли кто нибудь. Но вдвоемъ это гораздо легче.

Мнѣ предстояло пройти черезъ большой кусокъ города. По дорогѣ вышла задержка. Впереди раздались какіе то выстрѣлы. Люди шарахнулись во всѣ подъѣзды. Улица опустѣла.

Я сначала не понялъ, что это такое, но потомъ сообразилъ. Это было въ своемъ родѣ поучительное зрѣлище.

Сначала показалась цѣпь красноармейцевъ, она захватила улицу поперекъ и отъ время до времени палила въ воздухъ. За этой цѣпью шла толпа людей съ маленькими узелочками, мужчины и женщины. Одного взгляда мнѣ было ясно, чтобы понять, что это нашъ братъ, — контръ-революціонеры . . . Ихъ переводили изъ Центральной Чрезвычайки куда то въ другое мѣсто, должно быть въ тюрьму. Очевидно, это были важные преступники, если судить съ какой помпой ихъ вели. Не только передняя цѣпь красноармейцевъ, но и боковыя, которыя шли по тротуарамъ, вдоль самыхъ домовъ, палили въ воздухъ. Для чего это они дѣлали?... Чтобы въ паникѣ насе-

леніе разбѣгалось по домамъ, и было имъ свободно вести добычу . . .

Я думалъ о томъ, что вотъ и Эфемъ можетъ быть среди нихъ? Но его не было.

* * *

Было еще приключеніе . . .

Мы наткнулись на облаву. Облава — это одно изъ обычныхъ явленій „соціалистическаго рая“. Идутъ люди по улицѣ, тихо, мирно, все, какъ всегда . . . Но вдругъ начинается бѣгство. Навстрѣчу мчатся люди . . . Это значитъ, они тамъ, впереди, наткнулись на цѣпь. Часть этихъ бѣгущихъ успѣетъ проскочить. Остальныхъ поймаютъ. Ибо такія же цѣпи внезапно вынырнутъ въ противоположномъ концѣ улицы и на всѣхъ боковихъ. Эти цѣпи постепенно сближаются и сгоняютъ людей въ одно мѣсто. Тогда начинается процедура пересмотра „улова“. Иногда такимъ образомъ ловятъ тысячу — двѣ, одинъ разъ поймали 8.000 человѣкъ. Тутъ же, на улицѣ, начинается провѣрка документовъ, ибо цѣль этихъ облавъ поймать контръ-революціонеровъ, дезертировъ, спекулянтовъ и всяческихъ враговъ совѣтской республики.

Облавы эти колоссально глупы потому, что у настоящихъ враговъ совѣтской власти, активныхъ, документы всегда въ блестящемъ порядкѣ. Длится это процедура много часовъ, затѣмъ подозрительныхъ ведутъ въ Чрезвычайку. Естественно, что подозрительными оказываются главнымъ образомъ тѣ, у кого есть деньги. Деньги остаются въ Чрезвычайкѣ.

Мы съ Лялей удачно юркнули въ переулокъ. Какъ только мы прошли, онъ замкнулся цѣпью. Но мы уже выскочили.

Эти люди имѣли совершенно особый видъ и наводили панику. Разсказывали, что Одесская Чрезвычайка получила изъ Москвы 400 абсолютно вѣрныхъ и прекрасно выдрессированныхъ людей. Было ли это такъ, не знаю, но внѣшній видъ ихъ былъ дѣйствительно, если не устрашающій, то дѣйствующій на воображеніе. На головахъ у нихъ были только что примѣненные тогда новые головные уборы. Они нѣсколько напоминали шеломы былинныхъ русскихъ витязей, но были сдѣланы изъ сукна защитнаго цвѣта, на какомъ то каркасѣ. На шлемѣ была нашита большая красная звѣзда. Остальная

одежда была обычная — форменная, одинаковая у всѣхъ и хорошаго качества. Люди имѣли сытый и довольный видъ. Очевидно, этихъ вѣрныхъ псовъ Чрезвычайки холили и лелѣяли . . . На взглядъ все это были русскіе, — но великороссы, не здѣшніе . . .

* * *

Бѣлый Одесскій Соборъ. Народу немного . . . Сейчасъ нѣтъ богослуженія.

Я сѣлъ на скамейкѣ. Вѣра Михайловна долго не приходила. И пріятно мнѣ было, страшно пріятно въ храмѣ . . .

Мнѣ припомнилось, какъ передъ эвакуаціей Одессы я былъ въ митрополичьихъ покояхъ и думалъ:

— Ну что же... прійдутъ большевики, а это останется...

И вотъ „это" осталось. Стоитъ этотъ соборъ, какъ и остальныя церкви въ Одессѣ, и всѣмъ своимъ существомъ невидимо, ненащупываемо противится красному міру.

Отчего большевики перемѣнили свою политику въ отношеніи религіи — я не знаю. Я даже не знаю, перемѣнили ли они ее тамъ, въ Великороссіи, въ Москвѣ . . . Но здѣсь, въ Одессѣ, я долженъ засвидѣтельствовать, что отправленіе богослуженія, какъ таковаго, не преслѣдовалось. Всѣ храмы открыты, кромѣ домовыхъ церквей. Домовыя почему то закрыты.

Отчего это произошло? Оттого ли, что большевики не посмѣли тронуть религію вообще, или потому, что пришлось бы тронуть *одну* религію. Вѣдь невозможно было бы закрыть церкви, но не закрыть синагогъ . . .

* * *

Наконецъ она пришла . . . блѣдная, разстроенная . . .

Это ужасное извѣстіе подтверждалось. Нашлись люди, она говорила съ ними лично, которые видѣли, какъ несчастнаго Эфема везли. Это были Чрезвычайщики. Они держали револьверы у его висковъ, онъ былъ очень блѣденъ и повидимому узнавъ тѣхъ людей, его знакомыхъ, что стояли на тротуарѣ, отвелъ глаза . . .

* * *

И вмѣстѣ съ тѣмъ она принесла еще другое.

„Котикъ" опять былъ. Онъ очень обиженъ, что повидимому ему не повѣрили и прервали съ нимъ сношенія; ему совершенно необходимо со мной увидѣться еще разъ. Онъ побывалъ у Варвары Петровны — дамы, у которой жилъ Эфемъ. И совершенно убѣдилъ ее въ томъ, что онъ настоящій, а не провокаторъ. Варвара Петровна въ ажіотажѣ и умоляетъ съ ней повидаться.

* * *

Я вышелъ изъ Собора, но не увидѣлъ сына, который долженъ былъ меня дожидаться. Зная, что мальчикъ ни за что не уйдетъ со своего „поста", я началъ сильно безпокоиться. Примѣръ Эфема дѣйствовалъ на меня и мнѣ мерещилось, что Лялю схватили. Я долго его разыскивалъ и пережилъ нѣсколько ужасныхъ часовъ.

Но дѣло объяснилось... Къ вечеру онъ пришелъ на одну изъ нашихъ квартиръ. Онъ потерялъ меня изъ виду, когда я вошелъ въ Соборъ, бросился разыскивать въ сосѣднія улицы, пропустилъ меня поэтому, когда я уходилъ, и, вѣрный „долгу службы", метался до вечера вокругъ Собора, пока ему не пришло въ голову искать по квартирамъ.

Проклятая жизнь... Это вѣчное безпокойство, дрожаніе за жизнь людей... Хоть мы и привыкли къ этому, но все же...

* * *

Я увидѣлся съ Варварой Петровной...

— Помилуйте, Василій Витальевичъ...

— Сколько разъ я вамъ говорилъ, что я не Василій Витальевичъ, а Иванъ Дмитріевичъ...

— Ну, Иванъ Дмитріевичъ... Подумайте... что это въ самомъ дѣлѣ... Да вѣдь онъ честнѣйшій человѣкъ.

— Кто?...

— Да „Котикъ"... Я же его прекрасно знаю... онъ десять дней каждый день ко мнѣ приходилъ...

— Какъ? когда? почему?

— Да потому, что онъ тотъ самый, съ которымъ Ф. М. уѣхалъ. Господи!... Да я ихъ сама выправляла въ дорогу. И то, что у нихъ было, всѣ эти бумаги и письма, все я Котику собственными руками позашивала. Да что вы, Василій Витальевичъ... Честнѣйшій онъ человѣкъ...

— А вы знаете, что Ф. М. арестованъ?

— Да что вы!... Врутъ они всѣ... врутъ, всѣ врутъ... а ваша Вѣра Михайловна сумасшедшая... и ничего этого не было... я вотъ перекрещусь вамъ, чтобы вотъ такъ моимъ сыновьямъ было, какъ сейчасъ Ф. М... такъ ему хорошо, какъ никогда не было... я и на карты бросила... вѣрно говорю вамъ...

— „Котикъ" былъ у васъ теперь?

— Да былъ...

— Что же онъ говоритъ?...

— Да говоритъ, что довезъ благополучно Ф. М. до этого острова, какъ онъ называется... Тендра... И тамъ передалъ его нашимъ... а самъ вернулся.

— Какъ вернулся?... да вѣдь мнѣ онъ сказалъ, что онъ прямо изъ Севастополя... А деньги, какъ онъ получилъ?... Тоже на Тендрѣ?... А господина Л. тоже видѣлъ на Тендрѣ?...

— Да я ужъ не знаю... Можетъ быть и перепуталъ онъ что, какъ увидѣлъ, что ему не вѣрятъ...

— А почему же онъ не сказалъ, что это именно онъ ѣздилъ съ Эфемомъ?

— Да вѣдь вы его не спрашивали.

— Я не спрашивалъ... но Владиміръ Александровичъ спрашивалъ, и онъ сказалъ, что не знаетъ никакого Ф. М.

— А какъ же онъ могъ сказать неизвѣстному студенту?... Если бы вы его спросили, онъ бы сказалъ. А вы не спросили... Василій Витальевичъ.

— Иванъ Дмитріевичъ... Въ сосѣдней комнатѣ слушаютъ...

— Иванъ Дмитріевичъ, не губите вы дѣло... Подумайте, вамъ письмо, личное письмо отъ самого Врангеля...

— Какъ, это еще что?...

— А то, что вслѣдъ за Котикомъ прислали они второго курьера. Съ письмомъ отъ Врангеля къ вамъ и съ деньгами,

чтобы вы работу открыли . . . Иванъ Дмитріевичъ, не слушайте вы тѣхъ . . . Большое дѣло можете сдѣлать . . .

Мнѣ было совершенно очевидно, что „Котикъ“ провокаторъ и что онъ погубилъ Эфема. И что этотъ второй курьеръ съ письмомъ отъ Врангеля тоже провокаторъ. И все таки . . .

И все таки . . . Когда женщина смотритъ вамъ въ глаза и вы читаете въ нихъ, что не скажемъ прямо трусость, а просто „излишняя осторожность“ можетъ погубить дѣло, — это плохая атмосфера для принятія благоразумныхъ рѣшеній.

Я рѣшилъ рискнуть . . . Она оказывается видѣла уже этого второго курьера.

— Честнѣйшій человѣкъ . . . Офицеръ . . . фронтовикъ . . . такъ и видно . . . Цѣлый день у меня васъ ждалъ . . . Приходите завтра, я имъ скажу, въ семь часовъ . . .

Я согласился.

* * *

Я шелъ обратно черезъ какой то базаръ. Ахъ какія тамъ за 200 рублей можно было поѣсть щи! . . . Мнѣ очень хотѣлось. Но это было слишкомъ дорого для меня.

Но зато я не отказалъ себѣ въ удовольствіи пощупать гитару. . . Хорошая гитара продавалась на базарѣ. И сверкала такъ на солнцѣ мѣдными струнами, какъ золото. 10,000 рублей. . .

И когда я взялъ нѣсколько аккордовъ на этой золотострунной гитарѣ, внутренній голосъ совершенно явственно и отчетливо зашепталъ:

— Берегись. . . берегись. . . берегись. . .

Мнѣ не было страшно, и онъ не отговаривалъ меня отъ моего рѣшенія. . . Онъ только настойчиво твердилъ:

— Берегись. . . берегись. . . берегись. . .

* * *

Бываютъ же такіе случайности. . .

Когда я шелъ при бѣломъ свѣтѣ солнца по N-ской улицѣ, я столкнулся лицомъ къ лицу съ человѣкомъ, который былъ тогда въ „желтыхъ“. Теперь я разсмотрѣлъ его вполнѣ. Онъ былъ одѣтъ иначе: въ темносинемъ люстри-

новомъ, а на головѣ форменная фуражка, вродѣ какъ у заграничныхъ моряковъ. И вообще въ его обликѣ было что то заграничное. Онъ былъ еврей, — это несомнѣнно. Но я бы сказалъ — иностранный еврей.

Встрѣтивъ его, я подумалъ:

— А не будетъ сейчасъ маленькій толстый, что былъ въ черныхъ лакированныхъ. . .

И черезъ нѣсколько шаговъ столкнулся съ этимъ послѣднимъ. И этотъ несомнѣнно былъ тоже евреемъ. Онъ былъ одѣтъ одинаково съ тѣмъ первымъ, съ тѣмъ же заграничнымъ отпечаткомъ. Теперь я ихъ великолѣпно разсмотрѣлъ. . .

* * *

Отправляясь на свиданіе съ почти завѣдомымъ провокаторомъ я долженъ былъ принять нѣкоторыя мѣры. Я сдѣлалъ такъ.

Во первыхъ я рѣшилъ опоздать на часъ. Я понималъ, что провокаторъ приведетъ за собой свой хвостъ, который расположится на улицѣ. И мнѣ было выгодно, чтобы они пришли раньше меня, потому что если бы мнѣ удалось установить наличность агентовъ чрезвычайки у дома, я бы просто не вошелъ.

Но для этого мнѣ нужно было имѣть свою полицію. Такъ и было сдѣлано. Я рѣшилъ поставитъ дѣло семейнымъ образомъ. Я поручилъ главное начальство Лялѣ. У него подъ началомъ былъ младшій сынъ — Димка, а въ резервѣ моя жена. Она очень безпокоилась, и я чувствовалъ, что ей легче будетъ на „полѣ сраженія“.

Они должны были занять свои мѣста раньше условленнаго времени. Ляля — противъ дома, Димка — черезъ кварталъ, такъ, чтобы видѣть Лялю и исполнять его телеграфныя приказанія, жена около ограды одной церкви поблизости. Я долженъ былъ прійти съ опозданіемъ на часъ къ церковной оградѣ. Здѣсь мнѣ бы сообщили, что тамъ дѣлается около дома.

* * *

Я пришелъ къ оградѣ, какъ было условлено. Знакомая фигура жены, которую никакъ нельзя было подогнать подъ

защитный цвѣтъ, стояла у воротъ. Ея внѣшность, такъ же, какъ и видъ обоихъ сыновей, всегда меня безпокоилъ. За три улицы отъ нихъ вѣяло бѣлогвардейщиной.

— Мальчики не приходили?

— Нѣтъ. . .

Значитъ все благополучно. Я пошелъ, думая о томъ, какой жестокой пыткѣ я подвергаю близкихъ. Но какъ то мы всѣ дисциплинировались. Надо, такъ надо. Ни протестовъ, ни упрашиваній. . . Въ общемъ мы научились понимать, что въ трудныхъ положеніяхъ только отчетливое исполненіе того, что надо, спасаетъ дѣло.

* * *

На условленномъ углу я нашелъ Димку. Онъ въ своей красной рубашкѣ и съ вьющейся шевелюрой совсѣмъ напоминалъ Ваню изъ „Жизни за Царя".Опера не совсѣмъ подходящая къ случаю, хотя. . .

— Благополучно? . .

— Можно итти. . . Вонъ Ляля. . .

* * *

Ляля по классическому обычаю, примѣняемому въ такихъ случаяхъ, лускалъ сѣмечки. Удивительно, какъ сѣмечки дѣйствуютъ успокаивающимъ образомъ на Чрезвычайку. А еще говорятъ вѣрный способъ, если кто нибудь васъ подозрѣваетъ, — пройти мимо и пустить ему дымъ въ лицо. Впрочемъ, не пробовалъ — не курящій. . . Но знаю, что очень хорошо почаше сплевывать. . . Плевки и до сихъ поръ служатъ гарантіей демократичности. . .

— Ну, какъ дѣла? . . .

— Тѣхъ нѣтъ.

Подъ словомъ „тѣ" онъ подразумѣвалъ бывшихъ „желтыхъ и лакированныхъ", нынѣ называемыхъ „заграничные жиды въ морскихъ фуражкахъ". Благодаря сегодняшней встрѣчѣ я могъ съ совершеннѣйшей точностью описать ихъ наружность.

— А кто нибудь входилъ въ домъ?

— Входили, многіе . . . Но невозможно опредѣлить. . . На улицѣ никто не дежуритъ, это я знаю. . .

— Ну я пойду. . . Тебѣ хорошо виденъ балконъ?

— Виденъ. . .

— Я буду сидѣть на этомъ балконѣ. Въ случаѣ чего — нашъ условленный знакъ. . . Если со мной что нибудь случится, — я запрещаю дѣлать глупости. . . Понимаешь? . . .

Онъ приложился головой къ моему виску и нѣсколько разъ какъ то особенно постукалъ. Это съ дѣтства было у него выраженіемъ нѣжности, повиновенія и безпомощнаго протеста. . .

* * *

Расположеніе было такое.

Входъ былъ только черезъ ворота. Нужный мнѣ домъ стоялъ во дворѣ, квартира была въ третьемъ этажѣ. Съ балкона хорошо было видно улицу, потому что по фасаду были только одноэтажныя зданія.

Я вошелъ въ квартиру. Варвара Петровна встрѣтила меня:

— Нѣтъ его еще . . .

Это было скверно. Они меня перехитрили. Я опаздывалъ на часъ, они очевидно рѣшили опаздывать на два . . . Теперь я въ западнѣ, если сейчасъ не уйду отсюда. Когда онъ прійдетъ, то, разумѣется, оставитъ свой хвостъ у воротъ. А вѣдь это единственный выходъ. Значитъ онъ будетъ у меня отрѣзанъ. Впрочемъ, я замѣтилъ рядомъ съ воротами лавочку. Лавочка навѣрное имѣетъ черный выходъ во дворъ, а значитъ въ крайнемъ случаѣ можно будетъ выйти черезъ нее.

Я сталъ ожидать. Варвара Петровна продолжала убѣждать меня въ томъ, какой хорошій человѣкъ „Котикъ“, и что новый курьеръ — тоже хорошій. Я сидѣлъ на балконѣ и ясно видѣлъ Лялю на скамеечкѣ, напротивъ. Я даже видѣлъ Диму, черезъ кварталъ, по крайней мѣрѣ его красную рубашку. Ляля сидѣлъ смирно, изрѣдка мелькомъ взглядывая въ мою сторону, такъ что я понялъ, что онъ меня видитъ. Но онъ не подавалъ никакихъ тревожныхъ знаковъ.

Во дворѣ подъ нами появилась высокая фигура въ сѣромъ.

— Это онъ, — сказала Варвара Петровна.

* * *

— Вы господинъ Шульгинъ? . . .

— Да . . . съ кѣмъ имѣю честь? . . .

Это былъ непріятный человѣкъ. Очень испорченные передніе зубы, маленькая сильно морщинистая голова. Морщины шли кругомъ, черезъ весь лобъ, переходя на щеки и подбородокъ. Зеленоватый цвѣтъ лица, лицо — порочное, злое.

— Моя фамилія Петровъ. Но это вамъ ничего не скажетъ . . . На самомъ дѣлѣ моя фамилія другая . . . У меня есть удостовѣреніе, которое я предъявлю . . . Я присланъ къ вамъ отъ военной партіи . . . надо вамъ сказать, что въ Крыму двѣ партіи. Во главѣ военной стоитъ генералъ Слащевъ . . . У меня письмо къ вамъ отъ Слащева . . . Я . . . я — фронтовикъ . . . ничего въ политикѣ не понимаю . . . Но мнѣ приказали доставить письмо вамъ . . . Приказали ѣхать въ Севастополь . . . тамъ явиться въ развѣдку . . . я такъ и сдѣлалъ, и мнѣ тамъ указали, какъ добраться сюда . . . Есть кромѣ того „кушъ“ . . .

Опять этотъ „кушъ“ . . .

— Кушъ — кушомъ, но прежде всего письмо . . .

Тутъ я сдѣлалъ ошибку. Конечно, прежде всего надо было получить деньги . . . Но меня такъ интересовало это письмо, что я даже мало обратилъ вниманія на одно обстоятельство: Варвара Петровна говорила мнѣ о письмѣ отъ Врангеля, а этотъ говоритъ о письмѣ отъ Слащева.

— Итакъ письмо?

— Письмо . . . вотъ видите . . . его сейчасъ нѣтъ при мнѣ . . .

— Вы забыли? . . .

— Нѣтъ. Я не забылъ . . . я вамъ скажу откровенно . . . Мнѣ приказано вручить письмо лично Шульгину . . .

Я посмотрѣлъ на него не понимая.

— Вотъ видите . . . не угодно ли вамъ взглянуть . . . вотъ мое удостовѣреніе . . .

Онъ протянулъ мнѣ клочекъ холста, на которомъ было написано удостовѣреніе отъ какого то штаба. Была и печать. Для меня, разумѣется это не могло служить никакимъ доказательствомъ. Столько такихъ же удостовѣреній, только

большевистскихъ, было изготовлено въ свое время по моему порученію.

Но я сдѣлалъ видъ, что это для меня вполнѣ убѣдительно.

— Да, все въ порядкѣ . . . А дальше? . . .

— Такъ вотъ, видите ли, я значитъ удостовѣряю свою личность . . . а чѣмъ вы можете удостовѣрить, что вы именно и есть Шульгинъ? . . .

Этого поворота я меньше всего ожидалъ. Очевидно я, дѣйствительно, такъ измѣнился, что не только меня не могутъ узнать, но даже когда я самъ заявляю, что я — я, мнѣ не вѣрятъ.

— Потому что, видите ли, — продолжалъ онъ, — я получилъ свѣдѣнія, что Шульгинъ, или, что то же, „Вѣди", великолѣпно скрывается или маскируется, и что онъ очень остороженъ. И въ особенности послѣ того, что произошло вчера, Варвара Петровна, я въ особенности . . .

— А что же произошло вчера? . . . — удивилась Варвара Петровна.

— А вотъ что . . . Я, какъ вы знаете, цѣлый день ждалъ у васъ прихода „Вѣди", но онъ не пришелъ . . . Но когда вы поздно вечеромъ меня провожали, то около воротъ я увидѣлъ высокую темную фигуру, которая тамъ притаилась . . . Это, конечно, и былъ „Вѣди" . . . И правильно, такъ и надо поступать . . .

Въ теченіе этого разговора я не терялъ Лялю изъ глазъ. Мнѣ казалось, что онъ проявляетъ признаки безпокойства. Наконецъ я опредѣленно увидѣлъ, что онъ дѣлаетъ мнѣ тревожный знакъ большой опасности . . . Этотъ знакъ былъ въ томъ, что онъ подноситъ платокъ къ носу, будто бы у него насморкъ . . . Онъ нѣсколько разъ сдѣлалъ этотъ жестъ, сидя на скамейкѣ, потомъ, очевидно боясь, что я не замѣтилъ этого жеста, онъ перешелъ черезъ улицу, все время держа платокъ у лица.

Какая могла быть эта опасность, о которой мальчикъ такъ опредѣленно сигнализировалъ? Для меня это было очевидно. Это значитъ, что агенты чрезвычайки у воротъ, и что предо мною сидитъ подлинный провокаторъ. Это значитъ

что надо попытаться вырваться отсюда . . . Для этого нужно: съ одной стороны дотянуть до темноты, чтобы облегчить себѣ бѣгство, если оно понадобится, а съ другой, надо поддержать въ немъ сомнѣнія, что человѣкъ съ сѣдой бородой, который сидитъ передъ нимъ, не Шульгинъ, а подставное лицо. Тогда ему будетъ полный расчетъ меня выпустить, чтобы прослѣдить меня и такимъ образомъ добраться до настоящаго „Вѣди“ . . .

Въ это время Варвара Петровна рѣшила прійти мнѣ на помощь.

— Да что вы голубчикъ . . . Я Василія Витальевича десять лѣтъ знаю. Самый онъ и есть, настоящій, передъ вами... Что вы выдумываете! . . .

Эта женщина была необычайно сообразительна . . .

Я сказалъ:

— Вполнѣ васъ понимаю . . . Но если хотите, давайте сдѣлаемъ такъ . . . Все равно у васъ нѣтъ письма съ собою, такъ давайте сойдемся еще разъ . . . ну завтра . . . вы принесете письмо, а я достану вамъ доказательства . . . Ну, хотите, напримѣръ, паспортъ Шульгина? . . .

— Нѣтъ, какое же это доказательство... Паспортъ...

— Вы что же думаете, что вы, какъ не спеціалистъ, не сумѣете отличить подложнаго паспорта отъ настоящаго? . . .

— Нѣтъ, я-то спеціалистъ . . .

Тутъ я подумалъ: „Странный фронтовикъ, который въ то же время спеціалистъ по подложнымъ паспортамъ“.

— Нѣтъ я-то спеціалистъ, но это такъ вѣдь просто . . . Шульгинъ дастъ вамъ настоящій свой паспортъ, и вы съ нимъ и прійдете . . . Какое же это доказательство!

— А какое же вы хотите? . . .

— Да вотъ давайте поговоримъ. Напримѣръ, если бы вы могли мнѣ разсказать что нибудь о лицахъ несомнѣнно близкихъ къ Шульгину . . . Вотъ напримѣръ, у васъ былъ племянникъ, редакторъ газеты . . .

Я понялъ, что онъ хочетъ . . .

— Вы говорите о Ф. А. М.?

— Да . . . Онъ же Петръ Ивановичъ З — овъ . . .

Онъ хотѣлъ этимъ еще больше увѣрить меня въ своей подлинности, называя мнѣ фальшивое имя Эфема, то самое имя, подъ которымъ онъ жилъ здѣсь у Варвары Петровны, вонъ тамъ, черезъ эту столовую, гдѣ уже становилось сильно темно . . .

Но не въ моихъ интересахъ было убѣдить его, что я — я . . . Я сказалъ:

— Ну, какое же это доказательство! . . . Полъ Одессы знаетъ, что Ф. М. племянникъ Шульгина . . . Знаю это конечно и я, — и могу знать и въ томъ случаѣ, если я — не я, то есть не Шульгинъ, а кто-то другой . . .

* * *

Я не видѣлъ больше Ляли . . . Онъ, очевидно, перемѣнилъ позицію. Я перевелъ разговоръ и сталъ распрашивать о Крымѣ, чтобы затянуть время . . . Быстро темнѣло . . . Больше напряженными нервами, чѣмъ слухомъ, я почувствовалъ стукъ въ входную дверь. Варвара Петровна, которая передъ тѣмъ ушла въ глубину квартиры, вернулась на балконъ.

— Тамъ вашъ Ляля пришелъ. Въ передней . . .

Я извинился передъ „фронтовикомъ — Петровымъ" и вышелъ въ переднюю. Тамъ была абсолютная темнота. Ляля не заговорилъ до тѣхъ поръ, пока я не нащупалъ его руками. Онъ боялся говорить въ этой квартирѣ.

— Ну что? . . .

— Никакихъ сомнѣній . . . Это они . . .

— Кто? . . .

— „Заграничные жиды въ морскихъ фуражкахъ" . . . Я ихъ хорошо разсмотрѣлъ . . . Они пришли за этимъ сѣрымъ, высокимъ . . . и стоятъ у воротъ.

— Это они — навѣрное? . . .

— Навѣрное . . . Одинъ большой, другой меньше — толстый . . . Оба бритые, въ морскихъ фуражкахъ . . . совсѣмъ какъ ты разсказалъ, это они . . .

— Ну, хорошо . . . Бѣги, Ляля . . . Я сейчасъ за тобой . . . тоже буду бѣжать . . .

Онъ постукался лбомъ о мой високъ . . .

— Я подожду тебя у скамейки . . .

Ему нельзя было отказать.

— Ну, жди . . .

* * *

Я не пошелъ больше на балконъ.

Я сталъ шарить по квартирѣ въ полной темнотѣ, отыскивая спальню Варвары Петровны. Въ спальнѣ я искалъ туалетный столикъ. На туалетномъ столикѣ я нашелъ ножницы... Потомъ нашелъ умывальникъ. И надъ умывальникомъ на ощупь сталъ снимать свою знаменитую сѣдую бороду.

Въ это время входную дверь кто то открылъ ключемъ. Я сообразилъ, что это, должно быть, сестра Варвары Петровны. Что съ нею будетъ, если она войдетъ сюда со свѣтомъ и увидитъ эту дикую картину. Перепугается на смерть, подыметъ сумасшедшій крикъ. А она чиркнула спичку и идетъ сюда... Тогда я пустилъ въ ходъ фразу почти что изъ „Пиковой Дамы“.

— Ради Бога не пугайтесь . . .

Она испугалась, но не крикнула. Въ это время покончивъ съ бородой я измѣнялъ свой туалетъ . . . Я сбросилъ пиджакъ и пустилъ, рубашку на выпускъ.

— Дайте мнѣ какой нибудь поясокъ.

Она послушно стала шарить, запаливъ ночничекъ, и подала мнѣ огрызокъ какого то ремешка. Онъ не сходился наполовину, но терять времени больше не стоило. Я схватилъ огрызокъ и вышелъ изъ квартиры . . .

Сбѣжалъ по лѣстницѣ во дворъ. Тутъ мнѣ пришла въ голову лавочка. Вотъ какой то ходъ, очевидно сюда. Спрошу папиросъ . . . И выйду черезъ тотъ ходъ на улицу . . .

Вошелъ . . . У нихъ свѣтло . . . По страннымъ лицамъ какихъ то дѣвушекъ, которыя что то кому то продавали, я сообразилъ свой видъ. Вѣроятно борода пострижена невозможно, и потомъ эта рубаха на выпускъ, лиловая ночная... Однако онѣ продали мнѣ папиросы. Но когда я хотѣлъ выйти на улицу, сказали:

— Нѣтъ, заперто . . . выходите черезъ дворъ . . .

Если бы эти женщины знали, какъ мнѣ неудобно, какъ

меня „не устраиваетъ“ выходить черезъ дворъ... Но дѣлать нечего... надо выходить.

Я закурилъ папиросу для большей ноншалантности и переступилъ порогъ.

* * *

Я рѣшилъ уходить не вправо и не влѣво, а прямо передъ собой, поперекъ улицы и затѣмъ по улицѣ, упирающейся въ эту.

Прямо отъ воротъ я пошелъ очень быстрымъ шагомъ. Было полутемно, но очевидно меня выдала походка. Я не успѣлъ перейти улицу, какъ почувствовалъ за собой спѣшащихъ людей. Должно быть я на одно мгновенье обернулся, мнѣ кажется, я видѣлъ, какъ они отдѣлились отъ стѣнки. Я ускорилъ свой шагъ и, быстро проходя мимо Ляли на скамейкѣ, пыхнулъ папиросой, чтобы онъ увидѣлъ мое лицо... Народу было мало на улицѣ, и я чувствовалъ за собой торопливые шаги. Я зналъ, что за этимъ кварталомъ будетъ улица налѣво, та еще пустыннѣй... Дойдя до угла, я брошусь влѣво и побѣгу. Чертъ съ ними! Неужели я дамся этимъ мерзавцамъ, не испробовавши быстроту ногъ! Въ молодости я бѣгалъ, не какъ Ахилессъ — конечно, но все же недурно...

* * *

За собой я слышу бѣгъ этихъ людей, кажется, какіе то крики... Я пробѣжалъ улицу, бросился вправо, влѣво, еще куда то... не слышно больше? Да... Потеряли?... или задохлись?...

— „Заграничные жиды въ морскихъ фуражкахъ“!... вѣдь онъ былъ толстый, этотъ маленькій; очевидно, задохся... А русскіе контръ-революціонеры, вышколенные на голодныхъ хлѣбахъ, легки на бѣгу...

„Потворствуй русской силѣ“!...

* * *

Покрутившись еще по улицамъ, я пошелъ на условленное мѣсто сбора. Оно было у ограды этой церкви. Ни жены, ни Димки уже не было. Меня безпокоилъ Ляля...

Но вотъ изъ темноты вынырнула его бѣлая рубашка.

Тѣ, кто не жили въ совѣтскомъ раю, не знаютъ, что значитъ выраженіе: „живъ и невредимъ“. . . „Кто на морѣ не бывалъ — Богу не маливался“. . . Кто ищетъ сильныхъ ощущеній, напримѣръ, скучающіе англійскіе денди или эксцентричные янки, могли бы излѣчиться отъ сплина и скуки. . . Меня удивляетъ, отчего они не совершаютъ увеселительныхъ прогулокъ въ Совдепію съ женами и дѣтьми. . .

— Ахъ. . . какъ они бѣжали! . . .

— Ты видѣлъ? . . .

— Да, видѣлъ все! . . . Я въ восторгъ пришелъ, когда ты помчался. . . а они за тобой. . . большой и толстый. . . но какъ ты бѣжалъ! . . .

— Да ты же какъ за этимъ слѣдилъ? . . .

— А я бѣжалъ за вами. . . они за тобою, а я за ними... Будто бы я тоже преслѣдую... Но они не могли... тотъ толстый скоро задохся, остановился и сталъ по жидовски ругать того большого и кулаками ему въ носъ. . . это они такъ разозлились, что выпустили... А потомъ ко мнѣ бросились... поняли... Я побѣжалъ отъ нихъ не очень скоро, такъ, чтобы посмотрѣть, что они сдѣлаютъ. . . Но они сейчасъ-же отстали. . .

Положительно было жарко въ этотъ теплый майскій вечеръ. Онъ даже былъ душный: какъ бываетъ, когда звѣздъ нѣтъ, а тучи какъ бы ватнымъ одѣяломъ прикрываютъ городъ. Это было 28 Мая по старому стилю. . .

Мы пошли съ Лялей. . . Уже было совсѣмъ темно. И эта темнота была пріятна, какъ безопасность. На одномъ углу, свѣтился рундукъ. Я купилъ Лялѣ. . . не сѣмячекъ, а шоколада. . . за „спасеніе отца“. . . Онъ былъ очень тронутъ. . .

* * *

Намъ предстояло еще очень много дѣла въ этотъ вечеръ.

Теперь чрезвычайка ясно понимаетъ, что я вижу ихъ карты. Бѣгъ за мною „заграничныхъ жидовъ“ ясно доказалъ, что и Котикъ, и этой второй, „фронтовикъ-Петровъ“, — провокаторы. . . Значитъ, я больше не пойду на эти удочки; имъ остается одно: захватить тѣхъ лицъ, которыя, по ихъ мнѣнію, имѣютъ съ нами связь. Надо было предупредить теперь же

ихъ, какой оборотъ приняло дѣло и посовѣтовать кой кому въ эту же ночь перемѣнить квартиры.

Но ничего этого намъ не удалось сдѣлать. Ибо никакъ нельзя было добиться въ квартиру. По совѣтскому декрету въ то время въ десять часовъ закрывались всѣ ворота и добиться какого нибудь толка отъ смотрителей двора (новый титулъ дворниковъ) было въ высшей степени трудно.

Мы ходили долго, наблюдая, какъ быстро замираетъ жизнь среди темныхъ, только кое гдѣ отдѣльными фонарями освѣщенныхъ улицъ.

Впрочемъ все вышло по иному.

* * *

Но надо было еще добраться на квартиру, гдѣ жилъ Ляля съ матерью и братомъ. Какъ они должны были безпокоиться! Эта квартира была очень удобная. Она выходила окнами на улицу и подоконники ея были аршинъ отъ земли. При этихъ условіяхъ сдать Лялю черезъ окошко въ темную комнату, откуда несся взволнованный шопотъ и протягивались дрожащія руки, не представляло затрудненій.

* * *

Я пошелъ одинъ . . . Время становилось совсѣмъ позднее, я чувствовалъ, что наскочу на патруль. Если бы не мой туалетъ и эта ужасно обстриженная борода, это мнѣ было бы безразлично. Я уже ночевалъ въ раіонѣ за позднее хожденіе и зналъ, что тамъ дѣлается. Но тутъ, въ такомъ видѣ...

Совсѣмъ недалеко отъ дома я таки „влипъ“. . .

— Кто идетъ? . . .

Что имъ отвѣтить? . . .

— Человѣкъ идетъ . . . вольный . . .

Слово „вольный“ обозначаетъ штатскій. Кто могъ быть въ этомъ патрулѣ? Конечно, солдаты.

— Отчего такъ поздно, товарищъ? . . .

— Да развѣ поздно? . . .

— Три часа било . . .

Совѣтскіе часы переведены на три часа впередъ. Три часа обозначаютъ полночь.

— Ну вотъ, такъ я и зналъ . . . Я же имъ говорю, что поздно . . . а они все: успѣете, да успѣете! . . . Вотъ и успѣлъ . . . Часовъ нѣтъ. Если бы я еще необразованный человѣкъ, а вѣдь я же знаю, что надо законъ исполнять . . . Сказано нельзя, — значитъ нельзя . . .

— Да откуда вы, товарищъ, идете?... Изъ больницы что-ли? . . .

— Почему изъ больницы? . . . отъ знакомыхъ . . .

— Въ рубашкѣ? а поясъ гдѣ? . . .

По счастью огрызокъ былъ у меня до сихъ поръ въ рукахъ.

— Поясъ вотъ! . . . оборвался . . .

Они пощупали ремень . . .

— Документъ есть? . . .

— Есть . . .

— Какой? . . .

— Паспортъ . . .

— Только? . . . а совѣтскій документъ?. . ,

— Ну, на что мнѣ совѣтскій документъ?... Мнѣ пятьдесятъ лѣтъ, значитъ я не дезертиръ, на должности не состою, — на что мнѣ совѣтскій документъ? . . .

— Какъ же такъ, товарищъ . . . Столько времени, какъ совѣтская власть настала, а у васъ документа совѣтскаго нѣтъ . . . Пойдемъ въ раіонъ! . . .

— Товарищи, ей Богу, тутъ живу, совсѣмъ близко . . . Мнѣ что, — въ раіонъ, — такъ въ раіонъ, — да дома безпокоиться будутъ, сами знаете, — время какое . . .

— Да нельзя никакъ, товарищъ . . . Вы же понимать должны, что мы службу должны исполнять . . .

— Я къ вамъ и не имѣю претензій. Эхъ чортъ! . . . Вотъ такъ всегда русскій человѣкъ . . . Все авось, да авось, дойду, да дойду, вотъ и дошелъ . . .

— Да вы чѣмъ собственно занимаетесь?...

Тутъ меня осѣнило вдохновеніе... Патруль обступилъ меня кругомъ вродѣ, какъ публика. И я внезапно „впалъ въ роль“.

— Чѣмъ я занимаюсь? . . . ведите меня въ раіонъ — вотъ что! . . . мнѣ все равно . . . чѣмъ я занимаюсь? какъ вы

меня спросили, — такъ лучше бы не спрашивали! . . . Потому, — я человѣкъ пропащій . . . Мнѣ все равно — въ раіонъ, такъ въ раіонъ! . . .

Наступила почти драматическая пауза . . .

— Чѣмъ я занимаюсь? . . . Какъ бы не такъ!... Чѣмъ я *занимался!* . . . Скрипачемъ былъ, скрипку имѣлъ хорошую . . . Вотъ въ оркестръ договорился . . . Такъ вотъ на те . . . заболѣлъ!... Сыпнякъ . . . Денегъ нѣтъ . . . Продалъ скрипку . . . Теперь, какой я человѣкъ?! скрипачъ безъ скрипки . . . Гдѣ ее возьму? . . . Что мнѣ съ этой чертовой гитары! . . . Гитара у меня осталась . . . Учу романсы распѣвать. . . Такъ много ли ихъ, дураковъ, ко мнѣ ходитъ? Сытъ съ этого будешь?! . . .

Длинная пауза. Кажется они были растроганы . . . Изъ задняго ряда кто то сказалъ:

— Отпустить бы . . .

Тогда старшій, почувствовавъ „гласъ народа", который дѣйствительно былъ для меня въ данномъ случаѣ почти что „гласомъ Божьимъ", сказалъ:

— Ну, какъ вы скрипачъ, товарищъ . . .

И прибавилъ:

— Только не попадитесь другому патрулю . . . Тихонько идите, не шумите . . .

* * *

О, русскій народъ . . . Звѣрь то ты, звѣрь . . . Но самый добрый изъ звѣрей . . .

* * *

Добрался домой благополучно . . . но безъ „письма Главнокомандующаго", конечно . . .

У моря.

Вкратцѣ говоря, наступилъ періодъ, который можно было бы обозначить:

„Мной овладѣло безпокойство —
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство. . ."

Чрезвычайка какимъ то образомъ выслѣдила, гдѣ я живу, и узнала фамилію, подъ которой я скрываюсь. По этому поводу пришлось мѣнять не только квартиру, но и имена, и пройти практическій курсъ поддѣлыванія паспортовъ, метрикъ и другихъ документовъ, какъ для меня, такъ и для другихъ лицъ, запутавшихся въ эту исторію. Итакъ, я жилъ сначала у одного украинца, потомъ у одной гречанки, затѣмъ у нѣмки и въ другихъ мѣстахъ. Въ одномъ мѣстѣ меня едва не избрали предсѣдателемъ Домкома, въ другомъ хотѣли привлечь за кражу (по счастью истинный воръ во-время нашелся). Профессіи мои также мѣнялись: я былъ музыкантомъ, артистомъ, учителемъ, библіотекаремъ... Изъ одного дома мнѣ пришлось спѣшно выѣхать, потому-что... j'ai touché du piano неосторожно... По особенностямъ моего „туше" сосѣди безошибочно опредѣлили, что я человѣкъ весьма подозрительный. Въ концѣ концовъ я перешелъ къ системѣ жить въ нѣсколькихъ мѣстахъ одновременно подъ разными фамиліями. Но эта система требуетъ нѣкотораго напряженія памяти, чтобы не перепутывать своихъ прежнихъ жизней, а также ясно помнить исторію и жизнь всѣхъ сродниковъ каждаго отдѣльнаго „я". Но въ общемъ я справлялся.

* * *

Квартира у нѣмки была мрачная. Она дѣйствовала на меня угнетающе. Вѣчная мысль о судьбѣ несчастнаго Эфема довела меня до поступка достаточно безсмысленнаго.

Я зналъ адресъ „Котика". Зналъ также, что тамъ бываетъ „фронтовикъ-Петровъ" и „заграничные жиды". Я послалъ по этому адресу письмо приблизительно слѣдующаго содержанія.

„Высшимъ Представителямъ Совѣтской Власти въ Одессѣ.

Милостивые Государи. Обращаюсь къ вамъ по нижеслѣдующему поводу. Распоряженіемъ Чрезвычайной Комиссіи арестованъ Петръ Ивановичъ З — овъ, въ судьбѣ котораго я принимаю ближайшее участіе. Я предлагаю Вамъ обмѣнъ: я готовъ явиться въ Чрез. Ком. въ томъ случаѣ, если вы выразите согласіе возвратить П. И. З — ву свободу. Если вы согласны на этотъ обмѣнъ, напечатайте въ „Извѣстіяхъ" въ

отдѣлѣ справокъ нижеслѣдующую фразу: „Товарища Веденецкаго просятъ явиться немедленно". Если это будетъ напечатано, я буду считать это вашимъ согласіемъ освободить З — ова и въ теченіе трехъ дней послѣ напечатанія явлюсь въ Ч. К.

Я знаю, что у соціалистовъ совершенно иныя понятія о чести, чѣмъ у насъ. Поэтому я не исключаю возможности, что вы меня обманете. Но съ другой стороны я думаю, что несмотря на всю разницу, существующую между нами, не все человѣческое вамъ чуждо. Для того же, чтобы вамъ было ясно, почему я рѣшаюсь на этотъ шагъ, я долженъ объяснить, что З — овъ арестованъ исключительно изъ за меня, такъ какъ лично онъ имѣетъ весьма мало отношенія ко всему этому дѣлу. Я буду ждать вашего отвѣта въ теченіе трехъ недѣль. (Подпись)".

* * *

Къ безпокойству за Эфема присоединился страхъ за другихъ. Дѣло въ томъ, что Чрезвычайка, добравшись до моей первой квартиры (мнѣ повезло: я ушелъ съ этой квартиры утромъ того дня, когда они явились) захватила въ свои когти Ирину Васильевну. Правда, они не арестовали ее, но подвергали утонченнымъ пыткамъ въ видѣ ежедневныхъ допросовъ и окружили непрерывной слѣжкой.

Мнѣ удалось при помощи цѣлаго ряда хитроумныхъ комбинацій поддерживать съ ней связь. Между прочимъ, она успѣла сообщить, что если она будетъ вызывать насъ на свиданія или что нибудь подобное, не вѣрить ни единому ея слову. Это было не особенно понятно, но главное состояло въ томъ, чтобы она всегда знала мой адресъ, для того, чтобы въ нужную минуту знать, куда бѣжать.

* * *

И безсознательно, и сознательно я все время стремился устроиться поближе къ морю. Я чувствовалъ, что при сложившихся обстоятельствахъ я безсиленъ помочь Эфему, что я съ каждымъ днемъ вовлекаю въ опасность новыхъ лицъ, помогавшихъ мнѣ такъ или иначе, что инициатива вырвана изъ моихъ рукъ и перешла къ Чрезвычайкѣ, что борьба

становится совершенно неравной, главнымъ образомъ изъ за отсутствія денегъ. Я пробовалъ дѣйствовать подкупомъ черезъ третьихъ лицъ, но скоро мнѣ стало ясно, что тѣ суммы, которыя я бы могъ собрать, недостаточны.

Какъ слѣдствіе всего этого, вырисовывалось одно опредѣленное рѣшеніе: надо бѣжать въ Крымъ. Надо бѣжать и попробовать сдѣлать что нибудь оттуда.

Сухопутный путь былъ на Александровскъ въ то время. Ибо у насъ было предчувствіе, что его рано или поздно возьмутъ войска генерала Врангеля. Но здѣсь было много трудностей. Мои друзья работали по подготовкѣ соотвѣтствующихъ документовъ, удостовѣреній и командировокъ. Рядомъ съ этимъ разрабатывался „морской драпъ", какъ мы выражались.

Въ связи съ этимъ, но и по другимъ причинамъ, я очутился „у самаго синяго моря" . . .

* * *

Да, оно было плѣнительно синее. . . Никогда, кажется, за всю жизнь оно такъ не манило меня. Море всегда — „зовущее". Даже въ самое спокойное, золотое, „старорежимное" время. А теперь. . .

Теперь вѣдь за этой синей пустыней лежитъ спасеніе, — земля обѣтованная. . .

* * *

У „самаго синяго моря" я устроился весьма удобно. Я изображалъ изъ себя совѣтскаго служащаго одного изъ безчисленныхъ совѣтскихъ учрежденій, получившаго отпускъ для поправленія здоровья и нуждающагося въ морскихъ купаньяхъ. На этотъ предметъ у меня былъ документъ, въ которомъ были поддѣланы подписи, а бланкъ и печати были самые подлинные.

Дѣлается это такъ. Впрочемъ оставимъ это . . . вспомнимъ съ благодарностью тѣхъ, кто это дѣлалъ, а рецептъ оставимъ про себя: пригодится . . .

* * *

Мы жили съ сыномъ — Лялей вдвоемъ. Неудобство этой квартиры было въ томъ, что кромѣ садовыхъ скамеекъ никакой другой меблировки не имѣлось. Къ тому же у насъ къ этому времени совершенно не стало вещей, почему мы

спали на голомъ полу. Кромѣ того у насъ была одна выходная рубашка на двоихъ. Но это уже относится къ разряду удобствъ, ибо вслѣдствіе этого мы никогда не выходили вмѣстѣ, а только поочередно и слѣдовательно меньше привлекали вниманія.

Къ неудобствамъ этой квартиры можно пожалуй отнести то обстоятельство, что у насъ систематически не хватало денегъ. Но въ самую трудную минуту обыкновенно судьба выручала.

Иногда бывали инциденты, которые меня глубоко трогали. Почему люди, совершенно мнѣ далекіе, о которыхъ я даже не зналъ, вдругъ оказывались такими близкими, заботились обо мнѣ, доставали мнѣ все необходимое . . .

* * *

Однажды я особенно долго лежалъ на высокихъ обрывахъ. . . Ахъ, оно въ этотъ день было особенно приглашающее. . . Типичное „драпъ-море". Легкій вѣтерокъ, чтобы не было жарко и чтобы не было большой волны. Ничего грознаго, опаснаго въ немъ, только что большое. Пора . . . положительно пора . . .

Когда я вернулся домой подъ вечеръ, Ляля встрѣтилъ меня въ саду.

— У насъ гости . . . одна дама, она говоритъ, что ты ее знаешь, но она не хочетъ себя назвать. . .

Я вошелъ и поздоровался съ этой молоденькой женщиной, которая дѣйствительно казалась мнѣ нѣсколько знакомой. Но только когда она не выдержала и разсмѣялась, я узналъ Ирину Васильевну: она была въ темномъ парикѣ и загримирована „четвертымъ номеромъ", т. е подъ смуглянку. . .

* * *

— Когда вы ушли, они пришли въ тотъ же день. . .

— Кто они? . . .

— „Заграничные жиды". . .

— Какъ они узнали?

— Они выслѣдили меня должно быть. . . но меня не было дома, когда они пришли. Они пришли подъ видомъ

служащихъ Жилотдѣла. . . На самомъ дѣлѣ это были чрезвычайщики, мнѣ хозяинъ лома сказалъ. И черезъ два дня я получила повѣстку явиться въ „Чрезвычайную комиссію“. . . Я пошла. Сначала хотѣла бѣжать. . . А потомъ рѣшила пойти. Онъ сталъ меня спрашивать.

— Кто онъ?

— Слѣдователь, которому было поручено все это дѣло. Онъ меня спросилъ, куда исчезли мои жильцы. Я сказала, что я не знаю и что сама очень безпокоюсь. Онъ спросилъ фамиліи, хотя онъ ихъ зналъ отъ хозяина и дворника, но сталъ васъ называть почтительно Иванъ Дмитріевичъ и Владиміръ Александровичъ. . . Тогда я ему стала разсказывать все, какъ мы условились . . . Онъ всему какъ будто вѣрилъ. И потомъ вдругъ спросилъ: „А зачѣмъ вы 7-го мая были въ квартирѣ такой то?“. Тутъ онъ меня поймалъ. Потому что онъ спрашивалъ о той квартирѣ, гдѣ было свиданіе съ Котикомъ. . . Я видѣла, что я сейчасъ запутаюсь и будетъ мнѣ конецъ, и чувствовала, что надо сдѣлать что нибудь особенное. А надо сказать, что насъ вызвали вдвоемъ съ мужемъ . . . и вдругъ мнѣ мелькнуло . . . Я сказала ему тихонько: „Удалите мужа. . .“ Онъ подъ какимъ то предлогомъ выслалъ Владислава. . . Когда мы остались одни, я стала сильно плакать и сказала, что если онъ меня не выдастъ мужу, то я все скажу... Онъ обѣщалъ, и я ему созналась, что у меня въ этой квартирѣ было любовное свиданіе съ Владиміромъ Александровичемъ, а что Иванъ Дмитріевичъ покровительствовалъ намъ. . . Послѣ этого мы стали какъ бы друзьями. . . Онъ мнѣ сказалъ, что Иванъ Дмитріевичъ и Владиміръ Александровичъ, — честнѣйшіе люди, но что надъ ними повисло обвиненіе въ злостной спекуляціи и такъ какъ это карается очень строго, то они и сбѣжали. . . Но на самомъ дѣлѣ Чрезвычайной комиссіи извѣстно, что они не виноваты и что имъ надо вернуться, чтобы себя обѣлить. . . Больше въ этотъ день ничего не было. Онъ отпустилъ меня домой. На слѣдующій день онъ ко мнѣ пріѣхалъ. . . Тутъ опять была масса разговоровъ, я еще больше плакала. И немножко стала возмущаться Владиміромъ Александровичемъ, что онъ меня бросилъ и ничего не сообщилъ, и что я не знаю даже адреса. И даже

я стала чуточку сомнѣваться, любитъ ли онъ меня... А если любитъ, то вѣроятно постарается увидѣться, хотя бы это и грозило опасностью. Потомъ я настойчиво спрашивала, можетъ быть онъ настоящій спекулянтъ, такъ я не хочу имѣть съ нимъ дѣла... Онъ меня разубѣждалъ и говорилъ, что В. А. честнѣйшій человѣкъ... Въ концѣ концовъ я согласилась помогать ему въ его дѣлѣ „обѣлѣнія В. А. и И. Д." и сказала, что сдѣлаю все возможное, чтобы какъ нибудь отыскать слѣдъ В. А. Но передъ этимъ я устроила бенефисъ слезъ и повела его къ иконѣ.

— Да вѣдь онъ жидъ?...

— Нѣтъ, русскій... Я его заставила клясться передъ иконой, что онъ никакого зла Ив. Дм. и Вл. Ал. не сдѣлаетъ. Онъ говорилъ: „Да почему вы такъ о насъ думаете?". Я отвѣтила: „вы все таки чрезвычайка, вы людей убиваете и пытаете"... Онъ мнѣ клялся, что никого они не пытаютъ уже больше...

Такъ продолжалось нѣсколько дней... наконецъ, онъ сталъ уже нетерпѣливый... нѣкоторое время мнѣ удавалось смягчать его тѣмъ, что я ѣздила съ нимъ кататься по Французскому бульвару (у него своя лошадь), потому что онъ почему-то былъ убѣжденъ, что Ив. Дм. живетъ гдѣ то на Французскомъ Бульварѣ. Про каждаго высокаго сѣдого онъ спрашивалъ: „А это не Иванъ Дмитріевичъ?"... А я дрожала: а вдругъ я дѣйствительно васъ увижу и выдамъ, — онъ вѣдь мнѣ въ самое лицо смотрѣлъ... и ловилъ выраженіе...

Наконецъ онъ мнѣ сказалъ, что если я до такого то дня ничего не сдѣлаю, онъ меня арестуетъ, а если я сбѣгу, арестуетъ мужа... Тогда я стала думать о томъ, что надо услать куда нибудь мужа... Это удалось, онъ получилъ командировку. А я... мнѣ очень помогло то письмо, которое вы мнѣ написали... Оно было такъ написано, что я могла показать ему. Онъ былъ очень обрадованъ, узнавъ, что Вл. Ал. проситъ свиданія... Я написала вамъ письмо, назначая свиданіе, и ему показала... Свиданіе было назначено въ одномъ скверикѣ... Я сидѣла какъ дура на скамейкѣ три часа... Я насчитала, что вокругъ меня было семь сыщиковъ... Одинъ изъ нихъ одно время даже сѣлъ на ту же скамейку, на ко-

торой я была, и изъ кармана его торчалъ револьверъ . . . Конечно никто не пришелъ, и онъ страшно разсердился . . . Но я ему сказала, что если онъ будетъ ставить такихъ дураковъ — сыщиковъ, которые будутъ садиться на ту же самую скамейку, то Вл. Ал. совсѣмъ не прійдетъ, потому что онъ то не дуракъ: онъ навѣрное былъ, но увидѣлъ мой антуражъ и ушелъ. И теперь навѣрное будетъ мнѣ не вѣрить. И я опять плакала. Онъ очень ругался и говорилъ, что съ „этими болванами“ ничего нельзя сдѣлать . . .

* * *

— Ну и такъ далѣе. . . Все это продолжалось въ этомъ духѣ. . . То онъ заставлялъ меня приходить къ себѣ, то ко мнѣ приходилъ. . . То онъ мнѣ вѣрилъ, то начиналъ подозрѣвать. . . Труднѣе всего мнѣ было изображать, что я — дурочка. . . А на этомъ все шло . . . Между прочимъ, этотъ человѣкъ. . .

— Онъ идейный по вашему? . . .

— Идейный. . . нѣтъ. . . Но онъ и не продажный. . . Между прочимъ я видѣла, какъ онъ самъ себѣ рубашку стиралъ. . . У него не было много денегъ. . . Но честолюбецъ... упрямый. . . и безъ всякой жалости. . . О, я дрожала... онъ бы всѣхъ, всѣхъ, всѣхъ васъ разстрѣлялъ. . . совершенно спокойно. . . Страшный человѣкъ.

— Какъ вы думаете, — они пытаютъ попрежнему?

— Нѣтъ. . . не думаю. . . не изъ жалости . . . а просто сочли должно быть невыгоднымъ. . . Я страшно боялась, что они будутъ меня пытать. А вдругъ я не выдержу. . . мнѣ даже не хотѣлось, чтобы мнѣ сообщали вашъ адресъ. . . Но нѣтъ. . . видимо у нихъ другіе способы, болѣе совершенные... Разъ онъ разсердился, вышелъ изъ себя и сказалъ: „Знайте, что я нѣсколько мѣсяцевъ буду работать, но я ихъ поймаю всѣхъ. . .“ Они думаютъ о насъ, что мы — сильнѣйшая организація. . . Они не знаютъ, что у насъ нѣтъ денегъ. Между прочимъ онъ знаетъ про ваше письмо „высшимъ представителямъ совѣтской власти“ . . . Онъ мнѣ сказалъ: „Иванъ Дмитріевичъ съ нами въ перепискѣ“. . .

— Почему же они ничего не отвѣтили, не напечатали?

— Не вѣрятъ. . . боятся ловушки. . . Они думаютъ, что если они это напечатаютъ, то подадутъ кому-то условный знакъ, котораго вы хотите. . . Они ни за что не могутъ повѣрить, что вы прійдете. . . Между прочимъ. . . Эфемъ живъ... Я знаю навѣрное . . . Они его держатъ подъ страшнымъ секретомъ, но одна дама, которую выпустили изъ чрезвычайки, его видѣла, съ нимъ говорила. Онъ совершенно помирился со своей участью. . . и готовъ къ смерти... Но бодръ. . . И всѣхъ тамъ поддерживаетъ. . .

* * *

— Какъ то они меня позвали на Екатерининскую № 3... Тамъ у нихъ было что то въ родѣ вечеринки. . .

— Зачѣмъ же они васъ позвали?

— Дѣло въ томъ, что онъ мнѣ все таки вѣрилъ . . . Но другіе, видимо, надъ нимъ смѣялись. . . И вотъ онъ привелъ меня, чтобы имъ показать, чтобы и они убѣдились, что я дура. . . Это былъ вечеръ! . . . Тамъ и жены ихъ были, и любовницы. . . И эти были, „заграничные жиды". . . они дѣйствительно — заграничные. . . Они изъ Германіи. . . Даже по русски плохо говорятъ. Одного изъ нихъ зовутъ Максъ... Ахъ, это былъ вечеръ, пили вино. . . играли. . . веселились... я думаю, что черезъ этихъ дамъ можно было бы кое что сдѣлать. . . имъ легче всего всунуть взятку. . . имъ хочется одѣваться. . .

* * *

— Мнѣ очень трудно было бѣжать. . . За мной слѣдили неотступно. . . но я ихъ все таки обманула. . . Правда, меня нельзя узнать. . . Не даромъ я въ театрѣ. . . Но гдѣ же я буду спать. . .

* * *

Иринѣ Васильевнѣ не прошло даромъ это напряженіе нервовъ. Игра въ „кошки-мышки" съ Чрезвычайкой сказалась теперь, когда она очутилась въ сравнительной безопасности. . .

Днемъ все было хорошо. На дачѣ никого не было кромѣ насъ, она никуда не выходила за предѣлы сада. Но ночью...

Но ночью дѣло принимало скверный оборотъ.

Ночь мы проводили надъ знакомъ — „идутъ!“ . . .

Ей все казалось, что агенты чрезвычайки идутъ насъ арестовывать. Никакія убѣжденія не дѣйствовали. Она всегда придумывала новый способъ, какимъ насъ могли бы „выслѣдить“. На несчастіе дача имѣла два выхода, такъ что можно было бѣжать даже въ случаѣ, если бы вошли въ однѣ изъ воротъ. Но можно было бѣжать даже въ томъ случаѣ, если бы окружили съ двухъ улицъ, — черезъ другія дачи. И вотъ изъ за этого все и происходило: если возможно спастись, то преступно проспать! По этому она и не спала всю ночь на пролетъ, прислушиваясь, приглядываясь, постоянно вскакивая и обходя садъ по всѣмъ дорожкамъ въ ночной темнотѣ. Чтобы ее успокоить, я пробовалъ устраивать дежурства, наконецъ, ложиться въ разныхъ мѣстахъ сада, откуда могли войти, но бѣда въ томъ, что у нея слухъ и зрѣніе обострились до такой степени, что она слышала шаги на такомъ разстояніи, съ котораго мой слухъ совершенно ничего не улавливалъ и видѣла тамъ, гдѣ зоркіе глаза Ляли ничего не усматривали. Поэтому она никому не вѣрила, кромѣ какъ самой себѣ. Никогда не спала и не давала никому спать.

— Слышите . . . тише . . . да какъ же вы не слышите!... идутъ! . . .

— Ну допустимъ, идутъ . . . Ну пусть себѣ идутъ...

Но она не успокаивалась, пока, пройдя мимо, шаги не затихали. Черезъ десять минутъ она слышала новые шаги и такъ до безконечности . . .

Это въ концѣ концовъ переходило въ пытку. Но кончилось самымъ неожиданнымъ образомъ. Изведенный я сказалъ ей однажды:

— Неужели вы такъ боитесь смерти?... Ну хорошо, идутъ, прійдутъ, возьмутъ, разстрѣляютъ . . . Ну, чертъ съ ними! . . . Вѣдь хуже смерти ничего не бываетъ . . .

И это странное разсужденіе подѣйствовало. Повидимому она боялась чего-то, что хуже смерти. Когда она ясно поняла, что рискуетъ только этимъ — она заснула. Заснула, хотя совершенно негдѣ было спать. Ничего, кромѣ садовыхъ скамеекъ . . .

* * *

Надо было поскорѣе устраивать „морской драпъ". Для этого я рѣшился на одно путешествіе: надо было пройти верстъ 35 по берегу моря. Конечно, мнѣ нужны были документы. И мнѣ смастерили превосходные. Я получилъ приказаніе отъ соотвѣтствующаго совѣтскаго учрежденія „осмотрѣть помѣщенія для разстановки конныхъ постовъ" по берегу.

Какъ необычайно ретивый службистъ, я вышелъ въ тотъ же день. Вѣдь Врангель каждую минуту можетъ сдѣлать десантъ, разстановка постовъ дѣло важное и спѣшное.

* * *

По дорогѣ я встрѣтилъ траги-комичное и вмѣстѣ съ тѣмъ поучительное зрѣлище.

Навстрѣчу мнѣ, по шоссе, шла группа людей; не то большая артель рабочихъ, не то арестанты. Когда они приблизились, я увидѣлъ, что это среднее между тѣмъ и другимъ: это государственные рабы совѣтской власти.

Въ это время декретомъ совѣтской власти въ Одессѣ всѣ вообще люди были раздѣлены на нѣсколько разрядовъ или категорій. Первая категорія — это привиллегированная, получающая полный паекъ отъ совѣтской власти. Вторая категорія — это тѣ, которые почти ничего не получаютъ, — имъ предоставляется околѣвать съ голоду, но на свободѣ. Третья же категорія, которыхъ кормятъ впроголодь, но лишаютъ свободы.

За какое нибудь преступленіе? Нѣтъ. Просто извѣстная часть Одесскаго населенія, не имѣвшая по мнѣнію Совѣтской власти достаточно почтенныхъ занятій, была заключена въ концентраціонные лагери и гонялась партіями на работу.

Одна изъ такихъ партій шла мнѣ навстрѣчу. Поучительность этого зрѣлища была въ томъ, что вся партія состояла сплошь изъ евреевъ.

Что это были за люди? Самые разнообразные. По всей вѣроятности наибольшій процентъ здѣсь былъ изъ тѣхъ спекулянтовъ, что тучами бродили около кофейни Робина въ былое время. Теперь всѣхъ этихъ гешефтмахеровъ дюжіе

солдаты гнали по пыльной жаркой дорогѣ на какія то сельско-хозяйственныя работы.

Воображаю, что они тамъ наработаютъ! Для того, чтобы судить объ этомъ, я какъ бы нарочно встрѣтилъ другую партію, тоже исключительно изъ евреевъ. Эту уже пригнали на мѣсто. Они починяли мостовую. Поистинѣ жалки до комизма были эти типичныя еврейскія никчемныя въ физическомъ трудѣ фигуры съ кирками и лопатами въ рукахъ. Они впятеромъ ковыряли ровно столько, сколько сдѣлалъ бы одинъ деревенскій парнишка.

* * *

Я думалъ . . .

Вы, безсмысленно ковыряющіе одесскую мостовую подъ лучами палящаго солнца, поняли ли вы наконецъ? . . . При „самодержавіи“ вы торговали всласть, кушая мороженое у Фанкони, а теперь, — не угодно ли . . . Долбите камень, приготовляйте щебень и прославляйте Великую Русскую Революцію, которая принесла вамъ равноправіе . . .

* * *

Когда я прошелъ верстъ 25, мнѣ стало жарко до нестерпимости. Вотъ какая то деревня. Зайду, попрошу пить.

Зашелъ. Спиной ко мнѣ сидѣлъ человѣкъ. Я попросилъ его воды. Онъ обернулся и оказался красноармейцемъ. И вмѣсто воды оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и потребовалъ у меня . . . документъ.

Я счелъ за лучшее разсердиться.

— Я по казенной надобности иду, а вы мнѣ документъ! . . . А вы сами, кто такой?

Онъ посмотрѣлъ на меня такъ, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ смотрятъ солдаты. И сказалъ:

— Ну, такъ пожалуйте . . .

Я понялъ, что надо итти за нимъ. Онъ ввелъ меня въ хату. Очевидно это было караульное помѣщеніе.

За большимъ столомъ сидѣло человѣкъ пятнадцать красноармейцевъ. Мой солдатъ вытянувшись обратился къ одному изъ нихъ:

— Товарищъ командиръ, разрѣшите доложить: вотъ не хотятъ документы предъявлять.

Товарищъ командиръ перевелъ на меня вопросительный взглядъ. Я сказалъ:

— Вамъ, товарищъ командиръ, я конечно предъявлю документъ. Только пожалуйста, — про себя . . .

Это значило, что у меня секретная командировка, которую я не могу предъявлять всякому. Но ему, въ видѣ особаго довѣрія, предъявляю.

Онъ взялъ документъ и внимательно прочиталъ. И посмотрѣвъ на меня, отдалъ мнѣ документъ.

— Вы свободны, товарищъ. . . Только я вамъ совѣтую итти не большой дорогой, а тропинкой . . . ближе. . .

Онъ сталъ объяснять мнѣ куда итти, причемъ я въ глазахъ его ясно прочелъ: „Вотъ эти старорежимные. Контръ-революціонеры они — всѣ, а службу знаютъ; вѣдь вотъ дѣйствительно секретная командировка, — правильно поступаетъ“.

Въ отвѣтъ мои глаза говорили: „Ну, конечно, я буржуй... и не скрываю; но разъ я у васъ на службѣ, я ее исполняю за совѣсть“.

Онъ приказалъ солдату проводить меня, и тотъ, наконецъ, напоилъ меня водой. Но когда я вышелъ оттуда, мнѣ все таки было жарко.

* * *

Къ вечеру я пришелъ туда, куда мнѣ нужно было. Когда я переступилъ порогъ хаты, пожилая хохлушка-хозяйка встрѣтила меня фразой:

— Отчего вы такъ согнулись?... Отчего вы ходите всѣ такъ, въ землю смотрите?... А они вотъ такъ!...

И она выпрямилась . . .

Этой загадочной фразой она давала мнѣ понять, что она прекрасно знаетъ, изъ какого я рода племени и чего мнѣ нужно.

Впрочемъ она прибавила:

— За полверсты, какъ я васъ увидѣла — вы шли по берегу, то уже знала, кто вы и зачѣмъ идете . . . Только

плохо... сейчасъ нельзя отсюда, стерегутъ... по ночамъ всѣ шаланды въ одно мѣсто собираютъ... и солдата ставятъ... сейчасъ у насъ нельзя. Вотъ на дняхъ разстрѣляли нашихъ четырехъ... свои выдали... Но ужъ мы то доберемся до нихъ...

* * *

Я остался у нея ночевать. Она угостила меня великолѣпнымъ ужиномъ, и наслушался я отъ нея...

— Когда деникинцы были, жилъ тутъ у меня одинъ полковникъ. Я ему все жаловалась, что неправильно деникинцы поступаютъ... Надо снисхожденіе имѣть къ народу... Такъ нельзя... А онъ мнѣ все говорилъ: „Вѣрно, вѣрно, хозяйка... неправильно мы поступаемъ... нехорошо... а вотъ какъ мы уйдемъ... будете по насъ плакать“... А я не вѣрила... думала, какъ неправильно поступаютъ, чего же я плакать буду... А вотъ теперь плачу... День и ночь всѣ плачемъ за деникинцами...

Ея сынъ, 17-ти-лѣтній хлопецъ, слушалъ этотъ разговоръ. И когда я случайно взглянулъ ему въ лицо, я увидѣлъ такое выраженіе...

Нѣтъ, я бы не хотѣлъ быть на мѣстѣ большевиковъ, попавшихся въ руки этихъ людей.

* * *

Утромъ я возвращался. У меня еще было нѣсколько встрѣчъ съ разными людьми, преимущественно „простыми“. Они узнавали меня сразу, съ одного взгляда, то есть узнавали мое бывшее „соціальное положеніе“. Правда, я уже давно растался со своей знаменитой сѣдой бородой и являлъ міру обыкновенное лицо бритаго интеллигента.

И вотъ что я ощутилъ. Трудно формулируемый, но несомнѣнный токъ симпатіи, который все время меня окружалъ. Всѣ эти люди оказывали мнѣ всякія услуги съ такой готовностью, которая говорила безъ словъ.

И все мнѣ вспоминались слова старой хохлушки, у которой я ночевалъ:

— А я вамъ правильно говорю: съ Гершки да со Стецька не будетъ намъ того, что намъ нужно... Надо намъ людей

какъ слѣдуетъ, образованныхъ, чтобъ знали свое дѣло... Только чтобы... снисхожденіе имѣли къ народу...

* * *

Тамъ у насъ на дачѣ въ тѣни каштана иногда собиралось избранное общество. Избранное оно было уже потому, что безбоязненно вело со мной знакомство. Нашъ кружокъ, т. е. люди, которые знали другъ друга и на которыхъ можно было положиться, надо было считать человѣкъ въ пятьдесятъ. Все это были люди вѣрные, испытанные, съ которыми можно было бы работать. Если бы не несчастный случай съ Эфемомъ, мы дѣйствительно могли бы быть сильной организаціей, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ развѣдки. И тѣмъ болѣе было это обидно, что несчастіе произошло не по нашей винѣ, а потому, что изъ Севастополя въ Одессу присылали вмѣстѣ съ дѣйствительными курьерами большевистскихъ шпіоновъ, служившихъ въ Севастопольской развѣдкѣ. Вѣдь „Котикъ" былъ однимъ изъ такихъ.

Объ этомъ случаѣ слѣдовало бы кой кому подумать. Стремленіе во что бы то ни стало „развернуть штаты" приводитъ къ тому, что на службу берутъ людей, не имѣющихъ достаточныхъ рекомендацій. И вотъ результатъ: такая развѣдка ничего не развѣдываетъ, но губитъ жизни.

* * *

Разумѣется, у меня подъ каштаномъ никогда не собиралось много. Я видѣлъ всегда двухъ-трехъ людей, черезъ которыхъ и передавалъ все, что нужно.

На одномъ изъ такихъ собраній выяснилось, что двѣ барышни, путешествовавшія по нашему порученію, нащупали случай купить шлюпку...

* * *

Въ это время терроръ уже опять возобновился. Въ газетахъ появились списки разстрѣлянныхъ. Но туда не всѣ попадали. Между прочимъ, погибъ сынъ члена Государственной Думы А. И. Савенко—Вася Савенко. Ему было лѣтъ двадцать. Его разстрѣляли за то, что онъ былъ сыномъ своего

отца. Погибъ и тотъ настоящій курьеръ, съ которымъ прибылъ Котикъ. Разумѣется, его погубилъ этотъ послѣдній. Эфема пока щадили. Чего то ждали. . .

* * *

Однажды до насъ донеслись звуки отдаленной бомбардировки. Эти глухіе удары шли съ моря, и ясно было, что работаютъ тяжелые калибры. Что это могло быть.

Скоро мы узнали: это эскадра генерала Врангеля бомбардируетъ Очаковъ.

Мы слушали это съ непередаваемымъ чувствомъ. И каждый ударъ сжималъ сердце радостью и волненіемъ . . .

* * *

Тамъ, за горизонтомъ, вотъ въ этомъ направленіи, длинный, какъ змѣя, островъ Тендра. Тамъ, у сѣверной его оконечности, стоянка эскадры. Напрямикъ — верстъ семьдесятъ... Тамъ — свои . . . свобода . . . безопасность . . . и борьба за тѣхъ, кто не можетъ вырваться отсюда . . .

„Speranza“.

Надо было бѣжать. Море звало, манило и приглашало опредѣленно. . . Въ этомъ не могло быть сомнѣній.

Однако, разсуждая хладнокровно, пересѣкать море въ небольшой шлюпкѣ было все же очень рисковано. . . и трудно было рѣшить въ концѣ концовъ, что опаснѣе: бѣжать или оставаться. . . Поэтому я рѣшилъ: пусть жребій укажетъ каждому его судьбу.

Подъ тѣнистымъ каштаномъ Ирина Васильевна вытаскивала бумажки изъ шапки. И вытащила: себя, моихъ двухъ сыновей, Вл. Ал. и меня. Надо къ этому прибавить, что моей женѣ уже удалось выѣхать совсѣмъ особымъ способомъ.

* * *

Подъ видомъ купальщика я осмотрѣлъ эту шлюпку. Она была совсѣмъ маленькая, но на четыре весла. Паруса не было. Но и выбора не было. Или эту или ничего.

Я сушилъ на ней только что выстиранное въ морѣ бѣлье и раздумывалъ: быть или не быть. И рѣшилъ — быть...

Иногда судьба людей рѣшается за время гораздо болѣе короткое, чѣмъ сколько нужно іюльскому солнцу, чтобы высушить рубашку. . .

Въ тотъ же вечеръ она была куплена. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ тутъ былъ Ляля. Онъ уже нѣсколько дней ходилъ въ эту семью и присматривался. Надо сказать, что эта операція — покупка шлюпки при совѣтскомъ режимѣ — дѣло, требующее большой осторожности. Ляля, какъ многіе русскіе, очень застѣнчивъ. Еще не такъ давно, если его послать въ аптеку за аспириномъ или хиной, то онъ спрашивалъ: „А какъ я войду? А какъ я скажу?"

Но шлюпку онъ купилъ ловко. Заплатилъ онъ при этомъ двадцать девять серебряниковъ (двадцать девять серебряныхъ рублей — все состояніе Ирины) и царскую пятисотку. И еще какую то не то фуфайку, не то кацавейку . . .

* * *

Теперь надо было подумать о провизіи. У меня была карта, по которой я видѣлъ, что намъ итти верстъ 70. Это можно было сдѣлать при тихой погодѣ за сутки. Но надо было расчитывать на все, такъ какъ мы выходили въ открытое море. Я рѣшилъ пересѣкать напрямикъ, благо у меня былъ компасъ. Не малыхъ трудовъ стоило его достать. Я взялъ провизіи на три, четыре дня. Столько же и прѣсной воды.

Тутъ кстати упомянуть о цѣнахъ, которыя стояли въ то время. Хлѣбъ — 150 рублей фунтъ, сахаръ — 1000 рублей фунтъ, сало — 1000 рублей фунтъ. Удивительно дешевы были дыни: онѣ начинались отъ 5 руб., а за 50 можно было купить прекрасную дыню.

* * *

Наконецъ это совершилось. . .

Мой планъ былъ таковъ: дѣйствовать совершенно открыто при полномъ свѣтѣ дня, такъ, чтобы большевикамъ въ голову не пришло, что это можетъ быть . . .

Въ 10 часовъ утра шлюпка, которую мы назвали „Speranza“ (по нѣкоторымъ причинамъ, не подлежащимъ пока оглашенію), отошла отъ того мѣста, гдѣ она была куплена, а въ 10½ часовъ утра подъ „мощными взмахами“ веселъ Ляли и Вовки подошла къ пустынному берегу, гдѣ должна была состояться посадка. Къ этому времени Димка привелъ туда Ирину Васильевну, а я принесъ огромный мѣшокъ съ этими проклятыми дынями.

„Пустынный берегъ“ очень хорошо былъ виденъ съ большевистскаго поста береговой охраны. Это меня вполнѣ устраивало: мы, молъ, не скрываемся. Море было на высотѣ: легкій вѣтерокъ, чтобы не было жарко, почти никакого прибоя.

Посадка не задержала насъ. Грузъ состоялъ изъ мѣшка съ дынями и двухъ сулей воды.

Перекрестившись, ровно въ одиннадцать мы отошли.

На берегу осталась маленькая хрупкая фигура одной русской женщины съ большимъ сердцемъ. Мы хорошо отходили, и бѣлая статуэтка на обрывистомъ берегу становилась все меньше.

* * *

Тутъ надо пояснить слѣдующее. По всему побережью большевиками установлена запретная полоса, проходящая версты полторы-двѣ отъ берега въ морѣ. Эту черту очень легко узнать, потому что вдоль всего берега стоятъ рыбачьи лодки на якоряхъ и удятъ рыбу. Дальше они не смѣютъ выходить.

Черезъ нѣсколько минутъ мы вышли на высоту этой черты. Вправо и влѣво отъ насъ, насколько хваталъ глазъ, стояли рыбачьи лодки.

Тутъ мы остановились. Мы были противъ самаго поста береговой охраны. Я рѣшилъ продемонстрировать имъ „законопослушность“.

Мы, молъ, добрые граждане совѣтской республики, вышли себѣ въ море прокататься, но отнюдь не желаемъ выходить за запрещенную черту. Наоборотъ, мы раздѣлись и стали купаться, бросаясь съ лодки въ море, влѣзая изъ воды обратно,

и еще разъ въ море. Ирина Васильевна намъ не мѣшала, ибо вообще мы рѣшили ее не показывать и потому запрятали ее на дно лодки и прикрыли мѣшкомъ.

Такъ прошло столько времени, чтобы по моимъ расчетамъ большевикамъ надоѣло слѣдить за этими рѣзвящимися купальщиками. Тогда мы одѣлись, сѣли на весла и какъ можно явственнѣй запѣли „Стеньку Разина". Это, какъ извѣстно, весьма уважаемая въ Совдепіи пѣсня. И понятно: княжну, т. е „буржуйку", вѣдь бросаютъ за бортъ . . .

Подъ эти дозволенные звуки мы основательно налегли на весла. Я расчитывалъ еще на то, что если лодку повернуть прямо кормой къ человѣку (въ данномъ случаѣ къ посту), то куда она идетъ, впередъ или назадъ, и съ какой скоростью, опредѣлить въ теченіе нѣкотораго времени довольно трудно.

* * *

Мы налегали на весла въ теченіе быть можетъ получаса, когда на берегу раздались выстрѣлы. Сначала въ одномъ мѣстѣ, потомъ въ другомъ, потомъ затарахтѣлъ пулеметъ.

Мы продолжали нажимать, и въ то же время у насъ произошелъ споръ: по насъ или не по насъ. Впослѣдствіи оказалось, что по насъ. Какъ бы тамъ ни было, мы повидимому хорошо гребли, потому что берегъ замѣтно удалялся.

Черезъ нѣкоторое время у берега „подъ постомъ" появился парусъ.

Онъ почему то очень безпокоилъ Ирину Васильевну, но Ляля непрерывно повторялъ „ерунда", пока я ему не запретилъ. На морѣ становишься суевѣрнымъ: а вдругъ судьба подслушиваетъ.

Тѣмъ не менѣе я разсуждалъ такъ. Вѣтерокъ съ моря — слабый. Парусъ, если это погоня за нами, долженъ итти въ лавировку. При такомъ слабомъ вѣтрѣ, принимая во вниманіе, что мы уходимъ въ четыре весла, насъ не догонятъ, или догонятъ къ вечеру, когда мы скроемся въ темнотѣ. И потомъ, неужели это за нами?

* * *

Впослѣдствіи я узналъ совершенно съ точностью, что то дѣйствительно было за нами. Постъ наконецъ увидѣлъ,

что мы уходимъ, поднялъ трескотню изъ винтовокъ и пулеметовъ, а затѣмъ въ первой попавшейся рыбачьей лодкѣ пустился въ погоню.

Но вѣтеръ былъ такой слабый, а мы уходили такъ быстро, что въ концѣ концовъ рыбаки опредѣлили: „У нихъ не иначе, какъ моторъ“. Послѣ этого погоня вернулась обратно, — за моторомъ вѣдь не угоняешься.

* * *

У насъ на „Speranz'ѣ“ царило полное удовольствіе. Погода была дивная, берегъ куда то уходилъ, какъ принято говорить „въ туманную дымку“, и черезъ нѣсколько часовъ пропалъ изъ глазъ.

Мы были въ открытомъ морѣ.

Тутъ младшій сынъ Димка вдругъ спросилъ меня дрожащимъ голосомъ:

— Можно? . . .

Я посмотрѣлъ на его умоляющіе и сверкающіе глаза и понялъ что онъ хочетъ.

— Можно . . . можно . . .

Тогда они торжественно встали съ братомъ въ лодкѣ, и „открытое море“ огласилось:

— Боже Царя Храни . . .

Бѣдные мальчики. У нихъ совсѣмъ не было голоса . . . но зато сколько чувства . . .

* * *

Мы шли всю ночь. Иногда всѣ спали, я гребъ одинъ.

Хорошо въ морѣ въ такую ночь. И даже не очень жутко. Развѣ, если гдѣ нибудь всплеснетъ, или вѣрнѣе прошелеститъ, гребешекъ въ темнотѣ, кажется, будто море хочетъ сказать: „А вѣдь я могу надѣлать и гадостей“. Но . . .

„Намъ звѣзды кроткія сіяли“. . .

По этимъ кроткимъ звѣздамъ я „держалъ путь“. . . Это очень просто: поставишь корму на звѣзду, которую опредѣлишь по компасу, и такъ и держишь. Гребешь и даже оборачиваться на надо. Правда, звѣзда куда то ползетъ вслѣдствіе вращенія земли, но вѣдь насъ за то нѣсколько сбиваетъ

въ противоположную сторону легкій вѣтеръ. Значитъ звѣзда какъ бы дѣлаетъ поправку на вѣтеръ. А впрочемъ иногда свѣришься по компасу и мѣняешь звѣзду.

Все таки удивительно, что при такихъ элементарныхъ способахъ нахожденія курса, когда разсвѣло, мы увидѣли какъ разъ въ нужномъ направленіи дымки.

Мы знали, что тамъ должна быть, гдѣ то около Тендры, наша эскадра. Эти дымки не могли быть ничѣмъ инымъ.

Кромѣ того, что это такое?

Что то торчащее на горизонтѣ въ видѣ какой то палки. Должно быть отъ движенія зыби казалось, что этотъ шестъ куда то стремится съ большой быстротой.

Мы рѣшили, что, должно быть, это „мачта бѣшено несущагося за горизонтомъ контръ-миноносца".

Но черезъ нѣкоторое время оказалось съ несомнѣнностью, что эта быстро несущаяся мачта былъ — маякъ, неподвижный, какъ всѣ маяки.

* * *

Итакъ, мы подходимъ къ завѣтному острову Тендра...

(Окончаніе слѣдуетъ).

В. Шульгинъ.

Годъ въ усадьбѣ.

Моей женѣ Маринѣ.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Я не жилъ тамъ. Жила моя мечта
Съ тобой, съ тобой, невѣстой свѣтлоокой,
Надъ озеромъ, гдѣ шепчется съ осокой
Шершавый листъ ольховаго куста.

Потомъ всю жизнь — моей, тогда далекой,
Ты отдала, покорна и чиста,
И мнѣ внушала пѣснь, и красота
Изъ устъ твоихъ была вдвойнѣ глубокой. . .

Ты разсказать умѣла, какъ никто.
Я риѳмовалъ, записывая смѣло.
Въ моемъ стихѣ воспоминанье пѣло,
Съ невольнымъ вымысломъ перевито.
И Муза съ жалостью на насъ глядѣла,
Когда подчасъ ей слышалось не то.

ІЮНЬ.

Слѣпительно пригожъ іюньскій день.
Цвѣтутъ луга. Медвяно пахнутъ травы.
Кленовыя чуть шелестятъ дубравы.
Чуть зыблется березовая тѣнь.

О, благодать! О, вѣковая лѣнь!
Овсы, да рожь, да василекъ лукавый.
Вдали, вдали соборъ золотоглавый
И бѣлые дымки отъ деревень.

Не думать, не желать. Лежать бы сонно,
Внимая шелесты родныхъ дубравъ,
Среди густыхъ, среди медвяныхъ травъ.
И синевѣ и вышинѣ бездонной
Довѣрчиво себя всего отдавъ, —
Уйти, не быть. Безсмертно. Упоенно!

ІЮЛЬ.

Туманно озеро. И тянутъ утки
Надъ зарослью болотъ береговой.
Я въ паркъ вернулся тропкой луговой.
Въ немъ тоже сѣнокосъ, вторыя сутки.

Идутъ косцы вразбродъ. Веселье, шутки.
И бѣдные ложатся подъ косой,
Обрызганы холодною росой,
И колокольчики и незабудки,

Ромашки, волчій зубъ, дрема и сонъ,
Фіалки бѣлыя и синій ленъ.
Мнѣ жаль цвѣтовъ, загубленныхъ такъ рано.
Собравъ большой пучекъ, въ цвѣты влюбленъ,
Спѣшу домой отъ вражескаго стана.
А небеса горятъ, горятъ багряно.

АВГУСТЪ.

Спадаетъ зной, хоть и слѣпятъ лучи.
Дожали рожь, и обнажились нивы.
Шумъ молотьбы въ деревнѣ хлопотливый.
На пажити слетаются грачи.

Люблю тебя, мой Августъ, не взыщи! —
Твоихъ плодовъ душистые наливы,
Въ лѣсу березъ и тополей завивы,
И розсыпи падучихъ звѣздъ въ ночи.

Люблю тебя, радушный, тароватый,
Съ охотами, съ ауканьемъ, съ груздемъ.
Люблю зайти далеко въ боръ косматый,
Грозой любуясь, мокнуть подъ дождемъ,
Всѣ мысли погрузить въ твои закаты,
И вспоминать невѣдомо о чемъ.

СЕНТЯБРЬ.

Ужъ первой ржавчины предательскія пятна
Смѣнились золотомъ и пурпуромъ въ листвѣ.
Большія облака плывутъ по синевѣ,
И тѣни ихъ скользятъ, мѣняясь непонятно.

Повѣялъ холодокъ, и утромъ ледъ во рвѣ.
Озимыя поля чернѣютъ благодатно.
Вдоль придорожныхъ межъ растутъ безароматно
Послѣдніе цвѣты въ нескошенной травѣ.

Гвоздика липкая пестритъ еще долины,
И верескъ розовый все медлитъ отцвѣсти.
Въ прозрачномъ воздухѣ тончайшей паутины
Повисли трепетно чуть видные пути.
Съ небесъ прощальный крикъ несется журавлиный.
О, лѣто милое, осеннее, прости!

ОКТЯБРЬ.

Осиротѣлъ бассейнъ. Давно-ли дружно
Въ него семья смотрѣлась этихъ липъ,
Въ немъ блескъ игралъ золотоперыхъ рыбъ,
И лепеталъ фонтанъ струей жемчужной!

Теперь онъ пустъ. Теперь его не нужно.
Въ аллеяхъ сирыхъ только вѣтра всхлипъ,
Совиный крикъ, да старыхъ кленовъ скрипъ,
Да ты, печаль моя по дали южной.

Умолкла жизнь. Далече племена
Болтливыхъ птицъ. Кроты заснули въ норахъ.
Лишь воронье: кра-кра! И тишина.
Куда ни глянь — поблекшихъ листьевъ ворохъ.
Безлюдье, грусть. Сухой, предзимній шорохъ,
И первыхъ заморозковъ сѣдина.

НОЯБРЬ.

Пошелъ снѣжокъ. Запорошило путь.
Въ саняхъ — бѣда, а не берутъ колеса.
Тогда гляди, раскатишься съ откоса.
Но милостивъ Господь. Ужъ какъ нибудь!

Въ усадьбѣ отъ хлопотъ всѣ смотрятъ косо.
Хозяйство. Людямъ не передохнуть.
Капусту рубятъ, мерзлую чуть-чуть,
Валяютъ шерсть, просѣиваютъ просо.

Мелькаютъ дни въ заботахъ тамъ да сямъ,
А сумерки спѣшатъ туманно-сизы.
Взойдетъ луна. Въ серебряныя ризы
Одѣнетъ садъ и тронетъ по стѣнамъ,
Въ окно взглянувъ, узоръ старинныхъ рамъ,
Рояль въ углу, паркеты и карнизы.

ДЕКАБРЬ.

Сегодня Рождество. Сегодня ёлка.
Сегодня въ дѣтской съ самаго утра
Такой Содомъ и бѣготня, игра,
Что сбилась набокъ нянина наколка.

А подъ-вечеръ столпилась дѣтвора
И сказки слушаетъ про сѣра-волка.
Но передъ сномъ не жди отъ сказокъ толка,
И я гоню ребятъ: „Брысь! Спать пора“!

Не тутъ то было. „Сказку“ — молятъ слёзно,
„Еще одну, пожалуйста, одну“!
„Нѣтъ, дѣти, спать!“ — я повторяю грозно.
И въ теплую, живую тишину
Все погрузилось. . . Входитъ няня: „Ну?
Что дѣти“? „Спятъ“. И бьютъ часы. Какъ поздно!

ЯНВАРЬ.

Бѣло, бѣло. Все снѣгомъ занесло.
Блестятъ алмазами поля-пустыни.
Бѣло, бѣло, а куполъ ярко синій.
Гляжу на садъ сквозь потное стекло:

Не узнаю. Тамъ чудо расцвѣло,
Тамъ сплелъ шатры узорно-легкій иней. . .
Бѣгутъ часы. Дрова трещатъ въ каминѣ.
И въ комнатахъ свѣтло, тепло, жило.

Мальчишки на дворѣ изъ снѣга турка
Слѣпили. Шумъ и рѣзвый смѣхъ до слезъ.
„Эй, вы! Не холодно?“ Что за вопросъ!
А въ сказочномъ бору сигаетъ юрко
Косой бѣлякъ, и бродитъ Дѣдъ Морозъ,
И о веснѣ задумалась Снѣгурка.

ФЕВРАЛЬ.

Взлетаетъ, вихритъ, мчитъ, взъерошиваетъ снѣгъ,
Разбушевалась — ухъ! крутитъ ночная вьюга,
Нахмуренной зимы февральская подруга.
И чудится, метель не прекратится вѣкъ.

Въ угрюмыхъ пустыряхъ, надъ гладью бѣлыхъ рѣкъ
Снуетъ и воетъ волкъ, и, торопя другъ друга,
Не зная выхода изъ заклятаго круга,
Храпитъ усталый конь, и стынетъ человѣкъ.

Какъ души грѣшныя надъ братскою могилой,
Въ пушистыхъ саванахъ возникнутъ ели вдругъ. . .
Скорѣй бы огонекъ! Да нѣтъ — все ужe кругъ.
Бушуетъ вѣтеръ злѣй и хлещетъ буйной силой.
Самъ чортъ замѣшанъ тутъ. Чу! Заглушенный стукъ.
Остановился конь. О, Господи, помилуй!

МАРТЪ.

На мартовскомъ снѣгу еще хрустящій настъ,
А съ крышъ веселыя забрызгали капели,
И шапки бѣлыя въ саду стряхнули ели.
Воркуетъ голубь, смѣлъ, нахохленъ и грудастъ.

Весна. Пасхальный звонъ въ ея волшебномъ хмѣлѣ!
Ужели? Но мечтать кто въ Мартѣ не гораздъ?
И воздухъ млѣющій такимъ тепломъ обдастъ,
Что слышится, поютъ весеннія свирѣли.

Загрезилъ дальній лѣсъ въ лѣнивомъ забытьи,
И тронулись пушкомъ чуть розовымъ вершины.
Какъ смоль, упавшія чернѣютъ хворостины.
„Чиви, чиви, чиви" — стрекочутъ воробьи.
На гору съ озера изъ синей полыньи
Везутъ прозрачныя и голубыя льдины.

АПРѢЛЬ.

Набухли почки вербъ, и перелѣски
Въ проталинахъ давнымъ-давно цвѣтутъ.
Озябшихъ травъ подснѣжный изумрудъ
Цѣлуютъ ручейковъ журчащихъ всплески.

Теплѣетъ солнце. Гуще занавѣски
Сквозныхъ дубравъ. И лютикъ тутъ какъ тутъ.
И надъ черемухой пчелиный гудъ,
И вьется жаворонокъ въ горнемъ блескѣ.

День цѣлый — птичій гамъ. Ужъ возлѣ гнѣздъ
Щеглы, чижи, малиновки запѣли.
Щебечутъ ласточки, скворецъ и дроздъ
Трещатъ. А вотъ при свѣтѣ раннихъ звѣздъ,
Еще несмѣлыя, гремятъ въ Апрѣлѣ
И соловья заливистыя трели.

МАЙ.

Я былъ на кладбищѣ. И тамъ весна.
Ирисъ, жасминъ, сирени бѣлой дымы.
И ландышемъ — цвѣтокъ ея любимый —
Могила вешняя окружена.

Стрекозы легкія носились мимо,
И золотомъ звенѣла тишина.
Здѣсь, подъ крестомъ чугуннымъ, спитъ она. . .
И сонъ ея глубокъ непостижимый.

Я помню все. Но ты, забыла-ль ты,
Меня любившая веселымъ Маемъ?
Любить . . . Зачѣмъ, когда нездѣшнимъ раемъ
Развѣются весеннія мечты?
И шопотомъ отвѣтили цвѣты:
Мы любимъ оттого, что умираемъ.

ПОСЛѢДСТВІЕ.

Все призрачно въ дали минувшихъ дней,
Но, Боже мой! какъ вдохновенно явно.
Сонъ, быль. Давно-давно и такъ недавно.
Тѣмъ слаще вспоминать и тѣмъ больнѣй.

О, какъ жива моя тоска по ней,
Еще вчера и близкой и державной,
И вотъ — чужой, преступной и безправной,
Безславно тонущей въ крови своей.

Россія! Русь! Тебѣ ли роковая
За смертный грѣхъ могила суждена?
Или стоишь у вратъ святыхъ, не зная?
Тяжка предъ Господомъ твоя вина.
Многострадальная, полуживая,
Но все желанная, навѣкъ—одна.

Сергѣй Маковскій.

Бѣсъ.*)

Въ эту ночь судьба Романовыхъ была рѣшена.

. . . . . .

Въ одной изъ комнатъ Кремлевскаго Дворца умирала женщина.

Ея маленькое личико, съ мелкими незамѣтными чертами, съ жидкими сѣдыми волосами, прилипшими къ вспотѣвшей головѣ, было чуть видно въ полутьмѣ.

Къ запаху лѣкарствъ, стоявшихъ на столикѣ, у изголовья, примѣшивался тяжелый запахъ, который исходитъ отъ умирающихъ стариковъ.

Комната была большая и пустая. Должно быть, раньше въ ней никто не жилъ. У одной стѣны стояла кровать, простая, желѣзная, но удобная. Съ противоположной стороны подъ окномъ стоялъ длинный письменный столъ. На немъ были аккуратно разложены бумаги. Вмѣсто кресла около стоялъ простой, плетеный стулъ.

Въ этой угрюмой, чисто больничной комнатѣ двѣ вещи, — занавѣсь и кресло, — бросались въ глаза, какъ будто забрели сюда случайно и сами съ недоумѣніемъ озирались кругомъ. Окно было завѣшано тяжелой занавѣсью изъ ярко пунцовой шелковой матеріи, на которой горѣли затканные желтымъ шелкомъ двуглавые Романовскіе орлы. Кто-то небрежно, большими гвоздями, прибилъ ее къ стѣнѣ. Вѣрно принесли съ другого конца дворца, можетъ быть изъ парадныхъ комнатъ. Кресло, высокое, похожее на тронъ, стояло съ другой стороны комнаты, около кровати, тоже обитое такимъ же штофомъ, алымъ съ гербами. Когда женщина, сидѣвшая на немъ, встала, изъ за ея спины выплыли широко распро-

---

*) Глава изъ романа „Василиса Премудрая". — *Авторы.*

стертыя, золотомъ отливавшія крылья. Гордыя орлиныя головы презрительно смотрѣли по сторонамъ.

Женщина наклонилась надъ кроватью, прислушиваясь къ неровному свистящему дыханію больной. Старуха, сквозь забытье, почувствовала на себѣ тревожный ласковый взглядъ дочери. Слабая, туманная улыбка чуть тронула ея лицо. Съ усиліемъ заставила она себя открыть глаза. Видѣть дочь, уходя впитать въ себя ея любовь, отдать ей всю до послѣдней капли свою материнскую нѣжность, неугасимую даже въ смерти, вотъ послѣднее желаніе.

Долгіе, долгіе годы, изо дня въ день, изъ часа въ часъ всѣ свои мысли, поступки, желанія обвивала она около дочери. Только бы Олечкѣ было хорошо, только бы она была счастлива, тогда все остальное какъ нибудь устроится, обойдется. Къ этому остальному она относила не только свое маленькое, личное, но вообще все, что бы на свѣтѣ ни случалось. И сейчасъ, умирая, шепотомъ не то успокаивала, не то прощенія просила за безпорядокъ, который имъ надѣлала:

— Родная моя, я тебя замучила. Иди, отдохни. . . Мнѣ какъ будто легче. . .

Усталыя вѣки опять опустились на глаза. Только улыбка все теплилась, отражалась и на лицѣ дочери, смягчая грубыя, некрасивыя черты ея лица. Ольга припала губами къ костлявой рукѣ матери, лежавшей на одѣялѣ и съ тяжелой, щемящей тоской радовалась, что жизнь еще теплится подъ морщинистой кожей. Но уже ушелъ отъ ослабѣвшаго тѣла запахъ тлѣнія, и дочь понимала, что это значитъ.

Она поправила подушки, дала матери питье съ ложечки, сдѣлала все, что принято дѣлать около больныхъ, столько же для нихъ, сколько для того, чтобы у близкихъ людей было успокоительное сознаніе, что это дѣлается. Опять опустилась въ кресло, прижала небрежно причесанную, тоже уже сѣдѣвшую голову къ самому сердцу двуглаваго орла.

Ольга измучилась. Вторую недѣлю боролась, старалась сохранить мать, удержать ее, спасти ее, а можетъ быть и себя. Но болѣзнь точила и грызла старое, плохо сопротивляющееся тѣло. Ольга все забросила, всю работу оставила. Только одна мысль была, какъ бы поддержать, сохранить, огра-

дить жизнь любимой, не отпускать ее отъ себя. Сквозь утомленіе подымался въ душѣ новый, холодный страхъ одиночества. Мать была послѣдней связью съ чѣмъ то глубокимъ, реальнымъ, теплымъ, что шло отъ дѣтства сквозь всѣ этапы личнаго существованія.

Это личное было все отдано одной цѣли. Много, много лѣтъ тому назадъ, еще совсѣмъ молодой дѣвушкой, она отдала всю себя, свои мысли, время, силы, надежды, радости, свою любовь и свою ненависть, словомъ все, что было въ ней живого, отдала служенію Революціи.

Но она была женщина.

Революція воплотилась для нея въ живомъ лицѣ, въ ея мужѣ.

Она была женой Петровича. Въ этомъ была ея гордость, въ этомъ было ея рабство. Молоденькой дѣвушкой влюбилась она въ идею свободы. Она не вѣрила въ Бога, но вѣрила въ то, что ради освобожденія трудящихся, люди обязаны идти на смерть. Ради чужого земного счастья жертвовать своей земной жизнью, за предѣломъ которой она ничего не ждала. Она не замѣтила, какъ любовь къ свободѣ перелилась въ любовь къ Петровичу. Ему подчинила она, свою волю, свою когда то безпокойную и ищущую мысль, свою совѣсть. Отдалась навсегда, слѣпо и беззавѣтно. И подчинившись ему, уже не могла понять, что этотъ человѣкъ органически презираетъ всякую свободу, всякое проявленіе творческой, а значитъ свободной человѣческой личности.

По натурѣ деспотъ, холодный, бездушный, не знающій ни пощады, ни состраданія, онъ былъ горячимъ только въ сектантскомъ догматизмѣ. Орудіемъ своей ледяной, мертвящей воли онъ взялъ ученіе, говорившее о равенствѣ, о слитности. Слово товарищъ звучало кругомъ него, хотя самъ онъ былъ изъ тѣхъ, кто обреченъ на одиночество, у кого не бываетъ товарищей. И быть можетъ, гордился этимъ. Изъ догмы своей онъ вылѣпилъ маску, а люди принимали ее за настоящее лицо Петровича.

Его острый, отточенный въ безконечныхъ партійныхъ спорахъ умъ отлично подбиралъ аргументы. Его ненасытная страсть подчинять себѣ чужую волю вбирала въ себя безъ

остатка тѣхъ, кто подходилъ слишкомъ близко. Ему и вѣрили, и подчинялись. Но больше всѣхъ вѣрила и подчинялась его жена.

Ольга не могла равнодушно видѣть голоднаго, жалкаго ребенка.

Онъ сказалъ ей:

— Когда мы уничтожимъ капитализмъ, всѣ дѣти получатъ поровну.

Но не сказалъ ей, что ради уничтоженія капитализма онъ обречетъ милліоны дѣтей на голодную смерть.

Ольга возмущалась тѣмъ, что наука и искусство доступны только небольшому кругу баловней судьбы. Онъ сказалъ ей:

— Ничего. Мы создадимъ новую пролетарскую культуру.

Но не сказалъ ей, что это будетъ жалкая попытка вчерашнихъ неудачниковъ, которые превратятъ въ мусоръ сокровища, накопленныя человѣческимъ геніемъ, для того, чтобы водрузить на развалинахъ свою торжествующую бездарность.

Ольга мечтала освободить все человѣчество. Онъ сказалъ ей:

— Русскій народъ самый свободный народъ въ мірѣ. Мы начнемъ съ Россіи.

Но не сказалъ ей:

— Я обращу русскій народъ въ стадо голодныхъ рабовъ, которые будутъ ползать у моихъ ногъ, потому что свобода это Я.

Ольга не могла видѣть безъ негодованія, какъ богатые бездѣльники издѣваются надъ оборванными труженниками. Онъ сказалъ ей:

— Мы уничтожимъ диктатуру буржуазіи и создадимъ диктатуру пролетаріата.

Но не сказалъ ей, что новыми хозяевами будутъ не массы, а маленькая кучка жадныхъ и наглыхъ проходимцевъ.

Ольга готова была цѣной собственной жизни создать людямъ новую жизнь, свободную, гордую и счастливую. Онъ сказалъ ей:

— Ключи отъ счастья спрятаны въ книгахъ Маркса.

Потомъ подумалъ и прибавилъ:

— И въ моихъ . . .

Такъ говорилъ онъ съ первыхъ же встрѣчъ съ ней, когда былъ еще никому неизвѣстнымъ гонимымъ революціонеромъ. Годы шли, ничего не мѣняя въ его міровоззрѣніи, только углубляя его сатанинскую вѣру въ себя. Все меньше говорилъ онъ о книгахъ Маркса, все чаще ссылался на собственныя работы.

Ольга была женщина и любила Петровича. Властное утвержденіе своего Я превыше всего, превыше даже Маркса, которому она молилась въ ранней юности, плѣнило и покорило ее.

Она была изъ тѣхъ, кто отдается цѣликомъ и на всю жизнь. Она стала его тѣнью, вѣрнымъ отголоскомъ его сухихъ схемъ, безпощадныхъ, какъ гильотина. Что бы ни дѣлалъ Петровичъ, для нея онъ всегда былъ правъ.

А дѣлалъ онъ много зла. Темная, недобрая сила бродила въ этомъ маленькомъ, невзрачномъ человѣчкѣ, который сумѣлъ окружить себя вѣрными, стать пророкомъ, несущимъ міру еще неслыханное откровеніе земной и только земной жизни, такъ какъ иной онъ и не признавалъ, но все таки откровеніе.

Кривыми, темными путями пробирался Петровичъ черезъ жизнь.

То осторожно, то дерзко, но всегда безстыдно прялъ онъ нити будущей власти. Сначала въ маленькихъ кружкахъ, студенческихъ, литературныхъ, революціонныхъ. Потомъ въ партіи. Ничѣмъ не стѣснялся. Ни передъ чѣмъ не отступалъ, не зналъ, что такое моральное отвращеніе. Лгалъ. Кралъ деньги такъ же легко, какъ кралъ чужое довѣріе. Только мыслей чужихъ никогда не кралъ, потому что признавалъ правильной только одну логику на свѣтѣ — свою собственную. И другихъ заставлялъ лгать, красть и обманывать. Когда надо было перессорить, ослабить, обезчестить, онъ пускалъ въ ходъ интригу, клевету. Всюду имѣлъ шпіоновъ, агентовъ, покорныхъ слугъ. Для него люди существовали только, какъ исполнители его воли. По мѣрѣ того, какъ росла его революціонная слава, слава великаго освободителя человѣчества, ему все легче ста-

новилось превращать людей въ такихъ же рабски преданныхъ ему послѣдователей, какъ его жена.

Но друзей у Петровича не было.

Дружба требуетъ хотя бы мимолетнаго признанія чужой цѣнности. Дружба это нѣчто, что идетъ отъ человѣка къ человѣку. Для Петровича люди были только слагаемыми въ составляемыхъ имъ сложныхъ соціологическихъ уравненіяхъ. Всѣ люди, не исключая, конечно, его собственной жены.

Ольга этого не понимала и понять не могла. Для нея Петровичъ былъ пророкъ, учитель мудрости, великій вождь, призванный раскрѣпостить несчастное человѣчество.

Она прожила съ нимъ 30 лѣтъ и все еще временами испытывала трепетную, стыдливую, дѣвичью гордость, что носитъ его имя. Не то настоящее имя, которое онъ получилъ при рожденіи отъ отца. То имя было отброшено, вмѣстѣ съ другими буржуазными предразсудками. Петровичъ было его боевое, литературное, революціонное имя. Оно отрѣзало его отъ условностей, давало ему, какъ монаху, второе рожденіе. Даже жена ни про себя, ни вслухъ не называла его христіанскимъ именемъ, которымъ мать звала его въ дѣтствѣ. Для нея, какъ и для другихъ, онъ былъ Петровичъ, потому что для нея, какъ и для другихъ, онъ былъ универсальнымъ, а не интимнымъ.

Мать знала, что Ольга цѣликомъ растворилась въ своемъ мужѣ. Она не понимала мудреныхъ словъ, которыя жужжали вокругъ нея, но то, что касалось Ольги, она понимала.

Отецъ Ольги умеръ, когда она была совсѣмъ маленькой. Мать никогда съ ней не разставалась. Научилась читать въ душѣ дочери. Но никогда не говорила вслухъ о томъ, что прочла въ этой самой важной, самой захватывающей для нея книгѣ. Изъ этого рѣдкаго сочетанья материнской зоркости и сдержанности родилась ихъ крѣпкая, глубокая связь.

Мать была счастлива, что могла дѣлить съ Ольгой и ссылку, и эмиграцію. Если бы могла, раздѣлила бы съ ней и тюрьму. Маленькая, незамѣтная, всегда занятая то кухней, то шитьемъ, то иной хозяйственной хлопотней, она старалась придавать убогой цыганской жизни революціонеровъ хоть какой нибудь уютъ. Украдкой хранила бытъ, традиціи, все,

что любила въ дѣтствѣ. Постилась на Страстной. На Пасхѣ готовила разговѣнье, хотя кромѣ нея никто въ домѣ не постился. На Троицу ставила живые цвѣты около постели. Дѣлала все это не только потому, что любила, но потому, что это былъ волшебный, древній заговоръ, который оградитъ ея дочь отъ злой силы.

Всюду возила она съ собой небольшой образъ Божьей Матери въ серебряномъ окладѣ, которымъ благословила ее мать, когда она выходила замужъ. Образъ этотъ и теперь висѣлъ въ изголовьи кровати, привязанный широкой бѣлой лентой. Сознанье, что знакомые, потемнѣвшіе отъ времени, но кроткіе и прощающіе глаза Божьей Матери смотрятъ на нее, смягчало горькую боль ея предсмертныхъ думъ.

Она знала, что умираетъ. Смерть не пугала ее. Но болѣзнь, ослабивъ тѣло, придала мыслямъ и воспоминаніямъ безпощадную послѣднюю ясность.

Какъ всегда, кружились около дочери. Ея собственная жизнь кончилась, когда умеръ мужъ. То есть не кончилась, а просто перелилась въ жизнь Ольги. Оглядываясь назадъ, она не видѣла себя, а только свою дѣвочку, любимую, понятную, близкую. Но чѣмъ пристальнѣе вглядывалась она въ цѣпь минувшихъ годовъ, тѣмъ больнѣе жалость, безпомощная, безнадежная, минутами близкая къ ужасу жалость къ Ольгѣ грызла ея сердце.

Эта тихая женщина такъ незамѣтно потонула въ растущей славѣ Петровича, что даже имени ея не зналъ почти никто изъ тѣхъ, кто бывалъ у нихъ въ домѣ, кому она во время безконечныхъ споровъ наливала безчисленные стаканы чая, изъ которыхъ они черпали силы для безконечныхъ споровъ. Никому изъ нихъ и въ голову не приходило, что именно она одна изъ первыхъ почуяла бѣсовское начало въ ихъ учителѣ.

Она никогда не ссорилась съ зятемъ. Онъ никогда не говорилъ съ ней. Просто не замѣчалъ ее. Она боялась его тяжелой, кошмарной боязнью. Боялась еще тогда, когда онъ былъ рядовымъ революціонеромъ, проводившимъ жизнь въ скитаніяхъ и разговорахъ, въ резолюціяхъ и протестахъ.

Только умирая, поняла она, откуда закрался въ ея душу, открытую для привязанности, этотъ страхъ. Когда онъ былъ гонимымъ, она винила себя за темное, слѣпое отчужденіе, всегда въ ней копошившееся. Считала это въ себѣ обычной требовательностью тещи и, дѣлая скучную, одуряющую домашнюю работу, старалась и въ преданности Петровичу сливаться съ дочерью.

Въ теоріи его она не вдумывалась. Статей его никогда не читала. Да и вообще читала только романы. Принять его ученіе на вѣру и даже вмѣстѣ съ Ольгой негодовать на всѣхъ, кто думалъ иначе, ей не стоило труда.

Это было самое легкое.

Но живого Петровича, сутуловатаго, съ большимъ ртомъ и маленькимъ туловищемъ, она просто боялась. Ее пугалъ его голосъ, отрывистый и настойчивый. Его взглядъ, который то совсѣмъ не видѣлъ человѣка, то кололъ его насквозь, точно онъ скальпель запускалъ вамъ въ мозгъ. Его смѣхъ, неожиданный, всегда не надъ тѣмъ, надъ чѣмъ смѣялись другіе, потому для нея непонятный. И то, что никогда не улыбнулся онъ въ отвѣтъ на улыбку ребенка.

Когда изъ гонимаго превратился Петровичъ въ гонителя, страхъ тяжелѣе навалился на ея душу, оглушенную событіями. Гдѣ же ей, съ ея маленькимъ необразованнымъ женскимъ умомъ было разобраться, когда самые образованные, умные, привыкшіе къ политическому мышленію люди во всемъ мірѣ съ недоумѣніемъ слѣдили за вихрями, крутившимися по Россіи, и тщетно старались подвести смерчь подъ привычныя логическія категоріи. Круговоротъ событій быстро обнаруживалъ, что какъ только они начинаютъ говорить о Россіи, большинство изъ нихъ говоритъ глупости. Поэтому наиболѣе осторожные молчали и ждали послѣдняго акта трагедіи.

Но тѣ, кто жилъ въ Россіи не могли ждать. Жизнь, точно злой кузнецъ, молотомъ ударяла по мозгамъ, требуя напряженія, добиваясь отвѣтовъ. И это мучило, какъ непосильная навязчивая загадка.

Мать Ольги мучилась вдвойнѣ, потому что въ центрѣ всѣхъ неразрѣшимыхъ противорѣчій стоялъ тотъ, кому ея дочь отдала свою душу, отдала свою совѣсть.

Рядомъ съ ней подъ одной крышей, изъ года въ годъ, Петровичъ прокладывалъ себѣ путь къ власти. Когда онъ, наконецъ, захватилъ ее, шагая по трупамъ, ей показалось, что это произошло такъ быстро и непонятно, что въ ея старой головѣ долго мерцало смутное ожиданіе, что все это ненастоящее, такъ морока одна. Вотъ проснется она и опять очутится въ маленькой квартиркѣ въ одной изъ глухихъ петербургскихъ улицъ, гдѣ когда то жила она вдвоемъ съ Ольгой.

Маленькая, старенькая, никому не страшная, бродила она сначала по улицамъ Петрограда, который былъ для нея своимъ, когда назывался Петербургомъ. Потомъ по Москвѣ. Не узнавала родины, по которой тосковала въ изгнаньи. Болѣзненно ловила всѣ стоны, проклятья, взрывы злобы и негодованія. Знала, кого проклинаютъ. Видѣла кровь на холодныхъ камняхъ, сухой огонь злобы въ горячихъ глазахъ. Знала, кто пролилъ эту кровь. Тоска подступала къ сердцу, остуженному годами. Хотѣлось теплой, вечерней тишины, а кругомъ былъ темный вихрь звѣриныхъ чувствъ. Кружится, кружится бѣсовская, дикая пляска. Въ серединѣ стоитъ онъ, тотъ, кого она всю жизнь боялась, Петровичъ.

Стоитъ и смѣется своимъ непонятнымъ смѣхомъ.

Вся затаенная ненависть подползаетъ къ нему, нависаетъ надъ его головой. Рядомъ съ нимъ стоитъ она, ея родная дѣвочка, ея Ольга, около нея вьется злоба. Хотѣлось заслонить дочь своимъ дряхлымъ тѣломъ, не дать ей захлебнуться въ этомъ морѣ крови, и слезъ, и проклятій.

И знала, что нельзя. Нельзя потому, что ея любимая, ея единственная отдала свое сердце, великодушное и нѣжное, Бѣсу.

Старуха ходила по церквамъ, слушала тихія затаенныя рѣчи народныя о печатяхъ дьявольскихъ и пришествіи Антихристовомъ. Видѣла передъ собой лысую голову Петровича, склоненную надъ декретами. Его улыбка змѣилась, мертвая, говорившая не съ живыми людьми, а съ кѣмъ то другимъ, кого видѣлъ только онъ.

Все мечтала, что это только сонъ, что наступитъ вдругъ пробужденіе. Сразу исчезнутъ и совѣты, и декреты, и това-

рищи, и трескъ выстрѣловъ, дворцы и трупы. Опять будетъ Россія. Опять она и Ольга, какъ бывало раньше, давно, давно.

Жизнь ея стала пустой. Никому больше не нужны были ея хлопотливыя заботы, ея маленькое, домашнее умѣнье. Ольга говорила:

— Пора, наконецъ, тебѣ отдохнуть. Безъ тебя все будетъ сдѣлано.

Конечно, сдѣлано. Все у нихъ есть. Ольга попрежнему одѣвалась кое-какъ, ѣла то, что передъ ней поставятъ, не обращала вниманія на мелочи жизни, не дорожила ими. Но всетаки жили они теперь какъ цари, потому что имъ какъ царямъ, кто то все подавалъ, все готовилъ. Но и это не веселило старуху, хотя изъ всѣхъ трехъ раньше она больше всего чувствовала бѣдность и тяготилась ею. Ей казалось, что кончится волшебство, и все золото обратится въ ихъ рукахъ въ черепки.

Когда заболѣла, когда приступы лихорадочнаго забытья стали смѣняться полосами болѣзненно-яснаго мышленія, тогда начала понимать, что, если это и сонъ, то не ей одной, а всему человѣчеству снится онъ. Не знаютъ еще люди, что пришли времена и сроки, что великое испытаніе послалъ Богъ на землю, дозволивъ темной силѣ войти въ ослабѣвшія души человѣческія... Войти и овладѣть... Соблазнить соблазнами словесными...

Тянулись долгіе часы болѣзни. Умирающая знала, что близокъ предѣлъ. Уже не разъ подступала прохладная тишина къ ея сердцу. И тянуло къ покою. Но она еще боролась. Не хотѣла умирать, не открывъ дочери своей послѣдней, страшной правды.

Давно уже состарилась Ольга. Морщины прошли по лицу. Къ русымъ волосамъ примѣшивались бѣлыя нити. Но для матери по прежнему была она дѣвочкой, которую надо оградить, уберечь, спасти.

Что спасти, тѣло или душу?

Ольга никогда не вила гнѣзда. Къ матеріальнымъ лишеніямъ была равнодушна. Теперь она жила во дворцѣ. Могла въ томъ или иномъ видѣ раздавать золото, брилльянты, картины, дворцы, автомобили, земли. Могла давать власть.

Могла миловать и казнить. Она была скромна и дѣлала только небольшое дѣло, которое взяла на себя. Но всетаки она была женой некоронованнаго императора, и это всѣ знали. Быть можетъ даже она сама знала, несмотря на свой монашескій ригоризмъ честной соціалистки.

Но никогда мать не испытывала къ ней такой судорожной жалости. Хотѣлось поднять руки и сразу смыть съ нея и грязь, и слезы, и золото, и кровь . . .

Какъ это сдѣлать, когда даже словъ не находила она. Всю жизнь отдавала себя Ольгѣ, безъ словъ, не заботясь о томъ, чтобы свои тревоги, опасенія и любовь вылить въ зыбкія формы человѣческой рѣчи.

Пришелъ часъ послѣдняго разставанья. Надо сдѣлать надъ собой усиліе, надо найти слова, правдивыя, сдирающія всѣ покровы. Если не она, то никто не откроетъ глаза Ольги. Никто не вырветъ ее изъ цѣпкихъ бѣсовскихъ лапъ.

Картины ада, смутныя, дѣтскія, наивныя и страшныя, плыли передъ ней. Вѣрно опять бредъ. А можетъ быть и нѣтъ. Если Петровичъ и китайцы хозяйничаютъ въ Кремлѣ, распоряжаются святыми церквями, то черти, конечно, есть. Они караулятъ, стерегутъ. Дѣлятъ души людскія.

А что, если въ Царствіи Небесномъ она не встрѣтится съ Ольгой?

Больная со стономъ заметалась. Дочь стряхнула съ себя дрему, вскочила, шепнула нѣжно:

— Мама, ты что? Тебѣ что нибудь надо?

Ихъ глаза встрѣтились. Лицо дочери было совсѣмъ близко отъ нея. Для другихъ это просто было лицо старой некрасивой женщины. Для матери оно было безконечно милымъ, потому что съ нимъ была связана вся нѣжность, вся радость преданности, десятками лѣтъ переполнявшая ея душу. Она все терпѣла, со всѣмъ малодушно мирилась, передъ всѣмъ гнулась, только бы Ольга была счастлива.

И не преодолѣла материнскаго малодушія, даже уходя изъ сонма живыхъ. Порабощенная собственною замкнутостью, онѣмѣвшая отъ добровольной молчаливости, не сумѣла она открыться передъ дочерью, побоялась неосторожнымъ словомъ разбить ея счастье, хотя уже знала, что въ счастьи этомъ таится проклятіе.

Вмѣсто словъ, обличающихъ бѣсовъ, прошептала, обсохшими отъ лихорадки губами:

— Оленька, ты серебро то выкупи... Оно маменькино... Это приданое мое...

И опять закрыла глаза.

Дочь наклонилась ниже. Поцѣловала горячій лобъ, покрытый липкимъ потомъ:

— Да, да, мамочка, непремѣнно. Пожалуйста, ты не безпокойся. Я завтра же велю выкупить. Ужъ извини, что раньше не сдѣлала.

Говорила ласково, успокоительнымъ, журчащимъ, ни къ чему не обязывающимъ тономъ, которымъ говорятъ съ дѣтьми. Ольга знала, что для матери три дюжины серебряныхъ ложекъ, которыя она заложила, пробираясь къ ней заграницу, были источникомъ и огорченій, и гордости. Не разъ въ Женевѣ старуха хлопотала и волновалась, чтобы не опоздать, во время послать проценты, а дочь съ едва сдержанной досадой слѣдила за этой суетой.

Символовъ она не понимала, а чувства собственности въ ней не было.

Но Ольга любила мать и рѣшила завтра же послать за ложками. Только гдѣ ихъ искать? Ломбарды національизированы, какъ и сейфы. Вся эта буржуазная дрянь свалена гдѣ то въ одну кучу. Всетаки надо это какъ нибудь устроить, потѣшить больную.

Со снисходительной нѣжностью думала она о томъ, какъ мать ничего не понимаетъ въ реальной жизни. До сихъ поръ, не умѣетъ отдѣлить важнаго отъ неважнаго.

Ольга разъ на всегда повѣрила, что понимаютъ жизнь только тѣ, кто до конца усвоилъ доктрину Петровича. Шумныхъ словъ и книжныхъ споровъ мать стыдливо боялась. А хрупкую, неувѣренную въ себѣ, прозорливость любви, которая таилась въ ея душѣ, Ольга давно перестала ощущать. Не вѣрила, что есть мудрость не книжная. Но любовь матери цѣнила, нуждалась въ ней, платила за любовь любовью.

Больная опять затихла. Дочь опустилась въ кресло. Усталость обволакивала ей ноги, плечи, ползла вверхъ къ самому затылку, закрадывалась въ мозгъ. Хорошо бы лечь,

вытянуться, заснуть, крѣпко, крѣпко. Не успѣла подумать, какъ сонъ уже сомкнулъ глаза, точно сбросилъ ее въ темную яму.

— Поди, лягъ, — услыхала она надъ собой привычный повелительный голосъ.

Петровичъ стоялъ передъ ней.

Она вскочила, шатаясь, не сразу понимая, въ чемъ дѣло. И опять упала въ кресло.

— Ну вотъ видишь, до чего ты себя довела. Это совершенно недопустимо. Иди сейчасъ же и ложись.

Она сначала противилась.

— Нѣтъ. Какъ же тутъ?

— Пустяки. Ничего особеннаго не случится. Я вмѣсто тебя посижу. Мнѣ все равно, гдѣ работать.

Она пошла и у дверей опять остановилась. Лицо больной тонуло въ полумракѣ. Казалось, она заснула, спокойно и глубоко.

Ольга опять вернулась. Взяла руку мужа, прижалась къ ней давно привычнымъ жестомъ, въ полголоса просила:

— Петровичъ, если что случится, ты меня позовешь? Правда? Я рядомъ въ комнатѣ лягу, не раздѣваясь на диванѣ. Сразу вскочу, когда позовешь.

— Ну конечно, позову . . . Иди, иди . . .

Онъ уже раскладывалъ на столѣ свои бумаги. Зажегъ надъ ними лампу, отчего другая стѣна, гдѣ лежала больная, еще больше ушла въ темноту. Придвинулъ стулъ. Приготовился работать.

Ольгѣ стало жутко. Точно онъ былъ далеко отъ нея и отъ больной. Но сонъ томилъ, тянулъ жилы, одолѣвалъ, ломалъ кости, застилалъ мысли. Она повторила:

— Смотри, если что случится, я рядомъ.

Онъ только кивнулъ головой.

Она ушла.

Въ комнатѣ было тихо. Слышенъ былъ только шелестъ бумагъ, на которыхъ Петровичъ дѣлалъ быстрыя помѣтки карандашемъ Онъ перебралъ ихъ всѣ. Аккуратно собралъ, отодвинулъ отъ себя и, опершись на край стола сложенными локтями, сталъ думать.

Передъ нимъ стлалась по стѣнѣ ярко пурпуровая шелковая занавѣсь. Мертвые глаза золотистыхъ Романовскихъ орловъ съ высокомѣрнымъ, тупымъ недоумѣніемъ смотрѣли сверху. Точно спрашивали, кто могъ впустить въ жилище царей этого маленькаго, сутуловатаго, некрасиваго человѣка?

Небольшой курносый носъ кое какъ посаженъ между выдающимися, калмыцкими скулами. Щеки, поросшія кустистой бородкой, подымаются къ самымъ глазамъ, глубоко запавшимъ въ глазныя впадины. Надъ ними нависли выпуклыя кости огромнаго лба, переходящаго въ большую лысину. Это лицо могло бы быть лицомъ Сократа, если бы не жестокое, злое выраженіе, таящееся въ крупныхъ плотно сжатыхъ губахъ, въ складкахъ, идущихъ отъ ноздрей къ концамъ губъ.

Если не знать, кто онъ, то можно его принять за самаго обыкновеннаго рускаго мужика побогаче, или за лавочника себѣ на умѣ. Такихъ не мало видѣли стѣны Кремлевскаго дворца, когда, въ дни коронацій или военныхъ побѣдъ, со всѣхъ концовъ Россіи приходили депутаціи поднести царямъ хлѣбъ-соль и засвидѣтельствовать свои вѣрноподданническія чувства.

Это было только сходство внѣшняго облика. Манера мыслить, духовный и душевный складъ были въ немъ не русскіе. Неопредѣленная мечтательность, расплывчатость, измѣнчивость въ желаніяхъ, планахъ, настроеніяхъ, все это было совершенно чуждо Петровичу. Разъ навсегда провелъ онъ передъ собою прямую линію и шелъ по ней.

У него были геометрическіе мозги. Точные, безпощадно сухіе. Теорема не знаетъ жалости. Сложнѣйшіе вопросы человѣческой жизни Петровичъ сводилъ къ ряду теоремъ. Въ нихъ не было мѣста психологіи, страстямъ, увлеченіямъ, безпокойному исканію истины. Истина была дана разъ навсегда и окончательно. Она сводилась къ тому, что человѣкъ есть только продуктъ экономическихъ условій. Современное общество построено на неправильномъ производствѣ, на неправильномъ распредѣленіи. Надо произвести революцію, сломать все, что накоплено вѣками, и на пустомъ мѣстѣ выстроить новое зданіе по новой схемѣ, выработанной въ кабинетѣ.

Подготовляя разрушеніе, Петровичъ умѣлъ пользоваться слабостями и пороками массъ. Онѣ были ему нужны, какъ орудіе, и онъ ничѣмъ не брезгалъ, чтобы сдѣлать это орудіе послушнымъ и гибкимъ. Но тамъ, гдѣ дѣло шло о постройкѣ новаго строя на развалинахъ стараго міра, онъ не допускалъ никакихъ компромиссовъ. Этотъ строй или будетъ навѣки отмѣченъ печатью его воли, или пусть вѣтеръ гуляетъ въ опустошенной странѣ.

Равнодушный къ искусству, онъ, самъ того не зная, рисовалъ жизнь кубистически. Живые, созданные изъ плоти и духа люди были для него только комбинаціей линій и фигуръ. Когда онъ былъ конспираторомъ и изгнанникомъ, онъ учился складывать изъ нихъ схематическіе узоры.

Исторія отдала ему во власть сотни милліоновъ людей, и онъ спѣшилъ превратитъ ихъ жизнь въ рядъ чертежей и схемъ, гдѣ не было мѣста ни свободной волѣ, ни личнымъ влеченіямъ, ни таланту или фантазіи. Кромѣ тѣхъ, которыя снились ему самому, потому что у этого бездушнаго догматика была дьявольская фантазія.

Нерѣдко досадовалъ онъ, что приходится отступать отъ подробностей годами выношеннаго плана, потому, что нельзя терять времени. Въ длительность своей власти онъ самъ не вѣрилъ.

Плотно охвативъ локти пальцами, Петровичъ сидѣлъ, не мѣняя ни позы, ни выраженья лица. Вся заключенная въ немъ сила движенія сосредоточилась въ мозгу. Мысли развивались непрерывно, точныя, сухія, цѣпляясь одна за другую, какъ колесики машины.

Онъ вспомнилъ засѣданіе, которое только что кончилось. Положеніе очень скверное. Рабочіе требуютъ, чтобы было исполнено все то, что большевики обѣщали. Они не хотятъ работать, но ждутъ, чтобы кто-то устроилъ имъ лѣнивую и сытую жизнь буржуевъ, совсѣмъ такую, какъ имъ рисовали жизнь капиталистовъ. Хлѣба нѣтъ. Когда у мужиковъ требуютъ хлѣба, они просто убиваютъ комиссаровъ. Какія то движенія опять происходятъ въ недавно покоренныхъ казачьихъ земляхъ. И на Волгѣ, и на сѣверѣ, и въ Сибири. Красная Армія похожа на сбродъ.

На засѣданіи комиссары докладывали объ этомъ истерически волнуясь. Все повторяли:

— Провалимся. Неизбѣженъ провалъ . . .

Петровичъ слушалъ равнодушно. Одинъ изъ комиссаровъ сказалъ:

— Неужели вы не чувствуете, что недовольство противъ васъ уже переходитъ въ ненависть? Развѣ можно при такихъ условіяхъ что бы то ни было сдѣлать?

Петровичъ презрительно посмотрѣлъ на него:

— Вы, товарищъ, повидимому, сохранили буржуазную психологію. Можетъ быть, вы собираетесь ихъ кормить разговорами и уговорами, какъ дѣлало Временное Правительство? Ну, такъ слушайте, — онъ стукнулъ кулакомъ по столу, — хотятъ они, или не хотятъ, но я ихъ сдѣлаю коммунистами. Потому что я такъ хочу.

Всѣ замолчали. Комиссары уже знали, что значитъ, когда Петровичъ говоритъ — я хочу. Среди своихъ онъ не стѣснялся и велъ ихъ желѣзной рукой.

Гораздо больше значенія придавалъ онъ короткому разговору съ Багровскимъ, котораго онъ самъ называлъ Великимъ Инквизиторомъ отъ Коммунизма. Багровскій создалъ для внѣдренія въ душу народную соціалистическихъ идей, для укрѣпленія совѣтской власти сложную и страшную систему сыска и расправы съ политическими врагами. Его Чрезвычайная Комиссія была фундаментомъ, на которомъ Петровичъ долженъ былъ строить свое зданіе новаго человѣческаго общества. Цементомъ служила горячая человѣческая кровь.

Багровскій былъ единственный человѣкъ, къ которому Петровичъ испытывалъ что-то близкое къ уваженію.

Высокій и быстрый, съ лицомъ аскета, съ колючими глазами шпіона, съ холодной душой насильника, Багровскій былъ такимъ же властнымъ изувѣромъ, какъ и Петровичъ. Только онъ шелъ дальше. Онъ поставилъ себѣ цѣлью обезвредить и уничтожить всѣхъ, кто не склонился передъ богиней коммунизма и самъ руководилъ цѣлой системой пытокъ и убійствъ Это былъ жрецъ, приносившій своему богу человѣческія жертвы.

У него тоже было геометрическое мышленіе, не воспринимающее трепета человѣческихъ радостей, а тѣмъ болѣе человѣческихъ страданій.

Казалось, что Багровскому должны по ночамъ сниться огромныя подземелья, гдѣ блестящія, стройныя, геніально придуманныя машины дробятъ кости, сосутъ кровь, можжатъ мозгъ живыхъ людей.

На самомъ дѣлѣ все происходило очень просто, такъ же просто, какъ на бойнѣ, гдѣ убиваютъ быковъ и овецъ. Но въ этой простотѣ и было самое страшное. Всю Россію покрылъ Багровскій сѣтью своихъ застѣнковъ, гдѣ свирѣпые, безнаказанные, пьяные не отъ вина и кокаина, но отъ собственной жестокости люди мучали, истязали, убивали, повторяя старые, давно придуманные человѣческой злобой пріемы.

Багровскій, умный, прочитавшій не мало книгъ не только по политической экономіи, но и по философіи, отлично зналъ, что дѣлаютъ его слуги и кто они. Но это не нарушало стройнаго теченія его коммунистической геометріи.

Изъ комнаты, рядомъ со своимъ кабинетомъ, заставленнымъ телеграфными и телефонными аппаратами, онъ разливалъ холодный пылъ своей революціонной воли по всѣмъ подвластнымъ ему застѣнкамъ Слезы, кровь и смерть несла эта воля огромному пространству Русской земли. Но это не могло смутить тѣхъ, кто вѣрилъ, что только черезъ кровь можетъ утвердиться на землѣ Великій Коммунистическій Абсолютъ.

Той же вѣры былъ полонъ Петровичъ. Около его кабинета тоже стояли телеграфные и телефонные аппараты. Казалось, таинственная, стоящая на грани живого и мертваго, энергія электричества сливается съ мертвящей энергіей этихъ деспотовъ, составляетъ неразрывную часть ихъ механической, нечеловѣческой души.

Для нихъ обоихъ ритмъ аппарата былъ понятнѣе и пріятнѣе ритма безпокойнаго человѣческаго сердца. Для Петровича, кромѣ того, это была сладкая эмблема власти.

Не вѣря въ Бога, не ощущая людей, онъ нашелъ Абсолютъ въ себѣ и поклонился ему. Онъ называлъ это Міровой

Революціей. Онъ называлъ это Коммунизмомъ. Но для себя онъ зналъ, что это называется:

— Я хочу.

Въ этомъ было его главное отличіе отъ Багровскаго.

Великій Инквизиторъ, Коммунистъ-Палачъ, безстрашно бралъ на себя отвѣтственность за кровь, потому что поставилъ идею Абсолюта внѣ себя и выше себя.

Петровичъ поставилъ Абсолютъ въ себѣ, но кровавыя обязанности передалъ другимъ.

Послѣ засѣданія Багровскій сказалъ ему:

— У меня важныя агентурныя свѣдѣнія.

Совершенно тѣми же словами, съ которыми при царяхъ подходилъ къ предсѣдателю совѣта министровъ директоръ департамента полиціи.

Они отошли въ сторону. Петровичъ сказалъ повелительно:

— Ну, я слушаю.

— Контръ-революція работаетъ со всѣхъ сторонъ, — сказалъ инквизиторъ. — Въ самой Москвѣ сильная бѣлая организація. Они сносятся съ иностранцами. Готовится побѣгъ царя и его дѣтенышей. Ваши друзья эсъ-эры затѣваютъ что то и здѣсь, и на Волгѣ.

— Это все?

— А вамъ мало? Пока все.

— Они дѣйствуютъ всѣ сообща, или это отдѣльныя организаціи?

— Нѣтъ, не вмѣстѣ. Я еще не знаю, сколько организацій. У меня еще не всѣ нити въ рукахъ. Но я знаю, что тутъ нѣсколько организацій. Можетъ быть даже не связанныхъ другъ съ другомъ.

— Дурачье, — сказалъ Петровичъ и засмѣялся тѣмъ рѣзкимъ, лающимъ смѣхомъ, котораго такъ боялась старуха. — Тогда можно повременить. Сегодня еще ничего не предпримемъ. Завтра рѣшимъ, надо ли ихъ допустить до выступленія и тогда истребить. Выгоднѣе дать имъ расшалиться.

Смѣясь, они разошлись.

Теперь Петровичъ подводилъ для себя итогъ, куда и то, что говорилось на засѣданіи, и заговоры, тревожившіе Инквизитора, входили только какъ слагаемыя. Чертежъ Петро-

вича, его кубистическая схема построенія человѣческаго общества, давно вышли за предѣлы Россіи, которая была для него только географической картой. Если бы ему было легче утверждать свое волевое Я гдѣ нибудь въ Африкѣ или въ Китаѣ, онъ съ нихъ бы и началъ. Но онъ началъ съ Россіи, гдѣ родился, съ русскаго народа, который считался его роднымъ народомъ, потому, что это была болѣе легкая добыча.

Петровичъ думалъ, что даже въ Россіи созданный имъ строй не долго продержится. Война кончится, съ ней вмѣстѣ рухнетъ барьеръ, отдѣляющій коммунистическую Россію отъ всего міра, отъ буржуазнаго міра. Тогда вся сила объединеннаго мірового капитала обрушится на Совѣтскую власть. Это совершенно неизбѣжно. Простое чувство самосохраненія поведетъ буржуевъ противъ разрушителей банковъ, биржи, заводовъ, противъ тѣхъ, кто убиваетъ собственность.

Къ этому нападенію и готовился Петровичъ. Онъ былъ совершенно увѣренъ, что ему придется снова вернуться къ жизни международнаго заговорщика. Но прежде, чѣмъ уйти отъ власти, онъ долженъ на прощанье, какъ хорошій актеръ, поразить, встряхнуть одряхлѣвшія души. Пусть поймутъ, пусть хорошенько запомнятъ, что такое революція. И кто такой Петровичъ.

Онъ крѣпче сжалъ блѣдныя, широкія губы. Темные клубы злобы шевелились въ душѣ, придавали жалящую остроту тому циркулю, которымъ онъ чертилъ свои геометрическія фигуры. Вглядывался, взвѣшивалъ. Буржуазія? Но ея уже почти не слышно. Газетъ нѣтъ. Крестьяне? Ну, ихъ не трудно свернуть въ бараній рогъ.

Главное, это міровая схема. Разбросать ячейки по всему міру. Нужны пропагандисты. Это пустяки. Если по настоящему приняться, то можно пуделя натаскать и превратить въ агитатора. Была бы система. Если умѣли завязывать нити, вести подкопы, разжигать страсти по всему міру, когда были бѣдны и разрознены, то теперь, сидя въ Кремлѣ, есть на что опереться. Чего стоитъ одно золото, накопленное Романовыми, которое лежитъ гдѣ то здѣсь подъ рукой, въ Кремлевскихъ подвалахъ . . . Какіе, однако, дураки были эти Романовы, что выпустили изъ рукъ такой народъ, изъ котораго можно веревки вить.

Да. Романовы. Вотъ хорошій ударъ для мірового имперіализма. Какъ просто. Въ алгебраическихъ уравненіяхъ, которыми онъ мыслилъ жизнь, не было человѣческихъ личностей, не было представленія о человѣчествѣ, какъ о сочетаніи милліоновъ равноцѣнныхъ съ нимъ самимъ чувствующихъ и мыслящихъ субъектовъ. Все замѣнялось отвлеченными буквами и знаками. Передъ буквой Романовыхъ онъ поставилъ знакъ минуса.

И сейчасъ же пошелъ дальше. Это подробность. Царей легко ликвидировать. Это старый, мертвый уже міръ. Похоронить и кончено.

Близко отъ него, назойливо путаясь въ совѣтскія дѣла, копошились соціалисты не коммунисты. Эти вызывали въ немъ острое раздраженіе. Быть можетъ, потому что, несмотря на всю свою дьявольскую гордыню, не могъ онъ не видѣть, какъ близки ихъ аргументы, ихъ мышленіе, ихъ психологія къ его собственной логикѣ. Какъ будто кто-то показывалъ ему въ вогнутомъ зеркалѣ его каррикатуру. Въ немъ копилась злость противъ бѣдныхъ родственниковъ.

Пора кончить съ глупыми ересями. Кто способенъ понять логику коммунизма, кто понялъ, что передъ его волей надо склониться, тѣ уже перешли въ коммунисты. Остальнымъ пора дать понять, что коммунистическая власть умнѣе царской и знаетъ, какъ выдернуть жало у враговъ, какъ обезвредить ихъ. Ядовитымъ онъ считалъ все, что расходилось съ его догмой.

Петровичъ взялъ карандашъ и сталъ аккуратно записывать на бумажкѣ имена. Завтра онъ передастъ списокъ Инквизитору. Тотъ ужъ знаетъ, что надо дѣлать. Убивать ихъ сейчасъ невыгодно. А напугать — пора.

Люди, передъ которыми онъ ставилъ сейчасъ знакъ минуса, не были врагами народа, какъ было принято называть Романовыхъ. Многіе изъ нихъ дѣлили съ Петровичемъ тюрьму и ссылку, вмѣстѣ скрывались, вмѣстѣ издавали тайные и явные соціалистическіе листки, вырабатывали программы, резолюціи, деклараціи, на которыя тогда обращали вниманіе только немногіе. Петровичъ и во времена скитаній не церемонился съ ними. Даже разбойничьей бандитской

морали онъ не признавалъ. Съ равнымъ презрѣніемъ обманывалъ онъ какъ революціонеровъ, такъ и буржуевъ.

Вѣдь онъ открылъ абсолютную земную истину. До него всѣ пророки были шарлатанами, потому что ихъ истина говорила о небѣ, о Богѣ, о безконечности мистической. Онъ первый до конца утвердилъ земной рай, земной Абсолютъ и тѣмъ разрѣшилъ противорѣчія, раздирающія человѣческое общество. Уже само это открытіе ставитъ его выше всѣхъ.

Разъ онъ источникъ новой истины, то значитъ нѣтъ для него моральныхъ перегородокъ и препятствій. Ему все дозволено, потому что въ немъ самомъ послѣднее мѣрило вещей, и еще потому, что въ его могучемъ и ледяномъ сознаніи звучитъ только одинъ императивъ: Я хочу.

Списокъ все удлинялся. На хмуромъ лицѣ диктатора начинала брезжить улыбка. Рядомъ съ мертвыми формулами, алгебраическій мозгъ хранилъ и нѣкоторыя живыя воспоминанія, связанныя то съ логической борьбой, то съ борьбой за власть. Это называлось спорами о программѣ, объ организаціи, о тактикѣ, о партійной техникѣ. Но, по существу, это было только постепенное, неуклонное утвержденіе царственной воли Петровича. Онъ никогда не забывалъ, при какихъ обстоятельствахъ и кто выступалъ противъ него, пытался освободиться отъ его тисковъ.

Теперь онъ положитъ конецъ дѣтскому сопротивленію своихъ вчерашнихъ попутчиковъ. При мысли объ этомъ усмѣшка, похожая на гримасу, растягивала его большой безцвѣтный ротъ. Онъ отложилъ карандашъ и особеннымъ жестомъ перебиралъ короткими пальцами, точно давилъ и враговъ, и противниковъ, какъ мелкихъ букашекъ.

Свою власть онъ ощущалъ такъ же отчетливо, какъ счастливый любовникъ ощущаетъ въ себѣ любовь. Волны сладострастнаго самолюбія ходили въ холодной душѣ.

Онъ внесъ въ списокъ имя женщины, которая съ яростью истерической революціонерки помогла коммунистамъ захватить власть. Послѣднее время, съ такой же яростью стала она требовать отъ коммунистовъ, а главное отъ самого Петровича, уваженія къ народнымъ массамъ.

— Вы не смѣете топтать волю народную, вы обязаны собрать Учредительное Собраніе. Вы узурпаторы . . . — кричала она на послѣднемъ засѣданіи. — Вы возстановляете самодержавіе въ его худшей формѣ.

Презрительная улыбка расплылась по скуластому лицу Петровича. Этакая дура. Точно его можно испугать словами. Все равно онъ заставитъ массы жить согласно строгимъ декретамъ. Конечно, коммунистическимъ.

Изъ угла раздался стонъ.

Петровичъ съ недоумѣніемъ оглянулся. Онъ забылъ о больной. Онъ всталъ, подошелъ къ постели, нагнулся. Но нити мыслей не мѣнялъ, думалъ не объ умирающей, а о глупости и слабости своихъ идейныхъ товарищей. Все та же улыбка, холодная и мертвая, дрожала на некрасивомъ, бородатомъ лицѣ, придавая ему отталкивающее выраженіе тайной похоти.

Больная съ ужасомъ смотрѣла на эту улыбку, внезапно всплывшую передъ ней изъ полумрака.

Закричала неожиданно громкимъ, рѣзкимъ, пронзительнымъ голосомъ:

— Отойди отъ меня, сатана!

Выпрямилась на подушкахъ, подняла руку, чтобы крестнымъ знаменіемъ отогнать бѣса. И оборвалась. Упала назадъ на подушки, съ лицомъ перекошеннымъ послѣднимъ смертнымъ приступомъ ужаса.

Петровичъ постоялъ надъ ней. Подумалъ. Тронулъ ея руку, еще теплую, но уже неподвижную. Опять нагнулся. Дыханья уже не было.

Онъ выпрямился и оглядѣлъ комнату, соображая, что же въ такихъ случаяхъ надо дѣлать. Тишина поразила его. Какой то странный прохладный вѣтерокъ прошелъ. Точно за его спиной прошелестѣли крылья большой птицы. Онъ обернулся. Въ комнатѣ было пусто. Никого. Только онъ и мертвая старуха.

Да на стѣнѣ распростерли по красному шелку свои широкія крылья золотые царскіе мертвые орлы.

Петровичъ опять сѣлъ къ столу. Его не могли задѣть ни смерть старухи, ни тѣмъ болѣе ея предсмертный крикъ.

Для него это просто былъ бредъ. Онъ такъ же не интересовался Сатаной, какъ не интересовался Богомъ.

Религіозность Ольгиной матери вызвала въ немъ снисходительное пренебреженіе, которое онъ считалъ терпимостью къ чужимъ суевѣріямъ.

Что она умерла, нѣтъ ничего особеннаго. Старики всегда умираютъ. Онъ хотѣлъ позвать жену, потомъ раздумалъ. Ольга была незамѣнимой для него помощницей, ловившей его мысли и приказы на лету. Но онъ считался съ ея женской слабостью, не мѣшалъ ей ухаживать за матерью, хотя былъ увѣренъ, что было бы гораздо раціональнѣе отправить старуху въ больницу, конечно, въ хорошую больницу.

Теперь старуха умерла. Стоитъ ли будить Ольгу? Пусть выспится. Все равно умершую не воскресить.

Круглая, лысая голова опять наклонилась надъ спискомъ. И опять та же холодная улыбка поползла по его лицу.

Ольга сквозь сонъ почуяла вѣяніе смерти и проснулась. Вошла въ комнату. Спокойная поза мужа на мгновеніе успокоила ее. Осторожно подошла она къ кровати. Увидала судорожно закинутую голову матери, полуоткрытый, искривленный страхомъ ротъ.

Ольга упала на колѣни, схватила руки умершей, повторяла, какъ въ дѣтствѣ.

— Мама, мама . . .

Погладила голову, тихо, тихо провела по щекамъ, сгоняя съ нихъ страшную предсмертную гримасу. Казалось, отъ трепетнаго, любовнаго прикосновенія ея дрожащихъ рукъ на мертвое лицо медленно сходитъ успокоеніе.

Петровичъ подошелъ. Неподвижно и молча сталъ рядомъ съ женой.

— Что-же это? Отчего ты меня не позвалъ? Вѣдь я просила. Вѣдь ты обѣщалъ?

— Ты просила позвать тебя, если что нибудь случится.

— Ну да, ну что же ты?

— Такъ вѣдь ничего не случилось.

— Какъ не случилось? Развѣ ты не видишь, что она умерла?

— Да, умерла. Я знаю. Ну, такъ что-жъ? Вѣдь ты не ребенокъ, Ольга. У старухи съ больнымъ сердцемъ воспаленіе легкихъ. Не могла же ты думать, что она выживетъ. Ты должна была знать, что она умретъ.

Жена повернулась въ его сторону, снизу вверхъ посмотрѣла на него. Въ ея глазахъ, затуманенныхъ горемъ, его лицо отразилось не такимъ, какимъ оно представлялось ей въ теченіе тридцати лѣтъ.

Сердце, напоенное горечью утраты, сжалось темнымъ, тяжкимъ, никогда неиспытаннымъ страхомъ. Она знала, что враги считаютъ Петровича холоднымъ и жестокимъ. Она знала, что его больше всѣхъ винятъ за страданія, переживаемыя Россіей. Слушала это иногда презрительно и равнодушно, иногда съ высокомѣрнымъ негодованіемъ.

Для нея онъ былъ великій, но свѣтлый и великодушный. Припавъ заплаканнымъ мокрымъ лицомъ къ мертвымъ рукамъ матери, она впервые испытала острую боль сомнѣнія. Точно отъ этихъ остывающихъ рукъ, невысказанный страхъ передъ бѣсомъ, отравлявшій покой матери, прошелъ въ ея душу.

Издалека донеслись, громко прозвучали, слова старухи-нищенки, которыя Ольга случайно слышала, проходя мимо одного изъ Кремлевскихъ соборовъ:

— Слуги бѣсовскіе . . . И старшаго своего зовутъ Петровичъ . . . А настоящее ему имя Сатана . . .

Тогда же, смѣясь, разсказала она объ этомъ матери.

Теперь вспомнила, — мать не засмѣялась. Только отвернулась, скрыла отъ дочери свое лицо.

А. Тыркова и Г. Вильямсъ.

Стихотворенія.

I.

ИЗЪ ПЕТРОГРАДСКАГО ЦИКЛА.

Я тку стиховъ ненужныхъ нити:
Въ бездѣльѣ таютъ вечера.
Я говорю словамъ: плывите
Съ конца усталаго пера.

Иду на Невскій. Мглой и свѣтомъ —
Виномъ искристымъ — напоенъ,
Боюсь стихомъ, еще неспѣтымъ
Колдующій развѣять сонъ.

Звенятъ трамваевъ вереницы,
Моторъ разсыпалъ снопъ огня.
Въ концѣ Проспекта только снится
Громада грузнаго коня.

И мнится: вотъ, не станетъ силы
И дрогнетъ царская рука,
И далеко во мракъ постылый
Отброситъ лошадь сѣдока.

Но подойди: туга какъ раньше
Въ рукѣ упругая узда.
И упадаетъ съ желтой башни
Часовъ унылыхъ череда.

А сердце сжато страхомъ вѣщимъ.
Навстрѣчу каменѣетъ смѣхъ,
И лица выступаютъ рѣзче,
Глаза огромнѣе у всѣхъ.

Тамъ — жалобно застыло тѣло
Канала въ каменной бронѣ.
Здѣсь рядъ домовъ похолодѣлыхъ
И успокоенныхъ во снѣ.

5.XII. 1918.

II.

ИЗЪ ЦИКЛА „ТУМАНЫ".

1.

Иду — и ничего не вижу.
Кругомъ безвыходный туманъ:
Приникъ къ землѣ и нѣжно лижетъ
Усталый, натруженный станъ.

Высоко фонари, какъ луны,
Висятъ; ползетъ автомобиль.
Я снова дерзкій, снова юный,
Готовъ идти хоть двѣсти миль!

Нашъ разговоръ передкаминный
Уже ненужнымъ предстаетъ:
Вся жизнь какъ праздникъ длинный, длинный,
Какъ безконечный хороводъ.

Но люди только марьонетки.
Въ туманѣ я одинъ — живой.
Дома, деревья какъ виньетки,
Какъ призраки страны иной.

Иду — шаги звучатъ навстрѣчу,
Но ихъ виновники за мглой.
Чѣмъ день грядущій я отмѣчу?
(Туманъ вѣнчается съ землей . . .)

Въ туманѣ сказкою предстанетъ
Безцвѣтный кругъ ненужныхъ дней;
И жизнь — какъ легкій, легкій танецъ,
Туманная мечта о Ней.

Лондонъ, 23.X. 1920.

—2.—

Я не первый воинъ, не послѣдній.
Долго будетъ Родина больна.

А. Блокъ.

Эти туманы и эти огни,
Этотъ городъ, пропитанный дымомъ . . .
И куда-то плывутъ безсмысленно дни,
А мысли надъ солнечнымъ Крымомъ.

Тамъ на фронтѣ — смерть, и болѣзни — въ тылу:
Безконечные красные будни.
Никто не прорветъ грядущаго мглу,
Никто не скажетъ, что завтра будетъ.

Мы ждемъ и томимся у постели больной,
Мы безсильны въ своемъ томленьи:
Поневолѣ уходимъ къ жизни иной,
Забываемъ о страшномъ плѣнѣ.

Пусть надъ Родиной плачетъ метель,
Ткетъ ей саванъ изъ бѣлаго снѣга —
Все равно къ отдаленной метѣ
Путь лежитъ неисхоженъ, небѣганъ.

Намъ о Родинѣ плакать нельзя:
Велики Ея жребій и доля.
Пролегла золотая стезя
Между древнихъ, сѣдыхъ колоколенъ.

Такъ темны повелѣнья судьбы,
Изслѣдить не дано повтореній.
Повинуйся призыву трубы,
Откажись отъ своихъ сновидѣній.

Рать татаръ полонила всю Русь,
И я жду Куликова Поля.
Русь въ бреду и безумьи — такъ пусть!
Ея путь неразгаданъ и воленъ.

Лондонъ, Октябрь 1920.

III.

ОТРЫВОКЪ.

Мы живемъ въ тупомъ ожиданьи
И въ тревогѣ за каждый часъ.
Перейти сокровенныя грани
Не дано никому изъ насъ.

И тревога все злѣй, все рѣзче:
Кровью красною всходятъ цвѣты,
Собираются тучи зловѣщѣй,
И растутъ на могилахъ кресты.

Колокольнаго звона не слышимъ
И молитвы творимъ въ тиши.
Подымаются выше и выше
Безысходные страхи души.

Черный блѣдный монахъ у обѣдни —
Что пророчатъ его глаза?
Этотъ день будетъ день послѣдній;
Никому не уйти назадъ.

Пуст. Нила Сорскаго.
Сентябрь 1918.

Глѣбъ Струве.

Воспоминанія князя Евгенія Николаевича Трубецкого.

(Продолженіе).

XI. Философскія занятія въ университетѣ. Вліяніе Соловьева. Встрѣча съ Чичеринымъ.

Въ общемъ и для меня и для брата университетскіе годы были едва ли не самымъ плодотворнымъ періодомъ нашихъ философскихъ занятій. Почти цѣлую зиму 1881—1882 года я провелъ въ изученіи Фихте, при чемъ я началъ съ изученія труда Куно Фишера о немъ, а потомъ читалъ его собственныя произведенія. Затѣмъ также сначала по Куно Фишеру, а потомъ по собственнымъ трудамъ философа я ознакомился съ Шеллингомъ. Это было не простое чтеніе, а изученіе: главнѣйшіе труды философовъ прочитывались мною по два раза. Второй и третій курсъ университета были мною посвящены изученію древней философіи. Я прочелъ дважды огромные пять томовъ исторіи Целлера, перечиталъ во второй разъ многіе діалоги Платона, проштудировалъ по гречески съ помощью нѣмецкихъ переводовъ почти всего Аристотеля и всего Платона, — ознакомился съ исторіей англійской философіи по трудамъ Куно Фишера и Эрдмана, прочелъ Юма по англійски, а затѣмъ весь послѣдній годъ университетскаго курса изучалъ Гегеля, котораго также прочелъ почти всего, ознакомился съ книгой о немъ Гайма и съ извѣстной критикой гегелевскаго ученія въ „Логическихъ изслѣдованіяхъ“ Тренделенбурга.

Въ этотъ же періодъ въ связи съ занятіями по древней философіи я написалъ мое кандидатское сочиненіе „О рабствѣ въ древней Греціи", — оно же и мой первый печатный трудъ. Основы всего моего философскаго образованія были такимъ образомъ заложены частью въ гимназіи, частью въ университетѣ Потомъ въ теченіе многихъ лѣтъ я не имѣлъ возможности удѣлять занятіямъ по чистой философіи такого количества времени и силъ.

Работали мы въ это время съ братомъ совершенно самостоятельно. Мы уже настолько освоились съ литературою предмета и съ методами изученія, что чье либо руководительство, если бы таковое въ то время и было возможно, не было намъ нужно.

Для меня непостижимо, какъ это въ теченіе всѣхъ нашихъ университетскихъ годовъ случай не свелъ насъ съ Соловьевымъ, который въ это время часто и подолгу живалъ въ Москвѣ. Во всякомъ случаѣ на ходъ нашего развитія онъ оказывалъ сильное вліяніе. Мы доставали номера „Православнаго Обозрѣнія", гдѣ печатались его „Чтенія о Богочеловѣчествѣ"; тетушки, у которыхъ мы жили въ Москвѣ, получали „Русь" Аксакова, и мы съ жадностью набрасывались на появлявшіяся тамъ одна за другой части „Великаго спора". Поворотъ Соловьева къ католицизму, обозначившійся въ концѣ этихъ статей, былъ для насъ громовымъ ударомъ. Мы болѣзненно переживали возникшій вслѣдствіе этого поворота расколъ въ славянофильскомъ лагерѣ и съ волненіемъ слѣдили за полемикой между Соловьевымъ и Ив. Серг. Аксаковымъ.

Это была первая глубокая трещина въ моемъ собственномъ славянофильствѣ. Я стоялъ всецѣло на хомяковской точкѣ зрѣнія, когда эта полемика началась. Для меня поворотъ Соловьева былъ тѣмъ болѣе неожиданъ, что немного раньше, въ „Чтеніяхъ о Богочеловѣчествѣ" онъ говорилъ о латинствѣ совершенно въ духѣ старыхъ славянофиловъ: онъ до-

казывалъ, что папство подпало всѣмъ тѣмъ тремъ искушеніямъ, коими сатана безуспѣшно пытался соблазнить Христа въ пустынѣ. По существу мое сочувствіе было всецѣло на сторонѣ Аксакова. Я не сомнѣвался, что Соловьевъ, звавшій Православную Церковь совершить простой актъ послушанія апостольскому престолу и видимо отрицавшій религіозныя основанія для нашего отдѣленія отъ латинства, былъ глубоко неправъ. Съ годами мое убѣжденіе, что Соловьевъ въ данномъ случаѣ недооцѣнилъ православіе, только крѣпло. Но съ другой стороны я не могъ вполнѣ остаться и на старой хомяковской позиціи. Въ самомъ ученіи Хомякова о церковномъ критеріи истины мнѣ почувствовались роковые изъяны. Споромъ Соловьева и Аксакова была поставлена передъ русскимъ церковнымъ сознаніемъ задача, надъ разрѣшеніемъ которой оно будетъ еще долго трудиться.

Если Соловьевъ ошибался въ оцѣнкѣ православія, то съ другой стороны для меня становилась все болѣе и болѣе ясной недостаточность хомяковской оцѣнки западныхъ вѣроисповѣданій. Въ университетскіе мои годы произошла первая моя встрѣча съ нѣмецкою мистикою. Я еще не зналъ Іакова Бема, но уже успѣлъ ознакомиться съ рядомъ выдающихся произведеній его продолжателя въ XIX вѣкѣ — Франца Баадера. И меня поразила слабость хомяковской попытки — свести всю духовную особенность западныхъ исповѣданій по сравненію съ православіемъ къ *раціонализму*. Еслибы это было вѣрно, какъ же могла бы вырасти на западѣ эта безконечно богатая и глубокая нѣмецкая мистика. Не очевидно ли, что въ западномъ христіанствѣ есть свои мистическіе корни, которые ускользнули отъ вниманія Хомякова.

Наконецъ, и Соловьевская апологія папства не осталась безъ вліянія на меня. „Непогрѣшимость“ — такъ и осталась для меня непріемлемой и въ абсолютной правдѣ латинской точки зрѣнія Соловьевъ

меня не убѣдилъ. Но его разрушительная и сильная критика нашихъ церковно-государственныхъ отношеній, въ связи съ смѣлымъ изобличеніемъ нашего цезарепапизма, убѣдила меня въ томъ, что въ католическомъ идеалѣ независимой духовной власти есть своя относительная правда, которая должна быть усвоена.

Въ общемъ ни я, ни мой братъ Сергѣй за Соловьевымъ не послѣдовали; теократическихъ его увлеченій мы не раздѣляли. Но тѣмъ не менѣе Соловьевъ остался для насъ тѣмъ центромъ, изъ котораго исходили всѣ умственныя задачи, философскія и религіозныя; отъ него же исходили важнѣйшіе для нашего умственнаго развитія толчки. Въ частности его оцѣнки западной философіи въ теченіе долгаго времени опредѣляли наше отношеніе къ западнымъ мыслителямъ. Я очень нескоро разглядѣлъ изъяны философской критики въ Соловьевской „Критикѣ Отвлеченныхъ Началъ".

Вообще, какъ бы мы ни отдѣлялись въ томъ или въ другомъ отношеніи отъ Соловьева, — мы оба жили въ то время въ атмосферѣ его умственнаго вліянія. Характерно, что братъ мой въ студенческіе годы писалъ свое юношеское сочиненіе, оставшееся неоконченнымъ, — „о святой Софіи — Премудрости Божіей". Онъ не хотѣлъ показывать мнѣ этихъ, какъ онъ говорилъ, недозрѣвшихъ и недоношенныхъ мыслей. Но, судя по тому, что я о нихъ отъ него слышалъ, — онѣ чрезвычайно напоминали мысли о святой Софіи Соловьева. Не потому ли сочиненіе такъ и осталось недоконченнымъ? Еслибы оно представляло собою яркое проявленіе индивидуальнаго творчества, авторъ, конечно, не разстался бы съ нимъ, не доносивши его; и оно не было бы погребено въ архивѣ юношескихъ бумагъ, гдѣ его дѣти доселѣ не могли его разыскать.

Иныхъ значительныхъ духовныхъ вліяній въ наши студенческіе годы мы не испытывали. Была у насъ въ

тѣ же самые годы встрѣча съ очень значительнымъ человѣкомъ: я говорю о Борисѣ Николаевичѣ Чичеринѣ; но вслѣдствіе діаметральной противоположности въ міровоззрѣніяхъ и въ умственномъ складѣ о вліяніи въ собственномъ смыслѣ не могло быть рѣчи. Чичеринъ, какъ извѣстно, относился рѣзко отрицательно къ славянофильству. Въ Соловьевѣ его отталкивалъ мистицизмъ, т. е. именно то, что было намъ всего дороже. Словомъ, самые родники нашей духовной жизни были ему чужды. И, однако, встрѣча съ Чичеринымъ была для меня и для брата пріобрѣтеніемъ весьма значительнымъ и цѣннымъ. Я до конца жизни сохраню о ней самое благодарное воспоминаніе. Иниціатива нашей встрѣчи принадлежитъ самому Б. Н. Чичерину. Мы были знакомы и раньше, съ самаго моего дѣтства, но до первой половины восьмидесятыхъ годовъ никакого общенія между нами не было. Мы встрѣчались у одной моей тетушки, которая состояла съ Чичеринымъ въ свойствѣ; но знакомство въ теченіе долгаго времени ограничивалось поклонами при встрѣчѣ. И вдругъ онъ самъ выразилъ желаніе съ нами ближе познакомиться и просилъ зайти къ нему на домъ — поговорить о философіи.

Для насъ обоихъ это было большою неожиданностью. Чѣмъ могло объясняться это желаніе маститаго ученаго, пріобрѣтшаго заслуженную громкую извѣстность своими капитальными трудами и одного изъ первыхъ въ Россіи знатоковъ философіи — познакомиться съ двумя молодыми мальчиками — студентами третьяго курса университета? Мотивы этого поступка дѣлаютъ большую честь Борису Николаевичу. Въ ту эпоху царствованія Огюста Конта въ университетѣ онъ, представитель германской идеалистической школы въ философіи, чувствовалъ себя совершенно одинокимъ. И вдругъ онъ услыхалъ отъ общихъ нашихъ родственниковъ, что есть въ Москвѣ два молодыхъ студента, изучившіе всѣхъ классиковъ германской философіи и относящіеся непримиримо враждебно къ господству-

ющему позитивному направленію. Онъ былъ изумленъ и спрашивалъ, откуда это увлеченіе нѣмцами, чьимъ вліяніемъ оно вызвано. Когда ему объяснили, что мы работаемъ совершенно самостоятельно безъ чьего либо руководства и вліянія, онъ нами настолько заинтересовался, что пожелалъ съ нами встрѣтиться.

Разговоръ состоялся и былъ весьма продолжителенъ. Шла рѣчь и о позитивизмѣ, при чемъ тутъ мы сразу сошлись, и о нѣмецкихъ философахъ, и о Соловьевѣ, при чемъ о Гегелѣ и Соловьевѣ мы поспорили. Помнится, братъ мой восхищался критикою Тренделенбурга на Гегеля. Чичеринъ нападалъ на „чисто реалистическую" точку зрѣнія Тренделенбурга. Я въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ поддерживалъ Чичерина противъ Тренделенбурга. Говоря о Соловьевѣ, онъ, между прочимъ, заявилъ, что мистицизмъ есть „отрицаніе науки", съ чѣмъ мы, разумѣется, согласиться не могли. Противоположность нашей религіозно-мистической и его раціоналистической точки зрѣнія, близкой къ Гегелю, сказалась въ этомъ спорѣ очень рѣзко. Но наговорились мы власть, какъ ни намъ, ни ему въ теченіе восьмидесятыхъ годовъ говорить о философіи было не съ кѣмъ. Кончился разговоръ тѣмъ, что Чичеринъ подарилъ каждому изъ насъ по экземпляру своихъ двухъ книгъ — „Собственность и Государство" и „Мистицизмъ въ наукѣ". Послѣдняя, содержавшая въ себѣ разборъ „Критики Отвлеченныхъ Началъ" Соловьева, была дана намъ въ назиданіе.

На другой день намъ стало извѣстно черезъ тетушекъ, что Чичеринъ въ восторгѣ отъ нашего съ нимъ разговора. Онъ былъ въ особенности доволенъ, разумѣется, нашимъ совершенно неожиданнымъ для него *основательнымъ* знакомствомъ съ германскими философами, удивлялся самой возможности такого явленія въ вѣкъ „философскаго невѣжества и безвкусія", которое олицетворялось для него позитивизмомъ. Онъ говорилъ даже, что мы оживили его надежды на будущее Россіи. Съ тѣхъ поръ завязались между нами

отношенія, продолжавшіяся до конца жизни Чичерина, съ нашей стороны полныя глубокаго уваженія и сочувствія, а съ его стороны — неизмѣнно прямыя, доброжелательныя и сердечныя.

Въ моей памяти образъ покойнаго Бориса Николаевича врѣзался на всю жизнь какъ олицетвореніе совершенно исключительнаго душевнаго благородства. Въ непреклонной твердости его сужденій и мыслей было что то монументальное, гранитное. *Такой* степени прямоты мысли и сердца, какая отличала его, я не помню ни у кого другого. Его слово не могло расходиться съ его мыслью даже въ незначительныхъ оттѣнкахъ. Для него было органически невозможнымъ называть вещи иначе, какъ полными ихъ именами. Если онъ находилъ какой либо поступокъ подлымъ, а какую нибудь мысль глупою, онъ такъ прямо и говорилъ: это подло, а то глупо, совершенно не думая о томъ, что совершившій подлое или помысливший глупое находились тутъ же, въ той комнатѣ.

Помнится, какъ то разъ, когда мы были уже профессорами университета, онъ былъ недоволенъ одною изъ раннихъ статей моего брата — „О природѣ человѣческаго сознанія". „Вотъ удивительное свойство славянофиловъ, — говорилъ онъ мнѣ, — они изгадили рѣшительно все то, къ чему они имѣли малѣйшее соприкосновеніе. Вотъ хотя бы Вашъ братъ, Сергѣй Николаевичъ, вѣдь, кажется, умный и образованный человѣкъ. А какую онъ ерунду написалъ о природѣ человѣческаго сознанія; вотъ, что значитъ славянофильская школа". Помню однажды его столкновеніе на одномъ вечерѣ съ В. О. Ключевскимъ. Тотъ осторожно доказывалъ Чичерину, что онъ и его единомышленники напрасно вышли въ отставку изъ Московскаго Университета въ шестидесятыхъ годахъ. Чичеринъ, ушедшій по принципіальнымъ основаніямъ, вслѣдствіе вызваннаго интригой Каткова недопустимаго нарушенія университетской автономіи со стороны правительства, — стоялъ на своемъ. — „Но вѣдь Вы недо-

статочно считались съ обязанностью повиновенія, — продолжалъ Ключевскій, — самъ Государь выразилъ желаніе, чтобы Вы остались". — „Вы называете это обязанностью повиновенія, — отвѣчалъ Чичеринъ, — а съ моей точки зрѣнія дѣлать противное совѣсти по Высочайшему повелѣнію — значитъ дѣлать гадость и подлость". Ключевскій, разумѣется, былъ сильно уязвленъ: присутствующимъ стоило много труда замять этотъ разговоръ и затушевать черезчуръ рѣзкій и грозившій ссорою инцидентъ.

Помню остроумную характеристику этой особенности характера Чичерина, данную однажды его другомъ, покойнымъ Федоромъ Михайловичемъ Дмитріевымъ. „Положимъ, — говорилъ онъ, — художнику надо писать съ васъ портретъ, а у васъ некрасивый профиль. Одинъ васъ попроситъ: пересядьте, чтобы я могъ рисовать васъ en face, эта поза гораздо лучше идетъ къ вашей наружности. А другой просто скажетъ: какой у васъ уродливый и длинный носъ; пересядьте такъ, чтобы какъ нибудь скрасить его безобразіе. Вотъ этотъ художникъ второго типа напоминаетъ мнѣ Бориса Николаевича".

Къ чести Б. Н. Чичерина надо сказать, что, говоря прямо въ лицо другимъ безъ обиняковъ все, что онъ думалъ, онъ нисколько не обижался, когда ему платили тою же монетою. Помню какъ то разъ за оживленнымъ профессорскимъ обѣдомъ сидѣвшій рядомъ съ нимъ Н. А. Звѣревъ спросилъ у него, какого онъ мнѣнія о докторской диссертаціи Боголѣпова. „Какого я мнѣнія, — сказалъ Чичеринъ, — мнѣ остается только развести руками. Я не могу понять, какъ такая чепуха могла зародиться въ человѣческой головѣ". — „Прямолинейный вы человѣкъ, клинообразный вы человѣкъ, — вдругъ завопилъ порядочно подпившій Звѣревъ, — вы не умѣете прощать лю ямъ ихъ молодыхъ увлеченій". Чичеринъ сталъ спорить, но Звѣревъ настойчиво повторялъ: „клинообразный вы, прямолинейный, прямолинейный, клино-

образный". Чтобы прервать этотъ, казалось мнѣ, очень обострившійся разговоръ, я поспѣшилъ произнести какой то тостъ. Всѣ чокнулись, встали, перемѣшались; но, усѣвшись, Звѣревъ опять взялся за свое: „клинообразный, прямолинейный" заладилъ онъ безъ конца. Я съ ужасомъ взглянулъ на Чичерина, но сразу успокоился: онъ сохранялъ свое обычное олимпійское спокойствіе и продолжалъ съ полной невозмутимостью разговаривать съ тѣмъ же Звѣревымъ о Боголѣповѣ!

Рѣзкость сужденій Бориса Николаевича о его современникахъ и почти о всемъ современномъ объясняется его духовнымъ одиночествомъ. Гегельянецъ въ концѣ XIX столѣтія, онъ казался человѣкомъ съ другой планеты, единственнымъ представителемъ традицій сороковыхъ годовъ въ восьмидесятые и девятидесятые годы. Всѣмъ теченіямъ жизни и мысли, которыя въ то время боролись вокругъ него, онъ былъ одинаково чуждъ. О современномъ ему позитивизмѣ онъ говорилъ совершенно справедливо: „что нужно для того, чтобы быть позитивистомъ? Достаточно не знать философіи". О Соловьевскомъ мистицизмѣ онъ говорилъ, что это „уничтоженіе науки". Въ то же время въ искусствѣ царствовалъ или тотъ же мистицизмъ въ лицѣ Достоевскаго, или реализмъ типа Зола, характеризовавшійся для Чичерина его любимымъ выраженіемъ: „остается развести руками". Въ политикѣ опять таки двѣ чуждыя ему противоположности: или безумно реакціонное теченіе „эпигоновъ славянофильства" — Каткова и комп., или столь же безумный лѣвый соціалистическій радикализмъ, стремившійся осуществить чисто матеріалистическія начала въ жизни. Правда, посрединѣ были либеральныя теченія; но и они были чужды Борису Николаевичу во первыхъ потому, что они были болѣе или менѣе связаны съ позитивизмомъ, и во вторыхъ потому, что они шли на тѣ или другіе компромиссы съ соціалистическими началами. Чичерину хотѣлось того чи-

стаго либерализма безо всякихъ амальгамъ, котораго въ Россіи не было.

Онъ вообще не терпѣлъ никакихъ амальгамъ, не былъ способенъ ни къ какимъ уступкамъ, соглашеніямъ и компромиссамъ. Поэтому всѣ окружавшія его теченія жизни и мысли представлялись ему одинаково „нелѣпыми". Среди нихъ онъ оставался непоколебимымъ, какъ скала, и „разводилъ руками". Мысль его до конца его жизни осталась совершенно чистою струей, которая ни съ чѣмъ не смѣшивалась, не восприняла въ себя изъ окружающей духовной атмосферы рѣшительно никакихъ вліяній. Какъ абсолютная мысль въ „Логикѣ" Гегеля, она развивалась „сама изъ себя". Это было возможно лишь благодаря совершенно исключительной, рѣдкой, особенно въ Россіи, непреклонности и твердости духа. Этимъ объясняется трагедія его умственной жизни. Органически чуждый своему вѣку, онъ не былъ имъ ни понятъ, ни воспринятъ. Ученыя изслѣдованія его оставили замѣтный и даже весьма крупный слѣдъ въ наукѣ государственнаго права; но какъ философъ, онъ совершенно прошелъ мимо современнаго поколѣнія. Несмотря на обиліе его философскихъ произведеній, его просто на просто *не знаютъ*. Въ изреченіи Соловьева, который въ пылу полемики назвалъ его „Пиѳагоромъ безъ пиѳагорейцевъ", была большая доля правды.

Указанная трагедія духовнаго одиночества Чичерина усугублялась тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, которое обусловливается самой цѣльностью его духовнаго облика. Съ одной стороны какъ гегельянецъ, онъ вѣрилъ, что *все существующее разумно*. Съ другой стороны, въ силу непримиримо отрицательнаго отношенія къ современности, все въ ней казалось ему сплошнымъ безуміемъ и безсмыслицей. „Борисъ Николаевичъ, — сказалъ я ему какъ то разъ, — вѣдь вы въ сущности отступаете отъ Гегеля, допуская совершенно ему чуждое хронологическое ограниченіе

мірового разума. У васъ „все существующее разумно“, но только до 1850 года“. — „Нѣтъ, оно и послѣ того разумно, но разумъ настоящаго отъ насъ скрытъ, — мы его не видимъ“, — отвѣчалъ онъ мнѣ. Это былъ уже не гегелевскій разумъ, а что то другое, напоминающее христіанское ученіе о Провидѣніи, обращающемъ зло въ добро: ибо этотъ невидимый смыслъ надъ безсмыслицей современности ей трансцендентенъ, тогда какъ Разумъ въ гегелевскомъ его пониманіи *имманентенъ* дѣйствительности. Гегель умѣлъ находить абсолютную мысль во всемъ развитіи человѣческой мысли, даже въ наиболѣе, казалось бы, чуждыхъ ему философскихъ ученіяхъ; отбрасывать все чуждое, какъ необъяснимую „ерунду“, и „разводить руками“ было совсѣмъ не въ его духѣ. И матеріализмъ, и эмпиризмъ, и мистицизмъ, и реализмъ въ искусствѣ, и соціализмъ, — вообще всѣ тѣ теченія умственной жизни, которыя попросту *отбрасывались* Чичеринымъ, оказались бы для Гегеля моментами діалектическаго развитія абсолютной мысли.

Вообще Борисъ Николаевичъ производилъ единственное въ своемъ родѣ впечатлѣніе человѣка, для котораго міровой разумъ былъ *весь въ прошломъ*. Борисъ Николаевичъ не видѣлъ его не только въ *настоящемъ*, онъ не ждалъ ничего хорошаго и отъ *будущаго*, не чуялъ въ немъ никакого просвѣта. Несмотря на панлогизмъ, который, казалось бы, долженъ вести къ чрезвычайно оптимистическому міровоззрѣнію, настроеніе Бориса Николаевича въ общемъ было чрезвычайно пессимистическимъ. Его всегдашняя бодрость обусловливалась не какими либо ожиданіями и надеждами, а скорѣе тѣмъ философскимъ стоицизмомъ, который давалъ ему силу претерпѣть всякія невзгоды.

Въ его жизни, какъ и въ его мысли, въ ту пору, когда я его близко узналъ, все было въ прошломъ. Онъ былъ *бывшій профессоръ*, ушедшій изъ университета, вслѣдствіе нарушенія автономіи; вер-

нуться въ университетъ при полномъ *отсутствіи* автономіи, онъ, конечно, бы не могъ. Поступить на какую либо службу онъ бы могъ еще менѣе, такъ какъ служба на высокихъ должностяхъ въ то время была неизбѣжно связана съ компромиссами, совершенно несовмѣстимыми съ его нравственнымъ обликомъ. Его рукописные мемуары полны воспоминаніями о такихъ компромиссахъ съ совѣстью многихъ прежнихъ друзей и товарищей. Одному изъ нихъ онъ какъ то писалъ: „что ты дѣлаешь въ твоемъ поганомъ сенатѣ"? Могъ ли служить человѣкъ, для котораго даже ношеніе ордена казалось компромиссомъ съ совѣстью. Самъ же онъ со смѣхомъ читалъ при мнѣ характерный отрывокъ изъ своихъ воспоминаній о покойномъ наслѣдникѣ-цесаревичѣ Николаѣ Александровичѣ, воспитателемъ коего онъ былъ. Въ день рожденія своего царственнаго воспитанника онъ былъ вынужденъ надѣть ордена. „Какъ, — воскликнулъ наслѣдникъ, — и вы, Борисъ Николаевичъ, въ орденахъ". — „Очень жаль, Ваше Высочество, — сказалъ Чичеринъ, — что въ день Вашего рожденія пришлось такъ опоганиться." Малѣйшій внѣшній знакъ зависимости отъ кого бы то ни было казался ему невыносимымъ. Съ такимъ духовнымъ складомъ на государственной службѣ, разумѣется, не служатъ и въ лучшія времена, чѣмъ тогдашнее.

Въ минуту, когда я съ нимъ познакомился, онъ былъ вышвырнутъ за бортъ и изъ общественной службы — благодаря все той же необычайной прямотѣ и независимости сужденій. На обѣдѣ городскихъ головъ въ Москвѣ, въ дни коронаціонныхъ торжествъ императора Александра III-го, онъ произнесъ рѣчь о необходимости „увѣнчанія зданія" русскаго государства народнымъ представительствомъ и, вслѣдствіе этого, былъ вынужденъ подать въ отставку. Съ тѣхъ поръ *бывшій* профессоръ сталъ на всю жизнь и *бывшимъ* общественнымъ дѣятелемъ. Въ смыслѣ *настоящаго* у него осталось только его родовое имѣніе

„Караулъ“ Тамбовской губерніи, гдѣ онъ, бездѣтный, проживалъ съ своею женою Александрой Алексѣевной, да рабочій кабинетъ и библіотека, гдѣ онъ работалъ, не покладая рукъ, выпуская почти каждый годъ новые и новые тома своихъ произведеній. Отцомъ Борисъ Николаевичъ былъ тоже въ *прошломъ*, въ началѣ своей супружеской жизни: его единственная дочь скончалась очень рано, въ нѣжномъ возрастѣ.

Все его существованіе было обвѣяно элегіей. Усадьба его, расположенная среди дивной красоты парка при сліяніи двухъ рѣкъ — *Вороны и Панды*, окаймленныхъ лѣсистыми, высокими холмами съ вѣковыми елями и соснами, представляла собою чудный оазисъ среди черноземной пустыни. Вся красота мѣстности и, конечно, всѣ лѣса сосредоточиваются исключительно въ долинахъ рѣкъ. А чуть-чуть дальше прямыя, ровныя и безнадежно однообразныя линіи черноземныхъ полей. Среди этой безконечной плоскости русской равнины онъ самъ — такая же аномалія, какъ его дивный паркъ и прелестная усадьба. Какъ могъ зародиться среди этихъ ровныхъ полей этотъ „самъ изъ себя развивающійся“ возвышенный идеализмъ русскаго западника!

На высокомъ холмѣ недалеко отъ церкви высился его уютный, симпатичный, помѣстительный, но, увы, почти пустой домъ; въ немъ тоже все было обвѣяно воспоминаніями о прошломъ, когда Кирсановскій уѣздъ былъ полонъ людьми еще пушкинской эпохи. Борисъ Николаевичъ любилъ вспоминать про этихъ людей. Нетрудно понять, какую огромную роль играютъ воспоминанія въ жизни, лишенной настоящаго. Неудивительно, что мемуары покойнаго мыслителя, къ сожалѣнію, большей частью еще не изданныя, составляютъ самое яркое, привлекательное и художественное изо всего, что онъ написалъ. Въ нихъ чувствуется та горячность сердца, которая, разумѣется, не могла проявиться въ его ученыхъ трудахъ, тотъ духовный аристократизмъ, который такъ рѣзко кон-

трастируетъ съ вульгарнымъ стилемъ современности. Въ этомъ противупоставленіи прошлаго настоящему все время чувствуется нота, такъ прекрасно передаваемая лермонтовскими стихами:

Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя,
Богатыри, не вы . . .

Замѣчательный отрывокъ изъ этихъ мемуаровъ, —„Воспоминаніе о Кривцовѣ", — уже былъ гдѣ то напечатанъ. Въ общемъ это — красивая и поэтическая элегія старо-дворянской культуры сороковыхъ годовъ. Мнѣ она больше всего напоминаетъ его самого, какъ олицетвореніе той интимной, задушевной области этого большого, любящаго сердца, куда дано было проникать лишь немногимъ. Въ общемъ его жизнь и дѣятельность — красивая, благородная, но необыкновенно грустная страница изъ исторіи русской культуры. Это исторія человѣка, который пришелся не ко двору въ Россіи и былъ выброшенъ за бортъ жизнью, потому что онъ былъ слишкомъ кристальный, гранитный и цѣльный. Глубоко грустно думать о томъ, что столь рѣдкія душевныя его качества не были использованы Россіей. Остались послѣ него книги, въ числѣ коихъ есть весьма цѣнныя. Но самъ то онъ былъ больше и лучше своихъ книгъ; и именно это большее и лучшее въ немъ—его сердце — осталось втунѣ для родины: оно возмущалось, страдало, негодовало, — но не вліяло на окружающее, не могло участвовать въ строительствѣ жизни.

Грустно думать о томъ прекрасномъ, единственномъ въ своемъ родѣ, что вмѣстѣ съ нимъ навѣки исчезло. Ходятъ зловѣщіе слухи о томъ, что разгромленъ тотъ уютный домъ въ „Караулѣ", который его такъ живо напоминалъ. Больно думать о спутницѣ его дней — Александрѣ Алексѣевнѣ, такой же, какъ онъ, кристальной и цѣльной; больная полуслѣ-

пая и, по всей вѣроятности, голодная доживаетъ она свою одинокую старость въ занятомъ большевиками Тамбовѣ. Больно думать обо многомъ. Но больнѣе всего сознавать, что мы живемъ въ вѣкъ хаотическаго разрушенія всѣхъ воспоминаній, украшавшихъ наше прошлое.

Пусть же перейдетъ въ потомство память объ этомъ необыкновенно стойкомъ человѣкѣ, который боролся съ вѣкомъ за тѣ великія духовныя сокровища, въ которыя онъ вѣрилъ. Кое что очень цѣнное онъ, безъ сомнѣнія, проглядѣлъ въ окружавшей его духовной атмосферѣ. Но въ общемъ онъ былъ правъ въ своей неуступчивости. Когда нибудь потомство, прочтя его мемуары, вспомнитъ, сколько было грубаго, пошлаго, вульгарнаго и низкаго въ томъ, что онъ отрицалъ. Тогда будущій историкъ вспомнитъ съ чувствомъ глубокаго нравственнаго удовлетворенія о его суровомъ и нелицепріятномъ судѣ надъ русской дѣйствительностью. Онъ пойметъ, что самая рѣзкость его сужденій обусловливалась возвышенными нравственными требованіями и горячей любовью къ родинѣ.

XII. Великосвѣтская Москва восьмидесятыхъ годовъ. Наши шарады.

Чтобы покончить съ характеристикою Москвы въ мои студенческіе годы съ 1881 по 1885 годъ остается разсказать о жизни тѣхъ общественныхъ круговъ, которые я въ то время могъ наблюдать.

Какъ сказано, общественной жизни тогда или вовсе не было, или было очень мало. Мнѣ приходилось наблюдать почти исключительно жизнь частную, домашнюю, въ которой тогда еще сохранились кое какіе остатки старо-дворянскаго великолѣпія и соотвѣтствующихъ дворянскихъ нравовъ.

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ. Мнѣ какъ то трудно себѣ представить, что въ то время для

„дамы изъ общества“ считалось непринятымъ сидѣть въ партерѣ театра, — у нея обязательно должна была быть ложа; для нея признавалось совершенно неподобающимъ пользоваться извощиками: она должна была выѣзжать не иначе, какъ въ каретѣ, притомъ съ выѣзднымъ ливрейнымъ лакеемъ въ высокомъ цилиндрѣ. Помню, какъ, бывало, въ дни симфоническихъ концертовъ, куда съѣзжалась вся аристократическая Москва, прилегающія къ Дмитровкѣ улицы и сама Дмитровка были заняты безконечными вереницами каретъ съ гербами, которыя по окончаніи концерта въ Дворянскомъ Собраніи торжественно выкликались околодочными: „карр-е-е-тта графини С., ккаарретта княгини Г.“ При этомъ не всѣ отпускали карету домой на время самаго концерта, и кучера порядочно мерзли. Далѣе переднія самаго Дворянскаго Собранія были переполнены ливрейными лакеями съ узлами, охранявшими платья господъ и игравшими между собою весь вечеръ въ „стуколку“. Мужчины для этихъ симфоническихъ концертовъ и для сидѣнія въ ложахъ театровъ должны были наряжаться во фраки.

И ложа въ театрѣ, и карета, и выѣздной лакей, и французскій языкъ, замѣтно портившійся, но все еще господствовавшій, въ гостинныхъ, — все это были знаки сословнаго обособленія, которое тогда еще поддерживалось. На великосвѣтскихъ балахъ и пріемныхъ дняхъ тогдашняго московскаго дворянства еще нельзя было встрѣтить представителей московскаго именитаго купечества, какъ бы культурны и образованы они ни были. Мужчины-дворяне уже нарушили эту грань: молодые люди нерѣдко бывали на купеческихъ балахъ, но *женщины — никогда*. Онѣ все еще оставались вѣрными хранительницами сословности. Великосвѣтскія барышни выходили и выѣзжали не иначе, какъ подъ водительствомъ „шапрона“, т. е. пожилой особы, — матери, тетушки, гувернантки. Даже вдвоемъ, съ женихомъ съ трудомъ пускали гулять; въ дни моей молодости это было смѣлымъ нововведеніемъ, только начинавшимъ прививаться.

При этомъ было чрезвычайно много парадной и декоративной старо-дворянской обрядности. Семейства, гдѣ были „выѣзжавшія барышни“, отъ времени до времени устраивали балы по вечерамъ или любительскіе спектакли и имѣли непремѣнно одинъ пріемный день въ недѣлю. А на ихъ знакомыхъ лежала повинность бывать на этихъ пріемныхъ дняхъ. Повинность, кстати сказать, весьма обременительная, особенно для молодыхъ людей, и требовавшая отъ нихъ огромной затраты времени. На пріемныхъ дняхъ должны были бывать всѣ, желавшіе получить приглашеніе на балъ или вечеръ въ данный домъ, и всѣ, бывшіе на вечерахъ, въ знакъ благодарности: это называлась — visite de digestion; кромѣ того, всякій, танцовавшій съ барышней, тоже долженъ былъ являться на пріемный день „представляться ея родителямъ“ или „благодарить за танцы“. А при этомъ баловъ въ разгарѣ сезона, въ Декабрѣ, Январѣ и до самаго Великаго поста бывало иногда по два, по три въ недѣлю. Балы были красивые, веселые, танцовали до упада, ужинали, опять танцовали и разъѣзжались часовъ въ пять — шесть утра. Но во сколько разъ проще, дешевле и привлекательнѣе можно было бы устроить веселье безъ всей этой громоздкой, скучной и ненужной обрядовой ругины.

Когда я былъ студентомъ, я въ общемъ не бывалъ на балахъ, за крайне рѣдкими исключеніями, а братъ мой не бывалъ на нихъ даже ни разу. Не то, чтобы это не было весело: нѣтъ, всѣ тѣ немногіе разы, когда я туда попадалъ, я, какъ и большинство танцовавшихъ *въ началѣ* выѣздовъ, — искренно веселился. Но тутъ нужно было выбирать: или балы, или философія, — средняго выхода не было. Кто становился на путь „выѣздовъ“, — тотъ долженъ былъ посвятить имъ себя всецѣло. О какихъ серіозныхъ занятіяхъ можетъ итти рѣчь, когда днемъ либо голова болитъ и глаза слипаются отъ вчерашней безсонной ночи, либо нужно дѣлать безконечные визиты. Я не знаю ничего болѣе утомительнаго, чѣмъ посѣщеніе

пріемныхъ дней, гдѣ нельзя даже двумя тремя словами перекинуться изъ за необходимости ежесекундно вскакивать передъ входящими почтенными старухами.

Я всегда себя спрашивалъ, для кого и для чего нужна эта канитель. Любители и любительницы пріемныхъ дней въ Москвѣ тогда встрѣчались; но это были рѣдкія исключенія, надъ которыми всѣ смѣялись. Помню, напримѣръ, изящнаго, молодившагося старика, корчившаго изъ себя маркиза, любившаго щегольнуть изученной дома французской фразой, тростью съ необыкновеннымъ набалдашникомъ, да визиткой по послѣдней модѣ отъ лучшаго Парижскаго портного. Помню, какъ онъ изящно изгибался, разговаривая съ такой же любительницей пріемныхъ дней — дамой. Ихъ привѣтствовали фразой — il faut vous mettre tous les deux sur un éventail. А они не почувствовали яда этого ироническаго комплимента и были довольны. Но такихъ на всю Москву было два — три, и обчелся. Въ общемъ же тогдашнее Московское общество совсѣмъ не страдало великосвѣтской пустотой. И, однако, всѣ такъ жили, даже люди весьма серьезные, потому что не представляли себѣ, какъ можно жить иначе.

Помню, что этотъ громоздкій великосвѣтскій аппаратъ съ его китайскими церемоніями почти всѣмъ былъ въ тягость. Онъ оставлялъ чувство гнетущей пустоты въ душѣ и необыкновенно дорого стоилъ карману. Веселіе баловъ увлекало молодежь въ первые мѣсяцы, въ лучшемъ случаѣ въ первый годъ выѣздовъ. Но въ концѣ концовъ, и душа, и тѣло утомлялись отъ этой жизни, не оставлявшей времени, чтобы связать двѣ мысли вмѣстѣ. И, однако, люди были рабами преданія. Съ поконъ вѣка было принято, что „молодые люди должны видѣться на балахъ". И вотъ, молодой человѣкъ долженъ былъ „вытанцовывать жену", а молодая дѣвушка — мужа. Важное же дѣло въ жизни — супружество — рѣшалось за какимъ нибудь катильономъ или мазуркой, въ обстановкѣ, почти

устранявшей возможность близкаго знакомства, потому что серьезный разговоръ на балу былъ частью невозможенъ, частью же не принятъ, какъ признакъ смѣшного педантизма.

Уже задолго до революціи все это упростилось, — пропасть лишняго балласта была выброшена за бортъ. Приходится жалѣть не объ этихъ, уже въ моей молодости отживавшихъ обломкахъ стараго быта, а о многомъ другомъ утраченномъ.

Я говорю не объ однѣхъ серьезныхъ сторонахъ жизни. Были въ моей молодости радостныя картины безграничнаго веселья, относящіяся къ той же эпохѣ, о которыхъ мнѣ и сейчасъ весело вспомнить. Для будущаго русской молодежи я бы отъ души желалъ, чтобы повторялись имъ наши развлеченія, которыя увлекали и радовали игрой ума и блескомъ яркаго таланта.

А такія были. — Помню, напримѣръ, цѣлую зиму въ Москвѣ, когда въ одномъ родственномъ домѣ разыгрывались блестящія, исключительныя по остроумію шарады, разраставшіяся въ цѣлые маленькіе спектакли. Это было возможно благодаря присутствію среди исполнителей трехъ большихъ талантовъ, изъ коихъ двое — графъ Федоръ Львовичъ Сологубъ и мой братъ Сергѣй — разрабатывали сюжетъ шарады въ стихахъ, а третій — Николай Андреевичъ Кислинскій полагалъ эти стихи на музыку. Получалась собственно уже не шарада, а цѣлая оперетка съ увертюрой, хорами и аріями. — Въ концѣ концовъ авторы съ шарады прямо перешли на оперетки, которыя они сочиняли, а затѣмъ тутъ же разучивали и ставили. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній были перлами остроумія литературнаго и въ то же время музыкальнаго.

Такова была, напримѣръ, исполненная нами дважды шарада „Баянъ", темой для которой послужило призваніе варяговъ. Кислинскій написалъ и исполнилъ на роялѣ увертюру къ этой пьесѣ, въ которой удивительно ловко сплетались три ея руководящихъ мотива,

— славянскій мотивъ безпорядка, *нѣмецкій* мотивъ варяговъ „Lieber Augustin“ и, наконецъ, торжествующій *мотивъ порядка*, канвой для котораго послужила бѣдная и однообразная тема „церемоніальнаго марша“. Безпорядокъ изображался нестройными хроматическими руладами въ началѣ увертюры. Потомъ какъ будто издали появлялся мотивъ „Lieber Augustin“ и вступалъ въ борьбу съ хаосомъ хроматическихъ звуковъ. Хаосъ, въ началѣ срывавшій и заглушавшій „Augustin“, къ серединѣ увертюры слабѣлъ и, наконецъ, исчезалъ, а радостная „Augustin“ переплеталась съ тяжелою и мѣрною поступью „церемоніальнаго марша“, который въ концѣ концовъ побѣдно гремѣлъ, разростаясь въ громкое и громоздкое плацпарадное торжество. — Кислинскій не пожалѣлъ красокъ и тріумфъ порядка звучалъ у него необыкновенно забавно. Композиція увертюры и всей вообще музыки шарады была настолько талантлива, что присутствовавшій при исполненіи піесы П. И. Чайковскій обратилъ вниманіе на Кислинскаго и имѣлъ съ нимъ долгій разговоръ: онъ убѣждалъ его серьезно заниматься, предлагалъ свое содѣйствіе и приглашалъ къ себѣ на домъ.

Развитіе сюжета въ пьесѣ было таково же, какъ и въ увертюрѣ. — Въ началѣ — дикія сцены безпорядка подъ аккомпаниментъ хроматическихъ руладъ. — Одинъ „умыкаетъ дѣвицу“, другой мажетъ по губамъ и бьетъ Перуна. Тутъ же группа у костра, которая „жаритъ сапоги въ смятку“, — „любимое славянское кушанье“. — Пѣвецъ Баянъ поетъ о привольномъ житіи на Руси и о прелестяхъ безпорядка:

Ни исправника, ни министра
Не встрѣчалъ я на Руси проживаючи;
Вольно брагу пьютъ, вольно кушаютъ,
Вольно ходятъ на Руси обыватели.

И вдругъ среди хаоса предостерегающая рѣчь вѣщаго старца Гостомысла, предсказывающая печальный конецъ безпорядка.

Уже бо дивъ вержеся съ неба на земли,
И говоръ птичій убуди.
(Голоса въ народѣ: убуди, убуди, это онъ такъ точно).
Уже бо очи мои мысленнія въ край моря летаючи.
Ладьи соглядаючи,
Провидятъ нѣкое облое судно ко брегу русскому поспѣшающее
И на ономъ суднѣ три десницы, тростями помавающія,
Оле бедръ вашихъ посѣкновенію,
Оле въ кутузкахъ вашему сидѣнію,
Оле грядущему вашему тяжкому плѣненію.

Вдали слышится „Augustin", показываются три лодки въ морѣ и изъ нихъ выходятъ съ дружиной подъ звуки церемоніальнаго марша Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ. Первый говоритъ исключительно по русски, но съ явнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, второй мѣшаетъ русскія и нѣмецкія слова, а третій — исключительно по нѣмецки. — Хоръ славянъ встрѣчаетъ пришельцевъ гимномъ, представляюшимъ явную пародію на знаменитую тогдашнюю передовицу Каткова: „встаньте, господа, посторонитесь, Правительство идетъ".—

Съ заката солнце красное
На этотъ разъ встаетъ.
Правительство прекрасное
Къ намъ съ запада идетъ.
Правительство, правительство,
Правительство идетъ.
Давно ему пора, давно ему пора.
Порядокъ намъ, порядокъ намъ,
Порядокъ намъ несетъ,
Ура, ура, ура, ура, ура.

Характерно, что по просьбѣ домашней цензуры фраза, слишкомъ напоминавшая Катковскую передо-

вицу, была измѣнена: вмѣсто „правительство“ и т. д. мы пѣли: „смотрите кто, смотрите кто, смотрите кто, смотрите кто идетъ“.—

За симъ варяги немедленно наводятъ порядокъ. Наивный славянинъ Янъ Усмошвецъ спрашиваетъ Аскольда, гдѣ его могила: „скажите ради Бога, гдѣ же я видѣлъ Аскольдову могилу“. Яна хватаютъ и моментально приносятъ въ жертву Перуну. Кій, Щекъ и Хоривъ въ негодованіи призываютъ къ возстанію въ воинственныхъ куплетахъ.

Льготы древнія попрали
Наши лютые враги,
Запретили, отобрали
Въ смятку, въ смятку сапоги.

Они бѣгутъ на Кіевъ, гдѣ еще можно „жарить сапоги въ смятку“. А Рюрикъ посылаетъ за ними погоню, которая идетъ гусинымъ шагомъ подъ звуки церемоніальнаго марша: „Ваше-ство, Вашескобородіе“, кричитъ вслѣдъ Гостомыслъ, — „тамъ не пущаютъ“.

Въ борьбу національныхъ мотивовъ вплетается романическій эпизодъ между Баяномъ и сестрой Рюрика Амаліей. — Онъ увлекаетъ ее русскими мелодіями, а она отвѣчаетъ съ нѣмецкимъ акцентомъ на мотивъ „Augustin“.

Эти звуки наполняютъ
Сердце мнѣ Ба-янъ.
Твои пѣсни причиняютъ
Мнѣ большой изъ-янъ.

Рюрикъ застаетъ сестру съ пѣвцомъ и разражается угрозами. „Слушайтъ, сестра Amalie: если я еще разъ увижу васъ съ эти господинъ: also wenn ich dich noch einmal sehe mit diesem Kerle“ — и потрясаетъ кулакомъ въ воздухѣ.

Кончается оперетка дуэтомъ Амаліи и Баяна на берегу Днѣпра. — Застигнутые врасплохъ погоней

Рюрика они, взявшись за руки, бросаются въ воду — Рюрикъ, явившійся слишкомъ поздно, кричитъ въ отчаяніи:

„Отнынѣ я не шиловекъ, а правителъ.“

И уводитъ свою дружину гусинымъ шагомъ подъ звуки церемоніальнаго марша. Гостомыслъ, выступивъ на авансцену, произноситъ лаконическую фразу:

„Отнынѣ сумнительному поведенію кры-ы-шка.“

На этомъ занавѣсъ падаетъ.

Сколько было задумано и написано въ этомъ родѣ: оперетка „Троянцы“ съ фугой героевъ въ деревянномъ конѣ, оперетка „Камбасересъ Стыдливый или рыцарь полупризрачнаго покрывала“ (эти двѣ исполнены не были), была пародія съ куплетами на дѣтскую пьесу „Симеонъ Злочестивцевъ“. Была разыграна цѣлая оперетка „Альфонсо двадцать пятое“, гдѣ бездѣтная королевская чета заказываетъ наслѣдника алхимику, и онъ „путемъ алхимическимъ“ составляетъ имъ сына въ ретортѣ. Все это было остроумно, музыкально, изящно, а главное, — необычайно весело и смѣшно.

Вспоминая дни нашей молодости, я съ благодарностью думаю о томъ, какая богатая жизнь выпала на нашу долю. Сколько въ ней было и интереснаго, увлекательнаго, съ какими значительными людьми мы встрѣчались, какіе горизонты открывались въ этихъ встрѣчахъ. А рядомъ съ этимъ — какой избытокъ бьющаго ключомъ молодого веселья. По сравненію становится больно думать о нашихъ дѣтяхъ, которымъ довелось жить въ эпоху бурь, страданій и лишеній. Какъ радостно мы жили и какъ они, бѣдные, теперь видятъ мало счастья въ жизни.

Я не вѣрю въ гибель Россіи, я убѣжденъ, что еще будутъ лучшіе дни. Но когда они наступятъ. Нашему поколѣнію не на что жаловаться. Что бы съ нами не случилось въ будущемъ, разъ есть у насъ это прошлое, мы не были обездолены. Но чего бы я не отдалъ за то, чтобы хотя бы *имъ*, которые столько натерпѣ-

лись въ молодости, дано было увидать и пережить то лучшее, на что я надѣюсь.

Господи, спаси ихъ и сохрани.

XIII. Военная служба.

Весною 1885 года я кончилъ курсъ университета кандидатомъ правъ и тотчасъ же поступилъ въ стоявшій въ Калугѣ Кіевскій Гренадерскій полкъ для отбыванія воинской повинности на правахъ вольноопредѣляющагося.

Собственно говоря, я могъ этого и не дѣлать, такъ какъ М. М. Ковалевскій положительно обѣщалъ мнѣ оставить меня при Университетѣ, что освобождало отъ отбыванія воинской повинности. Но мнѣ хотѣлось быть самостоятельнымъ по отношенію къ будущей университетской службѣ. — Мнѣ рисовалась возможность когда нибудь по долгу совѣсти быть вынужденнымъ подать въ отставку изъ профессоровъ. Перспектива — отбывать воинскую повинность *послѣ* этого въ качествѣ рядового, быть можетъ, въ очень почтенномъ возрастѣ, мнѣ не улыбалась, и я рѣшился *на всякій случай* отбыть ее заранѣе. Это было въ то время не трудно, такъ какъ отъ вольноопредѣляющихся перваго разряда по образованію требовалось всего только *три мѣсяца* службы во время лагернаго сбора.

Выборъ полка обусловливался давно созрѣвшими симпатіями. — Вслѣдствіе долгаго пребыванія полка въ Калугѣ, мы хорошо знали многихъ офицеровъ и въ особенности полкового командира — полковника Александра Константиновича Маклакова. Послѣдній — представитель исчезнувшаго теперь, къ сожалѣнію, типа военнаго добраго стараго времени, давно уговаривалъ меня поступить къ нему: „идите ко мнѣ, — не идите въ артиллерію“, — настаивалъ онъ, — „у меня будете солдатомъ, а въ артиллеріи — филармономъ“, слово „филармонъ“ для него означало не то музыканта, не то штатскаго. — „Не безпокойтесь за Вашего сына“, го-

варивалъ онъ отцу: „я о немъ позабочусь, — вѣдь я и самъ отецъ“.

Чудачества Алаксандра Константиновича были хорошо извѣстны мнѣ, какъ и всѣмъ калужанамъ, но все таки при поступленіи въ полкъ онъ превзошелъ мои ожиданія. Когда вольноопредѣляющихся, вступившихъ въ полкъ, приводили къ присягѣ въ нашемъ полковомъ лагерѣ, онъ разразился рѣчью, которая относилась лишь въ меньшей своей части ко всѣмъ присягавшимъ, а въ большей своей части, — ко мнѣ одному.

Выдвинувшись впередъ, онъ началъ подбоченившись. — Понимаете ли вы, что такое присяга. — Ты даешь вексель. Если ты по векселю не уплатишь, не исполнишь своего гражданскаго слова, тебя посадятъ въ кутузку. Если же ты присягу, — слово Царю — данную передъ святымъ Евангеліемъ, нарушишь, что съ тобой за это будетъ? Служить!!! — властно крикнулъ онъ и, помолчавъ на наше „рады стараться, Ваше Высокоблагородіе“, онъ продолжалъ, обращаясь уже ко мнѣ одному:

— „Ты думаешь, что служба это все равно, какъ твоя гражданская профессорская книжка, которую ты сегодня открылъ, а завтра закрылъ да бросилъ. Нѣтъ, братъ, служба не такая штука. — Вѣдь твои профессора между собою грызутся?.“ — Я молчалъ. — „Грызутся, грызутся?“ грозно настаивалъ полковникъ. — „Такъ точно, Ваше Высокоблагородіе, бываетъ“, промолвилъ я.

— „Ну, грызутся, загрызутъ и тебя, продолжалъ полковникъ. — Выйдешь изъ университета, пойдешь въ походъ подъ ранцемъ. — *Быть офицеромъ.*“

Я не былъ готовъ къ этой мысли — быть офицеромъ и сконфуженно молчалъ. — А полковникъ началъ уже въ болѣе мягкомъ стилѣ увѣщаніе: — „Ты не долженъ смѣшиваться съ солдатомъ. У тебя должно быть тѣло, мундиръ, пуговицы — солдатскіе, а дума — офицерская, потому стремленіе твое

должно быть не тамъ. — Служить, быть офицеромъ", — громко рявкнулъ онъ.

Это было уже приказаніе; я пробормоталъ — „Слушаю, Ваше Высокоблагородіе" и понялъ, что я теперь волею-неволею долженъ стать офицеромъ. Маклаковъ такъ меня и понялъ: онъ говорилъ, что я *„послѣ присяги"* обѣщалъ ему стать офицеромъ. Я же чувствовалъ себя связаннымъ, и это положило конецъ моимъ колебаніямъ: я окончательно рѣшилъ готовиться къ офицерскому экзамену.

Это было не такъ просто. Легкихъ экзаменовъ позднѣйшей эпохи на прапорщика запаса въ то время еще не было; надо-было готовиться на подпоручика, что было много труднѣе. Къ тому же экзаменъ предстоялъ въ сентябрѣ, а поступилъ я въ полкъ въ началѣ іюня. Надо было умѣстить въ трехмѣсячный срокъ и строевыя занятія, и приготовленія: нужно было изучить къ экзамену шесть наукъ и десять уставовъ.

Полковникъ, сердечно любившій свой полкъ, хотѣлъ пріобрѣсти въ моемъ лицѣ хорошаго офицера. Поэтому за *мной слѣдили*. Полковникъ самъ иногда приходилъ по утрамъ въ мою четвертую роту — смотрѣть, какъ и чѣмъ я занимаюсь. А дядька — ефрейторъ, найдя въ моей палаткѣ „Критику силы сужденія" Канта, счелъ нужнымъ прочесть мнѣ наставленіе. „У Васъ, баринъ, есть на столѣ постороннія книги. — Вамъ нужно сейчасъ учить воинскіе уставы, а что тамъ дальше, то до Васъ не касается." И „Критика силы сужденія" лежала безъ употребленія — не въ силу дядькинаго наставленія, а просто потому, что на нее не хватало силъ и времени.

Меня усиленно обучали строю и „словесности"; и въ одинъ мѣсяцъ я былъ уже настолько подготовленъ, что сталъ въ строй и не портилъ фронта моей роты. Помню, что это давалось мнѣ цѣною значительнаго, хотя и здороваго утомленія. Оно было мнѣ даже пріятно, какъ отдыхъ отъ усиленной

умственной жизни. Даже приготовленія къ офицерскому экзамену шли сравнительно вяло въ первые два мѣсяца — тѣмъ болѣе, что послѣ утомительныхъ занятій я иногда отправлялся пѣшкомъ изъ отдаленнаго лагеря въ калужскій „Загородный садъ", гдѣ жили мои, проводилъ вечеръ въ игрѣ въ лаунъ-тенисъ и обязательно долженъ былъ возвращаться въ лагерь на другой день въ шесть часовъ утра. Я, однако, не жалѣлъ объ утомленіи и потерѣ времени, такъ какъ знакомство съ совершенно новымъ для меня полковымъ міромъ было для меня чрезвычайно интереснымъ.

Мой ротный командиръ — штабсъ-капитанъ П., недавно скончавшійся въ генеральскихъ чинахъ, былъ такъ же, какъ и полковникъ Маклаковъ, настоящимъ и хорошимъ военнымъ человѣкомъ добраго стараго времени. Начальство всегда считало его однимъ изъ лучшихъ офицеровъ, потому что порядокъ въ ротѣ у него былъ образцовый, а солдаты души въ немъ не чаяли, во первыхъ, за большую заботливость и сердечность, а во вторыхъ — за патріархальные способы управленія, въ особенности же за художественную брань, въ которой онъ былъ несравненнымъ мастеромъ. — „Хорошій капитанъ", — говорили они. — „Хучь енъ морду и ковыряетъ, ну никто какъ енъ не выругается." Брань Петра Ивановича всегда поддерживала веселое настроеніе въ его командѣ своею несравненною мѣткостью. „Ей ты, Жестянный," — кричалъ онъ слабосильному солдату, носившему фамилію „Желѣзный", — „что у тебя ружье изъ рукъ валится." И веселый шопотъ пробѣгалъ по ротѣ: „жестянный, слышь, какъ сказалъ, — жестянный." Но наиболѣе художественныя изобрѣтенія Петра Ивановича, дѣлавшія почти невозможнымъ удержаться отъ хохота, конечно, никогда не появятся въ печати. О нихъ трудно говорить даже въ видѣ намека, тѣмъ болѣе, что они всегда были новы и неожиданны.

А „ковырянье морды“ прощалось Петру Ивановичу, во первыхъ, потому, что оно обыкновенно замѣняло отвѣтственность болѣе тяжкую, чаще всего — отдачу подъ судъ; во вторыхъ, солдаты цѣнили то, что онъ въ этихъ случаяхъ билъ всегда плашмя, а не кулакомъ — безъ поврежденія зубовъ и челюстей. Происходило это обыкновенно такъ: тяжко провинившійся призывался къ капитану и ему сначала подносился текстъ закона, въ которомъ мелькали страшныя слова: „дисциплинарный батальонъ, арестантскія роты“ и т. п. Солдатъ блѣднѣлъ и съ трясущейся челюстью пытался валиться въ ноги — „Уу-у сук-инъ ссынъ, — налеталъ на него капитанъ, — видѣлъ, что тебѣ по закону; а вотъ тебѣ по благодати, — разъ, два, три“. И тремя звонкими оплеухами снималась съ „преступника“ всякая дальнѣйшая отвѣтственность. Я собственными глазами видѣлъ подписку, данную молодымъ солдатомъ — дворяниномъ, котораго капитанъ такимъ способомъ „спасъ“ отъ тяжкой уголовной кары. „Клянусь Всемогущимъ Богомъ въ томъ, что никогда впредь не напьюсь пьянъ на службѣ; буде же сего клятвеннаго моего обѣщанія не исполню, прошу капитана П. наказать меня розгами.“

Это былъ, конечно, исключительный случай; но вотъ случай — болѣе обыденный. Служившій мнѣ деньщикомъ солдатикъ — въ общемъ изъ плохихъ и жестокій пьяница, разъ попался въ какомъ то очень и тяжкомъ проступкѣ. „Что съ тобою, Хомутовъ, — спросилъ я, заслышавъ его стоны и вздохи. — Охъ, плохо, баринъ, совсѣмъ плохо. — Да что же плохо? — Баринъ, — енъ за это обнаковенно морду ковыряетъ, а вотъ — не наковырялъ. — Ну такъ что же такое? — Охъ, пло-охо, должно подъ судъ отдать хочетъ.“

Такъ мучился и стоналъ солдатикъ весь день; но къ вечеру я засталъ его уже радостнымъ. Спрашиваю: „что жъ повеселѣлъ Хомутовъ? — *Нако-*

вырялъ", — отвѣчалъ онъ мнѣ, и все лицо его вдругъ озарилось блаженной улыбкой.

Позднѣе, уже въ дни первой революціи, я узналъ изъ разсказовъ Петра Ивановича новыя изумительныя иллюстраціи этого пристрастія къ „суду скорому и милостивому". Вольноопредѣляющійся-еврей въ его полку попался въ революціонной пропагандѣ. Дѣло грозило разстрѣломъ. — Что же Вы, Петръ Ивановичъ, — спросилъ я, — неужели подъ судъ отдали? — Зачѣмъ же губить, — съ доброй и лукавой улыбкой отвѣчалъ Петръ Ивановичъ. — Ну такъ какъ же? — Массажъ примѣнилъ, — отвѣтилъ онъ, и весь извнутри просіялъ.

Петръ Ивановичъ „не любилъ марать репутацію" солдатамъ. — У меня штрафной журналъ — бѣлый листъ, — говаривалъ онъ, — начальство обижается, спрашиваетъ: что же у Васъ, капитанъ, — святая рота, неужели никто никогда ни въ чемъ не провинился! — Никакъ нѣтъ, — говорю, Ваше Превосходительство. — Ну, да генералы, небось, это понимаютъ.

Разумѣется при темпераментѣ Петра Ивановича и при его вспыльчивости ему случалось превысить мѣру. „Фельдфе-е-бель," кричалъ онъ тогда зычнымъ голосомъ. Фельдфебель вытягивался передъ его палаткою. — На сколько дней Ивановъ просился въ отпускъ? — Такъ, что на два дня, Ваше Высокоблагородіе! — А сколько разъ я его въ морду двинулъ? — Такъ, что три раза, Ваше Высокоблагородіе. — Такъ отпустить его на три дня.

— „Господи, кабъ онъ мине четыре разъ двинулъ, на четыребъ дни и отпустилъ, — говорилъ обрадованный Ивановъ.

Не знаю, возможны ли еще теперь подобные нравы, но въ мое время солдаты предпочитали Петра Ивановича всѣмъ прочимъ командирамъ. Въ сосѣдней ротѣ капитанъ никогда „не касался личностей", не сквернословилъ и стоялъ „на строго законной почвѣ".

Его терпѣть не могли: „*пила*“ — говорили солдаты, — у его солдаты изъ наказаніевъ не выходятъ, — цѣльный день пилитъ. Замучилъ совсѣмъ. То ли дѣло Петра Иванычъ, — артистъ, одно слово“. Другіе, бившіе людей, были явно непопулярны, когда били не талантливо, жестоко, и при этомъ не обнаруживали сердечности въ отношеніяхъ къ людямъ.— „Что же это за капитанъ, говорили объ одномъ такомъ, — въ Страстной Пятокъ прощенія попроситъ, въ Великую Субботу пріобщится, въ Свѣтлое Воскресеніе похристосуется, а въ Свѣтлый Понедѣльникъ опять въ зубы дастъ.“ — Былъ и такой типъ, которой не билъ и не наказывалъ — добрый, но глупый человѣкъ, распустившій свою роту. Солдаты его не любили и просто на просто презирали.

Любили солдаты тѣхъ офицеровъ, которые *горячо* относились къ своему дѣлу и дѣлали его по совѣсти, не на *показъ*. Чего, чего не прощалось тѣмъ, которые погрѣшали именно изъ за этой горячности. — „Извѣстно, военное дѣло, говорили солдаты, покричатъ да въ морду дастъ, зато какъ онъ о солдатахъ заботится. Придешь на привалъ на маневрахъ — кому сухо спать, у кого сѣно или солома есть для солдата. Всегда у Петры Ивановича. Кто о больномъ позаботится? — всегда онъ, Петра Ивановичъ. А что онъ шумитъ, такъ пускай его шумитъ“. — Если полковая среда оставила во мнѣ на всю жизнь доброе воспоминаніе, это обусловливается именно присутствіемъ въ ней такихъ горячихъ людей. Все военное дѣло всегда держалось и держится этими немногими, которые дѣлаютъ его съ любовью.

Въ общемъ не легка была жизнь этихъ людей. Русскіе армейскіе офицеры моего времени — это были по преимуществу люди, обнесенные дессертомъ въ жизни. Трудно себѣ представить жизнь во всѣхъ отношеніяхъ болѣе бѣдную, чѣмъ ихняя. Я зналъ въ ихъ числѣ людей многосемейныхъ, которые бывали принуждены довольствоваться изъ солдатскаго котла,

потому что на иной обѣдъ у нихъ не было средствъ. А о степени безсодержательности и бѣдности ихъ жизни въ духовномъ смыслѣ можетъ составить себѣ понятіе лишь тотъ, кто наблюдалъ ее вблизи.

Отъ этой скудости офицеръ обыкновенно искалъ забвенія въ водкѣ. — Помню скатерть на небольшомъ столѣ. На ней нѣтъ ни одного живого мѣста безъ сальнаго пятна или краснаго слѣда наливки. На ней недопитыя рюмки водки со слѣдами сала отъ губъ. И всякаго вновь приходящаго неумолимо заставляютъ пить „одну — другую" — до восьми рюмокъ. Показать брезгливость передъ сальной рюмкой — значитъ смертельно обидѣть. А вокругъ стола сидятъ офицеры — красные, съ усталыми, осовѣлыми глазами. Это — компанія людей, которые часовъ съ двѣнадцати дня ежедневно пьяны. — „Смотрите на барона", указываютъ мнѣ на усатаго багрово-краснаго офицера. „Пріѣзжаетъ онъ разъ въ гостинницу, беретъ номеръ. У него требуютъ вида. А онъ вспылилъ — „пожалуйста безъ дерзости, я сегодня маковой росинки не пилъ, и *видъ* у меня такой же, какъ у Васъ". — Офицеръ этотъ со всегда заплетающимся языкомъ кончилъ тѣмъ, что ослѣпъ „отъ того, что ежедневно консомекалъ", какъ говорили его товарищи. И какъ мало нужно такимъ „завсегдатаямъ", чтобы опохмелиться. Двѣ — три рюмки на вчерашній хмель, офицеръ уже готовъ. Ежедневное нервное возбужденіе необходимо для этихъ людей, какъ способъ забыть, что у нихъ въ жизни рѣшительно ничего нѣтъ. Есть между ними такіе, которые, думается мнѣ, не вынесли бы жизни, если бы очнулись отъ хмеля. А разговоръ за столомъ — изо дня въ день все тѣ же всѣмъ надоѣвшія пьяныя остротки и шутки, да профессіональныя сплетни про военное начальство, либо военные анекдоты, двадцать разъ слышанные, про то, какъ поручикъ срѣзалъ генерала. Генералъ обратился къ нему на *ты*, а тотъ ему въ отвѣтъ: „скоро же мы съ тобою на *ты* сошлись." Или анекдотъ о томъ, какъ

деньщикъ нашелъ, что его офицеръ совсѣмъ похожъ „на лева". — Да гдѣ-жъ ты видѣлъ лева? — спрашиваетъ довольный офицеръ. „Да на иконѣ въ церкви, — Христосъ на емъ въ Іерусалимъ ѣдетъ". — Острота изо дня въ день повторявшаяся заключалась въ томъ, что офицеры разсказывали этотъ анекдотъ одинъ объ другомъ и при этомъ жирно смѣялись.

Нѣкоторое разнообразіе вносилось въ полковую жизнь „торжественными случаями" — пріѣздомъ начальства, полковымъ праздникомъ или просто полковымъ обѣдомъ, какіе устраивались иногда Маклаковымъ. Послѣдній не упускалъ случая сказать рѣчь, всегда исключительную по своему своеобразному военному стилю. — Помнится, полковой праздникъ совпалъ съ освѣщеніемъ полковой церкви, выстроенной для Кіевскаго полка городомъ Калугой въ лагерѣ. Былъ потомъ обѣдъ съ корпуснымъ командиромъ, головою и министромъ народнаго просвѣщенія Деляновымъ. Маклаковъ „закатилъ" подобающую случаю рѣчь. — Онъ сравнилъ полковую церковь съ тою „походною церковью", которая сопровождала евреевъ во всѣхъ ихъ странствіяхъ. „Христосъ", сказалъ онъ, — „подалъ намъ примѣръ военной дисциплины; онъ умеръ отъ того, что онъ повиновался, какъ и мы умирать должны отъ того, что мы должны повиноваться". Анекдотическій Деляновъ, сидѣвшій рядомъ, умилялся: „Мысли хорошія у полковника, мысли очень хорошія, но только можно было бы сказать покороче." Маклаковъ вообще любилъ смѣлыя сравненія изъ Священнаго Писанія: однажды, при открытіи городского водопровода, онъ такъ мотивировалъ свой тостъ въ честь городского головы: „легче было Моисею извлечь жезломъ воду изъ скалы, чѣмъ нашему Ивану Кузьмичу извести деньги изъ кармановъ нашихъ купцовъ на устройство водопровода".

Таковы были *верхи* полковой жизни. Что же касается низовъ, то есть солдата, то въ общемъ я сохранилъ о нихъ весьма симпатическое впечатлѣніе.

Въ особенности меня поражала ихъ безкорыстная услужливость. Бывало, мы отправлялись всею ротою купаться на Оку. Помню, какъ всякій солдатъ предлагалъ мнѣ нести мой узелъ съ бѣльемъ. Корысти, — видовъ на полученіе „на чай“ тутъ несомнѣнно не было. Когда я въ первый разъ вышелъ на стрѣльбу, махальные, узнавъ, что „ихъ баринъ“ стрѣляетъ, „намахали“ мнѣ двѣ пули, между тѣмъ, какъ у меня не было ни одного попаданія. Они были очень высокаго мнѣнія о моемъ общественномъ положеніи, и поэтому моя служба на равной ногѣ съ ними очень льстила ихъ самолюбію: „по штатскому въ родѣ какъ полковникъ, а на царской службѣ — рядовой“, такъ опредѣляли они меня.

Къ этому присоединялось и наивное удивленіе передъ моимъ образованіемъ и развитіемъ. — „Вотъ это, баринъ, — винтъ хвоста“ — говорилъ мнѣ дядька, показывая сборку и разборку ружья, и тотчасъ переспрашивалъ: „какой это винтъ?“ — Когда я повторялъ безъ осѣчки „винтъ хвоста“ или еще болѣе трудное выраженіе — „винтъ хвоста задержки“, — онъ приходилъ въ восторгъ. „Понялъ, *сразу понялъ*, восклицалъ онъ, иному некругу бьешься, объясняешь, а онъ въ два мѣсяца это не пойметъ“. Когда меня стали обучать ходьбѣ и бѣгу подъ барабанъ, я, разумѣется, сразу сталъ маршировать и бѣгать, не сбиваясь съ такта, какъ бы не замедляли и не ускоряли барабанный бой. — Это произвело впечатлѣніе чего-то геніальнаго: унтерофицеры со всей роты и съ другихъ ротъ удивленно глазѣли и восклицали: „Вотъ такъ такъ, — сразу понялъ, — иной солдатъ этого ни въ жисть не пойметъ“.

Офицерскій экзаменъ, который я въ концѣ концовъ съ грѣхомъ пополамъ выдержалъ, — былъ сплошнымъ анекдотомъ. Маклаковъ, который очень дорожилъ моимъ будущимъ офицерствомъ, отпустилъ меня для этого отъ осеннихъ маневровъ, и я могъ готовиться съ перваго августа до половины сентября.

Этого, разумѣется, было болѣе, чѣмъ недостаточно, чтобы приготовить шесть наукъ и десять уставовъ. Потомъ въ юнкерскомъ училищѣ на первомъ же экзаменѣ тактики я чуть не погибъ. Мнѣ дали задачу — построить въ боевое расположеніе полкъ пѣхоты, двѣ батареи артиллеріи, да нѣсколько эскадроновъ кавалеріи. Планъ долженъ былъ быть сдѣланъ въ масштабѣ. Между тѣмъ раньше того я не только не умѣлъ чертить, мнѣ не пришлось рѣшать ни одной задачи въ жизни.

Со смѣлостью отчаянія я началъ чертить: гдѣ кругъ поставлю, гдѣ квадратъ, гдѣ крестикъ. — Теоретически я умѣлъ разсказывать соотвѣтствующія главы изъ тактики. Поэтому я вдругъ рѣшился: „господинъ полковникъ, сказалъ я, — задача готова".

„Разскажите, какъ Вы ее рѣшали", сказалъ онъ мнѣ. — Это меня спасло: „теоретически" я умѣлъ разсказать очень много. Начальникъ юнкерскаго училища, въ общемъ свирѣпый полковникъ съ невѣроятными усами, видимо началъ смягчаться. „Ну, покажите, однако же, Вашъ чертежъ" — сказалъ онъ мнѣ. Тутъ я долженъ былъ обнаружить мой чертежъ, который до тѣхъ поръ я тщательно закрывалъ руками.

Полковникъ вдругъ какъ фыркнетъ и какъ швырнетъ чертежъ въ сторону. — „Послѣ, послѣ объ этомъ будемъ говорить". — И послѣ экзамена, также неважнаго, онъ сталъ разбирать мой чертежъ. — „Какъ Вы могли начертить то, что Вы начертили— *вопреки всему*, что Вы говорили. Вы говорите, что позиція должна стоять фронтомъ къ непріятелю, — она поставлена у Васъ какъ разъ флангомъ: Вы говорите, что артиллеріи нуженъ широкій обстрѣлъ; между тѣмъ она у Васъ жаритъ въ упоръ прямо въ лѣсъ. Что Вы сдѣлали съ Вашей кавалеріей, — Вы ее утопили въ ручьѣ. Ступайте домой". Я спросилъ сконфуженно, какъ же экзаменъ. — „Когда Вы провалитесь, Вамъ скажутъ, а теперь — кругомъ маршъ".

Хотя онъ на меня покрикивалъ и фыркалъ, юнкера, хорошо знавшіе своего начальника, были поражены его милостивымъ отношеніемъ и предрекали, что моя судьба рѣшена въ мою пользу: „теперь онъ будетъ Васъ за уши вытягивать, — у Васъ гвардейскій ростъ, а это онъ любитъ". — Такъ и случилось. Изъ тактики я получилъ всего шесть балловъ, прочіе же экзамены были благополучнѣе. Я выдержалъ, былъ переименованъ въ подпрапорщики и вернулся въ полкъ — дожидаться увольненія въ запасъ съ производствомъ въ офицеры. Маклакову было грустно со мной разставаться, — онъ уговаривалъ меня готовиться въ Военную Академію. — „Покажите Ваши силы, говорилъ онъ, — я, молъ, и не такого профессора сломаю, — военнымъ профессоромъ буду"; — къ огорченію его я остался непреклоненъ, но рѣшилъ его утѣшить. —

Защищая диссертацію pro venia legendi въ Демидовскомъ Юридическомъ Лицеѣ въ Ярославлѣ нѣсколькими мѣсяцами позже, я просилъ, чтобы въ провозглашеніи вердикта меня назвали: „кандидатомъ правъ и подпоручикомъ запаса". Маклаковъ, узнавъ объ этомъ, растаялъ. Когда въ слѣдующее лѣто я уже въ качествѣ гостя обѣдалъ на полковомъ праздникѣ, Маклаковъ, порядочно подвыпившій, поманилъ меня рукой и представилъ генералу: „Позвольте, Ваше Превосходительство, Вамъ представить подпоручика и профессора, который, когда его провозгласили . . . ну, какъ бишь это у нихъ дѣлается, — когда ему сказали — ну Вы-магистръ, а онъ отвѣтилъ: Нѣтъ съ, позвольте, я подпоручикъ Кіевскаго полка. — За его здоровье." — Генералъ всталъ и торжественно молвилъ: „Съ особымъ удовольствіемъ поддерживаю этотъ тостъ. Отрадно видѣть русскаго дворянина, который гордится прежде всего тѣмъ, что онъ — подпоручикъ Кіевскаго полка."

(Продолженіе слѣдуетъ).

Кн. Евг. Н. Трубецкой.

НЕИЗВѢСТНЫЙ ЖЕНИХЪ.

Въ Свѣтлый Праздникъ домой возвращался
Поздней ночью къ невѣстѣ женихъ.
Онъ изъ церкви шелъ и смѣялся
Съ толпою друзей молодыхъ.

Уронилъ на дорогу колечко,
И другая его подняла.
Задрожала въ рукѣ ея свѣчка,
А сердце шепнуло: нашла.

И всю жизнь, обрученная Богомъ
Тебѣ, неизвѣстный женихъ,
Прожила въ спокойствіи строгомъ,
Далека отъ страстей земныхъ.

И когда она умирала,
То колечко съ руки сняла,
Поглядѣла, ничего не сказала
И, закрывъ лицо, умерла.

РОДНАЯ СТРАНА.

Суровыя поля, великія, пустыя,
Вашъ тихій, древній зовъ я знаю наизусть.
Я непокорный сынъ, я не люблю, Россія,
Твоихъ просторовъ вѣковую грусть.

Что въ томъ, что каждый кустъ и въ полѣ цвѣтикъ алый,
И узкій край межи, поросшій василькомъ,
Все говоритъ въ тебѣ понятнымъ мнѣ сызмала,
Давно знакомымъ сердцу языкомъ!

Не такъ же ли, среди священныхъ камней Рима
Прохладный Тибрскій вѣтръ впиваю, какъ живой,
И все мнѣ кажется такъ близко и любимо,
Тамъ все свое и тамъ всему я свой.

Иль въ часъ, когда иду вдоль желтыхъ дюнъ Бретани,
Гдѣ верескъ безъ конца и море безъ границъ,
Мнѣ все тамъ кажется извѣстнымъ такъ заранѣ, —
И эти паруса, и крики бѣлыхъ птицъ.

О выси снѣжныхъ Альпъ! О тополя надъ Арно!
Твои огни, Парижъ! Твои пески, Эль-Мимъ!
Вамъ всѣмъ моя душа отвѣтитъ благодарно,
Откликнется, какъ близкимъ, какъ своимъ.

Но для моей тоски дана одна стихія,
Кто всѣмъ равно родной, тотъ всѣмъ равно чужой.
Лишь надъ тобой одной могу рыдать, Россія.
Я не люблю тебя, но я навѣки твой.

ЗАПОВѢДЬ ЧЕЛОВѢКА.

(На тему изъ Киплинга).

Когда въ тотъ грозный часъ, гдѣ всѣ утратятъ разумъ,
Ты надъ самимъ собой пребудешь властелинъ,
Когда въ тебѣ одномъ всѣ усомнятся разомъ,
Но въ самого себя повѣришь ты одинъ. . .
Когда ты сможешь ждать, но ждать, не уставая,
Идти впередъ сквозь ложь, но не упасть до лжи,
Идти чрезъ ненависть, но самъ ея не зная,
И не казать другимъ глубинъ твоей души.

Когда твоя мечта твоей смирится власти,
И будетъ мысль твоя, какъ мечъ въ твоихъ рукахъ,
И что бы ни пришло, несчастье или счастье,
Ты равно встрѣтишь все съ улыбкой на устахъ. . .
Когда ты сможешь снесть, что изъ твоей святыни
Мошенники сплетутъ приманку для глупцовъ,
Когда все рухнетъ въ прахъ, во что ты вѣришь нынѣ,
Но скажешь ты себѣ: я строить вновь готовъ. . .

Когда ты будешь смѣть года трудовъ и поту
Поставивъ, проиграть и молча отойти,
Чтобъ вновь упорно стать съ начала за работу,
Не тратя лишнихъ словъ о выбранномъ пути. . .
Иль въ часъ, когда въ тебѣ изныло все отъ боли,
— И тѣло, и душа, — шагать ты будешь въ высь
И слышать на ходу единый голосъ воли,
Которая тебѣ твердитъ одно: держись! . . .

Когда сойдешь въ толпу, не ставши самъ толпою,
Когда взойдешь къ царямъ, не льстя ни одному,
И будутъ другъ и врагъ равны передъ тобою,
И будешь близокъ всѣмъ и вмѣстѣ — никому.
Когда твой часъ таковъ, что каждая минута
Есть шестьдесятъ секундъ, достойныхъ кануть въ вѣкъ,
Знай: міръ отнынѣ твой и все, что въ немъ замкнуто,
И болѣе того, — ты будешь *человѣкъ*.

Сергѣй Кречетовъ.

Персидскія легенды.

Фарьяби.

Сыграй такую мелодію, чтобы ей можно было аккомпанировать вздохомъ.

Хафизъ.

Въ тѣ далекія времена, когда не было иного музыкальнаго инструмента, кромѣ свирѣли, жилъ нѣкій Фарьяби.

Пасъ ли пастухъ своихъ козъ на зеленыхъ склонахъ горъ, ласково пѣла свирѣль.

Справлялась ли свадьба, и люди хотѣли веселиться, — нѣжная свирѣль веселила ихъ сердца.

Умирали ли люди и провожали останки ихъ въ вѣчныя жилища, — рыдала и тосковала надъ ними свирѣль.

Свирѣль, этотъ печальный и задумчивый голосъ тростника, вторилъ во всемъ печальной жизни людей.

И свирѣль любили, какъ спутницу свою на печальныхъ пажитяхъ земли.

Но вотъ однажды Фарьяби изобрѣлъ „тару". *) На ней были струны. И струны эти подъ пальцами Фарьяби издавали звуки такой дивной красоты, какихъ никогда не слышали люди.

И говорили межъ собой:

— Такъ дивно не можетъ играть человѣкъ, родившійся на землѣ. Вѣрно самъ діаволъ, задумавшій насъ искушать, далъ эту тару, чтобы мы любили больше Землю, нежели Небо, ибо даже на Небѣ не могутъ быть пѣсни такъ прекрасны, какъ пѣсни Фарьяби. И въ насъ рождается желаніе не умирать никогда.

Такъ говорили.

---

*) Національный персидскій инструментъ.

И когда Фарьяби выходилъ къ нимъ, чтобы играть имъ на тарѣ, люди стекались къ нему отовсюду.

Они оставляли свои житейскія дѣла, суету заботъ, свои поля, свои очаги, своихъ женъ и дѣтей, и забывали ѣсть и пить, не замѣчая смѣны дня и ночи, и все сидѣли вокругъ, и все слушали, и оставались долго въ сладкой задумчивости даже тогда, когда Фарьяби уже умолкалъ и уходилъ отъ нихъ.

На стада, брошенныя пастухами, приходившими слушать Фарьяби, нападали звѣри и поѣдали ихъ. Неубранные колосья въ полѣ, плоды въ садахъ осыпались, и птицы склевывали ихъ.

И люди становились бѣдняками, слушая Фарьяби, и не могли платить податей Шаху.

Дошелъ слухъ до самого Шаха о Фарьяби, искушающемъ и разоряющемъ народъ грѣшной своей музыкой, — разгнѣвался и повелѣлъ доставить его въ столицу, чтобы казнить.

Прибылъ съ гонцами Фарьяби въ столицу, привязалъ своего верблюда у воротъ дворца и, войдя въ него, палъ передъ лицомъ Повелителя.

Сердце Фарьяби, — какъ сердце человѣческое, — любило жизнь и страшилось смерти — этого вѣчнаго Молчанія, — и съ тоской онъ обратился къ Шаху.

— О, Повелитель! Я далъ людямъ Добро, — я далъ Музыку, чтобы душа ихъ забывала скорби свои, чтобы жизнь ихъ была подобна жизни цвѣтовъ, благоуханныхъ и нѣжныхъ, подобна жизни птицъ, беззаботныхъ и счастливыхъ, — ты-же велишь меня казнить!

Отвѣтилъ ему Шахъ:

— Развѣ настоящее счастье дѣлаетъ людей бѣдными до того, что не могутъ платить податей? И не долженъ-ли самъ Шахъ у такого народа стать также нищимъ?

И воскликнулъ Фарьяби:

— Я рабъ твой, о, Повелитель, но позволь сказать, что бѣдность, которой не тяготятся, не есть бѣдность, и настоящее богатство — невидимо очамъ. Я даю богатство, которое одѣваетъ душу человѣческую въ пышныя одежды, какихъ

не имѣлъ ни одинъ властелинъ. Если къ милости непреклонно сердце твое, о, Повелитель, — позволь мнѣ передъ смертью насладиться игрой въ послѣдній разъ.

И велѣлъ Шахъ собраться всѣмъ министрамъ, а Фарьяби сѣсть среди нихъ и играть.

Въ послѣдній разъ.

Сѣлъ среди нихъ Фарьяби, коснулся пальцами зыбкихъ струнъ, и дуновеніемъ божественнымъ наполнился дворецъ.

Игралъ Фарьяби, и невидимыя крылья вырастали у слушавшихъ его.

И души ихъ одѣвались въ пышныя одежды, какихъ не надѣвалъ ни одинъ властелинъ.

И рождалось желаніе жить, никогда не умирая.

Жить, какъ цвѣты, благоуханные и нѣжные, и какъ птицы, беззаботныя и счастливыя.

Смолкъ Фарьяби, но никто не видѣлъ, какъ онъ вышелъ.

Сѣлъ онъ на своего верблюда и поспѣшилъ въ дорогу, но никто не посылалъ за нимъ въ погоню, ибо Шахъ и его министры были еще въ сладостномъ забытьѣ отъ его музыки.

Два раза небо вѣнчалось звѣздами, два раза солнце являлось надъ землей, чтобы пить благоуханную утреннюю росу. Фарьяби сдѣлалъ сорокъ фарсахъ *), и лишь тогда замѣтили во дворцѣ, что пѣсни смолкли, и что пѣвца нѣтъ межъ ними.

Но каждый помнилъ, какое блаженство испыталъ онъ, и уже не могъ радоваться ни своей власти, ни богатству, ни пышнымъ пирамъ, услаждавшимъ его прежде.

И велѣлъ Шахъ нагрузить двѣнадцать верблюдовъ коврами, чудно вытканными, и еще двѣнадцать верблюдовъ серебромъ, драгоцѣнными камнями и золотыми сосудами, и послалъ ихъ въ даръ Фарьяби, чтобы тотъ явился во дворецъ услаждать остатокъ его жизни.

Но не обольстился Фарьяби дарами Шаха и отвѣтилъ посланнымъ его:

— Я услаждаю жизнь тѣхъ, у кого больше горя. Не бѣдняки ли имѣютъ горя больше, нежели ихъ повелители?

---

*) Фарсахъ — 6 верстъ.

Тогда послалъ Шахъ грозныхъ пословъ казнить гордаго Фарьяби, гдѣ-бы ни застигли его.

Но грозные послы, услышавъ пѣсни Фарьяби, — не вернулись во дворецъ.

Другихъ пословъ послалъ Шахъ, но и тѣ плѣнились его музыкой и болѣе не вернулись въ тѣсныя стѣны дворца.

И безсиленъ былъ Шахъ казнить пѣвца.

Человѣкъ не побѣдилъ силы пѣсенъ.

Такъ жилъ плѣнительный Фарьяби. И „тара“ его стала душой народа и утѣшеніемъ бѣдныхъ.

Глаза Али.

Ты знаешь въ чемъ счастье?
Чтобы видѣть лицо друга.

Хафизъ.

I.

Любила Саккинэ прекраснаго Али. И былъ безъ ума Али отъ плѣнительной Саккинэ.

Она была чудной красоты, проста и очаровательна, какъ цвѣтокъ, легка и игрива, какъ бабочка, — какъ говоритъ поэтъ:

Каждый день, каждымъ движеніемъ руки
Ты затѣваешь новую хитрость;
Каждый мигъ, каждымъ взглядомъ
Ты затѣваешь новую шалость . . .

И Али былъ не менѣе прекрасенъ.

Онъ былъ строенъ, какъ сосна и какъ гурія-лицомъ.
И лицо, какъ солнца лучъ, освѣщало все кругомъ.

Любовь такъ переполняла ихъ сердца, что чувствовали они, какъ задыхаются отъ этой божественной ноши.

Жизнь казалась имъ чуднымъ сновидѣніемъ, которое прерывается лишь со смертью. Ахъ, какъ очаровательна жизнь тѣхъ, кто считаетъ ее краткимъ сновидѣніемъ! Они

пьютъ изъ ея чаши вино Радости, не отрывая своихъ устъ, пока не покажется дно, — пока чаша не выпадетъ изъ ихъ рукъ.

Когда капли росы превращались въ брилліанты подъ первыми лучами солнца, — Саккинэ и Али выходили въ свой садъ, полный душистыхъ розъ и свѣжаго аромата зари.

— Отчего такъ прекрасны цвѣты? — спрашивала Саккинэ.

— Оттого должно быть, что они всегда смотрятъ въ Небо, — отвѣчалъ ей Али.

— А твои глаза, Али, они больше смотрятъ на меня, чѣмъ на Небо, однако, они прекраснѣе всѣхъ цвѣтовъ на землѣ!

— О, Саккинэ, вѣдь это оттого, что ты прекраснѣе Неба. Вѣдь само Небо прекрасно оттого, что смотритъ на тебя!

Такъ двое влюбленныхъ искали среди человѣческихъ словъ самыя прекрасныя и нѣжныя изъ нихъ, чтобы выразить ими свои чувства. Но когда молчали они и глядѣли, любуясь, другъ другу въ очи, — это былъ самый нѣжный и самый прекрасный разговоръ двухъ возлюбленныхъ.

И не было у нихъ большаго счастья, какъ видѣть другъ друга.

II.

Если сладкой улыбкой она отнимаетъ
у тебя душу, такъ ей свойственно это.

Дж. Руми.

Не можетъ солнце свѣтить кому захочетъ, — оно свѣтитъ всему міру. Не могла красота Саккинэ сіять одному Али, — о ней зналъ молодой Шахъ и не находилъ покоя отъ мукъ любви къ ней.

И задумалъ недоброе Шахъ, потому что любовь земная въ злыхъ сердцахъ рождаетъ вражду и зависть.

Онъ призвалъ своего визиря и сказалъ:

— Вотъ ты говоришь, что казна наша пуста, а знаешь-ли, какъ богатъ Али, сынъ Джаффара? Пошли сказать ему, что глаза его я оцѣнилъ въ пятьсотъ тысячъ томанъ и въ

пятьсотъ шелковыхъ ковровъ мѣрою по десяти заръ въ каждомъ.

Визирь былъ свидѣтелемъ многихъ безмѣрныхъ желаній Шаха, но тутъ онъ изумился: никогда такъ дорого не оцѣнивались глаза подданныхъ.

И было извѣстно, что глаза выкалывались у тѣхъ, кто не исполнялъ волю Шаха.

— О, свѣтъ міра! — воскликнулъ визирь. — Не многоли это для Али, сына Джаффара? Я знаю, какъ онъ богатъ, но вѣдь у овцы берутъ столько шерсти, сколько она въ состояніи дать, оставаясь живой.

— Да, отвѣтилъ Шахъ, но приходитъ время, когда овцы кормятъ своихъ господъ...

Визирь понялъ, чего хотѣлъ Шахъ, владыка правовѣрныхъ, и пошелъ исполнять его волю.

III.

О, Саади, Вчера — прошло и также неизвѣстно, что будетъ Завтра; пользуйся-же сегодняшнимъ днемъ, между Прошедшимъ и Будущимъ!

Саади.

Садъ Али былъ полонъ чудесъ. Но восхитительнѣе всего было въ немъ мѣсто у водоема, гдѣ пѣли, какъ струны тары, двѣ струи фонтана. Тутъ они проводили большую часть дня. Надъ водоемомъ былъ шатеръ изъ переплетенной, какъ арабская вязь, листвы и вѣтвей винограда. Солнце не могло пронзить этотъ изумрудный щитъ, и подъ нимъ вѣяла прохлада живоносная, напоенная сладкимъ запахомъ цвѣтовъ, разсыпанныхъ вокругъ водоема.

Когда Али и Саккинэ, обнявшись и наклонясь надъ зеркаломъ водоема, смотрѣли на свои отраженія, — они были подобны двумъ нарцисамъ у пруда, или двумъ райскимъ птицамъ, вышиваемымъ на кашанскихъ коврахъ, или двумъ голубямъ, ненасытнымъ въ поцѣлуяхъ.

Вокругъ нихъ на коврѣ стояли пряности, халва и чистое вино, — цвѣта розы. Прислуживалъ имъ смуглый мальчикъ, который держалъ наготовѣ кувшинъ съ виномъ и чашу, полную винограда.

Вино и нѣга разжигаютъ пламя Любви, но не было нужды въ томъ, чтобы разжигать уже пылавшій пожаръ.

Однажды, въ жаркій полдень, когда Саккинэ и Али предавались нѣгѣ, — громко застучалъ молотокъ у воротъ, и въѣхали во дворъ запыленные всадники.

Это были послы завистливаго Шаха.

Выслушавъ ихъ, Али улыбнулся и велѣлъ отсыпать золото и нагрузить верблюдовъ коврами для Шаха. А верблюдовъ выбралъ самыхъ лучшихъ, песочнаго цвѣта, головные уборы ихъ были изъ хитроумныхъ цвѣтовъ, и на голубыхъ поляхъ были вышиты бѣлые олени. И еще велѣлъ Али прибавить ко всему двѣсти кувшиновъ для вина изъ чистопробнаго серебра.

И уѣхали послы изумленными. Они не знали, что любящія сердца — щедры.

IV.

Краюха хлѣба
И крынка воды съ тобою —
Этому могъ-бы позавидовать самъ Шахъ.

Омаръ Хайяма.

Мрачнѣе тучи сдѣлалось лицо Шаха, когда онъ увидѣлъ пословъ, привезшихъ болѣе того, сколько потребовалъ онъ отъ Али, сына Джаффара.

Не сокровища его нужны были Шаху. Ахъ, зачѣмъ человѣку сокровища, если нѣтъ Любви!

И гнѣвъ властелина на подданнаго — самый страшный гнѣвъ — овладѣлъ Шахомъ.

И признался онъ визирю своему.

— Не скрою отъ тебя, чего я хочу отъ Али. Я хочу его богатства, но не того, которое онъ отдаетъ мнѣ, а того, которымъ онъ владѣетъ и не хочетъ мнѣ отдать, — его Саккинэ, которая поетъ ему лучшія пѣсни на землѣ... О, я подарилъ бы ей все мое царство, если-бы она захотѣла стать моей; я сдѣлалъ-бы для подданныхъ моихъ много добрыхъ дѣлъ, если-бы она захотѣла оживить мое сердце своей любовью; вѣдь дерево не растетъ и не живетъ, если его не кропитъ роса и не согрѣваетъ солнце, — такъ и я

не могу жить теперь безъ Саккинэ... Посовѣтуй, какъ мнѣ быть?

Визирь былъ рѣшительный человѣкъ и считался мудрымъ совѣтникомъ.

— Повелитель, это легко сдѣлать. Можно испытать двѣ мѣры, и одна изъ нихъ побѣдитъ Саккинэ. Первая мѣра такая: женщина привязывается къ вещамъ, какъ дѣти къ игрушкамъ. Саккинэ окружена розами, но окружи ее шипами, и она, можетъ быть, промѣняетъ любовь Али на любовь другого. Мы возьмемъ отъ Али все его богатство, и Саккинэ оставитъ его. Но вотъ другая мѣра, если первая будетъ безсильна въ этомъ. Женщины жертвуютъ собою ради того, чтобы спасти любимаго человѣка, но часто жертвы не спасаютъ, а губятъ любимыхъ. Саккинэ не вынесетъ, чтобы Али выкололи глаза и, можетъ быть, принесетъ себя въ жертву...

Шахъ остался доволенъ совѣтомъ своего визиря. И поскакали отъ Шаха послы, чтобы взять у Али все его золото, всѣ драгоцѣные камни и ковры, и вина, и арабскихъ скакуновъ, чтобы опустошить его домъ и садъ.

И Али сталъ бѣденъ: были взяты у него розы и оставлены ему одни шипы. Однако-же онъ не только не пожаловался на свою судьбу, но ко всему, что отъ него взяли, прибавилъ свое кинэ — верхній плащъ изъ шелка — и одѣлъ себя въ рубище.

У него не было болѣе винъ и золота, но надъ его, бѣднымъ нынѣ домомъ сіяло голубое небо, а въ сердцѣ цвѣли розы Любви, ароматнѣе и нѣжнѣе, чѣмъ всѣ розы міра.

V.

Я проливалъ изъ глазъ слезы,
обильныя, какъ потокъ; я
не былъ скупъ, я сыпалъ жемчугъ.

Абу-ль Маани.

Давалъ Шахъ наставленіе своимъ посламъ:

— Вотъ скажите Али, что такова воля Аллаха. Золото приходитъ и уходитъ, и теперь, когда онъ бѣденъ и не можетъ заплатить пятьсотъ тысячъ томанъ, пусть отдастъ Сак-

кинэ или свои глаза. Если онъ любитъ ее, — онъ не оставитъ ее въ рубищѣ и бѣдности.

Послы поѣхали къ Али и передали ему повелѣніе Шаха. Но Али былъ бѣденъ, какъ дервишъ, и не могъ заплатить требуемаго.

И видя, что ничего болѣе не остается ему, какъ отдать свои глаза, онъ заплакалъ отъ великаго отчаянія.

— Возьмите тогда мои глаза, воскликнулъ онъ, рыдая, но только-бы душа моя была свѣтла, ибо Саккинэ — свѣтъ моей души, и никто не возьметъ ее у меня!

Такъ говорилъ Али и подставилъ свои глаза подъ острые ножи пословъ.

Но женщина думала иное. И отведя пословъ въ сторону, сказала, ломая руки:

— Не губите Али, не губите моего Али! Если нужна моя жизнь, чтобы спасти его, — возьмите ее у меня, но пусть только Али будетъ живъ, пусть онъ живетъ! Дѣлайте со мною, что хотите, но не касайтесь его, чтобы погубить, не дѣлайте ему вреда, умоляю, умоляю васъ!

Такъ говорила обезумѣвшая женщина и не подумала о томъ, что этими словами она взяла отъ него его душу, ибо послы охотно схватили Саккинэ и увели ее отъ Али.

Побѣжалъ, громко крича, вслѣдъ за послами Али, но не догналъ ихъ и упалъ, и неудержимымъ потокомъ полились безсильныя слезы.

Пришедшіе на утро къ его дому крестьяне увидѣли дивную картину: на землѣ лежалъ камень, подобный распростертому человѣку; изъ очей его струилось два ключа воды, чистой, какъ слезы, прекрасной, какъ жемчугъ . . .

И назвали этотъ источникъ „Глаза Али", и окружили его кустами розъ и гранатовъ.

В. Нечитайловъ.

Смерть Короля.

Баллада.

Мой добрый другъ, аббатъ Жансенъ, послѣ просьбъ моихъ долгихъ, мнѣ указалъ лавку старьевщика, что за мостомъ, подъ церковью Св. Женевьевы, въ приходѣ апостола Марка.

Межъ камей нѣжнорозовыхъ, въ паутинѣ морщинокъ, межъ парчею московской и индійскими тканями, межъ игральными картами веселыхъ гулякъ временъ Лоренцо Медичи — далъ мнѣ старьевщикъ пыльную связку листковъ.

Связку листковъ въ нѣжной копоти дыма ушедшихъ вѣковъ. Связку листковъ, пожелтѣвшіе ворохи королевскихъ записокъ.

Людовикъ, Сынъ Людовика, Король, унизалъ ихъ въ тюрьмѣ нитями блѣдныхъ вылинялыхъ строкъ.

* * *

— „Ты королемъ былъ, гражданинъ. Теперь ты арестантъ Конвента“, сказалъ сегодня намъ тотъ комиссаръ, обрюзглый и хромой, что сторожить насъ долженъ въ заключеньи. Людовикъ — арестантъ . . . Я тихо улыбнулся. Нѣтъ, я и теперь король. На груди моей, я не знаю откуда, надъ сердцемъ, почіютъ королевскіе знаки: бѣлыхъ лилій скрещенные стебли.

У лица моего удлиненный овалъ. Какъ точеная кость, мои желтые ногти. И парикъ мой въ Голландіи ткали евреи-ткачи на основахъ серебряныхъ.

Да, я король по милости Божьей . . . Но зачѣмъ унесли мой парикъ? Со стриженой и жесткой головой я точно арестантъ. Развѣнчанный я, тихій и безмолвный Людовикъ, Сынъ Людовика, Капетъ.

* * *

Сегодня на разсвѣтѣ, едва забылся я дремотой, звонъ рога разбудилъ меня. Смѣняла караулы гвардія конвента. Проснулся я и слушалъ пѣнье рога. И видѣлись мнѣ парки Тріанона, багрянецъ листьевъ, капельки росы, тропа, румяный дымъ зари межъ буковъ облетѣлыхъ . . .

Оленя гонятъ — о, мой Боже. Трепещетъ чернымъ блескомъ смерть въ зрачкахъ оленьихъ. Боже . . . Самъ я — загнанный олень.

* * *

Ея Величеству Супругѣ Нашей передайте, что мальчикъ живъ, что профиль царственный, какъ прежде, строгъ и нѣженъ. Какъ прежде, прядь волосъ мягка и золотиста.

Ея Величеству Супругѣ Нашей передайте, что солнце дважды въ день соломой койки ласково играетъ и на стѣнѣ пятномъ багрянымъ спитъ . . .

Но не смотрите, другъ мой; позабудьте, какъ принцъ нашъ блѣденъ сталъ, какъ сырость подъ глаза легла ему зелеными тѣнями . . . Онъ ночью кашляетъ, нашъ принцъ. Онъ хочетъ видѣть мать. Онъ клавикорды проситъ слышать и грустно ждетъ къ себѣ фарфоровыхъ китайскихъ куколъ, нашъ бѣдный отрокъ-сынъ.

* * *

Сегодня сынъ пропѣлъ намъ Карманьолу. Такъ научилъ его тюремщикъ нашъ Симонъ. Сынъ пѣлъ, а свѣжій ротъ его непонимающей улыбкою слагался, и смѣхъ веселый видѣлъ я въ глазахъ сощуренныхъ дофина.

Мой бѣдный сынъ — вы пѣли нашу смерть.

* * *

Я библію загнулъ на Плачѣ Соломона, гдѣ воскъ растопленный окапалъ лепестками узоры буквъ стиха Екклезіаста:

„Все суета. Все суета суетъ“.

Молился и смотрѣлъ я на руки себѣ — о, бѣлыя мои, о, царственныя руки, о, руки короля . . .

„Все суета. Все суета суетъ“.

Я вспоминалъ отца и первый контрадансъ мой, походовъ пыль, и барабанный гулъ, и потный лоскъ коней гнѣдыхъ драгунскихъ, и шелестъ лилій, вытканныхъ въ знаменахъ, и шелестъ кружевъ блеклыхъ Валансьенскихъ.

И вспоминалъ дворецъ. Толпу въ покояхъ бѣлыхъ, лязгъ пикъ пронзительный и топотъ ногъ бѣгущихъ, и клочья красныя фригійскихъ колпаковъ, и тягостные вопли: „Смерть Капету", „Смерть королю" . . .

* * *

Я васъ люблю, Мари, сегодня болѣ, чѣмъ въ тотъ далекій день, когда австрійскою принцессой угодно было вамъ войти въ опочивальню французскихъ королей.

Я васъ люблю сегодня, королева, не какъ король, какъ мальчикъ, я люблю, какъ стремянной у стремени своей прекрасной дамы.

Сегодня я Сорбонскій баккалавръ, поэтъ, узнавшій первую весну, любовникъ въ осемнадцать лѣтъ. Сегодня я не Людовикъ, по милости Господней, — я королевы пажъ. Застѣнчивый и юный.

Я васъ люблю, Мари...

И цѣловать хочу — надъ правымъ уголкомъ, у губъ, я вашей родинки коричневую мушку. Я васъ, Мари, люблю.

* * *

Я благодаренъ вамъ, Луиза, за персики и сливы, и за надежду на англійскій бригъ.

Луиза, помните въ Версали ту розовую залу, гдѣ когда-то въ фигурѣ первой менуэта, нечаянный я взоръ вашъ встрѣтилъ?... То было въ Валентининъ день весною ранней, помните, Луиза?

Прошу васъ: передайте залѣ привѣтъ печальный нашъ, скажите громко такъ: „вамъ кланялся король" и слушайте, что вамъ отвѣтятъ залы. . .

* * *

Часы мои стали въ девять. Не звенитъ свирѣлью мой золотой пастушокъ, и пастушка на качеляхъ поникла.

Часы мои стали въ девять.

Глазками острыми мышь оглядѣла меня, увидала, что свой, и сѣрымъ комкомъ по обшлагу пробѣжала.

Часы мои стали въ девять.

Холодъ и камень, и темнота. Темна, какъ пустыня, душа моя и, какъ камень стѣны, холодна.

Почему часы мои стали въ девять?

* * *

Молитвенникъ вашъ у солдатъ въ казармѣ.

Молитвенникъ вашъ у солдатъ я видѣлъ. Солдаты пьютъ вино. Гремятъ прикладами о каменныя плиты. И съ пьяной бранью въ пьяную потѣху читаютъ „Отче нашъ“ и „Радуйся, Ты, Дѣва“. Читаютъ нараспѣвъ, какъ-будто францисканцы...

И полагаемъ Мы, что навсегда затерянъ тотъ локонъ свѣтлый вашъ, что мною спрятанъ былъ у бронзовыхъ застежекъ, подъ кожу темную, гдѣ знакъ нашъ: крестъ и роза.

* * *

Дождь журчитъ въ свинцовомъ жолобѣ.

Парижъ въ туманѣ. Въ дымной мглѣ я вижу крыши. Мокрыя, черныя крыши я вижу.

Ты высоко надъ Парижемъ, Людовикъ, и будешь повыше, когда подъ ножемъ гильотины ляжешь головою къ корзинѣ . . .

* * *

Я видѣлъ васъ вчера, о, юная Маркиза... Дымилася въ туманѣ черная толпа. Шелъ дождь. Бѣжали въ лужахъ чередою темной сырыя облака. Я видѣлъ васъ вчера.

И черныхъ колымагъ я тѣни смутно видѣлъ. Гудѣла мрачная толпа.

Я видѣлъ голову . . . Жгуты волосъ кровавыхъ на руку туго закрутивъ, высоко на помостѣ черномъ ее палачъ раскачивалъ . . .

Горячихъ капель вѣеръ обрызгивалъ толпу кропиломъ багрянымъ. Народъ рычалъ: „Да здравствуетъ свобода“.

И будто слушая и будто отвѣчая, рѣсницы ваши тихо трепетали. О, юная моя, — я видѣлъ васъ вчера.

* * *

Листокъ каштана, мокрый и темный, вѣтеръ принесъ и положилъ на окно мое. Осень въ Версали ... Стылый слѣдъ раздвоенныхъ оленьихъ копытъ въ темныхъ лужахъ. Иней траву забѣлилъ. Продрогла Діана Охотница, и озябла Церера.

Влажной тропою пойду я, тиснѣнья подошвъ на пескѣ оставляя. Пойду я одинъ. И бѣлое тѣло озябшихъ богинь обниму я.

Осень въ Версали.

* * *

Мой другъ, я такъ любилъ разсказы ваши о плаваньи моихъ фрегатовъ королевскихъ, о дальнихъ теплыхъ океанахъ, о бѣлыхъ рифахъ, о кораллахъ, о звѣздахъ Южнаго Креста и о причудливыхъ принцессахъ черныхъ, что жалуютъ съ запястьевъ ожерелья, цвѣтистыхъ попугаевъ и любовь моимъ матросамъ изъ Марселя.

Мой другъ, я такъ любилъ разсказы ваши и вашу шпагу длинную, какихъ уже не носятъ, и перстня аметистъ, и шелковый камзолъ, искусно расшитой цвѣтными якорями ... Мой другъ, цѣлую васъ я въ голову сѣдую. Идите съ миромъ. Знаю я: умрете такъ вы, какъ умираютъ честные солдаты ...

— Да здравствуетъ король!

* * *

Пряжка алмазная отъ башмака оторвалась. Въ пыльныя грани алмазовъ смотрѣлъ я и думалъ: „не къ добру, Людовикъ, ты теряешь алмазную пряжку... Вотъ отпоютъ надъ тобою обѣдню на площади Грэвской, и тогда твой башмакъ королевскій чью-то ногу обуетъ?“

* * *

„Печаленъ ровный шумъ людской“. Я, Людовикъ, Король, по милости Господней, кто здѣсь страдалъ и думалъ предъ кончиной, я, грѣшный Людовикъ, повѣдалъ камню стѣнъ, что исцарапано здѣсь тонкою иглою: „Печаленъ ровный шумъ людской“ ...

Слова народовъ, гулъ сраженій, костры святѣйшихъ инквизицій, напѣвъ Овидія, преданья рыбарей и ясные трактаты геометровъ, Аристофана смѣхъ, кадильницы бряцанье и Данте мѣдный гулъ торжественныхъ терцинъ — все только шумъ, печальный и ненужный.

Пришли, шумя. Шумя, уйдутъ. И нѣтъ ихъ... Все безслѣдно подъ вѣчной пустотой небесъ. Все только шумъ. Печальный ровный шумъ. Туманный грустный шумъ пустыннаго прибоя...

О, Господи, простишь-ли грѣшному рабу Ты мысли смутныя, печальныя, больныя...

* * *

На дворѣ вчера плясали Тарантеллу, и не могъ отъ стука башмаковъ уснуть я. На разсвѣтѣ плакала моя служанка, утирая чепчикомъ лицо. На дворѣ вчера плясали...

Кто принесъ вчера мнѣ незабудки блѣдныя, въ росѣ? Незабудки вдовьи, голубыя. Кто принесъ ихъ мнѣ вчера?

Граждане, тюрьму мнѣ отворите. Развѣ я король? Я нищій, я бродяга. Я въ лохмотьяхъ, блѣдный и босой. И смотрите, смѣйтесь, какъ колпакъ мой красный я надѣлъ забавно на бекрень...

А ночь черна. Какъ ночь черна!

На Нотръ—Дамъ ревутъ набаты. И пасти дьяволовъ соборныхъ осклаблены усмѣшкой странной. Ползутъ пожары. Лижутъ крыши. И жерла пушекъ раскалились. А я шатаюсь... Гори до тла, Парижъ, мой городъ. Гори до тла.

* * *

Отчего я не матросъ съ фрегата? Я теперь лежалъ бы на канатахъ. На канатахъ, крѣпко просмоленныхъ...

И смотрѣлъ бы я на гаснущія звѣзды, звѣзды влажныя надъ Южнымъ Океаномъ.

Тамъ, гдѣ пѣна бѣлыхъ рифовъ шепчетъ и, какъ розсыпи погасшихъ изумрудовъ, — водорослей нѣжныхъ вереницы, — я нашелъ бы черную принцессу.

И она сняла-бъ мнѣ жемчугъ ожерельевъ, какъ моимъ матросамъ изъ Марселя.

* * *

Людовикъ, сынъ Людовика, по прозвищу Капетъ, вамъ завтра руки на спину закрутятъ бичевою и повезутъ на площадь въ колымагѣ черной.

Тамъ рокотъ барабановъ встрѣтитъ васъ, Людовикъ.

Готовы вы принять послѣднее привѣтствіе народа?

Готовъ. Приму, какъ должно. Господи помилуй и ниспошли душѣ моей Ты миръ...

Аминь.

Ив. Лукашъ.

Изъ сказокъ большого города.

Уже смеркалось, когда часовой Илья Кривенко заступилъ на свой постъ у Успенскаго собора. Пришелъ разводящій, а съ нимъ и дежурный по карауламъ города Москвы, бывшій раньше истопникомъ въ комендантскомъ управленіи, а сейчасъ, по волѣ всесильнаго случая (нужно добавить „революціоннаго"), правая рука комиссара города.

Дежурный и разводящій посидѣли на ступеняхъ собора, покурили, къ великой зависти Кривенко, поплевали и, наконецъ, собрались уходить.

— „Если кто тутъ попробуетъ въ соборъ лѣзть, съ Богомъ разговаривать", — угрюмо заявилъ дежурный по карауламъ, — „такъ пришли его ко мнѣ въ комендантское. Мы ему покажемъ такія молитвы!"...

И онъ показалъ кулакомъ въ воздухѣ, какія это будутъ молитвы. Проводивъ глазами дежурнаго и разводящаго, Кривенко поднялъ дымящійся еще окурокъ папиросы и въ свою очередь усѣлся на паперти.

— Молитвы показать, — бурчалъ онъ, — такъ это ты умѣешь, а чтобы папиросу дать часовому, этого ты не умѣешь?... Небось раньше тоже... бычки стрѣлялъ, а сейчасъ важная птица... „ко мнѣ въ комендантское!", передразнилъ онъ дежурнаго и озлобленно швырнулъ окурокъ.

Тихо было на соборной площади. Холодный вѣтерокъ налеталъ изъ-за Москвы рѣки, принося послѣдніе звуки засыпающаго города. Черная мгла залегла въ отдаленныхъ углахъ площади, и колокольня Ивана Великаго терялась гдѣ то въ бездонномъ темномъ небѣ.

Невесело было на душѣ у Кривенко. Уйдя еще мальчишкою изъ своей родной деревни, попалъ онъ въ цѣпкія лапы большого города и уже не вырвался. Гдѣ только онъ не служилъ. Послѣднее время былъ дворникомъ, принималъ

дѣятельное участіе во всякихъ „революціяхъ“ и яростно кричалъ о „буржуяхъ, пившихъ кровь“. Большевистскіе лозунги внесли невообразимый сумбуръ въ его голову, а въ душѣ, между тѣмъ, росло какое то недовольство, пустота.

Опостылѣла ему жизнь въ этомъ огромномъ, мертвомъ городѣ, но его мобилизовали въ красную армію. Нельзя уйти. Да и куда уходить?

„Перемерли всѣ тамъ“, думалъ Кривенко. Давно онъ не былъ въ родномъ краю. Но сегодня мысли о своей родной хатѣ неотступно преслѣдовали его. Тоска душила, и даже голова начала болѣть отъ разныхъ думъ.

„Кажись, поганѣе не было“... резюмировалъ онъ свои мысли. И трудно было ему самому рѣшить, къ чему это, собственно говоря, относилось, къ душевному ли его состоянію, вообще ли къ жизни, или къ настоящему его положенію.

Склонившись головою на руки, Кривенко отдался своимъ невеселымъ думамъ и вдругъ встрепенулся. Бываетъ такъ ночью. Спитъ человѣкъ, крѣпко спитъ и неожиданно, какъ отъ толчка, проснется и смотритъ тревожными глазами въ темноту ночи, и сна точно и не бывало.

— Какой это день сегодня? Какой? Суббота? Да, да, суббота... Страстная Суббота!

Кривенко даже поднялся, растерянно озираясь.

Жуткая тишина царила вокругъ. Было что то грозное въ нѣмомъ молчаніи темной ночи у подножья храма, колокола котораго сотни лѣтъ возвѣщали древней столицѣ о Воскресеніи Христовомъ.

Еле намѣчались въ сумракѣ громады старинныхъ палатъ и кремлевская стѣна.

И такимъ контрастомъ со всѣмъ величіемъ пасхальной ночи и древняго храма съ погасшими лампадами, являлась жалкая фигура одинокаго стража Успенскаго собора.

Робко опустился Кривенко на ступени паперти.

„Конечно...“, думалось ему, „революціонный порядокъ... и попы все врутъ... только, все таки, какъ же это безъ заутрени?“

Пасха рисовалась въ его воображеніи торжественной заутреней, которую онъ помнитъ еще въ своей деревенской церковкѣ, съ толпами нарядныхъ односельчанъ, съ куличами, писанками. Закрывъ глаза, Кривенко размечтался.

Помнитъ онъ себя еще мальчикомъ, какъ, одѣтый по праздничному, съ намасленной головой, причесанной заботливыми материнскими руками, зажимая въ потной рукѣ восковую свѣчечку, стоитъ онъ въ маленькой, убогой ихъ церкви.

Но какая она нарядная сейчасъ! Сколько свѣту! Горятъ, сіяютъ кіоты и образа. Торжественно звучитъ пѣніе на клиросѣ, и маленькій Ильюша чувствуетъ, что его сердце переполнено какими то необыкновенно хорошими и волнующими чувствами. Даже шалить не хочется вовсе. А старенькій о. Павелъ и церковный сторожъ Митричъ такіе сегодня сіяющіе и торжественные.

Когда хоръ стихалъ и одинъ басъ тихо замиралъ подъ сводами церковки, у Ильюши даже слезы навертывались отъ волненія, и онъ, слыша торжественное пѣніе: „Воскресенія день...“, подпѣвалъ со всѣми „Пасха, Господня Пасха!“

Тепло стало на душѣ у Кривенко.

— „Воскресенія день...“, началъ было подпѣвать онъ хору, звучавшему въ его мечтахъ.

— Но что это?...

Очнулся Илья Кривенко, а церковное пѣніе продолжаетъ нестись тихо-тихо изъ утонувшаго во мракѣ собора.

Чувствуя, что дикій ужасъ овладѣваетъ имъ, кинулся обезумѣвшій Кривенко къ дверямъ собора, распахнулъ ихъ и, пораженный черной мглой храма, въ которой ясно уже слышалось тихое пѣніе и вздохи молитвъ, онъ упалъ на колѣни.

Нервная дрожь охватила его, а въ глазахъ поплыли зеленые и красные круги.

И когда легкая тѣнь, выплывъ изъ мрака соборной площади, склонилась надъ нимъ, и голосъ его матери, точно издалека, произнесъ: „Молись, Ильюша, молись...“ Кривенко ничего уже не думалъ, ничего не понималъ. Припавъ головой къ холоднымъ плитамъ соборной паперти и обливая ихъ

горючими слезами, онъ въ полубезсознательномъ состояніи, всхлипывая, бормоталъ какія то несвязныя фразы.

Въ разгоряченной головѣ проносились обрывки какихъ то забытыхъ имъ молитвъ, и онъ рыдалъ, стараясь, въ страшномъ усиліи, вложить въ нихъ, въ эти ускользающія отъ него слова, все то темное и непонятное, что скопилось въ его душѣ за долгіе годы плѣна въ лапахъ шумнаго и чуждаго ему города.

Долго лежалъ онъ такъ, чувствуя, какъ постепенно, точно уступая лучамъ свѣта, уходятъ изъ его сердца и тоска, и злоба.

А когда онъ поднялъ свое мокрое отъ слезъ лицо, то увидѣлъ всю внутренность собора, ярко освѣщенную свѣчами и разноцвѣтными лампадами. Голубой туманъ облаковъ ладана обволакиваетъ стоящій въ храмѣ народъ.

Издалека доносится до Ильи Кривенко торжественное Пасхальное пѣніе, и онъ съ сосредоточеннымъ лицомъ шепталъ молитвы, кладя земные поклоны.

Хорошо ему и не страшно вовсе.

И не удивляется онъ уже, что служитъ заутреню старенькій батюшка Павелъ въ своей бѣдной рясѣ и другіе священники въ золоченыхъ митрахъ на головахъ.

Стоятъ тихо ряды важныхъ бородатыхъ господъ въ длинныхъ кафтанахъ, какъ онъ видѣлъ еще въ дѣтствѣ въ школѣ на картинкахъ.

А вотъ и сестренка его, держится за юбку какой то старушки. Блѣдная какая.

Узналъ онъ и тетку Аграфену, и товарища своихъ игръ, рыжаго Степку, и своего хозяина, гдѣ онъ служилъ дворникомъ, купца Корзинкина.

Хорошо и радостно Ильѣ, но нѣтъ силъ подняться съ колѣнъ, войти въ церковь.

Медленно обернулась старушка.

— „Матушка!“, хотѣлъ вскрикнуть Кривенко, но слезы сдавили горло и казалось ему, что вотъ подойдетъ къ нему мать, погладитъ по головѣ, поцѣлуетъ и, какъ бывало, скажетъ: „Христосъ Воскресе, Ильюша“.

Но строго и съ укоромъ глядѣли материнскіе глаза:

„А благовѣста то и нѣтъ, Ильюша . . .“

— „И впрямь, нѣтъ!“ удивился Кривенко. „Какъ же такъ? Заснулъ, что ли, старый Митричъ?“

И вдругъ такъ ясно онъ вспомнилъ, какъ одной ранней весной, въ слякоть, хоронили въ деревнѣ старенькаго церковнаго сторожа Митрича.

— „Господи, — думалъ Кривенко, — да вѣдь и Корзинкинъ уже пять лѣтъ, какъ померъ, а рыжій Степка утонулъ въ пруду . . . и сестренка еще маленькая была . . . померла. А отецъ Павелъ то вѣдь умеръ черезъ годъ послѣ Митрича. На одномъ кладбищѣ и лежатъ. Значитъ и матушка . . . и матушка . . .“

Дыханіе захватило у несчастнаго Кривенко.

— „Все мертвые“, шепталъ онъ, „все мертвые“.

А глаза матери смотрятъ такъ грустно.

Точно во снѣ, шатаясь, поднялся Кривенко на ноги.

— „Благовѣстъ . . . благовѣстъ . . .“ доносится къ нему умоляющій шопотъ.

И повинуясь какой то невѣдомой силѣ, бросился Кривенко по узкой лѣстницѣ на колокольню.

Безпричинно смѣясь, дрожа и размахивая руками, лѣзъ онъ куда то вверхъ, охваченный одной только мыслью — ударить въ колоколъ.

— „Все мертвые . . . все мертвые“, бормоталъ онъ. „Не хочу. Пусть придутъ живые! Довольно мертвыхъ! Сейчасъ, матушка, я сейчасъ . . .“

На верху колокольни, сорвавъ съ головы картузъ и положивъ его на полъ, онъ набожно перекрестился и сталъ раскачивать тяжелый языкъ огромнаго колокола . . . .

. . . . . .

Въ тиши нѣмой ночи, надъ уснувшимъ городомъ, проснулся гудящій звукъ колокола, торжественный благовѣстъ Пасхальной заутрени.

Въ темныхъ квартирахъ, въ сырыхъ углахъ, просыпались измученные, голодные люди и тревожно прислушивались къ могучимъ звукамъ, гудѣвшимъ надъ Москвой.

Матери, плача отъ волненія, будили своихъ дѣтей и, крестя ихъ, говорили: „Дѣти . . . станьте на колѣни . . .“

И напрасно комиссаръ города бѣсновался у телефона. Не слушали его телефонныя барышни. Распахнувъ окно, онѣ, столпившись, жадно слушали врывавшіеся къ нимъ вмѣстѣ съ холоднымъ ночнымъ вѣтеркомъ торжественные звуки Пасхальнаго благовѣста.

Пилигримъ.*)

---

*) Настоящій разсказъ является однимъ изъ послѣднихъ произведеній безвременно скончавшагося въ г. Варнѣ весной текущаго В. Ф. Кацинскаго (писавшаго подъ псевдонимъ „Пилигримъ“).

* * *

Яркій день; море словно застыло,
Скрылся горный туманъ, порѣдѣвъ,
Въ чистомъ воздухѣ льется уныло
Похоронный обрядный напѣвъ . . .
Провожаемъ скорбящую душу
Далеко за предѣлы земли.
Пѣнье хора то громче, то глуще,
То совсѣмъ замираетъ вдали.
Гробъ несутъ посторонніа лица.
Ни родныхъ, ни знакомыхъ вокругъ.
Одинокъ умеръ онъ заграницей,
Не осиливъ тяжелый недугъ.
Говорятъ будто въ Сербіи гдѣ то
У него есть родная сестра —
Да что толку, ужъ пѣсенка спѣта,
И толпа разошлась до утра;
А поутру иныя заботы
Насъ заставятъ забыть его прахъ . . .
И такихъ одинокихъ безъ счета
Похоронятъ въ Хорватскихъ горахъ.
О его безъимянной могилѣ
Будутъ знать кипарисы одни . . .
Боже, дай мнѣ терпѣнья и силы
Не роптать въ эти скорбные дни.

Церквеница, 3 апрѣля 1921 г. **В. Раевскій.**

Смыслъ исторіи и смыслъ жизни.

Свѣтлой памяти лучшаго друга А. А. М.

I.

Внимательный изслѣдователь религіозныхъ и этическихъ исканій человѣчества не можетъ не останавливаться передъ однимъ неизмѣнно повторяющимся, но, по видимости, совершенно парадоксальнымъ фактомъ. Чѣмъ ярче бываетъ выраженъ индивидуалистическій уклонъ какого-нибудь ученія, чѣмъ глубже центръ тяжести переносится въ нѣдра личной жизни, чѣмъ меньше перегородокъ воздвигается между человѣческой личностью и божествомъ, — тѣмъ рѣзче выступаетъ на первый планъ идея Провидѣнія, идея Промысла Божія, тѣмъ настойчивѣе ставится и закругленнѣе рѣшается проблема предопредѣленія, тѣмъ туже затягиваются надъ обреченной личностью роковыя петли провиденціалистической сѣти. Начать хотя бы съ ап. Павла. Мистическое вдохновеніе личной вѣры, творческій подвигъ индивидуальной свободы, съ одной стороны, — и безызъятная опредѣленность всякаго событія въ предвѣчномъ домостроительномъ планѣ, всецѣлая предназначеность каждой личной участи — изъ этихъ полярно-сопряженныхъ идей сплетается вся ткань его теологической системы. И ихъ же мы встрѣчаемъ у блаж. Августина. Та-же рука, которая съ мистической дрожью набрасываетъ тревожные афоризмы „Исповѣди“, выражающіе съ незнающей сравненій мощью сознаніе религіи, какъ интимной трагедіи человѣческой души, — та-же рука съ архитекторской увѣренностью вычерчиваетъ контуры „Града Божія“, этого перваго опыта христіанской философіи исторіи, обоснованной исключительно на идеѣ божественнаго предопредѣленія. Не только каждая ступень историческаго процесса оказывается логически-необходимою и неотразимою въ планѣ реализаціи домірныхъ заданій высшаго разума, но и участь всякой человѣческой личности признается предвѣчно предопредѣленной, такъ что для творческаго созиданія собственной судьбы мѣста вовсе не остается. — И всякій разъ, когда среди прозы и пошлости обмірщенной жизни вспыхивала жажда религіознаго паѳоса, жажда религіозной углубленности, человѣческая мысль неизмѣнно возвращалась именно къ этимъ твореніямъ и къ этимъ людямъ, ища вдохновенія и примѣра. Не случайно какъ разъ авгу-

стинскому монаху Мартину Лютеру выпало на долю внести организацію въ то бурное движеніе религіознаго чувства, которому суждено было разорвать церковное единство Западнаго міра. И не случайно въ основѣ новаго міросозерцанія опять оказалась комбинація все тѣхъ же взаимно-исключающихъ идей — оправданія вѣрою и предестинаціонизма; личность одновременно и центръ, и мертвое орудіе благодати. Вѣдь, когда на другой оконечности культурнаго міра, въ глубинахъ ортодоксальнаго католицизма, столѣтіемъ позже просыпается тоска по интимной религіозности и происходитъ необычное для Запада возрожденіе созерцательнаго монашества, Августинъ со своими антиноміями снова стоитъ въ центрѣ. Снова заразъ и религія осознается, какъ индивидуально-человѣческая драма, и неотвратимость предопредѣленія доводится до крайнихъ предѣловъ послѣдовательности*).

Напрасно было бы искать психологической разгадки этого постояннаго симбіоза несовмѣстимыхъ идей въ понятіи грѣха, въ сознаніи собственнаго безсилія, неисцѣлимой порчи. Переживаніе личной грѣховности можетъ исполнить душу благоговѣйнымъ трепетомъ, жутью недостоинства, можетъ исторгнуть изъ глазъ жгучія слезы раскаянія и изъ устъ отчаянныя мольбы, — но оно не можетъ внушать признанія собственной безполезности и ненужности, по крайней мѣрѣ, если личность, какъ таковая, какъ принципъ индивидуаціи, заранѣе не объявлена за зло, подлежащее упраздненію раствореніемъ въ безформенной Нирванѣ. Поскольку мы остаемся въ предѣлахъ индивидуализма, сознаніе вины можетъ быть только стимуломъ къ творчеству, но никакъ не мотивомъ фаталистической покорности. Корни нащупаннаго нами парадокса нужно искать гдѣ то въ другомъ мѣстѣ.

Чтобы отчетливо ихъ распознать, нужно сдѣлать еще нѣсколько хронологическихъ шаговъ впередъ и пристально вглядѣться въ ту новую идеологію, которая на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій смѣнила Философію Просвѣщенія. Нѣтъ нужды примѣрами подкрѣплять характеристику этого новаго міросозерцанія, какъ радикальнаго индивидуализма. Романтическій культъ личности, неповторимой, автономной и самодовлѣющей, которая сама себѣ предписываетъ законы, фихтеанскій паѳосъ свободы моральнаго творчества, геніальный эстетизмъ Шеллинга, шлейермахерова религія чувства и настроенія... — все это слишкомъ хорошо извѣстно. И весь этотъ рядъ завершается гегельянствомъ, гдѣ личная свобода, свобода творческаго самоопредѣленія становится основною темою космическаго развитія. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этихъ индивидуалистическихъ системахъ, строго говоря, личность... исчезаетъ, для творческой личности не оказывается мѣста. Мы не поймемъ подлинной причины этого неожиданнаго происшествія,

---

*) См. многотомный трудъ *Sainte-Beuve, a,* Port Royal, Vs. I—VII.

если будемъ искать ее въ „пантеизмѣ“ тогдашняго міроощущенія: вѣдь дѣло было не въ раствореніи личности въ природѣ, а въ томъ, чтобы всю природу найти внутри себя, какъ въ автономномъ „микрокосмѣ“. Разгадку слѣдуетъ искать не въ міро-ощущеніи, а въ міро-пониманіи. Логическій провиденціализмъ, — этимъ непривычнымъ терминомъ лучше всего выражается характеристическая черта этого міропониманія; и именно эта идея сплошной логичности міра, разумности исторіи, такъ сказать, раціональной прозрачности космическаго процесса и есть глубинный источникъ внутреннихъ диссонансовъ идеалистическаго индивидуализма.

Міръ, и въ статикѣ, и въ динамикѣ своей, разсматривается, какъ реализація нѣкотораго разумнаго плана, при чемъ, — что очень существенно, — планъ этотъ признается непревосходящимъ силы человѣческаго постиженія. Каждый моментъ историческаго развитія представляется воплощеніемъ какой-нибудь „идеи“, допускающей отвлеченную формулировку. Въ смѣнѣ такихъ „эпохъ“ тоже раскрывается опредѣленный логическій порядокъ, и весь ихъ рядъ оріентируется по направленію къ нѣкоторому завершающему строю, въ которомъ выявляется полнота разумнаго содержанія. Та необходимость, съ которою изъ аксіомъ геометріи вытекаетъ въ мельчайшихъ своихъ подробностяхъ вся система утвержденій о пространствѣ, усматривается и въ космической эволюціи, въ поступательномъ ходѣ человѣческой исторіи. Играющіе здѣсь роль аксіомъ элементарные мотивы создающаго вселенную Разума принимаются за нѣчто, доступное человѣческому познанію, такъ что, исходя изъ нихъ, мы можемъ какъ бы предугадать всякій извивъ эволюціоннаго потока. Ходъ исторіи оказывается однозначно опредѣленнымъ. И мысль не остановливается на „началѣ“ міра, она проникаетъ и въ тайны того, „что было, когда ничего не было“, и показываетъ роковую необходимость строенія самого Абсолютнаго Первовиновника всего, показываетъ, что міръ не могъ не возникнуть и притомъ не могъ не возникнуть именно такимъ, какимъ мы его знаемъ. Такъ проводимое до конца „осмысливаніе“ исторіи приводитъ къ безызъятному детерминизму: въ тискахъ желѣзной необходимости логики умираетъ всякій проблескъ свободы или творчества. Ничего „новаго“ по существу не возникаетъ, только дѣлаются неизбѣжныя заключенія изъ предвѣчныхъ посылокъ, — именно дѣлаются, дѣлаются сами собою.

Но этого мало: „раціонализація“ исторіи заключаетъ въ себѣ еще одну мысль. Цѣлью исторіи является осуществленіе опредѣленнаго строя, водвореніе въ жизни опредѣленной формы быта. „Строй“, „бытъ“ оказываются единственною цѣнностью, и это такъ и должно случиться, разъ логическое совершенство и нравственное достоинство съ самаго начала уравнены другъ съ другомъ. Нравственному оправданію подлежатъ формы природнаго бытія или

формы соціальной организаціи, и онѣ однѣ; нравственный смыслъ имѣютъ только абстракціи. Индивидуальное можетъ имѣть этическое содержаніе только косвенно, только въ той мѣрѣ, въ какой оно осуществляетъ „идею“ и только потому что оно служитъ ей оболочкой. Другими словами, безусловное значеніе принадлежитъ не людямъ, а только идеямъ. „Благомъ“ можетъ быть теократія, демократическое государство или der geschlossene Handelsstaat, но не творческія личности.

И, наконецъ, если градація цѣнностей въ точности воспроизводитъ діалектическую послѣдовательность идей, то въ сущности градація эта не существуетъ, какъ таковая; историческое развитіе идетъ отъ несовершеннаго къ наростающему совершенству, отъ худшаго къ лучшему, чтобы закончиться всесовершенствомъ, найвысшимъ напряженіемъ Добра; но эта высшая ступень, роковымъ образомъ неизбѣжная, въ то-же время абсолютно невозможна безъ нисшихъ, она обладаетъ своимъ достоинствомъ только потому, что за нею лежитъ недостойное. Добро невозможно безъ Зла, и не только потому, что эти понятія соотносительны, но и потому, что онтологически, ζύσει, сила Блага вырастаетъ лишь изъ не-блага. Зло не только недоразвитое добро, неполнота совершенства, но и необходимая составная часть Добра. Зло должно было возникнуть внутри самого Божества для того, чтобы Богъ могъ стать настоящимъ Богомъ, вполнѣ Безусловнымъ. Смыслъ міра могъ осуществиться только чрезъ безсмыслицу. И ясно, что такимъ образомъ стирается та безусловная диспаратность, которою для „наивнаго“ нравственнаго сознанія характеризуются предикаты „хорошаго“ и „дурнаго“, „грѣхъ“ превращается въ неизбѣжную „ошибку“ недоразвитаго возраста, и моральная трагедія становится хитроумно сочиненной мелодрамой.

Мы видимъ теперь, что представляетъ собою подмѣченная нами антиномія. Она рождается отъ столкновенія двухъ разнородныхъ сферъ: нравственной интуиціи и дискурсивнаго логоса, изъ попытки вмѣстить все содержаніе непосредственныхъ переживаній моральнаго чувства въ стройныя рамки раціональнаго познанія. Настоящаго примиренія этихъ несовмѣстимыхъ началъ получиться не можетъ. Идеалъ „гносиса“ есть мнимый идеалъ. И видимость рѣшенія проистекаетъ лишь отъ молчаливаго затушевыванія одного изъ терминовъ коллизіи; не трудно догадаться — какого. Во всѣхъ исторически извѣстныхъ религіозныхъ и этическихъ „системахъ“ личность принесена въ жертву логическому фатому. Нравственный смыслъ исторіи поглотилъ нравственный смыслъ личности. — И мы можемъ по контрасту опредѣлить задачу новаго, грядущаго міровоззрѣнія, какъ осознаніе непримиримости этихъ двухъ смысловъ и рѣшеніе возрожденной антиноміи путемъ угашенія другого термина — смысла исторіи. Но это угашеніе не будетъ замалчиваніемъ антиноміи, а доказательствомъ, что исторія смысла не имѣетъ.

2.

Все міросозерцаніе прошлаго вѣка было насыщено духомъ историзма. Начиная отъ ортодоксальнаго провиденціализма христіанской догматики и кончая эволюціоннымъ матеріализмомъ и позитивистической соціологіей, всякая „философія жизни“ опиралась на идею прогресса, въ которой сгущалась сущность историческаго раціонализма. Совершенно несомнѣнно, что эта идея не эмпиристическаго происхожденія, не есть суммированіе данныхъ опыта, а есть своего рода a priori; объ этомъ достаточно ясно говоритъ безконечное число попытокъ теодицеи, т. е. попытокъ доказать нравственную цѣнность, этическую „благость“ міра, вопреки всѣмъ противорѣчащимъ этому свидѣтельствамъ текущей жизни. Но эта „предвзятая идея“ имѣетъ тѣмъ не менѣе столь великую власть надъ человѣческою мыслью, что даже радикальное сомнѣніе въ силѣ разума не подсѣкаетъ ее. Такой смѣлый борецъ противъ раціонализма, какъ Бергсонъ, все же продолжаетъ вѣрить въ нравственный смыслъ эволюціи, — правда, въ прямомъ несогласіи съ своими исходными началами, — и ожидать отъ нея высшихъ этическихъ достиженій вплоть до побѣды надъ смертью.

Исключеніе, и, кажется, единственное, представляетъ русская мысль, конечно, не „школьная“ философія, а свободныя религіозныя и этическія исканія. Впервые на эту тему заговорилъ Герценъ. Романтикъ чистѣйшей воды по прирожденному складу и по обстоятельствамъ духовнаго роста, онъ уже въ „западническій“ періодъ своего творчества подмѣтилъ и сдѣлалъ тогда же мишенью своихъ саркастическихъ упрековъ и ядовитыхъ обличеній ту внутреннюю дисгармонію европейской мысли, о которой говорилось выше. Горькій опытъ молодыхъ лѣтъ очень рано показалъ ему „отсутствіе разума въ управленіи индивидуальной жизни“, вселилъ въ его душу непоколебимое убѣжденіе, что нѣтъ никакой тайны индивидуальнаго предназначенія, „что никакого секрета нѣтъ спрятаннаго о жизни каждаго человѣка“*). Творческое „вырабатываніе себя“, автономное раскрытіе тайниковъ своего личнаго своеобразія — вотъ единственная цѣль жизни, и единственная жизненная цѣнность. „Жить можно только въ вакхическомъ круженіи временнаго“, а на ледяныхъ высотахъ стоическаго раціонализма, подчиняющаго „эгоизмъ“ благу человѣчества, своеволіе творческой индивидуальности абстрактной идеѣ долга и блага [illegible] вливается всякая жизнь. Герценъ усматриваетъ въ геге[illegible]ѣ, въ этой новой „схоластикѣ протестантскаго міра“, „буддійскую косность“; онъ зорко уловилъ, что въ ходячихъ системахъ индивидуализма подлинное понятіе личности утеряно и подмѣнено суррогатами: лицо учитывается здѣсь не какъ таковое, не какъ неповторимая монада

*) См. его „Дневникъ“ за 40ые годы. Сочиненія, т. I (Женевское изд.)

вселенной, а какъ „носитель идеи“, какъ воплощеніе „общихъ“ понятій; жизнь совершенно растворяется въ игрѣ абстракцій, „все временное, все сущее приносится на жертву мысли и духу“. Какая то манія подчиненности, какой то мистическій ужасъ самостоятельности обуялъ все человѣчество, отъ грязнаго вотяка до „папы Вольтера“ и „евангелиста Жанъ Жака“, и люди изо всякой, даже освобождающей, мысли спѣшатъ сотворить кумиръ, чтобы было къ чьимъ ногамъ покорно сложить свою творческую самобытность Они не рѣшаются быть самими собою, и непремѣнно хотятъ жить для чего нибудь, чему нибудь служить, во что нибудь безпрекословно вѣрить. —— И радикальный индивидуалистъ Герценъ не можетъ „принять“ такого міра, міра чистой мысли. Не сразу робкія признанія на скрытыхъ ото всѣхъ страницахъ дневника перерождаются во всенародную проповѣдь, не сразу скромный шопотъ стыдливыхъ полупризнаній вырастаетъ до гнѣвныхъ перуновъ обличительнаго грома и проклятій. Но разражаются бури 1848 года, и изъ мутнаго сплава сомнѣній выкристаллизовывается непоколебимое убѣжденіе: Герценъ разбиваетъ всѣ старыя скрижали и скрижаль разума прежде всего. Нѣтъ разума въ исторіи, нѣтъ смысла въ мірѣ. Исторія есть жизнь, а жизнь есть творчество, стихійная борьба, —— и нѣтъ въ ней цѣлей и задачъ. „Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ“, и отъ него зависитъ, чтобы онъ былъ звученъ. „Ни природа, ни исторія никуда не идутъ и потому готовы идти всюду, куда имъ укажутъ“. Такъ человѣкъ становится дѣйствительною цѣнностью, а не „куклой, назначенной выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею“. Пестрая ткань исторіи перестаетъ быть „заданнымъ урокомъ“ и превращается въ неопредѣленную задачу. „Хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа, да мы одни одинехоньки“. „Только отнимая у исторіи всякой предназначенный путь, человѣкъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія — развитіе какого-то доисторическаго заговора и она сводится на одно выполненіе, на одну его mise en scène, возьмемте по крайней мѣрѣ и мы деревянные мечи и щиты изъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады? Съ предопредѣленнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія“.[1]) Нѣтъ и не можетъ быть ничего новаго, нѣтъ подлиннаго творчества, а однѣ лишь иллюстраціи на возвышенныя темы.

---

[1]) Критика провиденціалистической философіи исторіи содержится главнымъ образомъ въ „Vom anderen Ufer,“ (т. 5) въ „Концы и Начала“ (т. 10) и статьѣ объ Оуэнѣ (т. 9 Женевскаго изд.).

Такъ во имя смысла личной жизни отвергается смыслъ жизни человѣчества въ цѣломъ, смыслъ исторіи. Либо то, либо другое, — ибо они не совмѣстимы. — Не только современники не поняли, — гдѣ ужъ послушаться! — Герцена, но и много лѣтъ спустя эти его мысли продолжали казаться безумными, выраженіемъ „философскаго нигилизма". „Великій фетишъ" продолжалъ заслонять собою живыхъ людей. И не по той же ли причинѣ столь упорнымъ молчаніемъ обходятся исторіософическія „отступленія" Толстого въ „Войнѣ и Мирѣ", о которыхъ неустанно твердятъ, что это безвкусная прибавка резонера, портящая цѣлостность художественной правды?!

Толстой былъ слишкомъ раціоналистъ, чтобы возвышаться до лиризма. До конца дней своихъ онъ занимался тѣмъ, что съ такимъ добродушнымъ юморомъ описалъ въ „Юности" — составлять „Правила жизни" и съ линеечкой въ рукахъ разграфлялъ расписаніе своего пути къ самосовершенствованію. Но правила онъ самъ хотѣлъ для себя создать и совершенствоваться желалъ свободными актами творчества. И потому его раціонализмъ былъ своеобразнымъ раціонализмомъ: онъ и вѣрилъ, и не вѣрилъ въ разумъ въ одно и то же время, старался придумать и осуществить нормальный укладъ человѣческихъ отношеній и въ то же время утверждалъ, что жизнь творится стихійно. И потому именно, что онъ былъ раціоналистомъ, эти противорѣчія не вырастали для него въ неразумную драму, а оставались задачею одного лишь „пониманія". Недаромъ онъ всю жизнь мечталъ, что настанетъ, наконецъ, историческій день, когда „люди поймутъ, что они жили дурно", и сразу станутъ жить хорошо.

Тѣмъ не менѣе мы включаемъ его въ число „критиковъ" теоріи прогресса, и вотъ почему. Не трудно разобрать, что за „безкультурностью" толстовскаго міровоззрѣнія послѣднихъ лѣтъ стоитъ его „внѣисторичность". „Царствіе Божіе — внутри насъ", личное самоусовершенствованіе, для котораго ничего не нужно, кромѣ здраваго смысла, свободы отъ предразсудковъ и неиспорченной воли, исчерпываетъ цѣль человѣческаго существованія: все лишнее — отъ Лукаваго. Только то, что человѣкъ самъ съ собою сдѣлаетъ, цѣнно, для этого не требуется никакой особенной атмосферы. И, стало быть, вся сутолока исторической жизни ни къ чему. Пониманіе человѣческой души, какъ автономнаго микрокосма, съ неизбѣжною послѣдовательностью ведетъ къ отрицанію культуры, какъ коллективнаго творчества, и исторіи, какъ „дурной безконечности".

Толстой не сразу пришелъ къ „толстовству", и сущность его духовнаго развитія становится для насъ ясной не изъ тѣхъ страницъ, на которыхъ онъ разсказалъ самъ о своемъ „обращеніи", а именно изъ этихъ преткновенныхъ разсужденій въ „Войнѣ и Мирѣ". — „Если допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, — то уничтожится возможность жизни", — вотъ корень фи-

лософіи Толстого, какъ бы это ни звучало странно въ виду его „раціонализма“ Ибо жизнь есть свобода, своего рода liberum arbitrium, сознаніе, что человѣкъ „можетъ поступить, какъ онъ захочетъ“, — и „представить себѣ человѣка не имѣющаго свободы нельзя иначе, какъ лишеннымъ жизни“. „Свобода, ничѣмъ не ограниченная, есть сущность жизни въ сознаніи человѣка“, „мгновенное неопредѣлимое ощущеніе жизни“, — и то, что „понятіе о свободѣ для разума представляется безсмысленнымъ противорѣчіемъ — доказываетъ только то, что сознаніе не подлежитъ разуму“, который „выражаетъ законы необходимости“ — и только. Жизнь, такимъ образомъ, не только не покрывается разумомъ, но и прямо противоположна ему: отдѣльная, индивидуальная жизнь протекаетъ помимо „разума“, и „разумъ“ безсиленъ проникнуть въ нее. И разъ такъ, то нельзя складывать личностей и говорить о цѣляхъ ихъ совокупнаго существованія, ибо жизнь индивидуальна, и каждый „сознаетъ“ лишь собственную цѣль, созидаемую его свободно-волевымъ устремленіемъ, а „цѣль человѣчества“ есть произвольная догадка, въ которую каждый по своему вкусу вставляетъ любое содержаніе, по возможности болѣе „неясное, неосязаемое“, чтобы оно было пригодно для многихъ заразъ. „Доказать“, что цѣль человѣчества — въ томъ или въ другомъ, нельзя, ибо стремится лишь отдѣльный человѣкъ, и онъ никогда ни къ чему иному, кромѣ жизни, не стремится. Отсюда ясно, что „цѣль“ въ исторіи можетъ имѣть значеніе лишь совершенно непохожее на то, что мы мыслимъ подъ этимъ словомъ, говоря каждый про себя самого. Въ сущности, это — мнимая „цѣль“, — это только пріемъ объясненія, построяемаго ретроспективно. Когда длинные ряды историческихъ явленій протекли, и за опредѣленными событіями наступили другія, то, стараясь связать ихъ въ своемъ пониманіи по принципу причинности, мы склоняемся думать, что достигнутое и было „задачею“ стремленій. А между тѣмъ оно лишь выглядитъ таковымъ, и выглядитъ только потому, что случилось, а, стало быть, — съ точки зрѣнія „разума“, — и „предназначено“ было случиться. Разуму нужно „объяснить“ связь явленій, „объяснить“ нѣкоторый конкретный фактъ, и онъ все вокругъ него центрируетъ, забывая, что все это не больше, чѣмъ методологическій пріемъ, способъ вскрыть, — т. е. на самомъ дѣлѣ создать, — связь событій. „Разумъ“ создаетъ „законы“, незыблемые и постоянные, но они означаютъ лишь то, какъ мы „понимаемъ“ прошлое; и, мало того, они стали бы вполнѣ „законами“, если бы разуму было доступно интегрированіе безконечныхъ рядовъ условій и обстоятельствъ. Такъ какъ этого нѣтъ, то „пониманіе“ исторіи условно — въ зависимости отъ объема нашего знанія фактовъ. Въ результатѣ вычерчивается „линія движенія человѣчества“, хаосъ фактовъ упорядочивается; но линія эта поступательнымъ концомъ своимъ уходитъ въ неизвѣстную безконечность будущаго. Если тамъ и есть „цѣль“, то она абсолютно для насъ непостижима. Да и безполезно

для насъ было бы знать ее: „цѣль“ человѣчества не можетъ стать „цѣлью“ отдѣльной особи.

Такъ „разумъ“ и „сознаніе“ противостоятъ другъ другу, взаимно отрицая себя[1]). Первый вноситъ „смыслъ“ въ исторію, второе — въ личную жизнь. Концепція Толстого очень напоминаетъ Канта; и та-же у него „будничность“ языка и пошловатая ровность мысли. Одинаково они знаютъ, что „чистый“ и „практическій“ разумъ диспаратны, и одинаково мечтаютъ преодолѣть это голословнымъ утвержденіемъ „какой-то“ связи между ними, намъ „непостижимой“, „интеллигибельной“. „Необходимость“ — для пониманія, „свобода“ — для воли, — но мы и понимаемъ, и хотимъ; ergo между „свободою“ и „необходимостью“ нѣтъ разлада. — Но Толстой превзошелъ Канта, ибо въ концѣ концовъ понялъ, что такое примиреніе — примиреніе на словахъ, и послѣ долгихъ мучительныхъ колебаній между матерьялистическимъ фатализмомъ и „геніальнымъ“ индивидуализмомъ нашелъ въ себѣ силу отвергнуть „разумъ“ и остаться при одномъ „сознаніи“. Права творчества возстановились, и міръ сталъ достояніемъ Единственнаго, и притомъ достояніемъ, ему ненужнымъ.

Какъ ни глубоки, ни мучительны, ни, наконецъ, опасны были моральныя блужданія Толстого, они поражаютъ насъ своею плоскостью — словно это только блужданія мысли. Этика Толстого совершенно чужда всякаго „паѳоса“. Мы не ощущаемъ трепета въ его душѣ, когда онъ стоитъ предъ кошмаромъ детерминизма. Ему достаточно убѣдить себя, что это кошмаръ, и всѣ раны залѣчены. Теорія прогресса для него, какъ и для Герцена, лишь скучная безсмыслица; ея подлиннаго трагизма онъ не замѣчаетъ. И оттого его „доказательства“ дѣйствуютъ на насъ неизмѣримо слабѣе, чѣмъ причудливые образы Достоевскаго, воплощающіе ту-же идею.

„Беру кусокъ жизни, бѣдной и скучной, и творю изъ него сладостную легенду, ибо я поэтъ“, — трудно найти что нибудь, что лучше этихъ избитыхъ словъ Соллогуба опредѣляло бы общій обликъ творчества Достоевскаго. Вѣдь онъ всегда показываетъ намъ одни задворки и кулисы жизни, ведетъ насъ стезею пошлости, позора, преступленій, среди слезъ, наглаго хохота, насилія, муки. Но какъ бы ни были его люди „жизненны“ и реальны, получается все же легенда, а не „картина быта“, — и съ трудомъ можно себя заставить повѣрить, что они „существуютъ“. Ибо онъ поэтъ, и видитъ не трезвыми, а „опьяненными“ глазами. Но легенда неизмѣнно выходитъ „сладостная“, мы не видимъ ни „бѣсовскихъ харь“, ни кошмарныхъ уродцевъ въ стилѣ Гойа или Бердсли; и „подземные человѣки“ изступленно воспѣваютъ торжественную Осанну[2]).

---

[1]) На это противопоставленіе „разума“ и „сознанія“ нужно обращать обостренное вниманіе при анализѣ міровоззрѣнія Толстого.

[2]) Въ дальнѣйшемъ цитаты приводятся исключительно изъ „Братьевъ Карамазовыхъ.“

Съ той поры, какъ фурьеристскія увлеченія чуть-чуть не привели Достоевскаго на эшафотъ, и до дня знаменитой пушкинской рѣчи, онъ не переставалъ страстно и мучительно любить человѣчество и напряженно алкать всеобщаго блаженства. Но эта „любовь къ человѣчеству“ ариѳметически складывалась изъ безконечнаго числа индивидуальныхъ любовныхъ порывовъ къ отдѣльнымъ людямъ, и „любилъ“ Достоевскій въ сущности только людей, а не „людское стадо“, любилъ каждаго въ отдѣльности, но не всѣхъ вмѣстѣ. И оттого въ малюсенькой невинной дѣтской слезинкѣ для него тонулъ безъ исхода весь богатѣйшій музей человѣческой мудрости, мощи и славы. Но этотъ міръ сплошной лжи и всяческаго разврата духа и плоти Достоевскій „принимаетъ“, и учитъ „любить всякую вещь“, „любить человѣка и во грѣхѣ его“, — но не во имя будущей „гармоніи“, гдѣ по-„эвклидовски“ все уравновѣсится, не во имя эсхатологическихъ возмездій и воздаяній . . . Въ томъ и „жестокость“ Достоевскаго, что эти панацеи „оправданія міра“ онъ отвергаетъ и, мало того, именно въ нихъ и видитъ главную препону теодицеи. Нѣтъ, полюбить міръ, полюбить жизнь нужно „прежде логики“, „непремѣнно чтобы прежде логики“, и отсюда идти къ Богу; переверни порядокъ, увѣруй въ Бога и премудрость Его, и цѣль Его прежде, чѣмъ полюбишь жизнь, и все рухнетъ, міръ станетъ непріемлемымъ, и „Богъ начнетъ мучить человѣка“. Въ томъ и безвыходная трагичность „эвклидовскаго“ разума человѣческаго, что не отъ любви, а отъ „премудрости“ онъ отправляется, и роковымъ образомъ премудрость вырождается въ бредъ безумія. Понять „смыслъ“ зла, „разъяснить“ его — задача невыполнимая, и, дѣйствительно, ничего больше не остается, какъ „почтительнѣйше возвратить“ билетъ счастливчика и забунтовать. Счастье должно быть доступно всѣмъ и каждому, „счастливымъ“, — и достойнымъ своего счастья, — долженъ становиться каждый. Иначе — или міръ — безсмысленный кошмаръ, — или не въ томъ „счастье“, въ чемъ мы его ищемъ, „оправданіе“ міра не въ „объясненіи“ его.

„Оправдать“ міръ — это вовсе не значитъ его „понять“, вотъ геніальное прозрѣніе Достоевскаго, объясняющее его Осанну среди „злого“ міра, объясняющее „сладостность“ его „жестокихъ“ словъ. „Пониманіе“ — отъ „гордости сатанинской“, строить міръ на разумѣ, на логическомъ смыслѣ это значитъ идти путемъ Великаго Инквизитора во слѣдъ „страшному и умному духу“, вопрошавшему въ пустынѣ. Его вопросы были величайшими достиженіями „вѣковѣчной и абсолютной“ мысли, и внушавшіеся ими отвѣты были высшими предѣлами разума. И всѣ они суммировались въ одномъ — въ отрицаніи свободы, какъ тяжелаго, мучительнаго, хотя бы и обольстительнаго бремени. Чудо, тайна, авторитетъ, — только на этой основѣ можно построить покой и отраду человѣчества; оно, какъ „единоличное существо“, ждетъ, чтобы его вели,

и не пріемлетъ, какъ цѣлое, подвига свободы. „Разумный“ всечеловѣческій міръ только на принужденіи и насиліи и можетъ быть построенъ, лишь въ плоскости непреложной необходимости.

И Достоевскій отвергаетъ такую гармонію, купленную цѣною рабства, хотя она прозрачна и обаятельна для разума, и принимаетъ непріемлемый для разума теперешній „міръ“. Во имя чего? во имя „какого-то обѣта свободы“! во имя безусловной и абсолютно самодовлѣющей личности человѣка, которая и въ страданіяхъ, и въ надрывахъ, и въ паденіяхъ неизмѣнно сіяетъ надземнымъ свѣтомъ. Ждать, — какъ разсудокъ того требуетъ, — блага въ концѣ историческаго процесса, это значитъ впадать въ соблазнъ, искушаться „зракомъ рабскимъ“ вѣчно-цѣннаго, забывать о томъ, что не въ силѣ, а въ правдѣ Богъ. Стараясь найти „смыслъ“ исторіи, мы или ниспадемъ въ апологію зла, какъ неотразимо-необходимаго, или придемъ къ отчаянію въ безсмысленности жизни. „Смыслъ исторіи“, явнымъ образомъ, мѣшаетъ ощутить смыслъ жизни. И какъ только совершится жертвоприношеніе разума, какъ только преодолѣется соблазнъ „пониманія“, такъ тотчасъ-же „смыслъ“ вернется міру, диссонансы сгладятся въ человѣческой душѣ, и зазвучатъ величавые аккорды религіознаго гимна. Смиренно и „безсмысленно“ возлюби міръ въ каждой его песчинкѣ, и „тогда станешь къ жизни равнодушенъ“, видимое зло потеряетъ свое соблазняющее жало. Тогда раскроется великая тайна Уничиженія, тайна „блаженства страждущей любви“, и страданія перестанутъ мѣшать беззаботному, дѣтскому веселію предъ лицомъ Божьяго міра. Какъ только будетъ достигнуто сознаніе того, что настоящее совершенство только въ совершенствѣ отдѣльной души, что неувядаемое благо только во внутренней святости, — и исканіе историческихъ плановъ станетъ ненужно. Или разумъ и пониманіе, или любовь и совершенство, — раздѣленіе полное. Либо смыслъ исторіи человѣчества, либо смыслъ жизни человѣка. Tertium non datur!

Непризнанная проповѣдь трехъ величайшихъ русскихъ „тайнозрителей“ раздавалась все-же не даромъ, и ихъ внушеніями насквозь пронизано все русское сознаніе недавняго прошлаго. Только разрозненные лучи все еще не собраны въ единый снопъ систематическаго синтеза. Не стоитъ перечислять имена, съ которыми связано продолженіе дѣла этихъ вождей: безъ труда они вспомнятся каждому. Одно лишь имя должно быть извлечено изъ мрака незаслуженнаго забвенія, имя почти что никому не знакомое —имя Тарѣева[1]). Онъ не дождался ничего, кромѣ града подозрѣній

[1]) Его раннія (до 1908 г) статьи собраны въ пятитомной системѣ „Основъ христіанства“, а важнѣйшее изъ позднихъ въ сборникѣ „ Философія жизни“ (1916). Но вся религіозно-философская концепція въ полнотѣ ея выводовъ была съ полной опредѣленностью формулирована уже въ его первомъ, написанномъ еще на студенческой скамьѣ трудѣ „Искушенія Богочеловѣка, какъ единый искупительный подвигъ всей земной жизни Христа въ связи съ исторіей дохристіанскихъ религій и христіанской Церкви“. М. 1892.

въ еретичествѣ со стороны однихъ, легкомысленнаго отвода по „протестантству“ отъ другихъ, равнодушія отъ третьихъ. А между тѣмъ онъ вѣско сказалъ глубокое слово, слово, пожалуй, простое, но потому-то и загадочное. Цѣль и смыслъ жизни — не въ счастьи, не въ исполненіи долга, не въ совершенствѣ, а въ томъ, чтобы именно въ униженіи и „безвидности“, среди позора и страданія являть собою „славу Божію“. Ибо есть два міра, нигдѣ не пересѣкающіеся, міръ „истины“ и міръ „символовъ“, міръ личной абсолютности духа, и міръ стихій природы. Каждый идетъ своимъ путемъ, по своимъ законамъ, къ своей цѣли. Въ одномъ достигается „вѣчная жизнь“, въ другомъ накапливаются „цѣнности культуры“. Въ одномъ осуществляется любовь, въ другомъ справедливость и разумъ. Ни помочь, ни помѣшать блаженной жизни свободнаго духа ни культура, ни разумъ не могутъ. Возложи упованіе на нихъ, и умрешь къ смерти; забудь о нихъ, и подлинно воскреснешь. Вѣруй въ исторію и прогрессъ, и собьешься на обывательскіе идеалы. Пренебреги ими, и тогда развернется свитокъ вѣчной жизни. Исторія и личность, вотъ два пути: путь Великаго Инквизитора и путь „блѣднаго Узника“, путь „религіознаго самооправданія“ и путь уничиженія и славы (κένωσις).[1]

3.

Ив. Кирѣевскій и Герценъ сходились въ предчувствіи того, что только двумъ новымъ, дѣвственнымъ „народамъ“ — Россіи и Америкѣ—по силамъ сказать новое слово, доступно перешагнуть за зачарованную черту вѣковой культуры. И это предвѣстіе сбылось въ большей мѣрѣ, чѣмъ, можетъ быть, ждали они: не только были сказаны новыя слова, но эти слова оказались однимъ и тѣмъ же словомъ.

Когда мы говоримъ объ „Америкѣ“, мы невольно думаемъ о милліардерахъ и трестахъ, о небоскребахъ и лифтахъ, невольно представляемъ себѣ міръ раффинированнаго мѣщанства. И совершенно не улавливаемъ таящагося подъ пестрою тканью „культуры“ духа, прямого потомка того религіознаго энтузіазма, который привелъ сюда, въ дѣвственныя чащи, первыхъ „американцевъ“. Недавно умершій, Европѣ почти неизвѣстный геніальный американскій философъ Дж. Ройсъ какъ-то назвалъ три имени, типичныхъ для американской духовной культуры: Джонатанъ Эдуардсъ, Рольфъ Уольдо Эмерсонъ, Уилльямъ Джэмсъ. Три стадіи американской культуры отмѣчены этими тремя именами, связанными лишь однимъ—всѣ они были „философы жизни“ и учили „серьезно“ от-

[1]) Тарѣевъ нигдѣ ни разу, — даже въ статьѣ о Достоевскомъ, — не отмѣчаетъ своей близости къ нему въ истолкованіи искушеній Христа, въ приданіи имъ универсально-историческаго значенія — хотя врядъ-ли возможно сомнѣваться во вліяніи Достоевскаго на его построеніе.

носиться къ ней.[1]) Имя Джемса и недавно, и сейчасъ еще у всѣхъ на устахъ; но „европейцу" не легко различить въ его „системѣ" основную мелодію. Она не въ его психологическомъ „интуитивизмѣ", не въ „прагматизмѣ", не въ „радикальномъ эмпиризмѣ", а въ плюрализмѣ, или, какъ онъ самъ любилъ говорить, „тихизмѣ".[2])

Стюартъ Милль въ своей „Автобіографіи" разсказываетъ объ одной необычайной, странной чертѣ религіознаго міровоззрѣнія своего отца: Джэмсъ Милль не соглашался вѣрить во Всемогущаго Бога, въ Бога, какъ Творца, хотя бы въ деистическаго Бога, — не отвергая Бога Всеблагого. Два основателя „эмпирической" философіи были на самомъ дѣлѣ типичнѣйшими раціоналистами въ стилѣ французскаго XVIII вѣка, и именно поэтому они были болѣзненно чувствительны къ противорѣчіямъ во взглядахъ: они не могли не замѣтить, что для разума не совмѣстимы въ единомъ объектѣ свойства всесовершенства и первопричины міра, въ составъ котораго входитъ зло, — благости и карающаго правосудія. И, не зная другихъ истинъ, кромѣ истинъ разума, они естественно склонялись къ дуализму, къ ученію объ ограниченности Бога, но склонялись изъ побужденій этическаго порядка, стремясь оградить безпримѣсную чистоту нравственнаго идеала. Ст. Милль былъ пылкій энтузіастъ свободы и отчаивался предъ зрѣлищемъ „демократической" нивеллировки жизни: его идеалъ была творческая личность („On Liberty"). И было вполнѣ естественно, что въ своихъ „Опытахъ о религіи"[3]) онъ исповѣдовалъ вѣру въ Бога, какъ могучую, но все-же ограниченную силу, какъ существо благое и благожелательное, но не какъ творца міра, создавшаго его единственно для блаженства. Міръ не стремится къ человѣческому благу, и вообще въ немъ нѣтъ непреложнаго порядка: „человѣкъ долженъ сотрудничать съ благодѣтельными силами природы, но не подражая ей, а постоянно стараясь ее улучшить". Другой образъ дѣйствія былъ бы амораленъ, ибо естественное тече-

---

[1]) Статья Ройса о Джэмсѣ въ сборникѣ William James and other Essays (1911). — Очень хорошую сво ку историческихъ данныхъ объ американской философіи даетъ Б. В. Яковенко, — къ сожалѣнію въ тенденціозно-искривленной перспективѣ. Современная американская философія, „Логосъ", (русское изданіе), 1913, кн. 3—4, сс. 270—343. См. L. van Becelaere, O. P. La philosophie en Amérique depuis les origines jusqu'à nos jours (1607—1900), 1904; O. B. Frothingham Transcendentalism in New England, 1886, книгу J. Woodridge Riley, American philosophy, The early schools, 1907, и его-же статьи въ Revue philosophique, 1919 и 1920 годовъ.

[2]) Эта сторона философіи Джэмса подчеркнута въ замѣчательной книжечкѣ Flournoy, La philosophie de William James. (Saint Blaise. Foyer solidariste 1911).

[3]) Nature, the Utility of Religion and Theism (изданы впервые послѣ смерти Милля). L. 1874.

ніе вещей не вполнѣ заслуживаетъ нравственнаго одобренія. Отвергая божественное всемогущество, Ст. Милль отрицаетъ въ сущности лишь всемогущество Разума, фаталистическую предопредѣленность космоса. И только такимъ образомъ дѣйствія человѣка могутъ перестать быть мнимыми, лишь эпифеноменомъ незыблемаго механизма, только такъ нравственный императивъ стремленія къ лучшему становится чѣмъ-то серьезнымъ.

Посвящая памяти Милля свои лекціи о „Прагматизмѣ", Джэмсъ думалъ какъ разъ объ этой мало-освѣщенной сторонѣ міросозерцанія англійскаго писателя. Основной замыселъ ученія Джэмса — въ преодолѣніи монизма, который неизбѣжно детерминистиченъ, въ преодолѣніи той концепціи міра, которую онъ называлъ „Universe Bloc". Для него, какъ „радикальнаго" индивидуалиста, главнымъ требованіемъ, которое должно предъявляться къ міросозерцанію, было требованіе „значительности" (to be significant) и „производительности" (to be efficient). И вотъ, и монизмъ философскій, и монотеизмъ рѣшительно „непроизводительны" въ сферѣ воли, являются для нея своего рода скептическимъ квіетивомъ. Вопреки ходячему взгляду, для того, чтобы дѣятельность вообще была возможна, нужно, чтобы въ мірѣ царилъ случай (a chance, ἡ τύχη), а не судьба (fatum), чтобы міръ былъ „пластиченъ", безконечно эластиченъ, чтобы онъ, такъ сказать, не „существовалъ", а все время возникалъ подъ творческими усиліями свободныхъ воль. Только въ томъ случаѣ, если, какъ выразился Kierkegaard, „мы живемъ впередъ, и понимаемъ назадъ", если детерминированная планомѣрность есть лишь порожденіе оглядывающагося на уже сдѣланное интеллектуальнаго познанія, а не есть реальный законъ существованія, — только тогда жизнь имѣетъ смыслъ, а идеалъ получаетъ значеніе задачи, а не предсказанія. Нравственная философія достойна существовать только тогда, если она можетъ быть „меліоризмомъ", т. е. учить о творческомъ усовершенствованіи жизни. Если же міръ есть необходимая игра атомовъ, или непрерывная эманація высшаго начала, или осуществленіе предвѣчнаго плана и т. д., то реальнаго п р о г р е с с а нѣтъ, ибо идеально, in nuce, все существуетъ съ самаго начала: нѣтъ движенія, стало быть, нѣтъ и улучшенія. Все сводится къ тому, что бывшее искони implicite, раскрывается затѣмъ explicite: какъ въ силлогизмѣ, выводъ содержитъ не больше, чѣмъ посылки.

Нравственныя оцѣнки получаютъ смыслъ, этическіе порывы — содержательность, если нѣтъ ничего законченнаго, если все находится въ процессѣ непрерывнаго созиданія, если постоянно творится новое, если міръ „возникаетъ" заново при каждомъ напряженіи нашей личной воли. Для нея необходимъ образецъ: имъ является Божественное совершенство. Джэмсъ всею душой ощущаетъ Его реальное существованіе; Богъ есть, и дѣйствуетъ въ мірѣ. Но мы должны представлять себѣ Его такъ, чтобы мы сами могли высту-

пать въ роли Его „сотрудниковъ“, а не нѣмыхъ служителей Его воли. Для этого понятіе, которое мы встрѣчаемъ въ „естественномъ богословіи“, не годится: тотъ Богъ — „только Богъ всеобщихъ законовъ“, и нужды индивидуумовъ ему чужды. Въ такой системѣ не остается мѣста даже для проявленія живого чувства, ничто не будитъ нашихъ симпатій. Но это понятіе, въ сущности являющееся персонификаціей идеи Провидѣнія, есть вымыселъ разсудка, а не живой фактъ „религіознаго опыта“. И разбивая искуственныя схемы интеллектуализма, Джэмсъ приходитъ почти что къ политеизму, или, по крайней мѣрѣ, къ рѣшительному исключенію изъ числа божественныхъ аттрибутовъ признаковъ безконечности и абсолютности. Міръ „плюралистическій и тихистическій“, незаконченный, несовершенный, разрозненный, безсвязный, въ которомъ лишь съ трудомъ и шагъ за шагомъ создается порядокъ вольными усиліями и коопераціей его независимыхъ частей — вотъ единственный міръ, въ которомъ стоитъ жить, ибо только въ немъ личная жизнь человѣка не есть праздная игра.[1]) Имѣй міръ въ цѣломъ предустановленную цѣль, которая бы сама собою осуществлялась, — и либо жизнь потеряла бы смыслъ, либо личность сдѣлалась бы призракомъ.

Такъ четко ставитъ американскій мыслитель исчерпывающую дилемму: либо планомѣрность космическаго процесса, либо нравственное творчество.[2]) Снова, стало быть, либо логика, либо этика. Чистая мораль должна быть ирраціональной: это не значитъ, что разумъ и познаніе нужно отвергнуть; нужно только не обоготворять разума или, vice versa, не раціонализировать религіознаго опыта. Нужно перестать строить разуму алтари: разумъ прозаиченъ, относится къ сферѣ будничнаго, нравственно-безразличнаго; онъ упорядочиваетъ вещи, т. е. осадки закончившихся актовъ.[3]) Святая святыхъ жизни для него должна быть закрыта. И только тогда жизнь перестанетъ быть скорбью, — „Познанье — скорбь“, сказалъ устами Манфреда Байронъ, — и станетъ полна мистической радостью. На мѣстѣ искусительнаго „древа познанія добра и зла“ вновь зазеленѣетъ и зацвѣтетъ первобытное райское „древо жизни“.

---

[1]) См. заключеніе книги о Varieties of the religious experience (1902) и книжку A pluralistic Universe (1909). (Во франц. переводѣ — La philosophie de l'Experience 1912).

[2]) Здѣсь оставляются въ сторонѣ собственно „богословскія“ заключенія Джэмса, въ которыхъ онъ не освобождается отъ осужденнаго имъ же раціонализированія религіознаго опыта. — См. глубокія размышленія на тему объ антиномичности религіознаго опыта въ извѣстной книгѣ священника о. Павла Флоренскаго, Столпъ и утвержденіе Истины. Опытъ Православной Ѳеодицеи въ двѣнадцати письмахъ М. 1914.

[3]) См. его Pragmatism (1907), (есть и русскій переводъ).

4.

Если исторія имѣетъ смыслъ, т. е. цѣнности жизни нарастающимъ образомъ реализуются въ поступательномъ движеніи историческаго процесса, — то индивидуальная человѣческая жизнь смысла лишена. Ибо, прежде всего, при такомъ условіи люди не равноправны въ этическомъ отношеніи; степень ихъ нравственнаго развитія опредѣляется той ступенью приближенія къ идеалу, которая достигнута окружающей ихъ „средой", resp. коллективнымъ человѣчествомъ, т. е. ставится въ зависимость отъ условій, постороннихъ существу нравственной оцѣнки, мало того, при этомъ неизбѣжно релятивируется сама эта оцѣнка, поскольку въ нее вносятся эмпирическіе моменты, и нравственныя требованія приспособляются къ уровню „культуры". Словомъ, и объективно, какъ цѣнность, и субъективно, по отношенію къ критерію оцѣнокъ, личность лишается моральнаго содержанія. Со временъ Канта можно считать окончательно рѣшеннымъ вопросъ, что этика не можетъ не быть „абсолютной", „категорически-императивной": между добрымъ и злымъ не можетъ быть переходныхъ ступеней, этически-пестрыхъ объектовъ не существуетъ. Критеріи нравственной оцѣнки могутъ быть только абсолютными, и потому должны стоять совершенно внѣ времени. Стало быть, съ этической точки зрѣнія состояніе эпохи есть нѣчто безразличное: къ кафру и къ современному европейцу, къ воину изъ полчищъ Аттилы и къ солдату теперешней „Арміи Спасенія" мы должны предъявлять одинаковые моральные запросы. Это оказывается невозможнымъ, если принадлежность къ опредѣленному „культурному строю" входитъ въ составъ нравственнаго идеала, если нравственное достоинство раба азіатскаго деспота и гражданина демократической республики не одинаково. Съ другой стороны, автономія нравственности сильно бы пострадала, если бы одна принадлежность къ какому нибудь „общественному" укладу, какъ таковая, оказывала вліяніе на мѣру этической значимости, т. е. если бы принадлежать къ народу „просвѣщенному" само-по-себѣ было бы „лучше" (въ моральномъ отношеніи), чѣмъ къ народу „некультурному" или варварскому. — Этого столкновенія двухъ порядковъ нормъ мы обычно не замѣчаемъ потому, что не проводимъ съ достаточной настойчивостью разграниченія между „фактами" и „оцѣнками"; — нѣтъ спора, что въ общемъ „болѣе культурная" среда болѣе благопріятна для нравственнаго развитія, и что практически, съ обывательской точки зрѣнія, noblesse oblige, и отъ gentleman'а слѣдуетъ требовать больше, чѣмъ отъ „дикаря", отъ человѣка, выросшаго въ утонченно-культурной средѣ, больше, чѣмъ отъ дѣтей улицы. Но эти „житейскія" различенія лежатъ совершенно внѣ этической сферы и относятся къ прикладной „политикѣ", такъ сказать, къ области полицейскаго и уголовнаго права. Съ точки зрѣнія „общественной безопас-

ности", пожалуй, Уайльдъ виновнѣе „заѣденныхъ средою" героевъ Куприна. Но „смягчающія обстоятельства" существуютъ лишь для короннаго суда и, пожалуй, для суда общественнаго мнѣнія. Судъ же „совѣсти" безусловно не лицепріятенъ, и выноситъ приговоры категорическіе, никому не давая „снисхожденія". Такъ морально убійство остается зломъ всегда, и одинаково осуждается, все равно съѣли ли каннибалы капитана Кука, убила ли дѣвушка негодяя, покусившагося на ея честь, разстрѣляли ли большевики попавшагося въ ихъ руки добровольческаго офицера, выполненъ ли „законный" приговоръ военно-полевого суда, или разбойникъ зарѣзалъ на большой дорогѣ прохожаго съ цѣлью грабежа. Этически цѣль никогда не оправдываетъ средствъ, какъ и не навлекаетъ на нихъ мрачной тѣни. Въ этомъ и заключается непреходящая правда старинной концепціи „естественнаго права".

Такимъ образомъ, не можетъ быть соціальныхъ этическихъ цѣнностей, хотя бы наряду съ индивидуальными, ибо и въ этомъ случаѣ нарушалась бы автономія личной нравственности. А, между тѣмъ, совершенно ясно, что „цѣлью исторіи" могутъ быть только „коллективныя цѣнности", resp. благо „человѣчества", т. е., во всякомъ случаѣ, нѣчто надъ и между-индивидуальное: „безвластное" общество, Платоновская политія, всемірная имперія, свободная теократія и т. п. Слѣдовательно, сохраняя принципы этики индивидуальной, мы должны отказаться отъ нравственной оцѣнки историческаго процесса, должны перестать вѣровать въ „прогрессъ" и мечтать о „лучшихъ временахъ". Это, конечно, не значитъ, что „исторія" вообще не можетъ подлежать никакой „оцѣнкѣ". Внѣ всякаго сомнѣнія, съ правовой точки зрѣнія англійская конституція выше прусской, а съ экономической — денежное хозяйство совершеннѣе натуральнаго. Но эти оцѣнки производятся на принципіально иной почвѣ: опредѣляющимъ началомъ является здѣсь начало полезности — по отношенію къ какой нибудь опредѣленной цѣли или задачѣ. Utile и honestum совершенно несравнимы.

Должно очень тщательно различать понятія эволюціи и прогресса, — и въ этомъ отношеніи мы можемъ припомнить воззрѣнія такого крупнаго „дарвиниста", какъ Гёксли. Эволюція есть чисто теоретическое понятіе, совершенно свободное отъ оцѣночныхъ моментовъ; впрочемъ, и теоретическія понятія предполагаютъ нѣкоторые критеріи сравненія. Когда мы говоримъ объ эволюціи органическаго міра, мы отнюдь не подразумѣваемъ при этомъ, что лягушка „совершеннѣе" медузы, а липа или тополь „лучше" шампиньона или какого-нибудь лишая. Даже съ точки зрѣнія „приспособленности" градуировка весьма затруднительна, просто въ виду факта сосуществованія, — и притомъ на протяженіи вѣковъ, — „нисшихъ" и „высшихъ" формъ. Строго говоря, эволюціонизмъ (біологическій) является не болѣе, не менѣе, какъ опытомъ генетической классификаціи явленій и тѣлъ живой природы: простое раз-

нообразіе превращается въ филогенетическій рядъ. Въ такомъ видѣ эволюціонная идея распространима и на историческія явленія, на факты языка, быта и т. д. При этомъ, разумѣется, предполагаются нѣкоторые опорные пункты — сложность, гармоничность или др., своего рода критеріи „оцѣнки“.

Но главное, что должно принимать во вниманіе, это — то, что и „эволюція“ не есть фактъ, а конструкція, не нѣчто „данное“, а „привносимое“ познающимъ разумомъ. „Опытъ“ даетъ намъ лишь громадную совокупность фактовъ, многообразіе которыхъ мы стараемся преодолѣть тѣмъ, что — гипотетически — придумываемъ различныя схемы, — по какому плану могла бы быть построена природа, чтобы факты были таковы? — и провѣряемъ эти схемы нашимъ опытнымъ матерьяломъ. Опытъ „подсказываетъ“ до извѣстной степени характеръ этихъ схемъ: ибо онѣ должны быть таковы, чтобы всѣ наличные факты въ нихъ удовлетворительно размѣстились и чтобы онѣ не требовали существованія завѣдомо невозможныхъ фактовъ (вродѣ perpetuum mobile). Но создаются онѣ все же свободно, творческой интуиціей. „Истинность“ эволюціонной теоріи означаетъ вовсе не дѣйствительное существованіе эволюціоннаго процесса, а только то, что она представляетъ собою такого рода схему, которая весьма простымъ образомъ позволяетъ привести въ единство факты, видимо ничего общаго между собою не имѣющіе, и факты не только уже накопленные, но и тѣ, что открываются продолжающимися изслѣдованіями. А наличность непримиряемыхъ пока споровъ между „неодарвинистами“, „неоламаркіанцами“, „менделистами“ и т. п. говоритъ, съ другой стороны, о томъ, что для деталей схемы еще не найдена та форма, которая бы хорошо обхватывала соотвѣтствующій фактическій матеріалъ. — Только-что сказанное относится вообще ко всякой научной „теоріи“.

Совершенно таковъ же смыслъ историко-генетическихъ построеній. Обыкновенно недостаточно считаются съ тѣмъ, что въ сущности есть нѣсколько методологическихъ типовъ исторіи. Можно „не мудрствуя лукаво“ описывать въ хронологической послѣдовательности все „то, что было, и какъ оно было“; можно хаотическія массы конкретныхъ фактовъ, лежащихъ въ опредѣленныхъ интерваллахъ, художественно синтезировать въ „типы“, „эпохи“, „средніе разрѣзы“ и проч. Это — двѣ разныхъ историческихъ „установки“ познанія: „исторія первоначальная“ и „исторія рефлектирующая“, какъ выражался Гегель.

Но въ обоихъ случаяхъ внутренней связи между элементами хронологическаго ряда нѣтъ; она вносится только при третьей методологической „установкѣ“, — въ „философской исторіи“. Мы говоримъ, напримѣръ, объ эволюціи общественныхъ формъ; „гипотетически“ принявъ за „первобытный“ строй, допустимъ, матріархальную семью, и за вѣнецъ развитія современное правовое государство, и вооружившись теоретической классификаціей типовъ госу-

дарственности, мы стараемся a priori сконструировать такую схему эволюціи, чтобы изъ каждаго предыдущаго звена „естественно",—т. е. въ силу нѣкоторыхъ опредѣленныхъ законовъ „развитія", — вытекали послѣдующіе. И затѣмъ убѣждаемся, что такая схема безпрепятственно и безъ натяжекъ накладывается на хронологическій рядъ. Въ утвердительномъ случаѣ мы говоримъ, что генезисъ правового государства „объясненъ". Найдутся новые факты, раскроется недостовѣрность старыхъ, — и схема либо подкрѣпится, либо будетъ подорвана. Но это не будетъ значить, что она „искажала" дѣйствительность, а только то, что она объясняла только часть дѣйствительности. — Теоретическіе интересы историка такими построеніями удовлетворяются вполнѣ, и ему нѣтъ никакой нужды замѣнять понятіе эволюціи понятіемъ прогресса, вводя этимъ въ познаніе чуждые ему этическіе или эстетическіе элементы.

Именно изъ такого смѣшенія гетерогенныхъ элементовъ слагалось ходячее историческое міропониманіе, покоившееся на неразличеніи фактическаго и нормативнаго порядковъ: „законъ" происходящаго принимался за „норму" желательнаго или должнаго. И, съ одной стороны, исторіи приписывалась цѣль, а съ другой, „существующему" или „долженствующему вскорѣ наступить" устраивался апоѳеозъ. Не трудно найти психологическій корень такого воззрѣнія: это та самая „боязнь самобытности", о которой говорилъ Герценъ. Проще и менѣе рискованно плыть по теченію безъ руля и веселъ, утѣшая себя мыслью, что служишь естеств. прогрессу жизни. Энтузіазмъ возвращался въ такую по существу прозаическую концепцію тѣмъ, что „естественная эволюція" возводилась въ абсолютъ, окружалась религіознымъ ореоломъ: общественная работа преображалась тогда въ своего рода подвижничество на благо рода человѣческаго. Между тѣмъ, дѣйствительнымъ регулятивомъ общественной работы должны служить совсѣмъ не возвышенные, сверхчеловѣческіе идеалы, а трезвые интересы времени. Государственная дѣятельность, напримѣръ, должна направляться совсѣмъ не ослѣпительною утопіею идеальнаго государства, а реальными потребностями государственной цѣлостности, прочности и мощи. Соціальныя реформы должны не рай привести на землю, а „внести хоть сколько нибудь справедливости" въ людскія взаимоотношенія, по выраженію Клемансо. И т. д. Критеріи и стимулы здѣсь должны быть временные и условные. И это только расчиститъ почву для абсолютности нравственнаго творчества и моральнаго труда.

Оскаръ Уайльдъ гдѣ-то хорошо опредѣлилъ англиканскую церковь, какъ такую, гдѣ у алтаря стоитъ невѣрующій, а идеальный апостолъ — Ап. Ѳома. Это можно повторить обо всемъ человѣчествѣ. Оно тоже не вѣруя стоитъ у алтаря вѣчныхъ цѣнностей и истинъ и, какъ во времена Апостоловъ, требуетъ знаменій и премудрости, ищетъ осязательныхъ доказательствъ тамъ, гдѣ умѣстно лишь слушаться непосредственныхъ внушеній горящаго и трепещу-

щаго сердца. Ему мало внутренняго самосвидѣтельства истины и добра, — нужны еще пышныя и непреложныя подпорки, ему мало, что идеалъ высокъ и святъ, нужно еще, чтобы онъ былъ стихійно-необходимъ, чтобы было гарантировано хиліастическое блаженство. — Увѣруетъ ли человѣчество, поставитъ ли оно свободу и творчество выше необходимости и пониманія? и когда? — отъ этого зависятъ свѣтъ и тѣни будущаго.

Георгій В. Флоровскій.

Соціальныя и правовыя послѣдствія русской революціи.*)

Историческія событія имѣютъ то же свойство, что горы: чѣмъ они значительнѣе, тѣмъ на большее разстояніе надо отойти, чтобы обнять ихъ взоромъ, чтобы схватить всѣ ихъ контуры. Нужна перспектива для ихъ оцѣнки.

Что пережитая нами революція является міровымъ событіемъ, это чувствуетъ каждый, одаренный хотя бы минимальнымъ историческимъ чутьемъ. Но каковъ смыслъ этого событія? Какъ въ хаосѣ переживаемыхъ нами явленій уловить историческое развитіе? Выявить руководящую идею чрезвычайно трудно даже наиболѣе пристальному современному взору. Тѣмъ труднѣе это для насъ, захваченныхъ этими событіями, смятыхъ ими. Здѣсь поневолѣ являешься субъективнымъ. И казалось бы, историческую оцѣнку надлежитъ оставить будущему историку. Пусть онъ, когда прійдетъ время, проанализируетъ происшедшее, опредѣлитъ его закономѣрность, укажетъ его историческій смыслъ.

Но этого мало для тѣхъ изъ насъ, которые не отказались отъ жизни, которые хотятъ принять участіе въ ея строительствѣ. Чтобы строить, надо знать, на чемъ строить, надо хотя бы для себя осмыслить свершившееся.

Всякая революція есть результатъ несоотвѣтствія существующихъ правовыхъ или соціальныхъ формъ съ дѣйствительнымъ соотношеніемъ силъ. Если формы эти не настолько эластичны, чтобы дать свободный выходъ нарождающимся силамъ ,происходитъ взрывъ, который эти формы разрушаетъ. Но всякое разрушеніе несетъ въ себѣ одинъ основной порокъ — оно разрушаетъ не только то, что нужно разрушить, но и захватываетъ въ своемъ разрушеніи нѣчто большее. Всякому разрушенію свойственны эксцессы, всякая революція ломаетъ далеко за предѣлы исторически оправдываемаго.

Чрезвычайно ярко сказалось это на великой французской революціи. На дняхъ Франція чествовала столѣтіе со дня смерти Наполеона. Празднованіе было почти единодушное, и нѣкоторые протесты были направлены не на самое празднованіе, а на его политическую обстановку. Это чествованіе становится особенно понятнымъ, когда подходишь къ французской революціи съ точки зрѣнія законодатель-

---

*) Рѣчь, произнесенная на Общемъ Съѣздѣ представителей торговли и промышленности въ Парижѣ 21 мая 1921 года.

ства и соціальнаго строительства. Съ этой стороны особенно интересна эпоха, которая лежала между революціей и Наполеономъ, такъ называемый période intermédiaire. Законодательство этого періода не имѣло равнаго во всемъ мірѣ. Все, казалось, подлежало измѣненію, законодатель не останавливался ни передъ чѣмъ Религіозный культъ былъ отмѣненъ, бракъ, семья упразднялись, вводилась неограниченная свобода развода, незаконныя дѣти уравнивались съ законными. Частная собственность, напротивъ, возводилась въ непреложный догматъ, укрѣплялась, какъ никогда до сихъ поръ. По мѣрѣ того какъ жизнь входила въ свою колею, выяснялось, что въ этомъ законодательствѣ période intermédiaire было продиктовано исторической необходимостью, а что — лишь излишествами революціи, увлеченіями въ разрушительномъ порывѣ. Наполеонъ съ геніальной прозорливостью уловилъ это, и въ засѣданіяхъ Государственнаго Совѣта, посвященныхъ обсужденію Code Civil, съ яркостью выявляется его историческое чутье. Code Civil взялъ отъ революціи, взялъ изъ période intermédiaire то, что надлежало взять. И свое историческое значеніе здѣсь Наполеонъ понялъ. „Слава моя, писалъ онъ на островѣ Св. Елены, не въ томъ, что я выигралъ сорокъ сраженій. Ватерлоо согретъ воспоминанье о нихъ. То, что никогда не умретъ, что будетъ жить вѣчно, это мой Code Civil, это протоколы Государственнаго Совѣта“.

Послѣ каждой революціи главная задача — отдѣлить неизбѣжное отъ излишняго, опредѣлить, что было исторически необходимо, составляло ея историческій смыслъ, и что лишь эксцессы разрушительной стихіи.

I.

Мы пережили двѣ революціи: одну мартовскую, политическую, освободившую отъ такъ наз. „царизма“, другую октябрскую, соціальную. Таково наше непосредственное впечатлѣніе, такова и оффиціальная версія. Видимость подтверждаетъ это. Октябрская революція носитъ всѣ признаки настоящей соціальной революціи. И по своимъ лозунгамъ, и по своимъ задачамъ, наконецъ, по своей формѣ это соціальная революція. Форма классическая, по Марксу—диктатура пролетаріата.

Въ дѣйствительности, двухъ революцій не было. Была единая революція, разныя фазы, разныя стадіи единаго нераздѣльнаго историческаго процесса.

Что поразитъ будущаго историка — это полное несоотвѣтствіе историческаго содержанія происшедшаго съ его внѣшней формой.

Какъ это случилось?

Внѣшнимъ толчкомъ послужилъ военный бунтъ. Многомилліонная масса была сосредоточена въ казармахъ, и въ извѣстный моментъ она взбунтовалась. Событіе довольно ординарное. Но какимъ образомъ этотъ Петроградскій военный бунтъ 28 февраля въ теченіе

нѣсколькихъ дней превращается въ всероссійскую революцію? Волна разливается по всей Россіи, до самыхъ отдаленныхъ уголковъ, захватываетъ города, захватываетъ и деревню. Какъ будто бы какая то пелена спала у всѣхъ съ глазъ, какъ будто бы они прозрѣли, стали понимать то, чего не понимали раньше.

Объясненіе одно: движеніе было движеніемъ крестьянскимъ. Крестьяне въ сѣрыхъ шинеляхъ и матросскихъ курткахъ революцію начали, крестьянская масса ее подхватила и продолжала, при поддержкѣ и сочувствіи интеллигенціи и рабочихъ, при попустительствѣ со стороны остальныхъ слоевъ населенія.

Почему крестьяне явились носителями революціоннаго движенія, это ясно для изслѣдователя русской дѣйствительности, и было ясно еще задолго до революціи. Чтобы понять, надо только подойти къ моменту освобожденія крестьянъ въ 1861 году. Это освобожденіе освободило крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, но оно не дало освобожденія политическаго, не дало гражданскихъ правъ, оно не удовлетворило того тяготѣнія, которое искони жило въ крестьянинѣ, тяготѣнія къ землѣ. Осталась мечта о землѣ, и она приняла тѣ характерныя формы, которыя извѣстны намъ.

Къ исторической розни, порожденной крѣпостнымъ правомъ, присоединилась вражда къ тѣмъ, у кого эта земля была въ рукахъ. Но грань, отдѣлявшая крестьянство отъ прочаго населенія, была шире. „Положеніе о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости" эту грань не уничтожило, дальнѣйшее развитіе ее укрѣпило и углубило. Положеніе о земскихъ начальникахъ 1887 года было только однимъ изъ проявленій этого углубленія. Крестьянство стояло подъ помѣщичье-бюрократической опекой. Крестьянинъ былъ закабаленъ міру, обществу, общество, въ свою очередь, подчинено администраціи. Еще глубже было обособленіе крестьянства въ соціально-правовомъ отношеніи. „Крестьянинъ—собственникъ" не былъ собственникомъ, надѣльная земля не собственность въ нашемъ смыслѣ. Въ ходячемъ представленіи это связано съ земельной общиной. Но дѣло не въ одной общинѣ. Фактъ гораздо менѣе извѣстный, что право крестьянъ на землю, даже при подворномъ владѣніи, совсѣмъ другое право, нежели наше право на землю. То понятіе собственности, которое начало образовываться при Петрѣ и окончательно сложилось при Екатеринѣ, собственность Законовъ Гражданскихъ I ч. X т., на крестьянъ не распространилось. И крестьяне это прекрасно сознавали. Въ Нов
городской губерніи мнѣ пришлось услышать отъ крестьянина выраж
ніе: „эта земля у меня на дворянскомъ правѣ". Выяснилось, что
говоритъ о купчей землѣ, въ отличіе отъ надѣльной, которая
„на крестьянскомъ правѣ". Столыпинская реформа должна
мѣнить положеніе, но результатовъ она дать не успѣла. Кр
всей своей жизни жили обособленно. Между ними и про
ніемъ была роковая черта. По одну сторону крестьяне, п
пода" — въ этотъ послѣдній разрядъ попадалъ всяк

братъ мужикъ. Время углубляло черту, углубляло и вражду, вражду ко всему господскому. Почва для взрыва былъ всегда на готовѣ. Нуженъ былъ лишь толчокъ. И онъ послѣдовалъ.

Но съ перваго же момента движеніе идетъ не по тому руслу, котораго, казалось, можно было ожидать.

Крестьянская масса была политически несознательна, не объединена. Ни организаціи, ни вождей она не имѣла. И движеніе попадаетъ въ руки другихъ элементовъ, болѣе сознательныхъ, болѣе подготовленныхъ. Стихійное по началу, революціонное движеніе было съ восторгомъ встрѣчено интеллигенціей. Это былъ праздникъ на ея улицѣ. Исторически наша интеллигенція воспитывалась всегда, начиная съ 30-хъ годовъ, въ революціи и для революціи. Здѣсь не мѣсто изслѣдовать, чѣмъ это обусловливалось, но фактъ внѣ спора. И эта революціонная интеллигенція вмѣстѣ съ воспитаннымъ ею рабочимъ классомъ берутъ движеніе въ свои руки. Въ первый моментъ лозунги еще соотвѣтствуютъ настроенію массъ: „земля и воля", „миръ и хлѣбъ". Но тотчасъ же начинается процессъ, получившій характерное обозначеніе „углубленія революціи". Главный мотивъ этого углубленія — соціализмъ. Тотъ, кто знакомъ съ исторіей русской интеллигенціи, знаетъ, почему эта интеллигенція рано уже усвоила себѣ соціалистическій идеалъ. Начиная съ наиболѣе яркаго ея представителя Герцена, русская интеллигенція все болѣе и болѣе пропитывается соціализмомъ. Недаромъ у насъ въ Сибири всякаго политическаго ссыльнаго именовали соціалистомъ. Рабочій классъ былъ неизбѣжно соціалистиченъ, и движеніе, руководимое интеллигенціей и рабочими, естественно становится соціалистическимъ. Соціализмъ овладѣваетъ умами. Въ мартовскіе дни всѣ становятся соціалистами. Человѣкъ, вчера не слышавшій о соціализмѣ, открываетъ въ себѣ соціалистическую душу. И на сцену выступаютъ новые лозунги. На плакатахъ войскъ, вышедшихъ на улицу 20 Апрѣля, начертано: „долой министровъ капиталистовъ". Въ его болѣе народной редакціи „долой буржуевъ" этотъ лозунгъ пріобрѣтаетъ необыкновенную популярность. Въ его рамки прекрасно укладываются всѣ революціонныя настроенія. „Долой буржуевъ" значитъ для рабочаго — долой фабриканта. Но для крестьянина—буржуй всякій, чьи культурныя привычки и условія жизни не соотвѣтствуютъ его, и „долой буржуевъ" — для него это „долой помѣщиковъ", „долой чиновниковъ", вообще долой ненавистныхъ господъ. „Долой буржуевъ" — для крестьянина захватъ помѣщичьихъ земель, для рабочаго — экспропріація фабрикъ и заводовъ. Революція получаетъ видимость соціальной — рѣчь уже идетъ объ уничтоженіи капитализма, о насажденіи соціализма. Какъ только появился и былъ подхваченъ этотъ лозунгъ, было сказано то слово, которое неминуемо должно было привести къ Октябрьскимъ днямъ. 25-ое Октября есть логическое и неизбѣжное слѣдствіе 20-го Апрѣля.

Такъ случилось, что въ странѣ, гдѣ три четверти населенія жило мечтою о собственной землѣ, гдѣ настоящій пролетаріатъ едва ли

составлялъ 5% населенія, произошла соціальная революція. Это первый великій историческій парадоксъ, знаменующій собою начало русской революціи.

II.

Къ чему же революція привела?

Я буду говорить не объ экономической сторонѣ. Здѣсь на Съѣздѣ эта тема была развита чрезвычайно углубленно. Экономисты показали намъ, что коммунистическая система оказалась экономически несостоятельной. Оффиціально провозглашенъ возвратъ къ капитализму, для начала, къ государственному. Движеніе какъ будто бы идетъ вспять. Съ экономической точки зрѣнія это такъ, но съ соціальной — совсѣмъ не такъ. Три съ половиной года владычествуютъ большевики, и эти три съ половиной года оставили глубочайшій слѣдъ на Россіи, произвели полное измѣненіе въ ея соціальномъ укладѣ. Радикально измѣнилась вся психика и этого измѣненія ничѣмъ стереть нельзя. Явились новые психологическіе навыки, которые опредѣляютъ будущее развитіе.

Историческая жизнь имѣетъ то же свойство, что природа — какъ ее ни насиловать, она всегда беретъ свое. Сквозь внѣшнія формы соціалистической революціи, сквозь диктатуру пролетаріата пробилась основная историческая тенденція. Обособленное ненормальное положеніе крестьянства создало почву для революціи, революція принесла съ собою освобожденіе крестьянства. Земельная революція, захватъ земель есть только часть совершившагося, психологически значительная, но исторически далеко не самая существенная. Гораздо болѣе важнымъ представляется появленіе особаго класса крестьянства. Я сказалъ — появленіе. Это не обмолвка. Крестьянства, какъ класса единаго, осознавшаго себя въ качествѣ единаго цѣлаго, у насъ но было. А теперь онъ есть. И что онъ есть, въ этомъ долженъ убѣдиться каждый, у кого глаза открыты. Я не знаю въ исторіи деспотіи болѣе послѣдовательной и болѣе могущественной, нежели большевики. Они сильны, необыкновенно сильны своимъ доктринерствомъ, ни предъ чѣмъ не останавливающимся, устранившимъ всякіе задерживающіе моменты. Всякое, даже самое деспотическое правительство задумывалось о благѣ своей страны, о родинѣ. Большевики ни надъ чѣмъ не задумываются. Идеѣ они готовы принести въ жертву все населеніе Россіи и самую Россію. И вотъ эта необыкновенно сильная деспотія отступила, капитулировала предъ крестьянствомъ, отступила потому, что крестьяне противопоставили ей свою крестьянскую сущность и обнаружили такое умѣніе отстаивать свои классовые интересы, какое свойственно лишь настоящему сложившемуся классу. Капитуляція проявилась ярче всего въ новѣйшихъ хозяйственныхъ мѣропріятіяхъ совѣтской власти. Но эта хозяйственная капитуляція есть въ то же время политическая капитуляція, ибо, какъ

правильно было отмѣчено въ одномъ изъ докладовъ, хозяйственныя мѣропріятія большевиковъ — для нихъ средство политической борьбы. Однако, и въ области чисто политической большевики оказались безсильными предъ крестьянствомъ. Въ докладахъ намъ была нарисована картина разрыва города съ деревней. Не только въ хозяйственной области произошелъ этотъ разрывъ. Одинъ нѣмецкій журналистъ недавно изображалъ свои впечатлѣнія отъ Россіи. Онъ разсказываетъ, онъ видѣлъ двѣ Россіи — одну городскую, другую деревенскую. Эта вторая — это самостоятельная держава, ничего общаго съ городомъ не имѣющая, живущая своей жизнью, по своимъ законамъ, иногда ведущая войну съ первой. Проникнуть въ эту деревенскую Россію коммунистамъ не удалось. Крестьяне сами строятъ себѣ жизнь. Политически они пока еще себя не вполнѣ осознали, не осознали своей связи съ государствомъ. Когда это наступитъ, въ этотъ моментъ кончится владычество большевиковъ. Но уже сейчасъ можно категорически утверждать, что крестьянство сложилось въ единый классъ, которому принадлежитъ въ будущей Россіи опредѣляющая роль.

Такъ разрѣшилась историческая дилемма, намѣтившаяся уже давно. По своей соціальной структурѣ Россія могла быть только государствомъ либо аграрно-аристократическимъ, либо аграрно-демократическимъ. Сначала историческіе вѣсы склонились на сторону помѣстнаго дворянства. Но этотъ классъ не сумѣлъ слить своихъ интересовъ съ интересами общегосударственными, такъ построить государство, чтобы и остальные классы чувствовали себя въ немъ какъ дома. Онъ уходитъ со сцены побѣжденнымъ. Его историческая ставка бита, и какъ будто бы навсегда.

Радикальнѣе, на первый взглядъ, разрѣшила революція вопросъ о буржуазіи. Еще годъ тому назадъ Ленинъ заявилъ, что русская буржуазія уничтожена и съ тѣхъ поръ мы постоянно можемъ читать это въ большевистской печати. Задача, поставленная въ первые дни революціи — долой буржуевъ — какъ будто выполнена. Постараемся разобраться, что такое это уничтоженіе буржуазіи.

Что такое представляла собою эта русская буржуазія? Отбросимъ тѣхъ, кто никогда къ буржуа не принадлежалъ, а былъ причастенъ сюда лишь по своему внѣшнему сходству съ ними, по нѣкоторымъ общимъ внѣшнимъ чертамъ — внѣклассовую интеллигенцію и чиновничество. Первая по всѣмъ своимъ историческимъ тенденціямъ, по всему своему настроенію была рѣзко враждебна буржуазіи. Для бюрократіи буржуазные элементы тоже были „они", управляемые, опекаемые, а отнюдь не свои люди. Если оставить ихъ въ сторонѣ, то остаются два слоя, кои могли быть отнесены къ буржуазіи — помѣстное землевладѣніе и торговопромышленное населеніе. Въ полную противоположность Западной Европы они не только не составляли единаго класса, но, напротивъ, были глубоко антагонистичны между собою. Помѣстное дворянство пользовалось

господствующимъ положеніемъ. На него опиралась власть, и оно рѣзко отмежевывалось отъ прочаго населенія, въ томъ числѣ и торгово-промышленнаго. Я сознательно употребилъ слово населеніе. Торгово-промышленнаго класса не было. Были люди, которые торговали, которые занимались промышленностью. Но недостаточно одинаковаго занятія, одинаковой профессіи, чтобы составлять классъ. Нужны другіе признаки. А ихъ не было. Не было ни сознанія единства, ни сознанія своей силы, своей роли въ государствѣ, своей связи съ нимъ. Широкіе слои мелкаго и средняго торговаго и промышленнаго населенія по всей Россіи представляли собой аморфную массу. Крупная торговля и промышленность за послѣднія два десятилѣтія стала занимать въ экономической жизни Россіи все большее мѣсто. Но ея соціальная и политическая роль совершенно не соотвѣтствовала ея хозяйственному значенію. Объединиться, потребовать себѣ подобающаго мѣста въ государствѣ представители торговли и промышленности не сумѣли. Они оставались не субъектомъ, а объектомъ власти. Для бюрократіи это были первые изъ управляемыхъ, можетъ быть, наиболѣе интересные, ибо наиболѣе налогоспособные. Вспомните позицію, какую торговля и промышленность заняла въ Государственной Думѣ. Кто тамъ представлялъ ее, защищалъ ея интересы? Отдѣльные представители, попавшіе туда, старались не о томъ, чтобы отстоять интересы своего класса, а о томъ, чтобы скорѣе забыли ихъ принадлежность къ торгово-промышленному классу.

И вотъ, перебирая все то, что мы пережили за послѣднее десятилѣтіе, невольно приходишь къ заключенію: торгово-промышленнаго класса въ Россіи не было. Это звучитъ странно. Но сопоставьте то, что было у насъ, съ тѣмъ, что мы видимъ въ странахъ, гдѣ имѣется настоящая буржуазія. Вспомните 1-ое Мая прошлаго года въ Парижѣ. Вспомните, что произошло два мѣсяца тому назадъ въ Англіи, когда готовилась забастовка желѣзнодорожныхъ и транспортныхъ рабочихъ, вспомните, какъ къ этому отнеслась буржуазія, какъ она объединилась, какую проявила дисциплину, готовность ко всякаго рода жертвамъ и работѣ. Тамъ она сознавала общность своихъ интересовъ, свои права и необходимость за эти права бороться. То же видѣли мы и въ Италіи во время послѣдней избирательной борьбы Сопоставьте теперь все это съ тѣмъ, что мы знаемъ о русской буржуазіи: съ женевскимъ соціалъ-демократическимъ журналомъ, издаваемымъ на деньги московскаго торговопромышленнаго туза, съ субсидированіемъ тоже именитыми промышленниками, уже въ новѣйшее время, предъ самыми большевиками, органовъ, готовящихъ приходъ этихъ большевиковъ. Вспомните, наконецъ, что есть соціалистическая партія, на содержаніе которой по упорному утвержденію идутъ главныя прибыли отъ одной отрасли торговли, и вы увидите, далеко ли отъ истины утвержденіе, что класса торгово-промышленнаго у насъ не было. Промышленность у насъ была. И въ нѣкоторыхъ отрасляхъ промышленность образцовая, которая сдѣлала бы честь любой странѣ. Была у насъ и торговля. Но не было торгово-промышленнаго класса.

Это надо помнить, когда мы оцѣниваемъ утвержденіе: буржуазія въ Россіи уничтожена. Какъ классъ, буржуазія не могла быть уничтожена, ибо его не было. Въ великой исторической драмѣ побѣжденнымъ былъ не торгово-промышленный классъ. Не въ его рукахъ была государственная власть, не у него она была отнята. Не его увлекло въ своемъ паденія старое государство.

У насъ не было торгово-промышленнаго класса, но была промышленность, была торговля, были торговцы и промышленники — элементы для созданія этого класса. По этимъ то элементамъ и ударила революція. Уничтожила ли она ихъ?

Основы, субстратъ буржуазіи — торговля и промышленность. Изъ представленныхъ вамъ докладовъ вы видѣли, что сдѣлали съ ними большевики. Торговля исчезла, промышленность замираетъ. Означаетъ ли это полное уничтоженіе ихъ, разрушеніе самихъ основъ, которое дѣлаетъ невозможнымъ возрожденіе, или это только прекращеніе функціонированія въ силу внѣшнихъ препятствій — устраните препятствія и опять оживетъ торговля и промышленность?

Поставить этотъ вопросъ значитъ уже отвѣтить на него. Торговля прекратилась. Но она прекратилась въ силу запрета, поддерживаемаго угрозой разстрѣла. Достаточно на дняхъ было хотя бы частично отмѣнить запретъ, чтобы торговля возобновилась со стихійной силой. Правда, торговый аппаратъ разрушенъ. Но осталось то, что гораздо существеннѣе, — торговые навыки, исторически сложившееся умѣніе организовать торговлю. Будетъ чѣмъ торговать, будетъ и торговля, возстановится весь торговый аппаратъ.

Сложнѣе дѣло съ промышленностью. Тутъ на лицо матеріальный субстратъ, который можно разрушить и безъ котораго возстановленіе промышленности будетъ невозможно — зданія, машины, кадры обученныхъ рабочихъ. Нельзя отрицать: — каждый день большевистскаго хозяйничанья приближаетъ насъ здѣсь къ полному разрушенію. И теоретически можно представить себѣ, что этотъ процессъ разрушенія дойдетъ до точки, когда уже нѣтъ возврата. Реально я этого не мыслю. До сихъ поръ большевики жили остатками капиталистическаго наслѣдія. Эти остатки проѣдены или проѣдаются. Если возстановить производство имъ не удастся, образуется хозяйственная пустота, въ которой они задохнутся. И это послѣдуетъ раньше, нежели наступитъ полное разрушеніе матеріальныхъ субстратовъ промышленности. Другой вопросъ, удастся ли имъ возстановить промышленность. Это уже вопросъ, выходящій за предѣлы изслѣдованія, вопросъ вѣрованія, предсказанія. Я лично не вѣрую въ это. Чтобы возстановить промышленность, коммунисты должны измѣнить всю свою хозяйственную политику, вѣрнѣе говоря, должны разорвать связь между хозяйствомъ и политикой, руководствоваться въ организаціи хозяйства исключительно экономическими, а не политическими соображеніями. А этого они не смогутъ или . . . они перестанутъ быть коммунистами.

Больнѣе ударила революція по человѣческому элементу, по предпринимателю. Никогда еще въ исторіи значеніе предпринимателя въ процессѣ производства не было продемонстрировано столь ярко, какъ на событіяхъ послѣднихъ лѣтъ въ Россіи. Классическая политическая экономія высоко расцѣнивала это значеніе. Подъ вліяніемъ соціализма его пытались умалить. Теперь въ Россіи былъ данъ экспериментальный урокъ хозяйствованія безъ предпринимателя. Результатъ — обращеніе авторовъ урока къ помощи иностранныхъ предпринимателей.

На предпринимателя-промышленника революція обрушилась прежде всего. Часть ихъ была физически изъята — уничтожены, погибли. Часть выброшена сюда, за рубежъ. Нѣкоторые остались на мѣстахъ, но въ условіяхъ, въ которыхъ не то, что работать надъ возстановленіемъ промышленности, но и существовать становится все труднѣе. И встаетъ роковой вопросъ—сохранится ли этотъ необходимѣйшій элементъ возсозданія промышленности, человѣческій элементъ. Вопросъ, отвѣтъ на который въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ насъ. Мы остались носителями, хранителями русской экономической культуры, какъ вообще на долю русской эмиграціи выпало хранить русскую культуру. Наши братья, гибнущіе тамъ, безсильны. Обязанность лежитъ на насъ. И есть одинъ моментъ, который даетъ увѣренность въ будущемъ. И здѣсь и тамъ одинаковыя явленія, говорящія, что среди развалинъ русской промышленности рождается русская буржуазія. Наростаетъ чувство взаимной связи, выковывается государственное сознаніе, сознаніе своей связи съ государствомъ, своихъ обязанностей предъ нимъ, но и своихъ правъ, а главное создается готовность, рѣшимость къ борьбѣ за эти права. Мы наблюдаемъ, ощущаемъ это здѣсь, и особенно ярко эти дни, на Съѣздѣ. Но еще интереснѣе эти явленія, тамъ по ту сторону рубежа. Всякій чуткій человѣкъ ощущаетъ нарожденіе того же самаго настроенія и тамъ. И оно захватываетъ не только старые элементы торгово-промышленнаго населенія. Кругъ лицъ, у которыхъ вырабатывается инстинктъ собственности, которыя начинаютъ осознавать свое мѣсто и положеніе въ государствѣ именно какъ собственниковъ, расширяется, пополняется. Пусть это отчасти пока элементы, морально мало желательные. Они то особенно цѣпко будутъ держаться и особенно энергично бороться за вновь пріобрѣтенную собственность, за свое участіе въ государственной власти ради охраны этой собственности. Такъ въ Россіи создается буржуазія, не скажу новая, ибо не было старой.

Если революція довела до окончанія процессъ нарожденія русской буржуазіи, то, думается мнѣ, и рабочему классу она дала великій историческій урокъ. Не только экономическій, показавъ ему воочію, что вся его судьба связана съ расцвѣтомъ промышленности, что безъ крѣпкой, самостоятельной промышленности немыслимо не только благосостояніе рабочаго класса, но самое его существованіе. Ре-

волюція дала ему и урокъ государственности. У насъ всѣ слои населенія жили внѣ и безъ государственнаго сознанія. Но рабочій былъ антигосударственнымъ по принципу. Онъ не только не сознавалъ своей связи съ государствомъ, онъ былъ убѣжденъ, что его интересы противоположны государственнымъ, что они въ интернаціоналѣ. Если чутье не обманываетъ, и въ этомъ отношеніи произошелъ сдвигъ. Повидимому у рабочихъ пробуждается національное чувство, является сознаніе Россіи, пониманіе, что устроеніе и благосостояніе Россіи нужно для ихъ собственнаго благосостоянія.

Я не буду говорить о массѣ государственныхъ служащихъ, занятыхъ нынѣ въ большевистскихъ бюрократическихъ учрежденіяхъ. Это техническій аппаратъ, который сейчасъ съ болью въ сердцѣ служитъ, по вполнѣ понятнымъ причинамъ, большевикамъ, но который тянется къ другому, ибо съ этимъ другимъ онъ связанъ всѣми своими культурными связями. Большевистская дѣйствительность этой культуры ему не даетъ.

Позвольте сказать два слова объ интеллигенціи. Для нея революція была суднымъ днемъ. Съ самого зарожденія своего эта интеллигенція революціонна. Революція была ея религіей, соціализмъ символомъ вѣры. Наконецъ, она дождалась и того, и другого, получила чего хотѣла, и могла произвести провѣрку своихъ вѣрованій. Надо ли говорить о результатахъ этой провѣрки? Интеллигенція наша была антинаціональна. Вспомните, какъ звучало для насъ слово патріотъ, какое содержаніе вложилъ въ него Щедринъ. Интеллигенція была антигосударственна. Когда въ 1908 году одинъ изъ крупнѣйшихъ представителей русской интеллигенціи выставилъ лозунгъ „Великой Россіи", что только не посыпалось на него со всѣхъ сторонъ! А теперь я думаю лозунгъ „Великой Россіи" — это лозунгъ изъ души и сердца каждаго интеллигента. Отучилась интеллигенція и отъ полупрезрительнаго отношенія къ буржуазіи, даже къ самому занятію торговлей и промышленностью, которое было ей свойственно. Наша интеллигенція, въ отличіе отъ западно-европейской, была внѣклассовой. Врядъ ли она таковой останется.

Такъ антибуржуазная, соціалистическая революція, направленная на уничтоженіе классоваго государства, привела къ выявленію классоваго самосознанія, къ образованію настоящихъ классовъ. Это второй великій историческій парадоксъ русской революціи.

III.

Какіе историческіе уроки можно извлечь изъ того, что произошло?.

Первое, что безспорно обнаружила русская революція, это невозможность диктатуры одного какого либо класса. Самая идея диктатуры пролетаріата безнадежно провалилась въ Россіи. Большевики сами съ большою наглядностью продемонстрировали это. Вначалѣ,

какъ надлежитъ по диктатурѣ пролетаріата, власть передается „совѣтамъ рабочихъ депутатовъ". Особенности момента обусловили прибавку „и солдатскихъ." Отступленіе отъ идеи классовой диктатуры пока легкое, мало замѣтное. Но вскорѣ это замѣняется уже „совѣтами рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ." Это уже совсѣмъ не мирилось съ диктатурой пролетаріата. Даже съ натяжкой подвести нашего крестьянина подъ пролетаріатъ нельзя было. А затѣмъ пошла „ставка на средняка" и, наконецъ, провозглашенный Ленинымъ договоръ съ крестьянами. Нечего и говорить, что идея договора между двумя классами совершенно отрицаетъ идею диктатуры. — Ни одинъ классъ въ Россіи такой диктатуры создать не сможетъ. Русское государство будетъ государствомъ надклассовымъ, которое должно будетъ сумѣть примирить интересы всѣхъ классовъ.

На авансцену выступилъ крестьянскій классъ. Съ нимъ, прежде всего, должна будетъ считаться государственная власть. Примѣръ большевиковъ, ихъ капитуляція предъ крестьянами явное доказательство тому. Крестьянство явится въ будущемъ государственномъ строительствѣ Россіи опредѣляющей силой. Безъ него, тѣмъ болѣе, противъ него не сможетъ править ни одно правительство. Сила его тѣмъ значительнѣе, что пока онъ являетъ собою единую недифференцированную массу. Ленинъ въ одной изъ рѣчей указалъ, что произошло усиленіе средняка. Фактическія данныя, имѣющіяся въ нашемъ распоряженіи, не подтверждаютъ этого вывода. Послѣдовало не усиленіе средняка, а пониженіе общаго уровня съ равненіемъ на середину. Можно предвидѣть, что съ возстановленіемъ нормальнаго экономическаго положенія, установленіемъ свободы оборота, произойдетъ разслоеніе крестьянства. Но это вопросъ будущаго. Въ настоящемъ мы имѣемъ предъ собой единый классъ.

Что же нужно этому крестьянскомъ классу?

Основной мотивъ здѣсь ясенъ. Онъ тотъ же, что и во французской революціи: закрѣпленіе пріобрѣтеній революціи. Но аналогія идетъ дальше. Въ разгарѣ французской революціи былъ изданъ законъ, воспринятый въ Code rural 1792 года, устанавливающій смертную казнь за призывъ (одинъ призывъ!) къ отмѣнѣ собственности. Такъ народившійся крестьянинъ собственникъ старался закрѣпить за собою свою землю, и Наполеонъ это настроеніе понялъ. Собственность Code civil есть именно та собственность, которая нужна была земельному собственнику — полная, абсолютная, неограниченная. Закрѣпленіе произошедшей земельной революціи — это то, что прежде всего требуется нашему крестьянину. Боязнь поворота здѣсь главный психологическій мотивъ, который еще связываетъ крестьянство съ большевистскимъ режимомъ. За крестьяниномъ должно быть безповоротно признано то, что фактически попало въ его руки. Это исторически неизбѣжно. Исторіи не повернешь. Для бывшихъ земельныхъ собственниковъ, лишившихся своихъ земель, остается одно право на вознагражденіе. Государство, и именно по государ-

ственнымъ соображеніямъ, должно будетъ вознаградить ихъ. Правовое укрѣпленіе — „синяя бумага съ круглой печатью", какъ претворяется это въ представленіи крестьянина, — землеустройство — вотъ первая очередная задача. И право ихъ на землю должно быть правомъ полной индивидуальной собственности. Это поняли и большевики, ибо они не настолько наивны, чтобы не понимать, что закрѣпленіе на 9 лѣтъ есть закрѣпленіе въ собственность. Всѣ ограниченія въ правѣ распоряженія должны быть отмѣнены. Они непріемлемы для настоящаго крестьянина собственника, они вредны и экономически: Россія сможетъ прокормиться, лишь если земля будетъ въ рукахъ хозяйственно сильныхъ.

Такимъ образомъ впервые у насъ для крестьянина будетъ создано настоящее субъективное право. По моему глубокому убѣжденію, отсутствіе субъективныхъ правъ, которые человѣкъ сознаетъ и на защиту которыхъ онъ готовъ выступить, было однимъ изъ самыхъ роковыхъ чертъ нашего соціальнаго строя. Оно лишало его той соціальной устойчивости, которая вообще свойственна странамъ съ преобладающимъ крестьянскимъ населеніемъ, и которая съ такой силой проявилась нынѣ во Франціи.

И въ сферѣ публично-правовой за крестьяниномъ должны быть обезпечены субъективныя права. Его нельзя будетъ отстранить отъ самого активнаго участія въ государственной жизни. Россія должна быть и будетъ правовымъ государствомъ. А такъ какъ опираться это государство будетъ на широкія массы населенія, то оно будетъ и демократическимъ. Происшедшія событія неизбѣжно ведутъ Россію къ правовому демократическому строю. Какія бы ни были политическія колебанія, приливы и отливы при возвращеніи взбаламученной русской государственной жизни въ нормальное русло, закрѣпится лишь тотъ строй, въ рамкахъ котораго выросшій и осознавшій себя крестьянскій классъ найдетъ подобающее его значенію мѣсто.

Но, можетъ быть, возможно исключительное господство одного крестьянскаго класса? Можетъ быть, Россія превратится въ чисто аграрное государство, въ которомъ значеніе остальныхъ слоевъ населенія будетъ столь ничтожнымъ, что и политически никакой роли они играть не будутъ?

Вопросъ этотъ особенно болѣзненно встаетъ, когда читаешь нѣкоторые наши доклады. Вырисовывается картина совершеннаго вымиранія города. Города пустуютъ. Часть населенія погибла, часть разбѣжалась. Количество населенія упало въ нѣкоторыхъ городахъ на 50 и больше процентовъ, всюду на десятки процентовъ. Кажется, еще годъ-другой, и городъ совершенно вымретъ, исчезнетъ городская культура и наступятъ опять времена господства натуральнаго хозяйства. Воображеніе рисуетъ знакомыя картины временъ паденія Западно-Римской Имперіи.

Я не вѣрю въ эту возможность превращенія Россіи въ страну натуральнаго хозяйства. Въ Западно-Римской Имперіи это могло

случиться потому, что пришли варвары, носители натурально-хозяйственнаго строя, который смелъ старую культуру. У насъ положеніе иное. Все наше историческое развитіе, наша вѣковая торговля и наша промышленность создали почву, на которой этотъ возвратъ къ натуральному хозяйству немыслимъ. Какъ нельзя по произволу превратить натурально-хозяйственную страну въ промышленно-капиталистическую, такъ нельзя и обратно. Вы не уничтожите навыковъ производственныхъ, но и навыковъ потребительскихъ. Крестьянинъ сейчасъ одѣвается въ самотканку, въ лапти, жжетъ лучину. Но это по нуждѣ. Дайте товаръ — и его раскупятъ, ибо потребности живы. Бросятъ сохи, когда будутъ плуги, возьмутъ и сельско-хозяйственныя машины и тракторы, ибо психика уже не натурально-хозяйственная. Торговля возсоздастся, какъ только явится товаръ. Самое положеніе Россіи въ міровомъ хозяйствѣ таково, что о возвратѣ ея къ натуральному хозяйству не можетъ быть и рѣчи. Прійдутъ, чтобы дать товаръ, прійдутъ, чтобы взять сырье. Но будетъ не только торговля, будетъ и промышленность. Естественныя условія Россіи, ея природныя богатства не таковы, чтобы въ современномъ міровомъ оборотѣ они были оставлены втунѣ. И производственные наши навыки столь велики, что какъ только уничтожить препятствія, искусственно созданныя большевистской властью, начнетъ возрождаться промышленность.

Кто же будетъ носителями этой возрожденной торговли и промышленности?

Большевики даютъ на это свой отвѣтъ. Они утверждаютъ: Россія должна быть промышленною страною, но носителемъ этой промышленности явится государство. И идея эта находитъ широкое распространеніе за рубежемъ, въ слояхъ не-большевистскихъ, въ кругахъ, къ которымъ тяготѣютъ нѣкоторые изъ насъ. Передо мною Пражская „Воля Россіи“ отъ 2-го Апрѣля с. г. Вотъ, что мы тамъ находимъ въ статьѣ „Объ экономической политикѣ демократической Россіи“: „Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ значительнымъ утвержденіемъ на развалинахъ русскаго экономическаго процесса начала государственной или общественной собственности на орудія производства. Это начало имѣетъ всѣ данныя и всѣ возможности въ дальнѣйшемъ развиваться и существовать параллельно съ частной собственностью, съ частной иниціативой и съ дѣятельностью частнаго капитала въ государствѣ.“ Передъ нами идея „государственнаго капитализма“, та же идея, которую, въ качествѣ новой формулы, новаго рецепта, провозгласилъ теперь Ленинъ, и эта идея проповѣдуется въ органѣ партіи, которая, для многихъ, есть правящая партія завтрашняго дня. Въ сущности, этотъ государственный капитализмъ недалеко ушелъ отъ прочихъ коммунистическихъ опытовъ, провалившихся въ ихъ же собственныхъ глазахъ. Онъ повторяетъ всѣ ихъ пороки, и, прежде всего, первородный грѣхъ — отсутствіе частной иниціативы. Возстановить разрушенное хозяй-

ство безъ того величайшаго напряженія силъ, которое можетъ быть дано лишь частной иниціативой, невозможно. Безъ живой души, безъ предпринимателя, русской промышленности не будетъ.

И это поняли большевики. И они хотятъ возродить промышленность частную. Но въ качествѣ частнаго субъекта этой промышленности они выдвигаютъ иностранцевъ. Имъ будутъ даны концессіи. Мотивъ совершенно ясенъ. Русскіе промышленники потребуютъ участія въ политической власти, иностранцы въ государственную жизнь мѣшаться не будутъ. Возможно ли такое возрожденіе русской промышленности руками иностранныхъ концессіонеровъ?

Поскольку дѣло идетъ объ отдѣльныхъ концессіяхъ, отвѣтъ ясенъ всякому. Такія частно-капиталистическія заплаты на разваливающемся коммунистическомъ хозяйствѣ осуждены на безнадежный провалъ. Не можетъ существовать отдѣльный промышленный оазисъ въ экономической пустынѣ. Если транспортъ, денежная система, финансы, вообще хозяйственная жизнь страны разваливаются во славу коммунистическихъ принциповъ, то не могутъ процвѣтать отдѣльныя отрасли промышленности, хотя бы отданныя въ руки иностранцевъ. Теоретически мыслима была бы такая схема: все производство передано иностранцамъ, въ ихъ рукахъ пути сообщенія, все народное хозяйство, у большевиковъ только политическая власть. Объ утопичности ея нечего и распространяться. Иностранный капитализмъ въ коммунистической Россіи — явный абсурдъ. Капитализмъ и большевики несовмѣстимы. Капитализмъ возродится, когда падетъ большевизмъ. Тогда только встанетъ проблема, кому возрождать русскую промышленность, въ чьи руки должны быть переданы орудія производства. И тутъ острота вопроса не въ томъ, иностранцы или мы. Иностранный капиталъ придетъ въ Россію, но прійдетъ не безъ насъ, а съ нами и чрезъ насъ. Не только потому, что мы Россіи не отдадимъ, а потому, что безъ русскихъ предпринимателей иностранный капиталъ не обойдется, безъ русскихъ промышленниковъ русской промышленности не возродить. Орудія производства вернутся къ намъ. Но кто это мы? Прежніе ли собственники, или тотъ, кто эти орудія производства успѣетъ захватить? Въ цитированной выше статьѣ „Воли Россіи“ вопросъ разрѣшается категорически въ послѣднемъ смыслѣ. „Я предвижу“, говоритъ, однако, далѣе авторъ, „возраженія съ точки зрѣнія вопроса о справедливости — почему должны быть раззорены лишь прежніе собственники предпріятій и должны остаться въ силѣ и неприкосновенности средства новой буржуазіи въ Россіи, составившейся изъ вороватыхъ комиссаровъ, наиболѣе наглыхъ и отважныхъ спекулянтовъ, прежнихъ мѣшечниковъ и т. п. Отдаю должное всей значительности силы этихъ замѣчаній, но считаю, что въ томъ положеніи, въ которомъ существуетъ русское хозяйство въ настоящее время, исключительную силу доказатель-

ности должно имѣть „соображеніе о возстановленіи производственнаго процесса“.

Останемся на почвѣ соображеній о возстановленіи производственнаго процесса. Я спрашиваю, въ чьихъ рукахъ производственный процессъ обѣщаетъ болѣе быстрое и вѣрное возрожденіе — въ рукахъ „вороватыхъ комиссаровъ, наглыхъ спекулянтовъ, бывшихъ мѣшечниковъ“, или прежнихъ созидателей и руководителей предпріятій. Съ этой точки зрѣнія всѣ права на сторонѣ прежнихъ собственниковъ. У нихъ опытъ, у нихъ умѣніе.

Но въ этомъ рѣшеніи есть другая, болѣе тяжелая, моральная сторона. Я слышу вопросъ: о помѣщичьихъ земляхъ вы говорите, что онѣ должны остаться у крестьянъ; а по отношенію къ своимъ фабрикамъ и заводамъ вы требуете ихъ возвращенія. Не потому ли это, что отъ чужого отказываться легче? Не послѣдовательнѣе ли и честнѣе сказать, что все должно остаться въ рукахъ захватившихъ.

Въ исторіи гражданскаго права есть одна очень любопытная страница. Когда впервые была осознана необходимость принудительнаго отчужденія и созданы относящіяся сюда нормы, со стороны собственниковъ поднялся крикъ: принудительное отчужденіе противорѣчитъ самому принципу частной собственности, нарушаетъ ея неприкосновенность. Философы разъяснили ошибку, доказали, что никакого противорѣчія здѣсь нѣтъ. Частная собственность существуетъ благодаря обществу и неприкосновенна до тѣхъ поръ, пока отдѣльныя ея проявленія не противорѣчатъ интересамъ этого общества. Границы частной собственности въ общемъ благѣ. И всѣ безъ исключенія законодательства, даже тѣ, въ которыхъ абсолютный, неограниченный характеръ частной собственности утвержденъ наиболѣе ярко, наиболѣе полно, знаютъ нынѣ рядомъ съ этимъ институтъ принудительнаго отчужденія. Въ тотъ моментъ, когда обще-государственные интересы требуютъ того, принципъ частной собственности долженъ уступить. Весь ходъ развитія, цѣлый историческій процессъ привелъ къ захвату крестьянами помѣщичьихъ земель. Пытаться повернуть это — значитъ производить новую ломку, новую земельную революцію, на этотъ разъ антикрестьянскую, вызывать новыя потрясенія. Историческая необходимость требуетъ признанія совершившагося.

Развѣ мы можемъ сказать то же самое про заводы и фабрики? Развѣ государственное благо или историческая необходимость требуютъ, чтобы они были отняты отъ прежнихъ собственниковъ и переданы новымъ лицамъ? Не только государственные интересы не требуютъ этого, но, болѣе того, принципъ правовой здѣсь совпадаетъ съ принципомъ экономической и соціальной цѣлесообразности. Того историческаго оправданія нарушенія права, какъ въ земельномъ вопросѣ, здѣсь нѣтъ.

Собственность неприкосновенна, поскольку государственный интересъ не требуетъ отчужденія въ закономъ предусмотрѣнныхъ формахъ, — вотъ принципъ, который нынѣ для крестьянъ столь же важенъ, сколь и для торгово-промышленнаго класса. Защита частной собственности, безъ которой невозможно возрожденіе Россіи, пунктъ, гдѣ интересы крестьянства и городской буржуазіи всецѣло совпадаютъ. Но общій ихъ фронтъ гораздо шире. Въ сущности, вся линія политическаго фронта у нихъ общая.

Позвольте на минуту остановить ваше вниманіе на томъ политическомъ сдвигѣ, который обнаруживается повсемѣстно въ Европѣ. Старыя партійныя группировки рушатся. Намѣчается новая демаркаціонная линія. По одну ея сторону — всѣ, кто хочетъ строить, не отрываясь отъ исторически сложившихся условій, кто хочетъ идти впередъ, не отказываясь отъ накопленной вѣками культуры, кто думаетъ, что нужно совершенствовать старое, а не ломать его. По другую — люди, вѣрящіе въ насильственное переустройство человѣчества по готовому рецепту. Группа мудрецовъ, носителей рецепта счастья, съ помощью диктатуры осчастливитъ людей. Идеи правового государства, идеи демократіи, которыя, казалось, вошли въ необходимый обиходъ европейской культуры, ими отброшены. Новая демаркаціонная линія не совпадаетъ съ противоположеніемъ буржуазныхъ партій, стоящихъ на принципѣ частной собственности, и партій соціалистическихъ. По одну и ту же сторону, вмѣстѣ съ земельной и городской буржуазіей, оказалась и часть рабочей партіи, въ главныхъ государствахъ Европы, большинство ея, та часть, которая заслужила отъ Чичерина наименованіе буржуазной соціалъ-демократіи.

На какую сторону станетъ русскій рабочій классъ? Пережитый опытъ, думается мнѣ, не располагаетъ русскихъ рабочихъ къ рецептамъ быстраго переустройства человѣчества. Въ методы коммунизма они утратили вѣру. Полученный Россіей историческій урокъ не можетъ пройти для нея даромъ. Чужой опытъ не учитъ. Но испытавъ на себѣ всѣ ужасы соціальнаго знахарства, Россія, можетъ быть, ближе къ выздоровленію, чѣмъ кто либо. И, можетъ быть, русскій рабочій классъ дастъ примѣръ участія въ здоровомъ государственномъ и соціальномъ строительствѣ. Тогда создастся почва для дружной работы его и съ крестьянами, и съ торгово-промышленнымъ классомъ.

Наша роль въ этомъ строительствѣ ясна. Для всякой государственной работы нужны два элемента: сознаніе и воля. Сознаніе у насъ сложилось. Сознаніе нашего единства, сознаніе нашей связи съ государствомъ, своихъ правъ, но и своихъ обязанностей предъ нимъ. Нужна лишь воля. Въ этомъ мы всегда болѣе всего страдали. Надо эту волю выковать, надо научиться быть сильными.

Сознаемъ себя сильными, и мы будемъ сильны.

В. Ельяшевичъ.

Матеріалы по Фету.

1. Исправленія Тургеневымъ фетовскихъ „Стихотвореній“ 1850 г.

„Pro captu lectoris, habent sua fata libelli.“

Terentianus.

„Счастливъ художникъ, способный исправлять свои произведенія согласно указаніямъ знатоковъ. Но и тутъ есть извѣстныя границы и опасности. Можно, что называется, записать картину. Это случалось даже съ позднѣйшими изданіями Тютчева, гдѣ алмазные стихи появились замѣненные стразами“. Такъ въ предисловіи къ третьему выпуску „Вечернихъ Огней“ говоритъ Фетъ. Слѣдуетъ сказать, что Фетъ записывалъ картину съ помощью друзей, непонимавшихъ его поэтическаго своеобразія. „Мы до послѣднихъ лѣтъ — сознается Фетъ — предоставляли нашимъ литературнымъ друзьямъ заботиться о сохраненіи и группировкѣ нашихъ произведеній. Такъ всѣ написанныя стихотворенія, вошедшія въ „Лирическій Пантеонъ“ и въ изданіе 1850 г. собраны и сгрупированы рукой Аполлона Григорьева, которому принадлежатъ и самыя заглавія отдѣловъ; такъ сборникъ 1856 года, появившійся въ Петербургѣ во время нашего отсутствія, переправленъ по настоятельному требованію цѣлаго круга друзей, подъ руководствомъ И. С. Тургенева, которому принадлежитъ и небольшое предисловіе къ этому изданію. Эти пестуны и понынѣ выбираютъ достойное, по ихъ мнѣнію, печати . . . Такое отношеніе къ собственнымъ произведеніямъ привело къ совершенной утратѣ тѣхъ стихотвореній, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ случайно ускользнули отъ рукъ нашихъ друзей“ . . . Позже Фета исправляли Н. Н. Страховъ, Вл. С. Соловьевъ, Я. П. Полонскій и другіе, даже, напримѣръ, И. С. Остроуховъ. Въ забытомъ тургеневскомъ предисловіи говорится: „Собраніе стихотвореній, предлагаемое читателю, составилось вслѣдствіе строгаго выбора между произведеніями, уже изданными авторомъ. Многія изъ нихъ подвергались поправкамъ и сокращеніямъ; нѣкоторыя, новыя, прибавлены. Авторъ надѣется, что въ теперішнемъ своемъ видѣ, онѣ болѣе прежняго достойны благосклоннаго вниманія публики и без-

пристрастной критической оцѣнки. С. Петербургъ. 1856 г.“ Воспоминанія Фета останавливаются на корректорской работѣ Тургенева и приводятъ его шуточную импровизацію о томъ, какъ онъ „Фету вычистилъ штаны“, т. е. исправилъ его стихи. Тургеневъ такъ относился къ творчеству Фета (въ письмѣ къ нему): „Фетъ дѣйствительно поэтъ, въ настоящемъ смыслѣ слова: но ему недостаетъ нѣчто весьма важное, а именно такое же тонкое и вѣрное чутье внутренняго человѣка, его душевной сути, каковымъ онъ обладалъ въ отношеніи природы и внѣшнихъ формъ человѣческой жизни. Тутъ не только Шиллеръ и Байронъ, но даже Я. Полонскій побиваетъ его впухъ и впрахъ. Быть тронутымъ и потрясеннымъ черезъ посредство Фетовской Музы такъ же невозможно, какъ ходить по потолку. И потому, при всей его даровитости, его слѣдуетъ отнести къ dii minorum gentium. Ужъ и это не штука: черезъ сто лѣтъ будутъ помнить около 20 красивыхъ его стихотвореній . . . Чего же больше!“ Тургеневъ писалъ о стихахъ Фета: „точно вы ихъ сочинили, и предмета стиховъ вовсе не существовало“. Тѣмъ удивительнѣе та легкость, съ которой онъ его исправляетъ. Это страшное дѣло было предпринято съ экземпляромъ „Стихотвореній Фета. 1850 г.“. Онъ былъ найденъ мною въ архивѣ извѣстнаго московскаго коллекціонера И. С. Остроухова, свойственника Фета (его супруга племянница жены Фета, обѣ урожденныя Боткины). На оборотной сторонѣ лицевого листа помѣтки: рукою Фета — „Надо пересмотрѣть весь Москвитянинъ, Отеч. Записки и Современникъ. Если можно“; рукою Тургенева — „Замѣчаніе: 1. что вычеркнуто совсѣмъ — выкинуть, 2. что подчеркнуто — перемѣнить“. Далѣе весь текстъ исчиркивается тургеневскимъ карандашемъ. Фетъ обычно покорно принимаетъ ту большей частью варварскую, на мой взглядъ, работу, которая надъ нимъ продѣлывается, въ рѣдкихъ случаяхъ отстаивая первоначальный текстъ (борьба изъ за „Фантазіи“ описана въ „Моихъ Воспоминаніяхъ“). Такимъ образомъ то, что считалось за стихи Фета, какъ бы не относиться къ нимъ, есть собственно „Тургенево—Фетъ“ и для обнаруженія подлиннаго Фета необходимо снять позднѣйшую запись, какъ дѣлаютъ съ иконами и фресками: снимая верхній слой обнаруживаютъ первоначальное письмо со всей заостренностью его и сіяющей угловатостью, стертой (часто вмѣстѣ съ красотой) въ угоду обыденной приличности общаго вкуса.

Нѣкоторыя стихотворенія потеряли или почти потеряли первоначальный обликъ.

„Снѣга I“ (по изд. „Нивы“ т. I, стр. 277) — все произведеніе было выдержано въ „Погребальныхъ звукахъ“ и овѣяно дыханіемъ смерти. Оно начиналось:

„Я русской, я люблю молчанье дали м р а з н о й,
Подъ пологомъ снѣговъ какъ смерть однообразной“,

кончалось, что поэтъ любитъ:

„Былинки сонныя иль средь нагихъ полей,
Гдѣ холмъ причудливый какъ нѣкій мавзолей
Изваянъ полночью, круженье вихрей дальнихъ
И блескъ торжественный при звукахъ
погребальныхъ (рукой Тург.: „ ? “).

Ради погребальности — торжественность славянизмовъ: подчеркнутое Тургеневымъ: „мразной“, „иль средь“, замѣненное сразу же Фетомъ: „среди“. Оттого пологъ снѣговъ „какъ смерть“, а былинки „сонныя“. Все это подготовляетъ къ тому, что и холмъ „какъ нѣкій мавзолей“, а надъ нимъ: „круженье вихрей“ — измѣненное Фетомъ: „иль тучи вихрей“ . . . Въ самой природѣ блескъ торжественный и погребальные звуки, подобающіе однообразному какъ смерть пологу снѣговъ. Изъ за непонравившагося Тургеневу славянизма „мразной“ — измѣняются Фетомъ первыя двѣ строчки такъ:

„На пажитяхъ нѣмыхъ люблю въ морозъ трескучій
При свѣтѣ солнечномъ я снѣга блескъ колючій“.

Освѣтивъ солнцемъ картину, Фетъ вычеркнулъ „смерть“, и мавзолей остался необъясненнымъ, особенно когда измѣнилась и послѣдняя строка стихотворенія: вмѣсто „и блескъ торжественный при звукахъ погребальныхъ“ — „На свислыхъ (послѣ: „На бѣлыхъ“) берегахъ и полыньяхъ зеркальныхъ“. Эта замѣна продолжаетъ солнечную свѣтлость второго варіанта („Зеркальныхъ“ и „бѣлыхъ“ — продолжаетъ „свѣтѣ солнечномъ“ и „снѣга блескъ“). Характерно-фетовскій эпитетъ „свислыхъ“ — тоже теряется въ окончательномъ чтеніи:

„На бѣлыхъ берегахъ и полыньяхъ зеркальныхъ“.

Въ стихотвореніи, печатаемомъ теперь — т. I, стр. 196 — осталось только средняя, вторая строфа, отчеркнутая Тургеневымъ въ изданіи 1850 г. Все стихотвореніе никогда не возстанавливалось, а между тѣмъ это стихотвореніе въ изд. 1850 г. по-просту другое стихотвореніе:

„ (Помедли . . . люди спятъ; медлительной царицей
Луна двурогая обходитъ небеса:
Все медлитъ разойтись съ серебрянной
зарницей
И вѣтръ, и облака, и горы, и лѣса.)
Я не пойду туда, гдѣ камень вѣроломный,
Скользя изъ подъ пяты съ отвѣсныхъ береговъ,
Летитъ на хрящъ морской, гдѣ въ морѣ валъ огромный
Придетъ и убѣжитъ въ объятія валовъ.
(Тамъ вѣчный шумъ, тамъ нѣтъ неяснаго сознанья

Какой то святости звѣздолюбивыхъ думъ
И тихой радости нѣмого созерцанья.
Я не пойду туда: тамъ моря вѣчный шумъ)*).

Тургеневъ подчеркнулъ „разойтись съ серебрянной зарницей“ и „святости звѣздолюбивыхъ думъ“ и написалъ, вычеркнувъ первую и послѣднюю строфы: „Удивительно! Изъ этого стихотворенія можно сдѣлать прелесть, если начать тихой картиной ночи и кончить послѣднимъ стихомъ: „я не пойду туда . . . но святость звѣздолюбивыхъ думъ — къ чорту“.

Олицетвореніе, при которомъ вѣтръ, облака, горы, лѣса медлятъ разойтись съ зарницей, — можно счесть натянутымъ, но „какая то святость звѣздолюбивыхъ думъ“ это чисто-фетовскій оборотъ, который жалко было бы утерять, потому что онъ указываетъ, что Фетъ передатчикъ романтическихъ традицій будущему „декаденству“, которое поняло бы и „тихую радость нѣмого созерцанья“. Недаромъ же у Фета въ другомъ стихотвореніи — „Молятся звѣзды“. По требованію Тургенева создалось новое стихотвореніе только средней строфой и отчасти послѣдней строкой напоминающее о первомъ. Царица луна перваго стихотворенія превращается здѣсь повидимому въ царицу-женщину („царица чувствъ, властительница думъ“ — уже не звѣздолюбивыхъ!) Она „подъ мирными звѣздами“; „помедли“ превратилось въ „постой“; „тихая радость“ дала „тишину“:

„Постой — здѣсь хорошо. Зубчатой и широкой
Каймою тѣнь легла отъ сосенъ въ лунный свѣтъ.
Какая тишина! Изъ за горы высокой
Сюда и доступа мятежнымъ чувствамъ нѣтъ**).
Я не пойду туда, гдѣ камень вѣроломный,
Скользя изъ подъ пяты съ отвѣсныхъ береговъ,
Летитъ на хрящъ морской, гдѣ въ морѣ валъ огромный
Придетъ и убѣжитъ въ объятія валовъ.
Одна передо мною подъ мирными звѣздами
Ты здѣсь — царица чувствъ, властительница думъ,
А тамъ придетъ волна и грянетъ между нами . . .
Я не пойду туда: тамъ вѣчный плескъ и шумъ.

*) Взятое въ скобки Тургеневымъ вычеркивалось. Набрано курсивомъ въ текстѣ 1850 г. то, что подчеркивалось Тургеневымъ. Такъ я буду обозначать и дальше. Первоначально я беру всегда текстъ стихотворенія по изданію 1850 г. для удобства. Указываю страницы двухтомнаго Нивскаго изданія; большей частью стихи изъ I тома (тогда я его не указываю). Ю. Н.

**) Курсивомъ то, что напоминаетъ первое чтеніе.

Въ другомъ, передъ этимъ идущемъ стихотвореніи, Фетъ, можетъ быть, не желая утерять образъ царицы — луны замѣняетъ имъ оригинальную „корону“:

„Когда мечтательно я преданъ тишинѣ
И вижу на небѣ к о р о н у ясной ночи,
Когда у . . . . . заблещутъ въ вышинѣ
И сномъ у Аргуса начнутъ смыкаться очи“.

Тургеневъ написалъ: „(перем. N B) — замѣнить что нибудь эти точки, которыя портятъ прекрасное стихотвореніе“ („что нибудь“ вмѣсто „чѣмъ нибудь“ — тургеневская описка). Точекъ 8 и онѣ могутъ означать „ангеловъ“, т. к. „ангелы“ въ то время преслѣдовались цензурой и „ангелъ“ „Соловья и Розы“ — фетовской баллады — еще когда она печаталась въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“ обозначался соотвѣтствующимъ количествомъ точекъ. Фетъ пишетъ на поляхъ:

„ И вижу кроткую царицу ясной ночи
Когда алмазныя заблещутъ въ вышинѣ созвѣздія“.

Окончательная редакція (курс. мой Ю. Н.):

„Когда мечтательно я преданъ тишинѣ
И вижу к р о т к у ю ц а р и ц у ясной ночи
Когда с о з в ѣ з д і я заблещутъ въ вышинѣ
И сномъ у Аргуса начнутъ смыкаться очи“.

Эпитетъ „к р о т к у ю“ созвученъ со словомъ „к о р о н у“, что указываетъ на ту особенность, что Фетъ руководился въ своихъ замѣнахъ не столько слѣдуя за смысломъ, сколько за звукосочетаніемъ, м. б. этимъ объясняется второй варіантъ „алмазныя“, вмѣсто точекъ очевидно обозначающихъ „а н г е л о в ъ“ — потомъ вытѣсненный 3-имъ варіантомъ — „созвѣздія“. Но объ этомъ придется много говорить, о Фетовской чуткости къ звуковой сторонѣ стиха. Пока мнѣ было важно только появленіе „царицы ночи“ — луны по второмъ варіантѣ, взамѣнъ уничтоженной въ другомъ стихотвореніи.

Стих. „Эхъ шутка — молодость“ (281) тоже измѣнило свой смыслъ, какъ „Снѣга I“ и „Помедли . . . люди спятъ“, оттого что выкинуто восемь строкъ. Въ чтеніи 1850 г. представлена ночная Москва и онъ бѣжитъ . . . куда? — Конечно къ ней. Даже если считать эти строки несовершенными, какъ можно было ихъ выкидывать? „А романтическая . . . несомнѣнно напускная любовь“ — весело напоминалъ Фету объ этомъ времени Полонскій въ ста-

рости (см. мою статью „Исторія одной дружбы“ — „Рус. Мысль“, 1917). Это любовь, вѣроятно, которая описана Фетомъ въ поэмѣ „Студентъ“ — описывающей время, когда онъ жилъ на антресоляхъ, въ семьѣ своего товарища Аполлона Григорьева. Послѣ строки: „Доходитъ бой часовъ порывистѣй и туже“ (раньше стояло „прерывистѣй“) — шло то мѣсто, о которомъ Тургеневъ написалъ: „Выкинуть или пожалуй перемѣнить“ и которое такъ и осталось забытымъ:

„Бѣгу! Тамъ нѣжная и трепетная та
Несетъ на поцѣлуй дрожащія уста,
Чье имя, близь меня помянуто безъ цѣли,
Не дастъ мнѣ до зари забыться на постели;
Чей хорохъ медленный ужь издали меня
Кидаетъ въ полымя мгновенно изъ огня
И чей глубокій взоръ исполненный вниманьемъ
Наполнилъ жизнь мою безумствомъ и страданьемъ“.

Въ стих. (305): „Полно спать тебѣ двѣ розы“ — 2-я строфа вновь обращалась къ ней:

„Дрожь въ рукахъ твоихъ, угрозы
Помню я — но дремлешь ты“.

Тургеневъ написалъ: „перем. оставивъ риѳму: угрозы“. Замѣна:

Вешнихъ дней минутны грозы
Воздухъ чистъ, свѣжѣй листы“ . . .

Неясно какъ въ I-мъ варіантѣ, что „грозы“ относится къ ней.

Въ стих. „Теплымъ вѣтромъ потянуло“ (I, 260) послѣ картины общаго сна природы и человѣка

„Звѣзды чистыя (исправлено: „частыя“) зажглися
По (испр. „подъ“) навѣсу (навѣсомъ) мглы
Только хоръ свой о г и б а е т ъ (рукой Тург. „перем“).
Мѣсяцъ золотой,
Только стадо обѣгаетъ
Песъ сторожевой.
Да и тотъ задремлетъ чутко —
Не усну лишь я.
О г о н е к ъ б л е с н у л ъ . . . М а л ю т к а
В ѣ р н о ж д е т ъ м е н я“ (Тур.: „перем.“) (Курс. Тургенева).

„Огибаетъ“ такъ созвучно риѳмуется съ „обѣгаетъ“. „Огибаетъ“ такъ выразительно для мѣсяца: вѣдь „звѣзды чистыя“ его

хоръ. Тутъ два какъ бы круга: верхній —мѣсяцъ и звѣзды, гдѣ стражъ огибающій ихъ мѣсяцъ, и нижій — стадо, его обѣгаетъ сторожащій песъ. Тургеневъ не понялъ фетовскаго словечка „огибаетъ"; звѣзды чистыя (Тургеневъ хотѣлъ „частыя", но Фетъ отстоялъ) зажглись „подъ навѣсомъ мглы": это можно даже понимать символически, имѣя въ виду что Фетъ романтикъ и во всякомъ случаѣ, что звѣзды зажглись „подъ" не противорѣчитъ природности, какъ вѣроятно думалъ Тургеневъ, если разсматривать звѣзды и мглу въ плоскости неба, невысоко надъ горизонтомъ. Все стихотвореніе было подготовкой къ тому, чтобы „огонекъ блеснулъ" (очевидно въ окошкѣ) у ожидающей малютки. Эта малютка такъ же необходима какъ воспоминаніе о юношеской любви, выкинутое въ стих. „Эхъ шутка—молодость". Когда Тургеневъ потребовалъ, чтобы малютка не существовала, Фетъ какъ будто растерялся. „Только хоръ свой огибаетъ" онъ замѣняетъ: „только тучки прорѣзаетъ". Но разъ звѣзды зажглись не по навѣсу, а подъ навѣсомъ, то и мгла, а слѣдовательно и тучки всѣ остались внизу (оттого звѣзды такія чистыя или же частыя), поэтому ихъ нельзя „прорѣзывать". Это, или другія соображенія, заставили Фета перемѣнить:

„Только выше все всплываетъ".

Конецъ въ первомъ варіантѣ:

„Только стадо обѣгаетъ
Песъ сторожевой,
Да и тотъ задремлетъ чутко
Въ темномъ шалашѣ.
Кто то крикнулъ — вѣрно утка
Въ сонномъ камышѣ".

Но чувствуя, что утка какъ то совсѣмъ никчему, Фетъ закончилъ:

„Только стадо обѣгаетъ
Песъ сторожевой.
Рѣдко-рѣдко кочевая
Тучка броситъ тѣнь.
Неподвижная, нѣмая
Ночь свѣтла какъ день.

Картина разрѣшилась въ нѣмую, свѣтлую, какъ день, ночь, а трогательная малютка безвременно погибла.

Въ цѣломъ рядѣ стиховъ выпущены концы, которые ихъ разъясняли. Стих. (254) потеряло послѣднюю строфу:

„Лѣтній вечеръ тихъ и ясенъ,
Посмотри, какъ дремлютъ ивы!
Западъ неба блѣдно-красенъ
И рѣки блестятъ извивы,
Отъ вершинъ скользя къ вершинамъ

Вѣтръ ползетъ лѣсною высью.
Слышишь ржанье по долинамъ?
То табунъ несется рысью.
(Да оставь окно въ покоѣ,
Подожди еще немножко —
Я не знаю что такое,
Полетѣлъ бы я въ окошко).

По поводу сравненія у Гафиза глаза красавицы съ жестокимъ негромъ, Фетъ въ примѣчаніи къ своему переводу (т. II, 203) пишетъ: „Вотъ истинный скачекъ съ 7-го этажа, — зато какая прелесть!" Въ его статьѣ о Тютчевѣ („Рус. Сл." II, 1859, с. 75) говорится: „лирическая дѣятельность... требуетъ... безумной, слѣпой отваги... Кто не въ состояніи броситься съ седьмого этажа внизъ головой съ непоколебимой вѣрой, что онъ воспаритъ по воздуху, тотъ не лирикъ". Въ выпущенной строфѣ никчему для невнимательнаго взгляда говорится:

„Я не знаю что такое
Полетѣлъ бы я въ окошко".

Это все тотъ же лирическій полетъ, вызванный созерцаніемъ въ окнѣ лѣтнаго вечера, полетъ вдохновенія. Сохраненіе этого образа необходимо для стихотворенія, которое такимъ образомъ изъ пейзажа дѣлается стихотвореніемъ психологическимъ, проникающимъ въ безумствующую душу поэта-вакханки (такъ его представлялъ себѣ Фетъ).

Фетъ писалъ Полонскому: „Кто развернетъ мои стихи, увидитъ человѣка съ помутившимися глазами, съ безумными словами и пѣной на устахъ, бѣгущаго по камнямъ и терновникамъ въ изорванномъ одѣяніи. Всякій имѣетъ право отвернуться отъ несчастнаго сумасшедшаго, но ни одинъ добросовѣстный не заподозритъ манерничанья и притворства". („Ист. одной дружбы"), а между тѣмъ въ другомъ стихотвореніи (I, с. 333) уничтожено полюбившееся Фету безуміе.

„Улыбка томительной скуки
Средь общей веселія жажды...
Вы полные, сладкіе звуки —
Знать сердцу не слушать ихъ дважды.
(Подъ сладостный голосъ родного,
Въ завѣтной святынѣ раздумья,
Такъ много трепещетъ былого,
И молитъ у сердца безумья,
Но ѣдкія слезы разлуки
Душевной не уняли жажды: —

Вы полные, сладкіе звуки
Знать сердцу не слушать ихъ дважды.)
Зачѣмъ же за тающей скрипкой
Такъ сердце въ груди встрепенулось". . . и т. д.

4-я строка измѣнена: „Знать васъ не услышать мнѣ дважды". Двѣ же дѣйствительно нѣсколько растягивавшія стихотвореніе строфы выкинуты Тургеневымъ какъ разъ за: „молитъ у сердца безумья", т. е. за то безуміе, возрождаемое для Фета былымъ, которое пожалуй ему было важнѣе всего. Изъ пятижды повторяемаго „сердца" — музыкальной темой проходящаго черезъ все произведеніе — осталось два.

У Фета была нѣкоторая страсть къ разсудительности и символичности и ее отчасти умѣрялъ Тургеневъ. Стих. „Ночью какъ-то вольнѣе (188), гдѣ описанъ Петербургъ и „мѣсяцъ волшебникъ" — кончалось:

„. . . сонъ налетаетъ на вѣжды,
Свѣтелъ, какъ призракъ.
Голову клонитъ, — а жаль отойти отъ окошка.
Чтобы проплыть тому облаку мимо!
На что ему мѣсяцъ?
Знать ужъ такъ должно, такъ предназначено было".

Облако, какъ лермонтовская тучка, что стремилась къ груди утеса великана, — плыветъ къ мѣсяцу, потому что такъ предназначено.

Этотъ символическій конецъ, не особенно удачный, опускается и послѣдняя строка читается:

„Голову клонитъ, — а жаль отъ окна оторваться".

Въ стих. „Еще весна" (294) описывается поэтъ, идущій по саду рядомъ съ темнымъ профилемъ своей тѣни:

„Полуодѣвшись вѣтви предаютъ
Лазурь небесъ — туманъ подернулъ траву
И я иду и радъ святому праву
Ходить — иду, и соловьи поютъ".

„Предательство" вѣтвей и „святое право ходить" — подверглись тургеневскому сомнѣнію очевидно за разсудочность. Такъ же, какъ дальше искупленіе.

„А будетъ время снова искупить
Весна природу будетъ торопиться.
Но это сердце перестанетъ биться
И ничего не будетъ ужъ любить".

Очевидно весна должна была искупить то предательство вѣтвей.

Фетъ замѣняетъ: „Полуодѣвшись вѣтви предаютъ“ сначала:

„Между вѣтвей сквозитъ и тамъ и тутъ,
„Еще скудна одежда и дубравѣ“ и дальше.
„И я иду и радуюсь что вправѣ“. . . . .

Это набросокъ пока еще не отточенный, довольно безсмысленный. Окончательно:

„Еще аллей не сумраченъ пріютъ,
Между вѣтвей небесный сводъ синѣетъ,
И я иду, душистый холодъ вѣетъ
Въ лицо — иду — и соловьи поютъ“.

Строка „А будетъ время снова искупить“ Фетъ исправляетъ сначала: „А будетъ время пышно обновить“. Но Тургеневъ написалъ? „Непонятно. Перем.“

Послѣдній варіантъ :(курсивъ мой)

„Придетъ пора, и скоро, можетъ быть, —
Опять земля взалкаетъ обновиться.
Но это сердце перестанетъ биться
И ничего не будетъ ужъ любить“.

Рефлексія уничтожена, осталась одна природа. Здѣсь Тургеневъ можетъ быть и былъ правъ, хотя уничтожая фетовскую рефлексивность, онъ уничтожалъ его какую то неизбѣжную и настойчивую особенность, какъ поэта-романтика.

Къ замѣнамъ этого типа принадлежатъ:

„Полуночные образы воютъ
Какъ духовъ испугавшійся песъ,
Я боюся они мнѣ откроютъ,
Что я самъ ихъ призывъ произнесъ“.
(I, 344)

Въ послѣднихъ (подчеркнутыхъ Тургеневымъ) словахъ — никакого образа, а чистое разсужденіе. Тогда же было распространено убѣжденіе Бѣлинскаго, что поэзія — мышленіе образами. Фетъ на поляхъ пытается дать замѣну этихъ строкъ:

1) „И на грудь мнѣ кидаяся (зачеркн.: „моя и рыдая“) [рокотъ
Какъ (пр) ночные прибои утесъ
2) „То нахлынутъ то бѣздну („ѣ“) откроютъ
Какъ волна обнажаетъ утесъ.

Вторая замѣна сдѣлалась (безъ орфографической ошибки) окончательной. Вмѣсто „философіи“ появился образъ, но чрезвычайно банальный („волна обнажаетъ утесъ“).

Въ стих. „Весна“ (286) гдѣ:

„И въ душу мощно просятся
Блистательные сны“ (подчеркнуто Тургеневымъ)

Замѣнено болѣе слабымъ (курс. мой):

„И въ душу снова просятся
Плѣнительные сны.

Послѣ:

„Шумитъ толпою праздною
Народъ чему то радъ“;

шли двѣ зачеркнутыя карандашемъ строфы:

„Дитя тысячеглавое,
Не знаетъ онъ, что въ немъ
Привѣтно величавое
Зажглось святымъ огнемъ;
Что жизни тайной жаждою
Невольно жизнь полна;
Что надъ душою каждою
Проносится весна“.

Тургеневъ подчеркнулъ перечисляющее „что“. Въ варіантѣ появилась трафаретная „мечта“ и исчезло неуклюже-оригинальное „дитя тысячеглавое“: вмѣсто двухъ строфъ — одна:

„Какой то тайной жаждою
Мечта распалена
И надъ душою каждаго
Проносится весна.

Иногда Тургеневъ исправляетъ неясности. Напримѣръ о лунѣ, которая:

„. . . Между листьевъ сирени и липы
Черныя групы дѣля зыбкимъ находитъ лучемъ
Всѣ промежутки . . . .“ (184, „Любо мнѣ“)

„Находитъ лучемъ“ дало „проходитъ“. О „промежуткахъ“ Тургеневъ написалъ: „неясно, перемѣнить“. Вмѣсто „Всѣ промежутки“ — „Между вѣтвями“, нѣчто болѣе конкретное, хотя вто-

рой разъ ненужно повторяется „между“ („между листьевъ“). Или въ стих. „Если зимнее утро“ (325), гдѣ „Предо мною ты вся создана“ превратилось сначала (зачерк. „свѣ“) „легка и ясна“ — послѣ: „словно Ты изъ лучей создана“.

Романтическое стихотвореніе (185) „Каждое чувство бываетъ понятнѣй мнѣ ночью“ — кончалось въ изданіи 1850 г.:

„. . . думы — волна за волной, —
А между тѣмъ еще глубже сокрытая сила объемлетъ
Лампы и звуки и ночь ихъ сочетавши въ одно,
Такъ посвящая все больше и больше [пытливую душу
Ночь научаетъ ее міръ созерцать и себя.

Оттого каждое чувство и понятнѣе ночью, что душа научается міросозерцанію.

Фету — будущему поклоннику и переводчику Шопенгауэра — не долженъ звучать упрекомъ возгласъ Тургенева на поляхъ: „Къ чорту философія“. Но Фетъ, послушный, старается измѣнить конецъ. Послѣ философскаго конца поэтъ-мудрецъ хочетъ сдѣлать скачокъ къ чему то другому. Онъ вспоминаетъ что онъ поэтъ-эротикъ и оканчиваетъ стихотвореніе такъ:

„Если дано человѣку увидѣть Психею нагую
Вѣрно доступнѣй всего дѣва въ подобную ночь“.

Но, очевидно, вспоминая, что всеобъемлющая сила ночи его учила другому созерцанію, онъ кончаетъ:

„Такъ между влажно-махровыхъ цвѣтовъ снотворнаго [мака
Полночь роняетъ порой тайные сны наяву“.

Въ эротизмѣ Фета упрекали его современники изъ интеллигентскаго монастыря, забывая, что онъ черпаетъ свои поэтическія струи изъ пушкинскихъ истоковъ. Тургеневъ склонный даже къ вульгарной чувственности (въ „Полѣ“), для Фета какъ лирика — строгій цензоръ.

О стихотвореніи (179)

„Ея не знаетъ свѣтъ, она еще ребенокъ,
Но очеркъ головы у ней такъ дивно тонокъ,
И такъ подвиженъ склонъ ея округлыхъ [плечъ,
Что дней недальнихъ грезъ у ней не [устеречь.
Дохнетъ тепло любви . . .“

Тургеневъ, по поводу подчеркнутыхъ (имъ) строкъ написалъ: „этотъ стихъ — какъ червякъ на розѣ“.

Чувственныя стремленія, объясняемыя тѣмъ, что „дохнетъ тепло любви“, нашли художественное воплощеніе въ поэтѣ-эротикѣ. Замѣна:

„И сколько томности во взглядѣ кроткихъ глазъ
Что дѣтство мирнаго послѣдній близокъ часъ“

Но съ другой стороны въ стих. „Утромъ курится поляна“ (II, 130), вычеркнутомъ со многими другими въ изд. 1856 г., но потомъ возстановленномъ, Тургеневъ отмѣтилъ строки:

„Утро какъ сонъ новобрачной
Полно стыда и огня“.

Тургеневъ на этотъ разъ понялъ всю прелесть фетовской эротики и написалъ: „Сохранить эти прекрасные два стиха для будущаго стихотворенія“.

Въ „Право отъ полной души“ (I.166) первоначально:

Вечера прелесть вдыхать выйдетъ сосѣдка одна
Веспера тайны въ пѣвцѣ пробудятъ желаніе воли,
И подъ окномъ соловей громко засвищетъ любовь.
Что за чело у нея, за атласныя плечи и руки
Что за янтарный отливъ на роскошныхъ извивахъ [волосъ,
Станъ заглядѣнье! Притомъ какая вертлявая ножка.
(Впрочемъ зачѣмъ мнѣ роптать на высокій заборъ?
Въ эту щель можетъ быть лучше она мнѣ кажется. Трудъ [наслажденья
Цѣну ему удвояетъ . . . Но вечеръ насталъ . . .)
Что жъ не поетъ соловей? Или — что жъ не выходитъ [сосѣдка,
Можетъ сегодня мы всѣ трое другъ друга поймемъ“.

Вся „острота“ Фета состоитъ въ сочетаніи возвышеннаго стиля („Веспера“, „чело“) съ фривольностью („вертлявая“). Затѣмъ тутъ же тяжеловѣсныя разсужденія по поводу такой рѣзвой чисто античной реальности, какъ щель. Тургеневъ измѣнилъ все. „Веспера тайны“ идущія въ созвучіи съ „Вечера“, начинающаго предыдущую строчку, гораздо лучше, чѣмъ „тѣни ночныя“, какъ замѣнилъ Фетъ по повелѣнію Тургенева. Вычеркнутое совсѣмъ Тургеневымъ другое стихотвореніе начинается: „Долго еще прогоритъ Веспера скромная лампа“. „Весперъ“ не случаенъ для Фета. „Что за чело у нея“ замѣнено менѣе торжественнымъ: „Что за головка у ней“. Реальность фетовской поэтической чувственности „атласныя плечи“ — „бѣлыя плечи“. Пропала и игривая „вертлявая ножка“ — „лукавая ножка“. Три строки о щели въ заборѣ замѣнены одной: „Будто бы драз-

нитъ мелькая. . . Но вечеръ давно ужъ насталъ" (подчеркнутое — нововведеніе).

Стих. 280 — „На двойномъ стеклѣ узоры
Начертилъ морозъ"

кончалось: Ты давно не отдыхала
Ты утомлена.
(Этотъ миръ души прекрасной
На твоемъ челѣ
Какъ дыханье ночи ясной
На двойномъ стеклѣ.
Но люблю я утомленье
Это созерцать
. . . . . .
. . . . . .
Въ торжествѣ успокоенья
Свѣтлой красоты
Безъ улыбки, безъ движенья,
Мнѣ понятна ты).

Подъ точками очевидно скрывается вычеркнутая цензурой вольность. Возстанавливать ее Фетъ, руководимый Тургеневымъ, боится. Сначала онъ хочетъ оставить первыя четыре строки изъ вычеркнутаго, замѣнивъ: „Этотъ миръ души прекрасной" — „Пусть засвѣтитъ миръ прекрасной" (старая форма вмѣсто „прекрасный"). Фета прельщаетъ закончить тѣмъ двойнымъ стекломъ, которымъ онъ началъ, вправивъ въ него какъ въ рамку свое стихотвореніе. Тогда конецъ былъ бы такой:

„Пусть засвѣтитъ миръ прекрасной
На твоемъ челѣ
Какъ дыханье ночи ясной
На двойномъ стеклѣ".

Тогда уничтожается имѣвшееся въ дальнѣйшемъ „успокоенье свѣтлой красоты", безъ котораго Фету не хочется обойтись, И вотъ онъ ищетъ: „Полонъ сладкою" . . . „тихою", „нѣжной" . . . пока не находитъ:

„Полонъ нѣжнаго волненья,
Сладостной мечты
Буду ждать успокоенья
(зачеркнуто: „Свѣтлой") Чистой красоты".

Строфа „Пусть засвѣтитъ" съ повтореніемъ вступительнаго „двойного стекла" исчезла вовсе. „Буду ждать успокоенья" — будущее время, вмѣсто „Въ торжествѣ успокоенья". Фетъ еще не дождался, какъ въ первомъ варіантѣ, гдѣ сначала цензоръ, а послѣ Тургеневъ нещадно выправляли его.

„Свѣтлой красоты“ дало „Чистой красоты“ — знаменитый пушкинскій эпитетъ къ красотѣ изъ „Я помню чудное мгновенье“ („геній чистой красоты“ — А. П. Кернъ.)

Въ Фетѣ сильна не только эротичность, но тѣлесность ощущенія вещей, особенно связанныхъ съ любимой жешиной.

Стих. (I. 116): „Перекрестокъ, гдѣ ракитка
И стоитъ и спитъ. . . .
Тихо ветхая калитка
За плетнемъ скрипитъ.
(И отвѣтъ какъ голосъ рока
Прозвучитъ врасплохъ.
Тѣлогрѣйку имъ высоко
Приподниметъ вздохъ).
Кто-то крадется сторонкой;
Санки пробѣгутъ —
И вопросъ раздастся звонкій:
Какъ тебя зовутъ?

Средняя строфа — вычеркнута. Можетъ быть и слишкомъ отвлеченно, но какъ хорошо все-таки для романтической дѣвушки что „отвѣтъ, какъ голосъ рока“. И уже совершенно плѣнительна своей осязательностью тѣлогрѣйка, приподнимаемая сразу и отвѣтомъ роковымъ и вздохомъ.

Фетъ не хотѣлъ уступать, предлагаетъ варіантъ:

„Что то снится, что сдается
Дѣвѣ молодой
Кто, и какъ то отзовется
Онъ въ тиши ночной“.

Кто-то — не замѣнилъ тѣлогрѣйки, и Фетъ отказался отъ всей строфы.

Стих. (с. 279): „Ночь свѣтла, морозъ сіяетъ, —
Выходи! Снѣжокъ хруститъ,
Пристяжная озябаетъ
И на мѣстѣ не стоитъ.
Сядемъ, полость застегну я, —
Ночь свѣтла и ровенъ путь . . .
Ты умолкнешь, замолчу я, —
И пошелъ куда нибудь!
(И летучею звѣздою
Зимней ночью при лунѣ
Я душѣ твоей раскрою
Все, что ясно будетъ мнѣ.)

Тургеневу не понравилось повтореніе „умолкнешь — замолчу я“. Подчеркнутое имъ „умолкнешь“ замѣнено Фетомъ: „ни слова“ („Ты ни слова — замолчу я“).

Послѣдняя строфа въ духѣ фетовской разсудительности: „Я душѣ твоей раскрою“. Для Фета стихотвореніе ясно не кончалось двумя строфами и онъ предлагаетъ варіанты з-ей:

Первый — „Въ вихорь пыли своевольно
Злая (пара) тройка унесетъ
И рука твоя невольно
Крѣпче руку мнѣ сожметъ“.

То что ему было „ясно“ и что онъ хотѣлъ ей раскрыть — теперь воплотилось въ актѣ — рукопожатіи. Въ другомъ варіантѣ еще больше конкретности чисто фетовской (курс. мой):

„безъ мечтаній, безъ печали
Будемъ по полю скакать,
Чтобы мысль твоя вуали
Не успѣла обонять“.

Тутъ еще больше той тѣлесности, которая въ строкахъ о тѣлогрѣйкѣ. Мысль, не успѣвающая обонять вуали (надо представить себя всю стремительность саннаго движенія!) — этого модернизма, остраго и оригинальнаго, Тургеневъ не могъ окончательно стерпѣть, и стихотвореніе осталось неполнымъ, усѣченнымъ, безъ послѣдней строфы.

Въ стих. (305) „Спи, еще зарею
Холодно и рано.
Звѣзды за горою
Свѣтятъ средь тумана“ . . .

По поводу этого стихотворенія Полонскій писалъ Фету старикомъ: „у тебя иногда тонкая лирическая струя, что безнадежно ломаетъ и грамматику:

Звѣзды за горою
Свѣтятъ сквозь тумана.

И невѣрно, и незамѣнно! Я зналъ эти стихи наизусть, а мнѣ и въ голову даже не приходило, что за горою звѣздъ не видишь и что сказать „сквозь туманъ“ правильнѣе, чѣмъ „сквозь тумана“. (см. „Исторію одной дружбы“).

Фетъ не поправилъ Полонскаго, можетъ быть вначалѣ и было „сквозь“, а не „средь тумана“ — Полонскій могъ знать самый первый варіантъ, какъ другъ Фета еще со студенческой скамьи. Но у

Полонскаго была такая память, что онъ могъ и ошибиться, Фетъ же, мы видимъ, какъ философски относился ко всякимъ искаженіямъ его стиховъ.

Это стихотвореніе, которое нравилось Полонскому, кончалось такъ:

„Дышатъ липъ верхушки
Нѣгою отрадной.
А углы подушки
Влагою прохладной.
(Скоро вспыхнутъ тучки
Горы и потоки,
А у блѣдной ручки
Молодыя щечки).

Грамматика и тутъ „сломана". Неясно какъ вспыхнутъ и тучки, и горы, и потоки. Но жаль терять игривую блѣдную ручку. Фетъ предлагаетъ варіантъ угловатый и тяжеловѣсный, тоже исключенный:

„Ласточка лепечетъ
День идетъ (придетъ), не спроситъ,
А войдетъ безъ спросу
И твою разброситъ
Золотую косу".

(*Окончаніе слѣдуетъ*).

Юрій Никольскій.

Большевики и прочіе соціалисты.

1.

Для теоретическаго предвидѣнія хода русскихъ событій (предвидѣнія, не исключающаго, разумѣется, возможности счастливыхъ историческихъ случайностей, но, въ качествѣ предвидѣнія теоретическаго, не могущаго и считаться съ ними) — необходимо прежде всего задаться вопросомъ: имѣются ли въ русскомъ идейномъ оборотѣ революціонные по отношенію къ большевизму и обладающіе надлежащей взрывчатой силой этико-политическіе элементы?

Надежды на революцію въ Россіи связываются съ дѣятельностью и пропагандой т. н. „умѣренныхъ соціалистовъ". Допуская условно существованіе въ руской природѣ такой разновидности, слѣдуетъ подвергнуть провѣркѣ ея революціонную боеспособность. Слѣдуетъ помнить, что эта „умѣренность" — двустороння, двулика: если умѣренна оппозиція соціалистовъ по отношенію къ либеральной идеологіи, то умѣренна и ихъ идейная вражда къ коммунизму. Терминологическое мастерство большевиковъ, быть можетъ, безсознательно, но ярко изобразило ситуацію: меньшевики и эсъэры — не „буржуазная контръ-революція", а „соціалъ-предатели". Ихъ крамола не перестаетъ быть соціалистической, и соціалистическимъ же остается аттакуемое ими государство. И это-то тождество предикатовъ обращаетъ крамолу въ малоопасную для большевизма фронду.

Способны ли соціалисты произвести революцію въ Россіи? — въ эту форму приходится намъ теперь облечь поставленный выше вопросъ.

2.

Въ каждой революціи заложена максималистская тенденція. Революціонную идеологію характеризуетъ абстрактный радикализмъ, непримиримый въ отношеніи къ составнымъ элементамъ разрушаемаго режима. Съ этой непримиримостью соразмѣрна утопичность революціонныхъ постулатовъ, контрастирующихъ съ изжитой исторической дѣйствительностью. И обѣ онѣ, непримиримость и утопичность, пропорціональны степени разложенія и омертвѣнія до-революціоннаго режима.

Пока мы пользуемся преимуществомъ опираться на трюизмы. Но съ объективно-психологической точки зрѣнія, можетъ быть,

правильнѣе не говорить объ утопичности и максималистически-разрушительномъ доктринерствѣ революціонныхъ идей: это — понятія относительныя и заложена въ нихъ мысль о значеніи (предполагается — гибельномъ значеніи) революціоннаго „перегрѣва" для послѣдующихъ судебъ страны; между тѣмъ въ дѣйствительности значеніе это можетъ быть глубоко различно въ зависимости отъ исторической обстановки, абсолютная же сущность революціоннаго процесса — а ее-то именно и имѣется въ виду характеризовать — остается неизмѣнной. Правда, до недавняго времени трудно было себѣ представить, чтобы безудержность революціоннаго разрушенія, максималистскій разрывъ съ соціально-политическимъ настоящимъ страны могли иначе, какъ гибельно отозваться на судьбѣ страны; и нужно было особое изощреніе фантазіи, чтобы вообразить такую соціально-политическую ситуацію, при которой смертнымъ приговоромъ была бы „эволюціонная" програма преобразованій, и благовѣстомъ — безпощадная и безоглядная революціонная ликвидація. Но словно для того, чтобы научить теоретиковъ отличать самую природу революціоннаго процесса отъ его послѣдствій—мертвящихъ въ однихъ случаяхъ, животворныхъ въ другихъ, капризница исторія послала имъ Совѣтскую Россію. Теперь мы знаемъ примѣръ, когда утопичнымъ, безпочвеннымъ и доктринерскимъ является сдержанный и осторожный „минимализмъ", и тутъ мы почти готовы апплодировать горделивому девизу, вчера еще столь популярному у теперешнихъ политическихъ скромниковъ: „Духъ разрушенія есть творческій духъ".

Перестанемъ же говорить о „демонѣ" разрушенія, витающемъ надъ революціями, и постараемся съ чисто-объективной, психологической точки зрѣнія уловить духъ революціоннаго процесса, духъ, тождественный и въ существѣ своемъ неизмѣнный, независимо отъ конкретной исторической обстановки. Сдѣлать это необходимо, если мы хотимъ взвѣсить шансы новой, противобольшевицкой революціи въ Россіи и если слово „революція" мы принимаемъ въ серьезъ.

3.

Если революція — слѣдствіе болѣзненнаго состоянія соціальнаго организма: разлада между правовымъ сознаніемъ правящихъ и управляемыхъ, — то наступаетъ она не при первыхъ симптомахъ болѣзни, не при первомъ же легкомъ недомоганіи. Назрѣваніе кризиса требуетъ времени, и за это время въ общественной психикѣ совершаются важныя измѣненія и перемѣщенія: прогрессирующее накопленіе антипатіи къ существующему порядку вещей. Накопленіе это не ограничивается усиленіемъ правового протеста, доведеніемъ его до той напряженности, при которой возможенъ становится революціонный взрывъ; нѣтъ, съ этой интенсификаціей

недовольства неразлученъ другой процессъ и въ немъ-то ключъ къ уразумѣнію того, что скрывается подъ обычными толками о максимализмѣ или — по старинному — нигилизмѣ революціонной идеологіи.

Дѣйствительно больной пунктъ соціальнаго строя (напр., въ Россіи пережившее себя крѣпостное право), вызвавшій въ обществѣ этическую оппозицію, скоро перестаетъ быть ея единственной мишенью. Если исцѣленіе не удается достаточно быстро и соціальная хвороба достаточно серьезна*), начинается опаснѣйшая эра воображаемыхъ болѣзней. Въ силу процессовъ, которые одинъ современный и недавно еще соотечественный намъ психологъ и соціологъ назвалъ „эмоціональной аберраціей", режимъ, ставшій объектомъ этической антипатіи, надѣляется въ сознаніи общества мнимыми недостатками и пороками, значеніе наличныхъ изъяновъ преувеличивается, и это безсознательное „оклеветаніе" и охужденіе не ограничивается даннымъ обветшавшимъ институтомъ, но переносится на сосѣдствующіе элементы правопорядка и, въ случаѣ затяжки кризиса, соціальная антипатія неудержимо распространяется на все то, что ассоціировано въ общественномъ представленіи съ ненавидимымъ порядкомъ вещей.

Ирраціональный по своей природѣ, процессъ этотъ, т. ск., не разбираетъ правыхъ и виноватыхъ. Жертвой его неизбѣжно падаютъ весьма почтенные и заслуженные элементы традиціоннаго правового и моральнаго уклада, далеко не исчерпавшіе еще своего историческаго призванія. Чрезвычайно характерна въ этомъ смыслѣ враждебность революцій къ церкви: по существу нейтральная, церковь платится за свое внѣшнее союзничество съ государственной властью.

Огульное осужденіе существующаго строя вытѣсняетъ консервативные элементы изъ общественной психики — возникаетъ то состояніе идейнаго разрыва съ исторической дѣйствительностью, тотъ непримиримый радикализмъ, которые характеризуютъ революціонную психологію.

Однажды доведенная до этическаго кипѣнія въ крестьянскомъ дѣлѣ, русская интеллигенція предрасположена была къ рѣзко-оппозиціонному трактованію смежныхъ вопросовъ — о поземельномъ бытѣ крестьянъ. Создалась злополучная, но цѣпкая легенда о „вѣковыхъ народныхъ чаяніяхъ", общественная антипатія перебросилась на существующій аграрно-экономическій строй вообще, затѣмъ — на поддерживавшую его государственную власть. Дви-

*) Проблема крѣпостного права — источникъ русскаго революціонерства. Ея затянувшееся рѣшеніе дало рожденіе революціонному народничеству, проложившему затѣмъ путь западному соціализму. Опозданіе, котораго опасался Освободитель, не было предотвращено; опозданіе, страшное не безпорядками „снизу", а привитіемъ революціонной бациллы образованному обществу.

женіе сразу же приняло буйный анти-монархическій характеръ, заливъ собою шедшія изъ другихъ сферъ конституціонныя стремленія, которыя оно „поддержало“ такъ, какъ пособляютъ спускающемуся съ утеса альпинисту, перерѣзая веревку и тѣмъ „ускоряя“ его движеніе къ подножію.

Никто не заподозритъ насъ, конечно, въ отрицаніи объективныхъ причинъ революціоннаго движенія. Безъ объективно-наличнаго соціальнаго зла не было бы этической бури, а безъ нея не было бы и аберраціи. Но за то аберрація эта — непремѣнный спутникъ разъ начавшагося соціальнаго недуга, психическій факторъ, фатально извращающій оцѣнки исторической дѣйствительности общественнымъ мнѣніемъ и обрекающій общество на соціально-политическій нигилизмъ. Надъ русской интеллигенціей тяготѣетъ обвиненіе въ антигосударственности. Это — или несправедливость, или плеоназмъ. Несправедливость, если подразумѣвается какое-то органическое свойство, въ стилѣ „славянской анархичности“ и т. п. Плеоназмъ, если предикатъ „антигосударственности“ включается въ повѣсть о народѣ, загнанномъ на революціонное бездорожье скомпрометированною государственною системою.

Роковымъ образомъ, общественная антипатія, создающаяся въ порядкѣ эмоціальной аберраціи, рано или поздно становится заслуженною. Отъ администраціи отливаютъ лучшія силы общества, гнушающіяся служеніемъ презираемому правопорядку; остающіеся вокругъ правительства элементы, чья дѣятельность лишена этической санкціи въ чужихъ и ихъ собственныхъ глазахъ, подвергаются духовной дегенераціи, интеллектуальному и моральному измельчанію и исподленію. Бездарность и апатія управленія, внутреннія и внѣшнія неудачи (проигрышъ войнъ въ такихъ условіяхъ фатально предопредѣленъ) усугубляютъ степень эмоціальнаго отталкновенія общества отъ власти и повышаютъ все больше и больше температуру революціоннаго нигилизма.

4.

Радикализму отрицанія соотвѣтствуетъ не меньшій радикализмъ положительныхъ домогателствъ, революціонныхъ постулатовъ.

Быть можетъ, будущая соціологія, избавившись отъ навожденія „классовыхъ интересовъ“ и прочихъ призраковъ ночи и удѣливъ должное вниманіе жизни идей, почтетъ умѣстною разработку такой темы: „объ умѣренности общественныхъ ученій“ (подъ соотвѣтствующимъ учено-импозантнымъ заглавіемъ, примѣрно: „модератизмъ и его происхожденіе“ или т. п.). До тѣхъ поръ мы со всею подобающей скромностью, позволимъ себѣ, въ совершенно эскизной формѣ, высказать слѣдующую гипотезу.

Съ того времени, какъ человѣчество усвоило обыкновеніе въ своей соціальной жизни руководствоваться „ученіями“, т. е. комплексами общихъ началъ, вырабатываемыхъ индивидульными мыслителями, оно получаетъ эти руководящія начала въ томъ видѣ, какъ они выходятъ изъ мастерской производителя: въ видѣ системы абстрактныхъ положеній. Къ тому же — и это важнѣе — дѣло идетъ тутъ о новыхъ принципахъ, исторически обычно неизвѣданныхъ, и самый недостатокъ опыта предрѣшаетъ неизбѣжность односторонностей и утрировокъ. Наконецъ — и это важнѣе всего предыдущаго — „ученія“ эти — голосъ нарождающагося новаго правосознанія, воинственно противопоставляющаго свою высшую этическую правду „несправедливости“ позитивнаго правопорядка; по самой своей психологической природѣ они не склонны, такимъ образомъ, къ компромиссамъ съ соціальной дѣйствительностью.

Поэтому, новыя ученія, при рожденіи своемъ, всегда абстрактны и не „умѣренны“.

И вотъ, судьбы народовъ порою зависятъ отъ того, удастся ли эти опасныя въ своей непримиримой абстрактности идеи укротить и привести въ такое соотвѣтствіе съ требованіями жизни, чтобы реализація новыхъ принциповъ не порвала эволюціонной преемственности.

Это удается въ странахъ, гдѣ новыя идеи на своемъ пути къ завоеванію умовъ встрѣчаютъ крѣпкую консервативную идеологію. Тамъ, гдѣ существующій строй, при надобности передѣлокъ, въ цѣломъ все же далекъ отъ разложенія и все еще располагаетъ этической поддержкой общества, тамъ проповѣдь новаторовъ неизбѣжно перерождается подъ давленіемъ традиціонныхъ воззрѣній: оппозиція сталкивается съ апологіей — и пусть апологія не такъ патетична какъ оппозиція, она все же ровня ей по твердому эмоціональному тону, по солидности своего этическаго фундамента. Въ этой борьбѣ идей важна не убѣдительность логической аргументаціи, а эмоціональная сила этической убѣжденности — и владѣя этимъ оружіемъ, консервативныя „ученія“ и симпатіи заражаютъ, подчиняютъ себѣ и модифицируютъ первоначальныя абстрактно-оппозиціонныя идеи. Новаторамъ прививается инстинктивное стремленіе беречь существующій строй,, боязнь рискованныхъ экспериментовъ, отвращеніе къ насильственнымъ потрясеніямъ, готовность къ компромиссамъ — однимъ словомъ, политическая „умѣренность“.

Въ странахъ безъ прочной консервативной психики всѣ попытки насадить умѣренный политическій стиль остаются тепличными (французскіе doctrinaires сто лѣтъ тому назадъ).

И нѣтъ силъ земныхъ, которыя могли бы породить или удержать умѣренную идеологію въ странахъ съ развалившимся строемъ, на прогнившемъ этическомъ фундаментѣ, въ странахъ, объятыхъ революціоннымъ нигилизмомъ. Не только абсолютно отсут-

ствуетъ тутъ умѣряющее воздѣйствіе консервативныхъ идей, но имѣется и специфическій положительный агентъ, ожесточенно истребляющій всякія эволюціонно-реалистическія поползновенія. Упомянутая выше нигилистическая аберрація не останавливается и передъ міромъ идей и предаетъ безпощадному остракизму и людей и воззрѣнія, не отвѣчающія радикальному канону (всѣмъ намъ памятна роль, какую цензъ лѣвизны игралъ въ русской общественности). Въ этой раскаленной атмосферѣ всякаго рода политическая и вообще идейная „умѣренность" испаряется и улетучивается безслѣдно, какъ стаканъ воды, выплеснутый въ доменную печь.

Англійская реформа 1832 г. идейно-генетически восходитъ къ той же самой либерально-индивидуалистической доктринѣ политическаго самоуправленія, которая вдохновляла и французскую публицистику XVIII в. (параллель между Бентамомъ и Монтескье). Но въ революціонной Франціи эта абстрактная концепція вылилась въ отрицаніе народнаго представительства у Руссо (и въ практически всеобщее избирательное право въ первой же конституціи), а въ консервативной Англіи она же, обрастая компромиссами, сдержками и урѣзками, благополучно докатилась до законодательной глорификаціи 10-фунтоваго ценза.

Но, быть можетъ, разительнѣйшее потвержденіе нашей гипотезы — въ примѣрѣ болѣе намъ близкомъ: соціализмъ въ Россіи и на Западѣ (особенно въ Германіи). Тутъ, словно нарочно въ цѣляхъ соціологическаго эксперимента, не то что идейно-однородное ученіе, а буквально одинъ и тотъ же литературный памятникъ — сочиненія Маркса и его школы — были перенесены въ двѣ различныя соціально-психическія среды, революціонно-нигилистическую и консервативно-уравновѣшенную — и надо ли говорить о различіи идейныхъ результатовъ! Если эмпирическое констатированіе несуществованія русскаго „умѣреннаго соціализма" представляетъ легкій трудъ, то для насъ и этотъ трудъ излишенъ: съ точки зрѣнія нашей гипотезы, умѣренный соціализмъ въ Россіи a priori столь же невозможенъ, какъ урожай финиковъ во 2-мъ Парголовѣ.

Въ Россіи старому режиму противустояла не одна, а двѣ силы: либерализмъ и соціализмъ. Какъ и естественно въ странѣ безъ консерватизма, умѣренной не была ни одна изъ нихъ: каждая была максималистична въ своемъ родѣ. Толки же объ „умѣренныхъ соціалистахъ" имѣютъ въ виду ихъ умѣренность по отношенію къ будущему, еще требующему установленія, либеральному строю. Добиться э т о й умѣренности можно, съ точки зрѣнія нашей формулы, единственно лишь насажденіемъ крѣпкой либерально-охранительной идеологіи, этически увѣренной въ себѣ, способной на борьбу и грозной въ борьбѣ. Идейный натискъ со стороны эмоціонально-вліятельнаго либерализма психологически-неотвратимо долженъ будетъ модифицировать и нашъ соціализмъ и опасность этой борьбы побудитъ соціализмъ обтесать свои острые углы. По-

спѣшное же забѣганіе навстрѣчу соціалистамъ, затушевываніе и обезсиленіе либеральныхъ принциповъ приводитъ только къ противоположнымъ результатамъ; сближеніе можетъ быть продуктомъ умѣренности, но не начальнымъ ея факторомъ.

Въ pendant къ „антигосударственности", въ обвинительномъ актѣ противъ руской интеллигенціи значатся „абстрактное доктринерство" и „утопизмъ". И опять таки, для смягченія приговора можно сказать: это — не какіе-нибудь специфическіе, природные недостатки русскаго общества; какъ радикализмъ отрицанія, какъ и другія традиціонныя черты нашей интеллигенціи (напр. знаменитое „народолюбіе"), такъ и положительный радикализмъ или абстрактный максимализмъ — лишь аттрибуты революціоннаго духа, типически и неизмѣнно проявляющіеся въ тѣхъ соціальныхъ тѣлахъ, въ которыя вселяется этотъ духъ.

Резюмируемъ сказанное раньше:

Духъ революціи — это радикализмъ отрицательный плюсъ радикализмъ положительный, нигилизмъ отрицанія и дерзкій максимализмъ провозглашенія.

Въ свѣтѣ этихъ критеріевъ взвѣсимъ шансы революціи въ Россіи.

5.

Радикализма отрицательнаго — хоть отбавляй. Толчекъ невиданной силы данъ тому процессу наростанія соціальной антипатіи къ дѣйствующему режиму, который изображенъ нами раньше. Неправомѣрная въ глазахъ населенія власть, ежедневно посмѣвающаяся священнѣйшимъ этическимъ началамъ; баснословная административная импотенція; уклоненіе честныхъ отъ службы государству (пресловутый саботажъ) и коррупція чиновничьей какистократіи; бѣдствія безъ мѣры и числа.

Объ интенсивности противосовѣтскаго настроенія распространяться не стоитъ. Въ минуты усталой откровенности проговариваются объ этомъ и авгуры совѣтской прессы. Отмѣтить нужно лишь двѣ особенности.

Вслѣдствіе введеннаго большевиками каррикатурнаго сверхъсоціализма и безпросвѣтнаго огосударствленія, никогда не была такъ ощутительна, такъ явственна для населенія связь между существующей политической системой и всѣми его невзгодами. Совѣтское государство слѣдуетъ за обывателемъ по пятамъ, ежеминутно наступая ему на ногу — и пребольно. Въ Совѣтороссіи гдѣ сходятся трое, они сходятся во имя Совдепа. Все, что дѣлается въ соціальномъ быту, дѣлается государствомъ — и дѣлается донельзя скверно. Противоположное по структурѣ убѣжденіе: вся и всякая скверна — отъ этого государства, — растетъ поэтому въ сознаніи населенія съ быстротой, которая никогда не могла бы быть достигнута внѣ условій соціализаціи. Процессы эмоціональной

аберраціи и ассоціативнаго „растеканія“ общественной антипатіи съ отдѣльныхъ элементовъ гнетущаго строя на весь режимъ безъ остатка — эти процессы, столь важные для пониманія революціонной психологіи, въ коммунистической Россіи мчатся съ удесятеренной силой.

Въ прежнія времена „государственнаго невмѣшательства“ связь между холерными эпидеміями и высшей политикой (скажемъ, взаимоотношеніями правительства и Думы) была тоже вполнѣ реальна, но раскрытіе ея требовало недоступныхъ массамъ умозаключеній. Теперь же сыпной тифъ такъ и зовется въ народѣ — „совѣтской болѣзнью“.

Вторая особенность. Обычно государство ведетъ свою работу, движимое заботой объ охранѣ порядка и о — худо ли, хорошо ли понимаемомъ — общемъ благополучіи. Это цѣли само собой разумѣющіяся, ими руководствуются — болѣе или менѣе добросовѣстно, но о нихъ не говорятъ и работа администраціи носитъ характеръ буднично-дѣловой и прозаическій. Не то у большевиковъ. Они не управляютъ, а священнодѣйствуютъ. Совѣтская власть словечка въ простотѣ не скажетъ: все дѣлается во имя новой міру, высшей цѣли, все озаряется бенгальскими огнями, все возвѣщается трубными звуками герольда на площади. О чемъ трубитъ три года совѣтскій герольдъ? О соціализмѣ. Все испытанное и претерпѣваемое неразрывно связано въ сознаніи населенія съ служеніемъ соціализму. Вспомнимъ сказанное о вліяніи ассоціаціи на направленіе общественныхъ антипатій — и уже отъ одной этой тяжелой гири чашка съ шансами соціалистской революціи въ Россіи стремительно взовьется вверхъ.

Ниже мнѣніе объ укореняющейся въ Россіи антипатіи къ соціализму („Руль“, 4 января) вызвало заявленіе, что „утверждать это можно лишь черезъ призму южно-русской власти“. Мы рѣшаемся рекомендовать нашимъ оппонентамъ другую призму: ту, черезъ которую смотрятъ авторитетные европейскіе соціалисты, страшащіеся повсемѣстной компрометаціи соціализма изъ-за совѣтскаго буйства, „засвинячившаго революцію“ (Грейлихъ)*).

Можетъ показаться страннымъ говорить объ „аберраціи“ по поводу рота антисовѣтскаго радикализма. Но, во-первыхъ, мы съ самаго начала условились разсматривать процессъ развитія „революціоннаго духа“ объективно и абсолютно, независимо отъ до-

*) Окончательное сужденіе о значеніи большевицкаго эксперимента для судебъ западнаго соціалистическаго движенія представляется, однако, болѣе сложнымъ. Отолкнувъ нейтральное общественное мнѣніе, примѣръ русскихъ злодѣевъ вмѣстѣ съ тѣмъ отрезвилъ вліятельные круги среди самихъ соціалистовъ, укрѣпилъ — и своимъ крушеніемъ еще больше укрѣпитъ, — реформистскія теченія и подорвалъ вѣру въ классовую борьбу — эту главную язву, морально разъѣдающую и обезсиливающую современный соціализмъ.

бротности или злокачественности отрицаемыхъ имъ началъ; психологически же это неудержимое „блужданіе“ соціальной антипатіи остается однороднымъ, направлено ли оно противъ исполкомовъ и ихъ приспѣшниковъ и сосѣдей, или же противъ „министровъ-капиталистовъ“ и банковскихъ сейфовъ. А затѣмъ: какъ бы эта психическая ржа не переползла тѣ границы, за которыми уже и съ точки зрѣнія нашихъ желаній начинается область „аберраціи“. Какъ бы пучина политическаго нигилизма, воспитываемаго сейчасъ въ Россіи, не поглотила и такихъ цѣнностей, которыя всѣ мы должны будемъ оплакивать. Психологическая подоплека парижской „новой оріентаціи“ — смертельный страхъ передъ реакціей. Страхъ — дурной совѣтчикъ. Въ условіяхъ того губительнаго соціально-психологическаго процесса, который мы назвали выше безсознательно-эмоціональнымъ „оклеветаніемъ“ и пережить который неизбѣжно обречена страна послѣ великихъ потрясеній, — нѣтъ большей опасности для дѣла прогресса, чѣмъ дурныя „ассоціаціи“ — одновременно въ политическомъ и психологическомъ смыслахъ.

Массовая аберрація въ сторону реакціи — это опасность, которая должна побудить насъ пуще огня избѣгать компрометирующихъ связей. Во время степного пожара, говорятъ, звѣри съ перепугу бросаются въ огонь. Сближеніе съ соціалистами въ виду возможной реакціи — это такой же перепугъ.

6.

Духъ революціи — въ ея антитетичности, антиномичности по отношенію къ ниспровергаемому строю, въ ея контрастномъ характерѣ. Это — формула, одинаково покрывающая и французскую революцію, и нашу соціалистическую 1917 г., и ту, столь многими ожидаемую, для которой, казалось бы, подготовлена теперь почва въ Россіи.

Почва вспахана, но гдѣ же сѣятель? И чѣмъ же напояется жаждущая идейно-политической антитезы Россія?

А вотъ чѣмъ:

„Дать полное право дѣйствія крестьянамъ надъ всею землею такъ, какъ имъ желательно, а также имѣть скотъ, который содержать долженъ и управлять своими силами, т. е. не пользуясь наемнымъ трудомъ. — Разрѣшить свободное кустарное производство собственнымъ трудомъ“.

Это — лозунги, сочиненные для кронштадтскихъ матросовъ.

Умилительное зрѣлище! Апостолы „аграрнаго реформизма“, не боясь Чернова, не только смиряются до прелестнаго въ своихъ застѣнчивыхъ экивокахъ признанія земельной собственности; нѣтъ, паладины „сермяжной демократіи“ готовы провозгласить величавый принципъ свободнаго производства домотканныхъ холстовъ и деревянныхъ ложекъ.

И, наконецъ, эсъ-эръ — судя по пріютившей его газетѣ, не просто „умѣренный“ эсъ-эръ, а эсъ-эръ, умѣренный во всѣхъ отношеніяхъ, — предлагаетъ этакій „билль о реформѣ“: при выборахъ въ совдепы упразднить коммунистическія „гнилыя мѣстечки“ и повсюду завести чистенькія рабоче-крестьянско-батрацко-красноармейско-казачьи избирательныя коллегіи.

Но, поистинѣ, націонализація ли съ деревянными ложками, или націонализація, но безъ ложекъ, это для русскаго населенія споръ о bonnet blanc ou blanc bonnet. А революція во имя „подлинныхъ“ совѣтовъ въ нынѣшней Россіи — право же, въ свѣтѣ того, что мы знаемъ о природѣ революціи съ ея „положительнымъ радикализмомъ“, это — нѣчто гораздо менѣе правдоподобное, чѣмъ возстаніе во имя „конституціи“ Лорисъ-Меликова.

О, если бы сотую долю этой благонравной скромности мы проявили раньше, въ то время, когда Россія еще шла справа налѣво! Тогда русская нація изумила бы міръ не только кротостью голубя, какъ теперь, но и мудростью змія. Но, когда мы дѣлали революцію, мы не были ни кротки, ни . . . мудры; а теперь, когда мы стали кротки, не похоже на революцію.

Русская соціалистическая психика, дѣйствительно, „умѣренна“, но, какъ выражался гоголевскій Осипъ, это умѣренность „съ другой стороны“. И потому то наши соціалисты не пригодны не только для эволюціонной политики въ будущемъ, но и для революціонной въ настоящемъ.

Теоретически, нѣтъ основанія отрицать возможность интенсивнаго общественнаго движенія на „умѣренныхъ“ нотахъ. Какъ яро и грозно демонстрировали англійскіе рабочіе наканунѣ реформы 1832 г. (должно быть, обманутые праотцамы нынѣшнихъ соціалъ-предателей, — бѣдняги добивались расширенія избирательныхъ правъ своихъ эксплоататоровъ и „классовыхъ враговъ“). Но въ Россіи, съ ея огнедышащимъ анти-совѣтскимъ радикализмомъ, такое движеніе подъ идеологическую сурдинку представлялось намъ невѣроятнымъ и до опыта этихъ трехъ лѣтъ.

Традиціонная интеллигентско-соціалистическая идеологія наша такъ же приспособлена къ руководству противо-большевицкимъ движеніемъ, какъ форты Кронштадта — къ обстрѣлу Петрограда.

И кричащій диссонансъ между напряженностью „отрицательнаго радикализма“ и скромностью положительныхъ домогательствъ — симптомъ того, что настоящее идейное движеніе еще не начиналось. Кто овладѣетъ этимъ движеніемъ? Кто скажетъ слово, созвучное тону взрощеннаго совѣтовластіемъ революціоннаго „нигилизма“? That is the question.

Пока что, политически Россія не вѣритъ ни въ чорта, ни въ чохъ. И отъ того-то такъ крѣпко на ея шеѣ коммунистическое иго.

7.

Но измѣнимъ наши предпосылки. Допустимъ, что соціальная антипатія, возбужденная большевизмомъ, не доползла еще до „соціализма вообще“ и что русская общественность все такъ же вѣрна духу 1917 г., какъ оставались вѣрны французы своимъ „принципамъ 1789 года“. Повышаетъ ли это шансы соціалистической революціи? Очень мало.

Кризисъ, вызванный застопорившимся ходомъ мирнаго развитія, разрѣшается взрывомъ наростающихъ тѣмъ временемъ революціонныхъ идей. Но кризисъ, въ который страна попадаетъ вслѣдствіе эксцессовъ революціи, застаетъ ее въ состояніи идейной разслабленности. Движущія идеи, во имя которыхъ совершена революція, представлявшіяся великими въ ея началѣ, тускнѣютъ по мѣрѣ ихъ компрометаціи революціонной практикой. Связывавшіяся съ революціей ожиданія всеобщаго благополучія не сбылись; специфическія язвы революціоннаго режима — нелояльная партійность и теноръ—дискредитируютъ новый порядокъ вещей. И если даже народное сознаніе не дезавуируетъ полностью вчера еще воодушевлявшихъ его идей—эмоціональный тонъ ихъ неизбѣжно слабѣетъ, зажигательная сила утрачивается. Разочарованное равнодушіе смѣняетъ недавній энтузіазмъ. Новое революціонное движеніе въ этой атмосферѣ становится психологической невозможностью. Можно весьма холодно относиться къ революціи, какъ таковой, но нельзя отрицать присущей ей героичности. А къ героизму не располагаетъ соціальный катценъ-яммеръ.

Не только понижается температура политическаго чувствованія, но измѣняется и качественный составъ его. Мѣсто исканія этической правды, составляющаго душу предреволюціонной агитаціи (даже у такъ называющихъ себя научныхъ соціалистовъ), занимаютъ поиски практическаго исхода изъ обступившаго народъ мучительнаго лабиринта. Поскольку вѣра въ провозглашенные революціей принципы не угасла, появляется стремленіе къ ихъ передѣлкѣ и приспособленію, такъ, чтобы и подъ ихъ главенствомъ обезпечить сносную жизнь. Оппозиція противъ установленнаго революціей режима имѣетъ характеръ не принципіально-этическій, а утилитарно-цѣлевой. Пренебрегаютъ принципіальной послѣдовательностью, дорожатъ практичностью; крѣпнетъ тяготѣніе здѣсь къ компромиссу, тамъ — къ реставраціи, вездѣ — къ разжиженію и обезвреженію революціонныхъ правовыхъ абстракцій. Но объ этическомъ подъемѣ на этой утилитарной почвѣ не можетъ быть и рѣчи. Лозунгъ: „да здравствуетъ то же, но въ полу-

бутылкахъ" — это лозунгъ, во многихъ случаяхъ очень неглупый, но — такова ужъ грѣшная людская природа — онъ не вызываетъ революціоннаго энтузіазма. Въ этомъ состояніи этической вялости населеніе можетъ съ вожделѣніемъ ждать государственнаго переворота, который принесетъ ему порядокъ и твердую власть: на самоотверженно-энтузіастическое массовое движеніе, составляющее существо революціоннаго акта, оно не способно.

Нигдѣ не видно это съ такой схематической ясностью, какъ на примѣрѣ гипотетической „революціи соціалистовъ противъ большевиковъ". Большевиковъ побиваютъ демонстраціей ихъ экономическаго безразсудства, ихъ гибельнаго доктринерства и наивной прямолинейности въ насажденіи соціализма; имъ противопоставляются доводы о необходимости уступокъ ради возстановленія народно-хозяйственнаго аппарата, ради надлежащаго использованія производительныхъ силъ страны; словомъ — тысяча реально-политическихъ соображеній, техническо-практическихъ рецептовъ: утилитарная критика, но не контрастная этическая пропаганда. А разъ такъ, то о своей революціонной роли соціалистамъ нужно забыть надолго — до тѣхъ поръ, пока передъ ними не окажется снова „буржуазный" противникъ.

По-революціонному похмелью свойственна идеологическая анемія — и мы дедуктивно приходимъ къ заключенію о невозможности того, что пришлось бы назвать „обратной революціей": массоваго движенія подъ руководствомъ прежнихъ революціонныхъ идей, но противъ выдвинутой революціею, упорствующей въ эксцессахъ власти.

Историческая повѣрка подтверждаетъ нашу дедукцію: сколько хватаетъ глазъ, на полѣ исторіи не видно „обратныхъ революцій". Три наиболѣе яркихъ, максималистскихъ революціи — первая англійская, великая французская и парижская 1848 г.: всѣ три нашли исходъ не въ обратной революціи, а въ государственномъ переворотѣ.

Поскольку новая тактика лѣвыхъ к.-д. зиждется на ожиданіи такой „обратной революціи" — она построена на предположеніи теоретически неимовѣрномъ и исторически безпримѣрномъ.

Нашъ песимизмъ не идетъ такъ далеко, чтобы отрицать возможность революціоннаго движенія въ Россіи при всѣхъ условіяхъ и хотя бы и въ ближайшіе годы. Вообще, шансы возрожденія здоровой идейно-политической жизни въ Россіи въ извѣстномъ смыслѣ гораздо благопріятнѣе, чѣмъ, напр., въ свое время во Франціи, которая отъ идеологическаго разгрома, учиненнаго великой революціей, не могла оправиться свыше ста лѣтъ. Но это — особая тема. Теперь же мы хотимъ лишь указать на полную безнадежность гальванизировать въ цѣляхъ ликвидаціи нашей соціалистической революціи — соціалистическія же идеи.

Трехлѣтній параличъ Россіи — трагическое подтвержденіе этико-идеологическаго пониманія революціи. Этотъ параличъ — непостижимая загадка съ точки зрѣнія теоріи „матеріальныхъ интересовъ“ и т. п.

Три года мечутся синицы съ соціалистическими лозунгами надъ русскимъ моремъ. И дивятся, что море не зажгли.

Л. Опатовскій.

Вмѣсто некролога Розанову.

(Уединенное и Опавшіе листья*)

I.

Когда читаешь Уединенное и Опавшіе листья, невольно думаешь: вотъ какъ писатель могъ бы заставить своего вымышленнаго героя разсказывать о своей жизни сумбурно безпорядочными записями въ дневникѣ. Писалъ же у Гоголя свои записки сумасшедшій, въ клочки разрѣзавшій ножницами свой новый вицмундиръ въ попыткахъ смастерить себѣ королевскую мантію. Если бы мы не знали, что Розановъ пишетъ о самомъ себѣ и въ сущности только въ необычайной формѣ свою автобіографію (а героемъ Опавшихъ листьевъ могъ бы быть названъ N N — Попришинъ, Смердяковъ или Фаустъ), мы позабывъ обще-извѣстныя черты Розановской біографіи, воспринимали бы тогда эти записки, какъ произведеніе художественной прозы безъ нескромнаго любопытства къ интимной жизни живущаго среди насъ человѣка (Розановъ былъ живъ, когда были отпечатаны его Опавшіе листья).

Не пугайтесь крайностей и экстравагантностей („Поприщинскаго" бреда), которыя можетъ быть иногда не понравятся вамъ въ этихъ трехъ томикахъ. Вѣдь былъ же „Розановъ, заплакавшій отъ страха могилы", обвиненъ въ порнографіи и „люди съ цѣпями, не читавъ книги и не понимавъ вообще существа книги", присудили вырѣзать страницы изъ его Уединеннаго, а самого автора къ аресту на 2 недѣли.

—„Несите, несите, братцы: что дѣлать—померъ . . ." Розанову чудится, что его уже несутъ въ гробу.

— „Покурить бы да неудобно: оффиціальное положеніе. . . Покойникъ въ гробу долженъ быть „руки по швамъ". . . Закапывайте, пожалуйста, поскорѣй и убирайтесь къ чорту съ вашей оффиціальностью. . . Непремѣнно въ землѣ скомкаю саванъ и колѣнко выставлю впередъ. Скажутъ: — Иди на страшный судъ. Я скажу: — Не пойду. — Страшно? — Ничего не страшно, а просто не хочу

*) Уединенное В. Розанова (Почти на правѣ рукописи). Изд. 2-е, Пгрд. Розановъ. Опавшіе листья. Спб 1913. — В. Розановъ. Опавшіе Листья, Коробъ второй и послѣдній. Пгрд. 1915.

тти. Я хочу курить. Дайте адскаго уголька зажечь папироску. — У васъ Стамболи? . ."

Другой разъ „во время купанья" онъ удивляется самому себѣ и записываетъ (на подошвѣ туфли):

„ . . . тамъ можетъ быть я и „дуракъ" (есть слухи), можетъ быть и плутъ (поговариваютъ): но только той широты мысли, неизмѣримости „открывающихся горизонтовъ" — ни у кого до меня, какъ у меня не было"...

За внѣшностью балагана скрывается глубоко-серьезное. Подъитоживаются горечь и торжество, утери и достиженія въ прожитомъ.

— „Сказано: не жизнь". Не трясите очень. Впрочемъ, не смущайтесь, если и тряхнете. Всю жизнь трясло... Я всю жизнь „руки по швамъ" (чортъ знаетъ передъ чѣмъ)"...

А рядомъ:

— И „все самому пришло на умъ" — безъ заимствованія даже іоты. Удивительно. Я прямо удивительный человѣкъ"...

Въ Уединенномъ и въ Опавшихъ листьяхъ есть страницы необычайнаго лирическаго подъема и возбужденія. Но часто экстатическій подъемъ срывается упадкомъ и тягучимъ стономъ.

Вотъ одно изъ признаній о самомъ себѣ:

Никогда ни въ чемъ я не предполагалъ даже такую массу внутренняго движенія, изъ какой собственно сплетены мои годы, часы и дни. Несусь какъ вѣтеръ, не устаю, какъ вѣтеръ. — „Куда? Зачѣмъ?" И наконецъ: „Что ты любишь?" — „Я люблю мои ночныя грезы, прошепчу я встрѣчному вѣтру" . . .

Но сопоставьте рядомъ съ этимъ:

— „Скорѣе, несетъ", а не иду. Ноги волочатся. И срываетъ меня съ каждаго мѣста, гдѣ стоялъ"...

Сколько энергическаго оптимизма въ этомъ задыханіи въ мысли:

— „Я задыхаюсь въ мысли. И какъ мнѣ пріятно жить въ такомъ задыханіи. Вотъ отчего жизнь моя сквозь терніи и слезы есть все таки наслажденіе"...

Но притокъ энергіи смѣняется грустью и резиньяціей:...

— „Все мнѣ чуждо и какой то странной на роду отчужденностью. Что бы я ни дѣлалъ, кого бы ни видѣлъ — но не могъ ни съ чѣмъ слиться. „Несовокупляющійся человѣкъ" — духовно. Человѣкъ „соло". Все это я выразилъ словомъ „иностранецъ", которое у меня прошепталось, какъ величайшее осужденіе себѣ, какъ величайшая грусть о себѣ въ себѣ"...

Вотъ о томъ же серьезно:

— „Вихрь вокругъ" меня, дымитъ изъ меня и около меня, — ничего не видно, никто не видитъ меня, „мы съ міромъ незнакомы". Въ самомъ дѣлѣ, дымящаяся головешка (часто въ дѣтствѣ вытаскивалъ изъ печи) — похожа на меня: ея совсѣмъ не видно,

не видно щипцовъ, которыми ее держишь. И Господь держитъ меня щипцами. „Господь надымилъ мною въ мірѣ“...

А въ другомъ мѣстѣ въ его строкахъ различаешь только смертельную усталость:

— Какой я весь судорожный и жалкій. Какой то весь растрепанный... „Послѣдняя туча разорванной бури“... И самъ себя растрепалъ, и „укатали горки“. Когда это сознаешь (т. е. ничтожество), какъ чувствуешь себя несчастнымъ“.

Безпрерывный самоанализъ, кажется, никогда не утомитъ его. Его во многомъ порицаютъ, и онъ признаетъ это справедливымъ. Но протестуетъ противъ обвиненія въ одномъ — въ цинизмѣ...

— „Только не въ цинизмѣ: мнѣ не было бы трудно въ этомъ признаться, но этого зги нѣтъ во мнѣ. Какой же цинизмъ въ существѣ кроткомъ? Въ постоянно почти грустномъ? Нѣтъ, другое. Во мнѣ нѣтъ ясности, настоящей дѣятельной доброты и открытости. Душа моя какая то путанница, изъ которой я не могу вытащить ногу... И отсюда такое глубокое безсиліе“...

Еще одинъ шагъ въ безпощадномъ самоанализѣ, и перо записываетъ:

— „Во мнѣ ужасно есть много гнили, копошащейся около корней волосъ. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя (вижу корни вещей“, гуманенъ, не осуждаю, сострадателенъ). Но какъ тяжело такимъ жить. Т. е. что такой“...

Или еще безпощаднѣе къ самому себѣ...

— „У меня чесотка пороковъ, а не влеченіе къ нимъ, не сила въ нихъ. Это грязнотца, въ которой копошится вошь; огонь и пылъ пороковъ — я его никогда не зналъ. Вѣдь весь я тихій, „смиренномудрый“...

О, это не самобичеваніе. Скорѣе лишь стремленіе къ автопортрету и къ безпристрастью внѣ какихъ либо моральныхъ оцѣнокъ и угрызеній совѣсти...

— „Моя душа сплетена изъ грязи, нѣжности и грусти. Или еще: это — золотыя рыбки, „играющія на солнцѣ“, но помѣщенныя въ акваріумѣ, наполненномъ навозной жижицей. И не задыхаются. Даже „тѣмъ паче“. Неправдоподобно. И однако — такъ Богъ всего меня позолотилъ. Чувствую это... Боже, до чего чувствую“...

Но бываютъ минуты, когда изъ души вырываются только восклицанія и вздохи, и на бумагѣ вычерчиваются тогда одиночныя строки.

— „Что же ты любишь, чудакъ? — Мечту свою...

— „Странникъ, вѣчный странникъ, и вездѣ только странникъ..

— „Страшная пустота жизни. О, какъ она ужасна...

— „Страшно, когда наступаетъ ознобъ души... Душа зябнетъ...

— „Больше любви, больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь въ холодѣ. У, какъ вездѣ холодно...

— „Неумолчный шумъ въ душѣ...

— „Я не хочу истины, я хочу покоя"...

Лебединая пѣсня Розанова глубоко трагична.

Передъ своимъ концомъ Розановъ хочетъ до послѣдняго слова обнажиться. Но если и Гоголь и Толстой сжигали свои корабли, на которыхъ они плавали и на которыхъ праздновали свою славу, въ надеждѣ начать дѣло своей жизни сызнова, — то послѣднее слово Розанова сплошь подернуто трауромъ безнадежности отъ сознанія, что жизнь прожита. Жизнь прожита, и старому не дано силы начать ее снова, и по новому.

Однажды онъ записываетъ:

— „О своей смерти: „нужно, чтобы этотъ соръ былъ выметенъ изъ міра", и вотъ, когда настанетъ это „нужно", я умру".

Просто и спокойно. Но въ унылости старости родится жалость къ себѣ...

— „Вотъ и совсѣмъ прошла жизнь... Остались немногіе хмурые годы, старые, тоскливые, ненужные... Какъ все становится ненужно. Это главное ощущеніе старости..."

А въ другую такую же „глубокую ночь" стукъ вентилятора „въ корридорчикѣ" заставляетъ его содрогнуться и „жажда безсмертія" хватаетъ его „за волосы"...

Состарился онъ сразу — въ одинъ день. И запомнилъ эту дату: 26-е августа 1910 года.

— „20 лѣтъ стоялъ „въ полднѣ" и сразу 9 часовъ вечера. Теперь ничего не нужно, ничего не хочется. Только могила на умѣ..."

А 21-го декабря 1911 года у него вырывается вздохъ:

— „Закатывается, закатывается жизнь. И не удержать. И не хочется задерживать..."

А еще года спустя, смерть еще ближе:

— „Совсѣмъ подбираюсь къ могилѣ. Только одна мысль о смерти.

Какъ могъ я еще годъ назадъ писать о литературной значительности. Какъ противно это. Какъ тупо..."

Вспоминая о своемъ писательствѣ, онъ ставитъ излюбленный знакъ-крестикъ — знаменующій смерть, и пишетъ:

— „Теперь все кончилось. „Подгребаю угольки", какъ съ истопившейся печкѣ. Скоро закрывать трубу"...

„Уединенное" и „Опавшіе листья" Розановъ писалъ, предчувствуя свою смерть и уже не думая о какихъ либо поворотахъ своей жизни. Онъ обнажился не для того, чтобы бичевать свое прошлое во имя пригрезившагося будущаго. Да у него и нѣтъ этого безусловнаго разрыва со своимъ прошлымъ и катастрофическаго отказа отъ какого либо стараго Credo. Вѣдь вотъ недоумѣваетъ же

онъ, какъ нужно издавать его сочиненія. У него нѣтъ безусловнаго разрыва съ этими „сочиненіями“ и онъ самъ (еще въ другой разъ) набрасываетъ планъ ихъ посмертнаго изданія.

Розановъ вовсе не склоненъ сжигать свои старыя книги. Пусть иногда онъ какъ будто отрекается отъ нихъ:

— „Я все испортилъ своими сочиненіями. Жалкій „сочинитель“, никому въ сущности ненужный, — и по дѣломъ, что ненужный“...

За то въ другія минуты съ какою нѣжностью онъ вспоминаетъ объ этомъ своемъ сочинительствѣ.

— „Сколько изнурительнаго труда за подборомъ матеріала (и „примѣчаній“ къ нему) въ „Семейномъ вопросѣ“. Это мои литературные „рудники“, которые я прошелъ, чтобы помочь семьѣ. Какъ и „Сумерки просвѣщенія“ — дѣтямъ. И сколько въ каждой страницѣ любви“...

Въ „Уединеномъ“ и въ „Опавшихъ листьяхъ“, онъ пишетъ исторію любви и вся его лебединая пѣсня проникнута воспоминаніемъ о своемъ „другѣ“. А этотъ „другъ“ во всѣ годы стояла тутъ же у его писательскаго стола и всякій разъ, когда онъ брался за перо, напуствовала его своимъ большимъ крестомъ.

Благородное, что есть въ его сочиненіяхъ, — по его признанію — вышло не изъ него. Онъ „умѣлъ только какъ женщина воспринять это и выполнить“:

— „Все принадлежитъ гораздо лучшему меня человѣку“...

„Легенда о великомъ инквизиторѣ“ писалась въ пору перваго знакомства съ „другомъ“, „Сумерки просвѣщенія“ во время жизни съ нею въ Бѣломъ, и къ этому „идеализму“, къ „старому провинціальному затишью“ рвется его постарѣвшая душа „Опавшихъ листьевъ“. Страницы о смѣхѣ Гоголя въ „Легендѣ“ были прямо подсказаны ему его „другомъ“, — „тембромъ души ея“. Пусть бунтъ Розанова плохо мирился съ крестомъ „изъ трехъ православныхъ пальцевъ“ друга, но въ „пробужденіи вниманія къ юдаизму“, въ „интересѣ къ язычеству“, въ „критикѣ христіанства“ сыграла роль опять таки „семейная исторія и вообще все отношеніе его къ другу“...

— „Все выросло изъ одной боли, все выросло изъ одной точки“...

Розановъ своего послѣдняго дня восходитъ своими корнями къ Розанову, который былъ моложе, и онъ заявляетъ, что все его „Уединенное“ уже дано было раньше въ предисловіи къ „Людямъ луннаго свѣта“.

Розановъ не сжигаетъ свои книги. Но все же онъ съ стараніемъ отворачивается отъ прожитой жизни. Тамъ было совершенно непоправимое, и этимъ непоправимымъ было какъ разъ его писательство.

Онъ восклицаетъ:

— „О, какъ хотѣлъ бы я вторично жить, съ единственной цѣлью — ничего не писать. Эти строки — они отняли у меня все; они отняли меня у „друга“, ради котораго я и долженъ былъ жить, хотѣлъ жить, хочу жить. А „талантъ все толкалъ писать и писать...“

Вѣдь онъ знаетъ одну „громовую истину“, какой народамъ не говорилъ ни одинъ изъ пророковъ“. Эта истина гласитъ: „частная жизнь выше всего“. Но самъ въ своей жизни онъ нарушилъ эту заповѣдь. А былъ такъ близко къ ней.

Вѣдь онъ такъ любилъ „покой и закатъ вечера, и тихій вечерній звонъ“. И въ душѣ его „вѣчно стоялъ монастырь“ и развѣ нужна была ему „площадь“. И онъ тоже могъ бы „пользоваться каждымъ яснымъ вечеркомъ“ и отдыхать за нумизматикой (вѣдь собралъ же онъ самъ коллекцію богаче порознь, чѣмъ въ Кіевскомъ и чѣмъ въ Московскомъ университетахъ и которыя собирались сто лѣтъ), или за книгой или вмѣстѣ со своей удивительной Таней, „худенькой и необыкновенно граціозной“, отстаивать часы въ Введенской церкви на Петербургской сторонѣ. Вѣдь онъ бывалъ такъ гордъ отъ сознанія, что можетъ про себя сказать civis Romanus sum и показать въ передней на „множество крошечныхъ калошекъ“, владѣтели которыхъ прокармливаются его работой. Но главное, главное, конечно въ „другѣ“ — женѣ. Въ „другѣ“ ему была дана „путеводная звѣзда“. И 20 лѣтъ онъ шелъ за ней, 20 лѣтъ жилъ въ „непрерывной поэзіи“, цѣлыхъ 20 лѣтъ имѣлъ „подобіе божественной жизни“.

Въ другѣ онъ „увидѣлъ правду, на которой не было ущерба луны“: „свѣтозарное лицо“ „друга“ безъ одной моральной морщины“...

— „Самый смыслъ мой — пишетъ Розановъ — осмыслился черезъ „друга“. Все вочеловѣчилось. Я получилъ рѣчь, полетъ, силу. Все наполнилось „земнымъ и вмѣстѣ какимъ то небеснымъ“...

Онъ былъ счастливъ, и счастливъ отъ золотого ея креста и съ этимъ „золотенькимъ помятымъ“ крестомъ, который она невѣстой надѣла на него, снявъ съ своей шеи, въ его „суровою и осуждающую, критикующую и гнѣвную“ душу вошла ея душа, „мягкая, нѣжная, отзывчивая“...

„Какъ Богъ меня любитъ, — восклицаетъ Розановъ, — что далъ ее мнѣ“.

И вотъ теперь этотъ „другъ“ погибаетъ и сразу все померкло, и онъ „заплакалъ отъ страха могилы“. Трагическое ощущеніе этой грозящей утраты и составляетъ лейтмотивъ Уединеннаго и Опавшихъ листьевъ. Имъ насквозь пронизана послѣдняя пѣсня Розанова

„Неравномѣрно расширенные зрачки“, міокардитъ, перерожденіе сосудовъ, ударъ... „Разрушительный медленный процессъ въ ткани нервной системы“... „Таяло вещество мозга и отачива-

лась ткань сердца"... А послѣ „лѣвая рука имѣетъ жизнь только въ плечѣ и въ локтѣ", „2 года лежитъ и руки сжаты въ кулачекъ"...

— „Знаю, физика: лѣвая холоднѣе правой и она ее постоянно грѣетъ... Но этотъ видъ прижатыхъ къ груди рукъ — кулачекъ въ кулачкѣ — какъ онъ полонъ просьбы, мольбы и... безнадежности..."

„Усталое сердце"... „Безпросвѣтный мракъ"...

— „Все погибло, все погибло, все погибло. Погибла жизнь. Погибъ самый самый смыслъ ея. Не усмотрѣлъ..."

— „Валятъ хлопья снѣга на моего друга, заваливаетъ до плечъ, до головы и замерзаетъ онъ и гибнетъ. А я стою возлѣ и ничего не могу сдѣлать...

— „Все глуше голоса земли... И не надо. Только одинъ слабый надтреснутый голосокъ всегда будетъ смѣшиваться съ моими слезами. И когда и онъ умолкнетъ для меня, я хочу быть слѣпымъ и глухимъ въ себѣ самомъ...

„Другъ" гибнетъ „отъ страшной болѣзни". Это его писательство виной тому, что онъ не смогъ уберечь и не устерегъ „свой домъ", „вспыхнувшій" такъ „ярко и горячо" благодаря „другу". Съ ужасомъ озираясь на пройденный путь и думая о утратѣ, Розановъ записываетъ:

— Такъ моя жизнь, какъ я вижу, загибается къ ужасному страданію совѣсти. Я всегда былъ относительно ея беззаботенъ, думая, что „ея нѣтъ", что „живу, какъ хочу". Просто ничего о ней не думалъ. Тогда она была приставлена (если есть „путь", а я вижу, что онъ есть) въ видѣ „друга", на котораго я оглядывался и имъ любовался, но по нему не поступалъ. И вотъ эта мука: другъ гибнетъ на моихъ глазахъ и въ сущности по моей винѣ. Мнѣ дано видѣть каждый часъ ея страданія, и этихъ часовъ уже три года. Когда и „совѣсть" отойдетъ отъ меня — оставшись „безъ совѣсти" я вижу всю пучину черноты, въ которой жилъ и въ которую собственно шелъ. Это ужасно: и если напр. остаться съ этой тоской не на три года, а на всю вѣчную жизнь, то развѣ это не адъ, краешекъ котораго я ощущаю" (курсивъ мой — Л. Л.).

Съ этимъ ужаснымъ страданіемъ совѣсти, съ сознаніемъ своей пучины черноты, съ ощущеніемъ краешка ада Розановъ писалъ свое Уединенное и свои Опавшіе листья.

II.

Кончая свою жизнь и свое писательство, Розановъ со стономъ восклицаетъ:

— „Несу литературу, какъ гробъ мой, несу литературу, какъ печаль мою, несу литературу, какъ отвращеніе мое...

— „Талантъ у писателя невольно съѣдаетъ жизнь его. Съѣдаетъ счастье, съѣдаетъ все. Талантъ рокъ. Какой то опьяняющій рокъ". — „Писательство есть рокъ. Писательство есть фатумъ. Писательство есть несчастіе. . ."

Но если писательство фатально, и если изъ круга его не выскочишь, то все же есть еще путь — путь бунта противъ него. Есть возможность преодолѣть литературу и оставаясь писателемъ освободиться отъ ея дурманящаго колдовства, которое, „съѣвъ жизнь" вотъ теперь поставило его передъ прозой гроба. И писатель — „пыльный писатель съ пылью и мелочью въ душѣ и на душѣ" — будетъ теперь мстить за неудавшуюся свою жизнь литературѣ, сбрасывая съ себя ея нарядъ и разоблачая себя до конца, не заботясь о томъ, чтобы прикрыть свою неприглядность или смолчать передъ „площадью" о томъ, что святѣе всего: какое дѣло ему до „площади" и до читателя.

— „Ну, читатель, не церемонюсь я съ тобой — можешь и ты не церемониться со мной. Къ чорту. Къ чорту и au revoir до встрѣчи на томъ свѣтѣ . . ."

Вѣдь онъ „давно пишетъ „безъ читателя", — просто потому, что нравится. . . Какъ безъ читателя и издаетъ". . .

— „Сколько я ни усиливался представить читателя, — признается онъ въ другой разъ, — никогда не могъ его вообразить. Ни одно читательское лицо мнѣ не воображалось, ни одинъ оцѣнивающій умъ не вырисовывался. И я всегда писалъ одинъ, въ сущности для себя. Даже когда „плутовски писалъ", то точно кидалъ въ пропасть, „и тамъ поднимается хохотъ", гдѣ то далеко подъ землей, а вокругъ все таки никого нѣтъ". . .

Передъ собою онъ видитъ только литературу, и наканунѣ смерти ей онъ бросаетъ свой вызовъ. Этотъ поединокъ въ сущности начатъ имъ давно, но только теперь отъ прежней игры съ мечомъ онъ перешелъ къ битвѣ не на животъ, а на смерть".

Итакъ Розановъ или побѣдитъ или погибнетъ. . . Въ этомъ поединкѣ онъ сражается за возстановленіе попраннаго пріоритета рукописи, манускрипта, — и изобрѣтатель книгопечатанія Гутенбергъ, своимъ изобрѣтеніемъ положившій основаніе этому попранію, — его заклятый врагъ. Чего добился Гутенбергъ изобрѣтеніемъ „своей машинки"?

— „Какъ будто этотъ проклятый Гутенбергъ облизалъ своимъ мѣднымъ языкомъ всѣхъ писателей, и они всѣ обездушились „въ печати", потеряли лицо, характеръ. . ."

„Черной памяти" „Мефистофель-Гутенбергъ" такъ устроилъ, что всѣ писатели „стали рабами своего читателя". Отъ Гутенберговой „машинки" и началось стѣсненіе свободы мысли", „которая на самомъ дѣлѣ состоитъ въ „не хотимъ слушать". . .

И вотъ литература неразрывно связалась съ литературностью. „Само переживаніе умерло, нѣтъ его". „Всякое пере-

живаніе переливается въ играющее, живое слово"... И въ результатѣ холодъ и неподвижность: „температура (человѣка, тѣла) остыла отъ слова"... Вѣдь „слово не возбуждаетъ, о, нѣтъ, оно расхолаживаетъ и останавливаетъ"...

— „Литературная душа, это Гамлетъ, это холодъ и пустота"...

Для того чтобы писателю стать писателемъ (чтобы въ жизни „сдѣлать", а не только „дѣлать") ему необходимо преодолѣть въ себѣ писателя, — „писательство", „литературщину", вернуться къ „рукописи", къ „манускрипту", какъ это было до Гутенбергова станка, когда писатель писалъ только для себя.

— „Мое я только въ рукописяхъ, да я и всякаго писателя"...

— „У насъ литература такъ слилась съ печатью, что мы совсѣмъ забываемъ, что она была до печати и въ сущности вовсе не для опубликованія. Литература родилась „про себя" (молча) и для себя, и уже потомъ стала печататься..."

— „Въ среднихъ вѣкахъ не писали для публики, потому что прежде всего не издавали. И средневѣковная литература въ многихъ отношеніяхъ была прекрасна сильна, трогательна и глубоко плодоносна въ своей невидности. Новая литература до извѣстной степени погибла въ своей излишней видимости" . . .

Въ этомъ возвратѣ къ безкорыстью пишущаго и въ преодолѣніи въ себѣ самомъ писателя и состоитъ „Розановскій поединокъ съ Гутенберговской тѣнью", съ его „обольщеніемъ" и „навожденіемъ". Онъ какъ бы родился для этого поединка.

Для побѣды надъ Гутенбергомъ нужно вырвать изъ своей души представленіе, что написанное будетъ обездушено на его станкѣ и писать только для себя и о себѣ.

— „Собственно мы хорошо знаемъ единственно себя. О всемъ прочемъ догадываемся, спрашиваемъ. Но если единственная „открывшаяся дѣйствительность" есть „я", то очевидно и разсказывай объ — я (если съумѣешь и сможешь)"...

— „Больше что же еще выражать. Паутины, вздохи, — послѣднее уловимое. О, фантазировать, творить еще можно: но вѣдь суть литературы не въ вымыслѣ же, а въ потребности сказать сердце.

Вотъ изъ этой потребности сказать сердце и возникло Уединенное, а вслѣдъ за нимъ два короба Опавшихъ листьевъ.

— „Шумитъ вѣтеръ въ полночь и несетъ листья... Такъ и жизнь въ быстротечномъ времени срываетъ съ души нашей восклицанія, вздохи, полумысли, получувства... Которыя будучи звуковыми обрывками имѣютъ ту значительность, что „сошли" прямо съ души, безъ переработки, безъ цѣли, безъ преднамѣренія, — безъ всего постороняго... Просто — „душа живетъ"... т. е. „жила", „дохнула"...

Эти „нечаянныя восклицанія“, которыя „текутъ въ насъ непрерывно“ и „умираютъ“ незаписанными, Розановъ и захотѣлъ сохранить, занося ихъ на бумагу. „Написанное все накапливалось“, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Вѣдь „чѣмъ старѣе дерево, тѣмъ больше падаетъ съ него листьевъ“. Эти „опавшіе листья“ Розановъ собралъ въ своихъ трехъ томикахъ. Въ Уединенномъ и въ двухъ „коробахъ“ Опавшихъ листьевъ собрано то, что записалось въ концѣ 1911 и въ 1912 году. Уединенное и Опавшіе листья, дѣйствительно, коробы, въ которыхъ собраны листья — всѣ эти пестрыя записи и замѣтки: серьезныя . . . наряду съ шутливыми совсѣмъ балаганными, тихія рядомъ съ грубыми до ругани, сосредоточенно лирическія и драматическія восклицанія, порывистыя какъ вѣтеръ, мечтательно просвѣтленныя или сосредоточенно замкнутыя, какъ стоячая вода въ темномъ водоемѣ. Непрерывное мельканіе разноцвѣтныхъ лоскутьевъ. А самыя темы разнообразны, какъ разнообразна жизнь и неустанная работа мысли и сердца такого, какъ Розановъ. Возьмите составленный самимъ авторомъ къ этимъ тремъ томикамъ „предметный указатель понятій, фактовъ и лицъ“. Чего, чего здѣсь нѣтъ. Вотъ кое что по алфавиту. Автономія университетовъ, Богъ, Бракъ, Бытъ, Бытовыя мелочи, Вѣчность, Вѣчное, Газеты, Государство, Грѣхъ, Декабристы, „Другъ“, Друзья мои, Дума государственная, духовенство наше, дѣти, Евангеліе, Евреи, Жизнь, Загробная Жизнь, Имѣны супружескія, Карповичъ — убійца Боголѣпова, Кухонная книжка моя, Либерализмъ, Литература вообще, Литература русская, Литература современная, Люди, Мать „друга“, Мать моя, Могила, Молитва и т. д. и т. д. А удивительныя мысли его объ отдѣльныхъ писателяхъ, ихъ портреты и характеристики въ одной фразѣ и самое большее на одной страничкѣ. А его раздумія о церкви или боль о Россіи . . . Россія, Русская жизнь, русская исторія, русская культура, русская правда, русскіе . . .

„Воздыханія, вздохи, полумысли, получувства“ осаждаютъ его всегда и всюду, и онъ торопится тотчасъ же закрѣпить ихъ записью и тѣмъ спасти ихъ отъ смерти. „Всюду“, въ редакціи, въ вагонѣ, въ окружномъ судѣ, въ лѣсу, въ клиникѣ Елены Павловны, на улицѣ, „въ дверяхъ, возвращаясь домой“, въ университетѣ, въ вагонѣ изъ Луги въ Петербургъ, на Троицкомъ мосту, „въ Загородномъ проспектѣ вечеромъ, когда кругомъ проститутки“, или „въѣхавъ въ Зеленину“, на извозщикѣ ночью, въ конкѣ, въ уборной . . . Всюду и всегда . . . Глубокой ночью, за утреннимъ кофе, „смотря на небо въ саду“, за корректурой фельетона, или за статьей о пожарахъ, особенно часто за нумизматикой, одинъ разъ „собираясь на имянины“, другой разъ „24 марта 1912 года, купивъ три мѣста на Волковомъ“, за уборкой библіотеки, и за набивкой табаку, за истребленіемъ комаровъ .. . .

Всюду и всегда . . . и онъ записываетъ на всемъ, что попадается подъ руку: часто „ на оборотѣ транспаранта“, 3 или 4 раза

на поданной визитной карточкѣ, а одинъ разъ „во время купанья“ будто бы даже „на подошвѣ туфли“ . . . Розанову не приходилось ломать себя. Ему легко было дать волю и просторъ своей душѣ и освободить протоколирующую ее руку отъ какихъ либо сдержекъ и стѣсненій, такъ какъ онъ всегда чувствовалъ тяготѣніе именно къ такому писанію и, какъ никто, забывалъ о „печати“, сидя, надъ своей „рукописью“. Онъ пишетъ объ этомъ самъ:

— „Рукописность“ души, врожденная и неодолимая, отнюдь не своевольная и не пріобрѣтенная, и дала мнѣ тонъ Уединеннаго, я думаю, совершенно новый за всѣ вѣка книгопечатанія. Можно разсказать о себѣ очень позорныя вещи и все таки разсказанное будетъ „печатнымъ“, можно о себѣ выдумать „ужасы“ — а будетъ все таки „литература“. Предстояло устранить это опубликованіе. И я, который наименѣе опубликовывался уже въ печати, сдѣлалъ еще шагъ внутрь, спустился на ступень внизъ противъ своей обычной „печати“ (халатъ, штаны) „ и очутился „какъ въ банѣ нагишемъ“, что мнѣ не было вовсе трудно. Только мнѣ и одному мнѣ. Больше этого вообще не сможетъ никто, если не появится такой же . . . Тутъ въ концѣ концовъ та тайна (граничащая съ безуміемъ), что я самъ съ собой говорю, настолько постоянно внимательно и страстно, что вообще кромѣ этого ничего не слышу“ . . .

Итакъ въ поединкѣ съ тѣнью Гутенберга Розановъ уже видитъ себя и побѣдителемъ. Уединенное и Опавшіе листья — его трофеи.

— „Послѣ изобрѣтенія книгопечатанія вообще никто не умѣлъ и не былъ въ силахъ преодолѣть Гутенберга. Моя почти таинственная дѣйствительная уединенность смогла это“. . .

Розановъ побѣдитель. Но въ душѣ его не поютъ побѣдныя фанфары. Вѣдь душа Розанова болѣла противорѣчіями . . . Пусть онъ пишетъ не для читателя, но толкающая руку писателя потребность „сказать сердце“ предполагаетъ вѣдь совсѣмъ не безлюдную пустыню. И Розановъ зналъ боль этой пустыни, разъ говорилъ о своемъ Уединенномъ слѣдующія слова:

„—Писалъ (пишу) въ глубокой тоскѣ какъ нибудь разорвать кольцо уединенія . . . Это именно кольцо, надѣтое съ рожденія. Изъ за него я и кричу: вотъ что здѣсь, пусть узнаютъ, если уже невозможно ни увидѣть, ни осязать, ни придти на помощь. Какъ утонувшій на днѣ глубокаго колодца кричалъ бы людямъ „тамъ“, „на землѣ“ . . . „Даже мысль о возможномъ вліяніи на читателя не совершенно чужда Розанову. Конечно, дѣло не въ убѣжденіяхъ, на нихъ ему „ровно наплевать“ . . . Но онъ хотѣлъ бы своимъ писательствомъ „унѣжить душу“. „Образъ мыслей“, „убѣжденія“ — не сюда направлено его тяготѣніе къ тому, чтобы быть услышаннымъ. „Для себя“ онъ хотѣлъ бы во вліяніи — „психологичности“: „вотъ этой ввинченности мысли въ душу человѣ-

ческую, — и расплывчивости, разрыхленности ихъ собственной души, т. е. у читателя".

— Отсюда и Уединенное, какъ попытка выйдти изъ-за ужасной „занавѣски", изъ за которой не то что я не хотѣлъ, но не могъ выйдти . . . Это, не физическая стѣна, а духовная, — о, какъ страшнѣй физической! . . . Суть „стѣны" заключается въ „не нуженъ я", — „не нужно мнѣ" . . . Вотъ это „не нужно" до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, въ которой невозможно жить: гдѣ какъ въ углекислотѣ, „все задыхается". И между тѣмъ во мнѣ есть „дыханье". „Другъ" и далъ мнѣ возможность дыханія. А уединеное „есть усиліе расширить дыханіе и прорваться къ людямъ, которыхъ я искренно и глубоко люблю. Люблю, а не чувствую. Ловлю — но воздухъ. И какъ будто хочу сказать слово, а пустота не отражаетъ слова".

Душа Розанова болѣла противорѣчіями. Сражаясь съ литературой, которую обездушилъ печатный станокъ, и сознавая себя уже побѣдителемъ въ этомъ поединкѣ, — онъ въ то же время болѣзненно ощущалъ это ея пораженіе, какъ собственное личное несчастіе.

—„ . . . иногда кажется, что во мнѣ происходитъ разложеніе литературы, самаго существа ея. И можетъ быть это есть мое міровое emploi . . . И у меня мелькаетъ странное чувство, что я послѣдній писатель, съ которымъ литература вообще прекратится, кромѣ хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станутъ просто жить, считая смѣшнымъ и ненужнымъ и отвратительнымъ литераторствовать. Отъ этого можетъ быть у меня и сознаніе какого то „послѣдняго несчастія", сливающагося въ моемъ чувствѣ съ „я". „Я" это ужасно гадко, огромно, трагично послѣдней трагедіей: ибо въ немъ какъ то діалектически „разломилось и исчезло" колосальное тысячелѣтнее „я" литературы".

Розановъ побѣдитель, но онъ же самъ и побѣжденный. О, какъ нерадостна его побѣда, и какъ поникла его душа . . .

Вотъ онъ пишетъ:

— „Годъ прошелъ,— и какъ многія страницы Уединеннаго мнѣ стали чужды: а отчетливо помню, что „невѣрнаго" (противъ состоянія души) не издалъ ни одного звука. И „точно летѣлъ". . . Теперь — точно перья перелетѣвшей птицы. Лежатъ въ полѣ одни. Пустыя никому не нужныя" . . .

Розановъ побѣдитель. Но какія побѣдныя фанфары тамъ, гдѣ гудитъ погребальный перезвонъ.

Рука невольно разжимается и мечъ со звономъ падаетъ къ ногамъ.

— „И увидѣлъ я вдали смертное ложе. И что умираютъ побѣдители какъ побѣжденные,а побѣжденные какъ побѣдители. И что идетъ снѣгъ, и земля пуста. Тогда я сказалъ: Боже, отведи это.

Боже, задержи. И побѣда поблѣднѣла въ моей душѣ. Потому что гдѣ умираютъ, тамъ не сражаются. Не побѣждаютъ, не бѣгутъ. Но остаются недвижимыми костями и на нихъ идетъ снѣгъ".

— — — — — — — —

. . . Спустя 7 лѣтъ Розановъ умеръ.

III.

Розановъ умеръ 23 января 1919 года въ Троицко-Сергіевой лаврѣ. Еще въ 1917 году, тотчасъ же вслѣдъ за февральскими и мартовскими погромами и самосудами, онъ ушелъ туда къ монастырскимъ стѣнамъ и нашелъ себѣ пріютъ среди православно и религіозно мыслящихъ и болѣющихъ душой о Богѣ. Одному изъ нихъ — священнику Флоренскому — молодому русскому ученому, ушедшему въ священство, бывшему математику, ставшему богословомъ, онъ завѣщалъ еще раньше, еще на страницахъ „Опавшихъ листьевъ", изданіе своей рукописи, завѣтнаго своего труда, до сихъ поръ еще не напечатаннаго, надъ которымъ онъ трудился долгіе годы. Бывшій „нововременецъ", по своему внѣшнему положенію, и проклинавшій свое нововременство („нововременство" въ широкомъ символическомъ значеніи. . . вѣдь по существу „Опавшіе листья" пронизаны однимъ этимъ проклятіемъ! . . .), „пыльный и сѣрый писатель", затравленный буднями и газетными корректурами („ядомъ Гуттенберга"), столичной суматохой, „вицмундирами" и улицей, онъ нашелъ себѣ здѣсь свой послѣдній пріютъ и послѣднее свое пристанище.

Но и здѣсь на Сергіевомъ посадѣ тишина была уже вспугнутой, когда голодный онъ пришелъ сюда; и если онъ умеръ еще до кощунственнаго вторженія въ Лавру коммиссаровъ, то все же надруганіе надъ ракой съ мощами произошло очень скоро послѣ того, какъ онъ здѣсь навсегда закрылъ свои глаза. Во всякомъ случаѣ Розанову врядъ ли суждено было любоваться здѣсь „покоемъ и закатомъ вечера" и врядъ ли надолго онъ могъ забываться здѣсь подъ „тихій вечерній звонъ". Писательская рука его непрестанно работала и здѣсь. Подъ звонъ колоколовъ Троицкихъ церквей среди тѣснаго круга друзей онъ здѣсь началъ печатать свои маленькія тетради, которыя озаглавилъ „Апокалипсисъ нашего времени".

Въ вихрѣ газетной шумихи и ожесточенной политической борьбы, наканунѣ октябрьскаго торжества большевизма въ ноябрѣ и декабрѣ, появлялись кое гдѣ на столичныхъ книжныхъ витринахъ эти маленькія тетради in 16 съ именемъ В. Розанова на обложкѣ. Въ одной изъ нихъ, въ самой первой, на первомъ мѣстѣ, было напечатано его „Разсыпанное царство". Не пугаясь суровыхъ вьюги и надвигавшагося со всѣхъ сторонъ большевизма, онъ написалъ свой короткій разсказъ о томъ, какъ царь въ изгнаніи рубитъ ледъ въ Царскомъ селѣ на прогулкѣ подъ арестомъ и съ какой любовью онъ

смотритъ на своихъ дѣсей. Нововремцы молчали, Розановъ не желалъ молчать о своей вѣрности прошлому.

— Революція . . . „Паденіе Руси“ . . . „Богъ плюнулъ и задулъ свѣчку . . . да это и не Богъ, а . . . просто шла пьяная баба, споткнулась и растянулась“. Вотъ она мартовская революція . . .

Въ цѣломъ Розановскій „Апокалипсисъ“ въ сущности тѣ же „опавшіе листья“, разметанные листья . . . И въ нихъ было все: и Розановскіе будни и розановская поэзія, и его философія, и его религія, новая розановская религія Солнца-Геліоса. Въ Троицко-Сергіевской лаврѣ среди священниковъ и монаховъ онъ писалъ о побѣдѣ Солнца надъ „темнымъ ликомъ“ и „Луннымъ свѣтомъ“ христіанства“.

При большевикахъ Розановъ, казалось, былъ принужденъ замолчать, голодать и молчать . . . голодать и молчать . . . и все же наканунѣ своей смерти онъ единственный изъ русскихъ писателей въ эру большевизма продолжалъ печататься, правда, скудно и изрѣдка, но все же печататься. Маленькій „Книжный уголъ“, тощій журналъ, пользовавшихся фаворомъ Луначарскаго футуристовъ неожиданно зажилъ и разцвѣлъ красками, когда въ немъ на первомъ мѣстѣ появились короткія записи, опять все тѣ же „опавшіе листья“ Розанова. Но конечно голодъ и холодъ сдѣлали свое дѣло до конца . . .

Розановъ умеръ отъ голода въ нищетѣ. Въ Москвѣ существовалъ разсказъ о Розановѣ, бродившемъ по улицамъ и подбиравшемъ окурки папиросъ . . .

Лоллій Львовъ.

Народное хозяйство Болгаріи во время войны.

I.

Пріятно отмѣтить, что испытанія войны не угасили болгарской экономической мысли: она усиленно работаетъ, въ лицѣ болгарскихъ ученыхъ и практиковъ, подводя итоги прошлому, разбираясь въ настоящемъ и стремясь проникнуть въ будущее. Предъ нами лежитъ рядъ трудовъ, большихъ и малыхъ, являющихся плодомъ этой работы мысли. Пальма первенства принадлежитъ, несомнѣнно, проф. А. Цанкову, давшему въ своей книгѣ: „Послѣдствия отъ войната" (1919 г.) картину разрушительнаго дѣйствія войны на міровое и народное хозяйство, въ частности на народное хозяйство Болгаріи. Чрезвычайно цѣннымъ для интересующихся проблемой военнаго рынка является обширное изложеніе болгарской системы государственной регулировки народнаго хозяйства во время войны. О послѣдствіяхъ войны, преимущественно о дороговизнѣ, трактуетъ и книжка секретаря Бургаской торгово-индустріальной камеры Бурилкова: „Скжпотията и нашата народно-стопанска политика" (1920 г.). Книжка написана ясно и грамотно, давая нѣсколько любопытныхъ чертъ изъ народно-хозяйственной жизни Болгаріи военнаго времени. Прекрасная брошюра Кир. Попова „Ступанска България и финансовитѣ и икономически клаузи на проекто-договора за миръ съ България" (1920), написанная съ большимъ знаніемъ дѣла и подлиннымъ патріотическимъ пафосомъ, трактуетъ исключительно о мирномъ договорѣ Болгаріи и о его непомѣрной тяжести для маленькаго государства, воевавшаго почти непрерывно съ 1913 года и дважды пережившаго экономическую катастрофу. Книжка извѣстнаго болгарскаго географа проф. А. Иширкова „Западна Тракия и договорътъ за миръ въ Ньойи" (1920) занята выясненіемъ географическаго, этнографическаго, хозяйственнаго характера Зап. Фракіи и доказательствомъ неоспоримаго права Болгаріи на эту область. Работа секретаря Варненской торгово-индустріальной камеры Д. Влахова „Икономическото и финасово положение на България" (1920) даетъ много цифръ, освѣщающихъ экономическое положеніе Болгаріи до войны, во время войны и въ настоящее время. Къ сожалѣнію, цифры загромождаютъ текстъ книжки, благодаря чему читатель не сразу можетъ въ нихъ разобраться. Наконецъ, отмѣтимъ коллективный „Мемоаръ върху стопанското положение на страната въ свръзка съ слѣдваната стопанска политика отъ примирието до сега" (1920), поданный отъ имени всѣхъ индустріально-торговыхъ камеръ Болгаріи Министру Торговли, Промышленности и Труда, рисующій интересную картину современнаго экономическаго положенія страны и намѣчающій рядъ мѣръ для улучшенія этого положенія.

Въ настоящемъ очеркѣ мы не можемъ исчерпать всего матеріала, содержащагося въ указанныхъ выше работахъ, и ограничимся только описаніемъ народнаго хозяйства Болгаріи во время войны.

II.

Болгарія представляетъ собою земледѣльческо-ремесленную страну съ чрезвычайно миніатюрной индустріей. Населеніе въ Болгаріи въ 1910 г. достигало 4,337,513 человѣкъ, а въ 1915 г. — 5 мил. человѣкъ. Около 82,2% активнаго населенія составляли земледѣльцы и 17,8% — ремесленники, торговцы, промышленники и др. До 75% активнаго населенія создавало богатства своимъ личнымъ трудомъ, прилагаемымъ въ земледѣліи. Все національное богатство Болгаріи оцѣнивалось въ 1911 г. въ 10 милліардовъ 482 мил. левовъ, причемъ на долю земли падало 7—7½ милліардовъ левовъ (т. е. до 70%), а на долю домашняго скота, земледѣльческаго инвентаря, капиталовъ въ индустріи и торговлѣ, денегъ и пр. — 3—3½ милліарда левовъ. Ежегодный національный доходъ составлялъ 1,6 милліарда левовъ, изъ коихъ половина потреблялась, а половина шла на покрытіе расходовъ государства, общинъ и на накопленіе новыхъ богатствъ.

Вся крупная болгарская индустрія имѣла въ 1911 году капиталъ въ 90 милліоновъ левовъ (въ 1914 г. — 108 мил. левовъ при 388 предпріятіяхъ), обслуживалась механической и двигательной силой въ 27,882 лошадиныхъ силъ, насчитывала 15,800 рабочихъ и производила въ годъ на 122 мил. левовъ продуктовъ. Любопытно отмѣтить, что количество рабочихъ на одномъ Петроградскомъ Путиловскомъ заводѣ вдвое превосходитъ количество рабочихъ во всей болгарской индустріи.

Въ Болгаріи видную роль играетъ ремесло (занаяти). Ремесленное населеніе достигало въ 1905 г. — 300 тысячъ душъ, а число ремесленныхъ заведеній — 75 тысячъ съ капиталомъ въ 20 мил. левовъ. Въ послѣдніе годы замѣчается вытѣсненіе ремесла фабричной формой производства.

Изъ приведенныхъ данныхъ становится очевиднымъ, что земледѣліе является основнымъ устоемъ народнаго хозяйства Болгаріи. Для характеристики болгарскаго земледѣлія необходимо указать на раздробленность земельной собственности (85,7% всей эксплоатируемой земли находится въ рукахъ мелкихъ и среднихъ собственниковъ) и на низкій уровень техники. Приложеніе сельско-хозяйственныхъ машинъ еще очень незначительно (въ 1910 г. — 420 тыс. сохъ, 114 тыс. плуговъ, 916 сѣялокъ, около 7 тыс. жатокъ и т. д.), но быстро увеличивается.

Общій характеръ страны ясно проявляется въ ея внѣшней торговлѣ: въ 1911 г. — 68,1% цѣнности ввоза (при общей его цѣнности въ 199,345 тыс. левовъ) составляли фабрикаты и 90% цѣнности вывоза (при общей его цѣнности въ 184,633 тыс. левовъ) составляли сельско- хозяйственные продукты.

Расходный бюджетъ Болгарскаго государства въ 1910/11 г. г. достигалъ всего 200 милл. левовъ. Такою застала Болгарію балканская война, въ результатѣ которой, понеся тяжелыя жертвы, Болгарія потеряла Добруджу, хотя и не отличавшуюся пространственными размѣрами, но являвшуюся житницей страны, такъ какъ именно въ Добруджѣ земледѣльческая культура была наиболѣе высокой (въ Болгаріи на 100 сохъ приходится 27 плуговъ, а въ районѣ Балчика на 100 сохъ приходится 532 плуга) и такъ какъ именно въ Добруджѣ расположены крупныя земледѣльческія и скотоводческія хозяйства. Самая большая изъ болгарскихъ мельницъ находилась тоже въ Добруджѣ. Правда, взамѣнъ Добруджи Болгарія пріобрѣла неземледѣльческую Зап. Фракію, но въ результатѣ этихъ пертурбацій хозяйственный центръ тяжести страны долженъ былъ заколебаться. Необходимо было для возстановленія нарушеннаго равновѣсія перераспредѣлить народный трудъ, направивъ его на производство промышленныхъ растеній (табакъ и пр.) и на развитіе рыбной ловли. Въ пылу этой работы Болгарію застигла великая война. По мнѣнію Кир. Попова, „ни болгарское національное богатство, ни болгарскій національный

трудъ" не могли вынести войны, которая была расчитана „на интенсивную капиталистическую организацію европейской державы". Однако, Болгарія вступила въ войну. Объ ожиданіяхъ и чаяніяхъ, воодушевлявшихъ часть болгарскаго общества, привѣтствувавшую войну, даютъ представленіе слѣдующія слова проф. А. Цанкова: „Имѣется чудная аналогія — хотя и въ обратномъ отношеніи — между цѣлями крестовыхъ походовъ и настоящей великой войною. Бились не два міра, а состязались противоположные интересы европейскихъ державъ. Германія пыталась проникнуть черезъ Персидскій заливъ въ Индійскій океанъ. Это могло бы осуществиться съ возстановленіемъ значенія стараго пути, который соединялъ Зап. Европу съ Передней Азіей... Не ясно ли, какое торговое значеніе могла бы имѣть Болгарія, какой просторъ для развитія открылся бы передъ нею, если бы было возстановлено торговое значеніе этого пути?"

III.

Война сразу же тяжко сказалась на національномъ производствѣ. Самый здоровый и трудоспособный элементъ населенія былъ призванъ подъ знамена. Въ 1915 году мобилизація оторвала отъ труда 596,796 человѣкъ (27,04% всего мужкаго населенія), въ 1918 году эта цифра возрасла до 857,063 (38,83% всего мужского населенія). Если откинуть мобилизованныхъ въ Македоніи и Добруджѣ, то число призванныхъ въ самой Болгаріи достигнетъ, по оцѣнкѣ проф. А. Цанкова, 780—800 тысячъ человѣкъ. Но мобилизація коснулась не только людей, но и рабочаго скота и крестьянскихъ перевозочныхъ средствъ. Въ самомъ началѣ войны было взято у населенія для военныхъ нуждъ 132,266 паръ рабочаго скота, 97,595 лошадей и 116,000 телѣгъ, не считая того, что было взято уже во время войны. Уменьшеніе рабочаго скота въ 1917 году сравнительно съ 1912 г. выражается въ 22,08%, а уменьшеніе лошадей даже въ 34,3%. Крестьянскія перевозочныя средства уменьшились въ 1917 г., сравнительно съ 1912 г. — на 23,2%. Все это , вмѣстѣ взятое, несмотря на увеличеніе нѣкоторыхъ видовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, породило сокращеніе производства въ земледѣліи, чему содѣйствовали неблагопріятныя климатическія условія. По даннымъ Влахова, въ 1917 году было обработано на 14,8% меньше земли, чѣмъ въ 1912 г., и, кромѣ того, въ 1917 г. было засѣяно и засажено 72% обработанной земли, тогда какъ въ 1912 г. — 83%. Благодаря принятымъ правительствомъ мѣрамъ засѣянную и засаженную площадь удалось въ 1918 году повысить противъ 1917 г., но сборъ зерновыхъ хлѣбовъ еще болѣе упалъ, благодаря какъ климатическимъ условіямъ, такъ и плохой обработкѣ почвы. Въ 1918 году урожай зерновыхъ хлѣбовъ далъ 1,304,622 тоннъ противъ 1,818,119 тоннъ въ 1917 г. (Цифра проф. А. Цанкова, Влаховъ даетъ цифру — 1,969,745 тоннъ) и 2,659,909 тоннъ въ 1912 г. Необходимо отмѣтить, что принудительное засѣваніе многихъ промышленныхъ растеній и добровольное расширеніе населеніемъ культуры табака, цѣны на который не были нормированы, также не могли содѣйствовать увеличенію производства зерновыхъ хлѣбовъ.

На отдѣльныхъ предпріятіяхъ болгарской индустріи война сказалась не одинаковымъ образомъ. Предпріятія работавшія на оборону, увеличили свое производство. Предпріятія же, снабжавшія населеніе, часто хирѣли и останавливались какъ по недостатку техническаго персонала (мобилизація), такъ и по недостатку привозныхъ сырыхъ матеріаловъ, машинъ и частей машинъ. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить, что сырье, перерабатываемое болгарской промышленностью, на 27% — иностраннаго происхожденія. Нѣкоторые виды промышленности находятся еще въ большей зависимости отъ привозныхъ матеріаловъ. Такъ, напримѣръ, желѣзодѣлательная промышленность получаетъ изъ заграницы всѣ 100% сырья, мыловаренная

— 90%, кожевенная до 60% и даже въ текстильной индустріи 20% перерабатываемой шерсти иностраннаго происхожденія! Само собою разумѣется, что во время войны ввозъ иностраннаго сырья долженъ былъ сократиться.

Положеніе ремесла оказалось, въ общемъ, очень сходнымъ съ положеніемъ индустріи, развѣ только въ большей мѣрѣ сказывалась трудность добывать кредитъ.

Желѣзнодорожный транспортъ пришелъ въ разстройство и это разстройство продолжается до сихъ поръ. По словамъ Бурилкова, все движеніе поддерживается 50—60 локомотивами. Несколько сотенъ локомотивовъ стоятъ безъ ремонта (въ 1912 г. работало 212 локомотивовъ*), сколько ихъ было ко времени войны — намъ неизвѣстно).

Что касается внѣшней торговли, то, на первый взглядъ, она даже увеличилась. Цѣнность ввоза (162 милл. левовъ) и вывоза (291,5 милл. лева) дошла въ 1917 году до небывалой раньше цифры 453,5 мил. левовъ. Однако, если участь повышеніе цѣнъ, то окажется, что по количеству и разнообразію вывозимыхъ и ввозимыхъ товаровъ торговля Болгаріи во время войны далеко отстала отъ торговли мирнаго времени. Главную роль въ вывозѣ игралъ табакъ (74,27% всей цѣнности вывоза), а ввозъ представленъ былъ почти исключительно колоніалными товарами (въ мирное время — металлъ и металл. издѣлія, текстильные матеріалы и пр.).

Наконецъ, война разстроила болгарское денежное обращеніе и болгарскіе финансы. Національный банкъ долженъ былъ оказывать помощь государственному казначейству путемъ выпуска своихъ билетовъ. Со 100 милліоновъ левовъ въ 1911 г. — бумажно-денежное обращеніе возросло до 2.857 милліоновъ левовъ къ концу 1919 г., а въ настоящее время составляетъ около 3.200 милліоновъ левовъ.

Государственный долгъ Болгаріи съ 683 милліоновъ левовъ въ 1912 г. и съ 1200 милліоновъ левовъ послѣ балканской войны возросъ къ концу 1919 г. до 5.895 милл. левовъ, изъ коихъ 945 милл. — внѣшняго долга и 4,950 милл. внутренняго долга. Мы взяли цифру долга у Кир. Попова, но должны отговориться, что другіе экономисты оцѣниваютъ его нѣсколько иначе. Сопоставляя всѣ имѣющіяся у насъ данныя, мы признали наиболѣе правильной оцѣнку Кир. Попова. Въ настоящій моментъ внѣшній долгъ Болгаріи необходимо увеличить на всю сумму контрибуціи (называемъ вещи ихъ настоящимъ именемъ). Не говоря уже о разнаго рода иныхъ обязательствахъ, Болгарія должна выплатить 2.250 милліоновъ золотыхъ франковъ, что повышаетъ внѣшній долгъ до 3.196 милл. золот. франковъ или, считая въ современныхъ левахъ, до 19 милліардовъ левовъ. Весь же болгарскій государственный долгъ составляетъ чудовищную (для Болгаріи) сумму въ 24 милліарда левовъ. Если принять во вниманіе, что ежегодные платежи только съ исчисленной Кир. Поповымъ суммы достигаютъ около 611 милліоновъ левовъ, что бюджетное равновѣсіе тяжко поколеблено и цифра доходовъ весьма незначительна (въ 1919—20 год. ожидалось 910 милліоновъ левовъ, а поступило въ дѣйствительности 820 милл. левовъ при 1400 милл. ожидавшихся расходовъ (А вѣдь бюджетъ 1919—20 год. еще не былъ обремененъ платежами по мирному договору!), то картина глубокаго финансоваго кризиса въ Болгаріи станетъ вполнѣ ясной.

IV.

Таково, въ общихъ чертахъ, наслѣдіе войны. Всѣ перечисленныя выше явленіе обнаружились, конечно, не сразу, а нарастали въ теченіе войны постепенно. Внѣшнимъ признакомъ разстройства народнаго хозяйства явился безудержный ростъ цѣнъ, порождавшій дороговизну и спе-

*) См. проф. Kassner. Bu garien, Land und Volk. 1918.

куляцію. Грубо говоря, въ 1917 году главные продовольственые продукты вздорожали въ Болгаріи въ три раза, сравнительно съ 1914 годомъ. Для настоящаго времени Бурилковъ принимаетъ вздорожаніе всѣхъ продуктовъ, въ среднемъ, въ 1500%-въ. Попытка, предпринятая во время войны, регулировать цѣны, видимо, не могла устранить вольнаго рынка и вольныхъ цѣнъ и послѣднія, само собою разумѣется, росли быстрѣе нормированныхъ. Такъ, для 1917 г. нормированныя цѣны на свиное сало возросли на 485%; вольныя — на 956%, сравнительно съ цѣнами 1914 г. Соотвѣтствующія цифры вздоржанія для сахара: 125,2% и 1251,3%.

Въ чемъ же заключается причина дороговизны? Профессоръ А. Цанковъ основную причину видитъ въ нарушеніи соотношенія между потребностями общества въ различныхъ благахъ и производствомъ послѣднихъ.

Война съ одной стороны расточала запасы, сокращала производство, съ другой же стороны не только не уменьшала потребленія, а, наоборотъ, для многихъ благъ даже увеличивала его, вызывая необходимость приспособленія производительныхъ силъ страны въ первую очередь для удовлетворенія военныхъ надобностей. Нарушеніе правильнаго распредѣленія производительныхъ силъ влекло за собою ухудшеніе въ снабженіи населенія, свидѣтельствомъ чего является увеличеніе смертности. (въ нормальное время 20‰, въ 1918 г. — 36‰). Кромѣ того, въ условіяхъ сокращенія производства и уменьшенія запасовъ, государство, находясь подъ давленіемъ военной необходимости, должно было, для усиленія своей „конкурентоспособности на рынкѣ, прибѣгнуть къ созданію новой покупательной силы, т. е. выпуску бумажныхъ денегъ, не останавливаясь передъ оплатой высокихъ цѣнъ, государство вносило дальнѣйшее осложненіе въ уже разстроенную жизнь рынка. Всякій, кто обладалъ запасами благъ, нужныхъ государству или обществу, стремился использовать свое, по существу монопольное положеніе; всякій, кто такими запасами не обладалъ, поддавался паникѣ и бросался пріобрѣтать, легальнымъ или тайнымъ путемъ, продукты, необходимые для жизни. На этой нездоровой почвѣ распустилась махровымъ цвѣтомъ спекуляція.

Бурилковъ развиваетъ, въ общемъ, тѣ же мысли, но гораздо большее значеніе приписываетъ увеличенію количества и обезцѣненію денегъ. „Уменьшеніе хозяйственныхъ благъ и прогрессирующее обезцѣненіе лева — это двѣ основныхъ причины, которыя не только вызвали дороговизну, но и создали зловредный спекулятивный духъ“. Бурилковъ даетъ интересную картину того, какъ стремясь избѣгнуть послѣдствій обезцѣненія денегъ, всѣ слои населенія кинулись пріобрѣтать реальныя цѣнности, подымающіяся въ цѣнѣ въ соотвѣтствіи съ паденіемъ покупательной силы денегъ. Бурилковъ отмѣчаетъ также (хотя и мимоходомъ), что съ оскудѣніемъ товарнаго рынка и ослабленіемъ позиціи денегъ у сельскаго населенія значительно понизилась охота появлятся въ городахъ съ предложеніемъ своихъ продуктовъ, ибо городъ въ обмѣнъ на эти продукты ничего не могъ предложить, кромѣ бумажныхъ денегъ. Это обстоятельство не могло не породить значительной разницы въ снабженіи продовольствіемъ городского и сельскаго населенія. Проф. А. Цанковъ опредѣленно подчеркиваетъ это, указывая на укоренившуюся за время войны въ сельскомъ населеніи привычку къ большему, чѣмъ прежде, потребленію въ своемъ хозяйствѣ такихъ продуктовъ, которые въ мирное время деревня обычно продавала, въ ущербъ собственному потребленію, на городскомъ рынкѣ. Въ томъ же случаѣ, когда сельскій житель появлялся со своими произведеніями на городскомъ базарѣ, онъ пожиналъ плоды повышенія цѣнъ на предметы питанія и врядъ ли имѣлъ основаніе, какъ замѣчаетъ проф. А. Цанковъ, оплакивать увеличеніе цѣнъ на промышленныя издѣлія, такъ какъ большинство послѣднихъ не является предметомъ ежедневнаго потребленія. Иное дѣло городъ: онъ страдалъ и отъ недостатка продовольствія и отъ недостатка товаровъ.

Все выше изложенное могло бы дать поводъ къ интереснымъ сближеніямъ явленій русскаго и болгарскаго народныхъ хозяйствъ во время войны, но это завело бы насъ слишкомъ далеко. Ограничимся, поэтому, указаніями на то, въ чемъ заключаются различія русскаго военнаго рынка отъ болгарскаго. Во-первыхъ, въ Россіи гораздо глубже, чѣмъ въ маленькой Болгаріи, намѣтилось раздѣленіе потребительныхъ и производительныхъ областей, что, при колоссальныхъ пространствахъ великой державы, придало чрезвычайное значеніе разстройству транспорта. Это разстройство имѣло прямо роковыя послѣдствія какъ для снабженія страны, такъ и для невѣроятнаго искаженія аппарата спроса и предложенія и, слѣдовательно, цѣнъ. Между тѣмъ, въ Болгаріи среди причинъ экономическаго кризиса разстройство транспорта фигурируетъ только на второмъ планѣ. Во-вторыхъ, городъ и деревня въ Россіи во много разъ тѣснѣе связаны другъ съ другомъ взаимнымъ обмѣномъ, чѣмъ въ Болгаріи. Разрывъ этой связи повлекъ за собою форменную войну города и деревни . . . Сокращеніе деревней предложенія продовольственныхъ продуктовъ, о чемъ болгарскіе экономисты упоминаютъ мимоходомъ, вызвало въ Россіи неисчислимыя бѣдствія, стало самымъ злободневнымъ вопросомъ съ конца 1916 года, и породило проблему „товарообмѣна", т. е. натуральнаго обмѣна промышленныхъ издѣлій на хлѣбъ . . . Причины чудовищной эмиссіи денегъ въ Россіи и ихъ головокружительнаго обезцѣненія коренятся въ значительной мѣрѣ въ двухъ вышеупомянутыхъ явленіяхъ, но, само собой разумѣется, ими далеко не исчерпываются.

V

Разстройство народнаго хозяйства въ Болгаріи вызвало вмѣшательство государственной власти въ экономическую жизнь страны. Иначе говоря, было сознано, что свободная торговля въ ненормальныхъ условіяхъ приводитъ къ гибельнымъ для обороны страны результатамъ. Проф. А. Цанковъ сводитъ всѣ аргументы въ пользу вмѣшательства государства въ экономическую жизнь страны къ слѣдующимъ четырямъ положеніямъ: I Государство должно регулировать производство и торговлю, ибо во время войны на него легла отвѣтственность за снабженіе арміи и населенія. II — Государство должно регулироватъ производство и торговлю, ибо частная иниціатива, руководясь частными интересами, не могла подняться до пониманія всего происходящаго и не могла, поэтому, внести порядокъ в экономическую жизнь. III — Государство должно было регулироватъ производство и торговлю, ибо война требовала ихъ приспособленія, если не исключительно, то главнымъ образомъ, къ цѣлямъ обороны. IV — Государство должно было регулироватъ производство и торговлю, ибо веденіе войны требовало раціональнаго и бережливаго расходованія хозяйственныхъ силъ, а частный интересъ, наоборотъ, стремился къ скорѣйшему использованію въ свою пользу существующей дезорганизаціи.

Проф. А. Цанковъ указываетъ, наконецъ, что государство, принужденное въ первую очередь прибѣгнуть къ регламентаціи сельскаго хозяйства, такъ какъ снабженіе арміи и населенія продовольствіемъ являлось задачей первостепенной важности, должно было, уже по соображеніямъ соціальной справедливости, распространить регулировку на всякое производство и на всякую торговлю.

Система государственнаго вмѣшательства въ хозяйственную жизнь страны вызвала въ Болгаріи ожесточенное противодѣйствіе со стороны заинтересованныхъ лицъ, но это противодѣйствіе не только не ослабляло регламентирующей дѣятельности государства, а, наоборотъ, приводило къ все большему и большему усиленію ея. Къ сожалѣнію, мы не можемъ здѣсь заниматься подробнымъ изложеніемъ исторіи государственной регу-

лировки хозяйства въ Болгаріи, отсылая интересующихся къ книгѣ проф. А. Цанкова.

Минуя законы 8 августа 1914 г. и 26 августа 1916 г., перейдемъ къ разсмотрѣнію дѣятельности „Дирекции за стопански грижи и обществена предвидливость", учрежденной 6 апрѣля 1917 года и представлявшей собою высшій экономическій органъ страны, на который была возложена задача организовать и регулировать какъ производство, такъ и торговлю и распредѣленіе, съ цѣлью наиболѣе полнаго удовлетворенія потребностей арміи (въ первую голову) и населенія. Дирекція была военнымъ учрежденіемъ съ широкими, почти абсолютными, правами, и ея распоряженія были обязательны для всѣхъ властей въ странѣ: военныхъ и гражданскихъ. Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣятельность Дирекціи подлежала контролю Совѣта Министровъ. Главное Интендантство и Главная реквизиціонная комиссія были подчинены Дирекціи, а Главному Тыловому Управленію было вмѣнено въ обязанность предоставлять Дирекціи потребное количество перевозочныхъ средствъ.

Руководство всей работой Дирекціи принадлежало единоличной власти директора, который имѣлъ пять помощниковъ, компетентныхъ въ отдѣльныхъ областяхъ экономической жизни. На мѣстахъ дѣйствовали, какъ органы Дирекціи, районные комитеты, реквизиціонныя комиссіи, городскія и сельскія общины и т. д. Однако, на практикѣ Дирекція стремилась создать на мѣстахъ органы по своему образу и подобію.

Посмотримъ же, какіе результаты дала дѣятельность Дирекціи во всѣхъ областяхъ народно-хозяйственной жизни. Обратимся прежде всего къ земледѣлію. Для усиленія производства хлѣба Дирекціи использовала безработное населеніе въ городахъ и селахъ, оказывая трудовую помощь малоимущимъ и бѣднымъ земледѣльцамъ, охраняла во время полевыхъ работъ трудъ и скотъ сельскихъ хозяевъ отъ реквизиціи безъ вѣдома военныхъ агрономовъ, установила обязанность для всѣхъ, воздѣлывающихъ землю, засѣвать хлѣбными злаками столько земли, сколько необходимо, по крайней мѣрѣ, для ихъ хозяйства и семейства (это касалось виноградарей, табаководовъ и пр.), принуждала бѣженцевъ обрабатывать по ½ декара земли на хозяйство, требовала отъ безземельнаго городского населенія воздѣлыванія по ½ декара на каждую душу общинной, государственной и даже частной земли, если послѣдняя не обрабатывалась владѣльцами и т. д.

Однако, всѣ эти мѣропріятія не могли, конечно, уничтожить основного, дезорганизующаго сельско-хозяйственное производство, фактора: недостатка рабочихъ рукъ. Плѣнные, бѣженцы и интернированные составляли не болѣе 68 тыс. человѣкъ и, слѣдовательно, не могли замѣстить въ замѣтной мѣрѣ ушедшихъ на фронтъ болгаръ. Потребность страны въ зерновыхъ хлѣбахъ проф. А. Цанковъ исчисляетъ въ 2 милл. тоннъ. Ни въ 1916 г. ни въ 1917 г. производство хлѣба такого количества не дало. Для 1917 года недостатокъ выразился, напр., въ 200 тысячъ тоннъ. Въ 1918 году разразился настолько тяжелый хлѣбный кризисъ, что пришлось ввозить хлѣбъ изъ Америки въ обмѣнъ на золото Національнаго банка.

Что касается мяса, жировъ и молочныхъ продуктовъ, то лучше всего обстояло дѣло съ заготовкой „кашкавала" (овечьяго сыра) и „сиренс" (брынзы). При годовой потребности въ 10—12 милл. килограммовъ Дирекція поставила въ 1917 г. около 9½ милл. килограммовъ. Достаточно сказать, что для достиженія такого результата необходимо было переработать 41 милл. литровъ молока.

Со снабженіемъ арміи и населенія мясомъ и жирами не удалось справиться въ такой же мѣрѣ. При годовой потребности въ мясѣ около 75 милл. кил.*) Дирекція заготовила въ 1917 г. всего лишь 33,3 милл. кил.

*) Для этого необходимо было заготовить до 200 тысячъ головъ крупн. рогат. скота, до 3 мил. овецъ и до 150 тысячъ свиней.

и при годовой потребности въ жирахъ около 4—5 милл. килогр.**) Дирекція поставила менѣе 1 милл. кил. Трудности съ заготовкой жировъ заставили Дирекцію принять мѣры къ увеличенію культуры масличныхъ сѣмянъ. И это удалось сдѣлать: въ 1917 году чистый сборъ масличныхъ сѣмянъ достигъ 10 милл. кил., но Дирекція заготовила въ теченіе осени 1917 г. всего лишь 4.625.807 кил. и получила едва 450 тыс. кил. растительнаго масла.

Чтобы покончить съ продовольственными продуктами, скажемъ еще два слова о сахарѣ и соли.

Для поддержанія сахарнаго производства Дирекція прибѣгла къ принудительному засѣванію въ заводскихъ районахъ свеклы, цѣна на которую была нормирована. Заводчикамъ гарантировалось полученіе свеклы по нормированной цѣнѣ. При общей годовой потребности страны въ сахарѣ около 15—20 милл. кил., болгарскіе сахарные заводы выработали въ 1916—17 г. до 9,9 милл. кил.; въ 1917—18 г. они могли бы довести производство до 10,8 милл. кил., и въ 1918—1920 — даже 24 милл. кил. но засуха, затрудненія въ транспортѣ, недостатокъ химическихъ препаратовъ и т. п. значительно понизили производство. Нужда въ сахарѣ была покрыта не только туземной выработкой, но и закупкой въ 1917 г. 10 милл. кил. сахара на австрійскомъ рынкѣ.

Потребность Болгаріи въ соли исчисляется около 60 милл. кил., при внутренней добычѣ въ 18—20 милл. кил. Дирекція съ апрѣля по декабрь 1917 г. доставила 98,4 милл. килограммовъ, а по декабрь 1918 г. — 123,5 милл. килограммовъ.

Перейдемъ теперь къ обзору дѣятельности Дирекціи по снабженію арміи и населенія предметами первой необходимости не продовольственнаго характера. Уже въ 1916 г. въ Болгаріи были милитаризированы текстильная и кожевенная индустріи. Дирекція подчинила себѣ и другія отрасли промышленности (добывающей и обрабатывающей). Къ концу 1917 г. оказалось милитаризовано 141 предпріятіе съ персоналомъ въ 14 152 человѣка. Дирекція снабжала фабрики и заводы сырьемъ, оказывала помощь въ полученіи горючихъ матеріаловъ, содѣйствовала набору рабочихъ и добыванію транспортныхъ средствъ. Готовый продуктъ поступалъ въ полное распоряженіе Дирекціи, причемъ, фабрикантъ (заводчикъ) получалъ, кромѣ возмѣщенія расходовъ, умѣренную прибыль.

Потребность страны въ шерстяной матеріи достигаетъ 1.700.000—1.750.000 метровъ при собственномъ производствѣ въ 950.000 метровъ въ годъ. Дирекція абсолютно забронировала шерсть для частнаго рынка и довела мѣсячное производство шерстяной матеріи до 183.867 м. Выработка хлопчато — бумажныхъ тканей наталкивалась на отсутствіе пряжи, благодаря чему, еще до возникновенія Дирекціи, правительство (въ лицѣ Интендантства) должно было реквизировать всю пряжу, ввезенную до войны. Дирекція довела мѣсячное производство пряжи до 20.275 килогр. (до нея — 18.519 килогр.).

Въ кожевенной промышленности уже къ 1 іюля 1916 г. Главное Интендантство милитаризировало 32 кожевенныхъ завода. Выдѣланныя и сырыя кожи (крупныя и мелкія) были объявлены предметомъ первой необходимости и забронированы для частнаго рынка. На милитаризованныхъ и на всѣхъ другихъ заводахъ была произведена реквизиція обработанныхъ и сырыхъ кожъ. Всѣ заводы могли обрабатывать только кожи, принадлежащія государству, и только для нуждъ арміи. Дирекція цѣликомъ усвоила эту политику и продолжила ее. Въ городахъ были взяты на учетъ кожевенные матеріалы; годные для арміи — изъяты, а негодные для войскъ — — пущены въ распредѣленіе населенію подъ руководствомъ Ди-

**) Для этого требовалось до 16—20 милл. литровъ молока и 8—10 милл. кило масличныхъ сѣмянъ.

рекціи. Всѣ годныя кожи отъ битаго и павшаго скота приказано было реквизировать по нормированнымъ цѣнамъ и войскамъ запрещалось самостоятельно обрабатывать кожи отъ армейскаго скота. Кромѣ того, Дирекція приняла мѣры къ насажденію производства деревяной обуви. Усилія правительства, направленныя на захватъ кожевеннаго рынка, увѣнчались, по словамъ проф. А. Цанкова, успѣхомъ: до 75% всего имѣющагося въ странѣ кожевеннаго матеріала оказалось въ рукахъ правительства.

Въ области мыловареннаго производства Дирекція обратила особое вниманіе на добываніе жировъ, вплоть до собиранія всевозможныхъ жировыхъ отбросовъ. Нѣсколько заводовъ было поставлено подъ правительственный контроль, а работой одного завода (военный заводъ въ Софіи) руководила сама Дирекція.

Наконецъ, посмотримъ, какъ обстояло дѣло съ добычей каменнаго угля. Годовая потребность Болгаріи въ привозномъ углѣ до войны достигала 40—50 тыс. тоннъ. Въ 1914 году, еще до начала войны, въ Болгарію было ввезено около 218 тысячъ тоннъ, благодаря чему Болгарія не изпытывала нужды въ топливѣ вплоть до своего вступленія въ войну. Въ дальнѣйшемъ сталъ ощущаться недостатокъ въ углѣ, и правительство направило всѣ усилія, чтобы увеличить добычу угля на рудникѣ „Перникъ" (къ югозападу отъ г. Софіи) и др. Въ 1914 году было добыто 416,937 тоннъ, въ 1915 г. — 524,757 тоннъ, въ 1916 г. — 643,887 тоннъ и въ 1917 г. — 783,084 тоннъ. Одако, одновременно съ увеличеніемъ добычи росла и потребность въ углѣ. Такъ, наприм., въ 1914 г. желѣзныя дороги поглощали 39% всей выработки угля, а въ 1917 г. — 73%. Для нуждъ промышленности и населенія оставалось ничтожное количество.

Намъ еще остается сказать нѣсколько словъ о мѣропріятіяхъ Болгарскаго правительства въ области внѣшней торговли. Вывозъ товаровъ безъ разрѣшенія Дирекціи не допускался. При ввозѣ товаровъ Дирекція устанавливала цѣны, выше которыхъ привезенные товары не могли продаваться. Эта мѣра была принята потому, что правительство не соглашалось воспретить ввозъ многихъ излишнихъ и „луксозныхъ" товаровъ. Дирекція, очевидно, пыталась осуществить это запрещеніе вышеуказаннымъ путемъ.

Самымъ важнымъ явленіемъ въ области международной торговли Болгаріи во время войны было заключеніе 27 октября 1917 года торговаго договора съ союзными центральными державами. Принципъ, положенный въ основу этого договора, былъ принципомъ не компенсаціи, а принципомъ взаимности, т. е. договоривающіяся стороны должны были обмѣниваться другъ съ другомъ въ мѣру обоюдной нужды и въ мѣру имѣющихся у нихъ запасовъ. Обмѣнъ совершался черезъ офиціальные органы соотвѣтствующихъ державъ, причемъ доставка товаровъ сторонами происходила по нормированнымъ цѣнамъ, если таковыя существовали, и по цѣнамъ государственной заготовки, если нормированныхъ цѣнъ не было. Въ томъ случаѣ, когда договаривающіяся державы принуждены были обратиться къ частному рынку и покупать товары на территоріи контрагента по вольнымъ цѣнамъ, подлежащее правительство должно было принять зависящія мѣры къ облегченію закупки. Кромѣ участія въ заготовкахъ центральныхъ державъ на нейтральныхъ рынкахъ, Болгарія получила право самостоятельной закупки всякаго рода товаровъ и право на транзитъ своихъ продуктовъ (дѣло шло, главнымъ образомъ, о табакѣ и опіумѣ, такъ какъ транзитъ розоваго масла и вина былъ свободенъ) въ нейтральныя страны, но съ условіемъ, чтобы нужда союзниковъ въ этихъ продуктахъ была учтена въ первую голову.

Что касается дѣятельности Дирекціи по ввозу товаровъ, то о ввозѣ соли мы уже говорили. Отмѣтимъ еще, что съ Апрѣля 1917 г. по Январь 1918 г. Дирекція ввезла 14,798 тоннъ керосина, не говоря уже о ввезенныхъ до нея 3,046 тоннахъ (вся годовая потребность Болгаріи — около

29 тысячъ тоннъ). Кромѣ того, Дирекція доставила 2,207,685 килогр. машиннаго масла, 307,080 килогр. каустич. соды, 1 милліонъ метровъ хлопчатобум. тканей, 250 тысячъ комплектовъ военнаго обмундированія и пр.

Весь вывозъ Болгаріи былъ почти цѣликомъ сосредоточенъ въ покупательныхъ учрежденіяхъ союзныхъ державъ. Часть товаровъ союзники получали отъ Болгарскаго правительства, часть заготовляли сами, причемъ въ договорѣ было точно установлено, какіе матеріалы вообще можно вывозить.

19 ноября 1917 года Дирекція организовала особое „закупочное отдѣленіе", носящее чисто торговый характеръ и освобожденное отъ всѣхъ формальностей въ отчетности, которымъ подлежатъ правительственныя учрежденія. Отдѣленіе имѣло своихъ представителей заграницей. Проф. А. Цанковъ подчеркиваетъ, что въ своей дѣятельности Дирекція не стремилась устранить торговый аппаратъ, а пыталась лишь оздоровить рынокъ, ибо, покупая и распредѣляя продукты по дешевымъ цѣнамъ, Дирекція имѣла въ виду повліять на торговцевъ, строившихъ свои расчеты на высокихъ цѣнахъ при продажѣ товаровъ и платившихъ, поэтому, высокія цѣны при своихъ закупкахъ.

Но у насъ сложилось впечатлѣніе, что съ торговымъ аппаратомъ въ Болгаріи случилось, до нѣкоторой степени, такое же несчастье, какое наблюдалось въ Россіи: не умѣя приспособиться къ новымъ условіямъ, не обладая сплоченными организаціями, старый торговый аппаратъ оказался раздавленнымъ колесомъ регулировки, а его мѣсто заступили торговцы новой формаціи . . .

На эти мысли навелъ насъ вышеупомянутый „Мемоаръ" торгово-индустріальныхъ камеръ.

Война кончена. Болгарское народное хозяйство ожидаютъ новыя испытанія. Потеряна на только Добруджа, но и Зап. Ѳракія съ выходомъ въ „Бѣлое" море. Свобода дѣйствій Болгаріи въ области хозяйственной и торговой политики ограничена. На Болгарію возложены многообразныя обязательства, въ томъ числѣ уплата 2,250 милл. золотыхъ франковъ. Выдержитъ ли страна новую катастрофу?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ требовалъ бы внимательнаго разсмотрѣнія современнаго состоянія народнаго хозяйства Болгаріи, что въ настоящемъ обзорѣ мы сдѣлать на можемъ, но что надѣемся сдѣлать въ ближайшемъ будущемъ.

С. С. Демосѳеновъ.

Памяти Гюстава Флобера.

(1821—1921).

„Ah! mon ami, l'homme est un composé instable, et la terre une planète bien inférieure".

Littré.

Не помню кто изъ русскихъ литераторовъ говорилъ, что, въ моменты душевной тоски, онъ снимаетъ съ полки „Письма Пушкина", и оживающій человѣческій образъ поэта возвращаетъ ему силы. Дѣйствительно, есть такія книги-друзья, протягивающія намъ сочувственную руку изъ глубины минувшаго. Это не возвышающій обманъ и не облитый слезами вымыслъ, а подлинные человѣческіе документы, наслѣдство „старшихъ сыновъ Господнихъ", по счастливому выраженію Мишле. Ихъ можно читать не только для развлеченія, не только съ образовательной цѣлью —ихъ нужно читать, чтобы жить. Таковы „Письма" Пушкина, таковы „Разговоры" Гете, такова переписка того великаго француза, память котораго должна была бы единодушно чествовать въ этомъ году вся Франція, — знаменитаго чудака изъ Croisset, Гюстава Флобера.

Все написанное Флоберомъ для печати не даетъ должнаго представленія о личности писателя. „Существуютъ два рода поэтовъ, говоритъ Флоберъ. Одни — величайшіе, подлинные, рѣдкіе мастера, резюмирующіе человѣчество; они, не помышляя ни о себѣ, ни о собственныхъ своихъ страстяхъ, устраняютъ свою личность, чтобы войти полностью въ личность другихъ; они воспроизводятъ вселенную, которая отражается въ ихъ твореньяхъ, искрящаяся, разнообразная, множественная, подобно цѣлому небосводу, отображающемуся въ морѣ со всѣми своими звѣздами и со всей своей лазурью. Другимъ же достаточно творить, чтобы быть гармоничными, достаточно плакать, чтобы умилять, достаточно заниматься самими собой, чтобы остаться вѣчными". Идеаломъ своего творчества Флоберъ избираетъ первый методъ. Онъ устраняетъ свою личность, онъ перевоплощается въ своихъ героевъ, живетъ ихъ мыслями и чувствами. Онъ переживаетъ грезы будущей Mme Bovary, вчитываясь въ дѣвичью сантиментальную литературу; онъ пропитывается ненавистнымъ ему мѣщанскимъ духомъ, чтобы говорить устами аптекаря Homais, онъ испытываетъ всѣ послѣдствія отравленія мышьякомъ, когда перо его воспроизводитъ пред-

смертную агонію его несчастной героини. Онъ претерпѣваетъ всѣ искушенія Св. Антонія. Онъ на развалинахъ Карѳагена уносится въ далекое прошлое и вызываетъ къ жизни въ яркихъ бытовыхъ краскахъ цѣлую ушедшую эпоху. Проникая въ бездну человѣческой глупости, онъ послѣдовательно проходитъ циклъ людского знанія, переселяясь въ мозгъ двухъ убогихъ писцовъ, знаменитыхъ Bouvard и Pécuchet.

Вдохновеніе посѣщаетъ его; онъ знаетъ радости поэтическаго ясновидѣнія. Что то проникаетъ въ васъ, пишетъ онъ Тэну; это не галлюцинація, при которой вы теряете ощущеніе личности и исполняетесь страхомъ. Нѣтъ, ощущеніе истинности не покидаетъ васъ — и все же вы не знаете, гдѣ вы... Иногда видѣніе раскрывается медленно, вещь за вещью встаютъ предъ вами какъ бы части одной декораціи, часто оно мгновенно. Что то проходитъ передъ глазами — и надо жадно устремляться на него.

Но эти озаренія лишь моменты поэтическихъ вспышекъ, освѣщающихъ трудный путь художника. Какъ часто, подобно искателю жемчуга, бросается онъ въ глубину и возвращается съ пустыми руками и помертвѣвшимъ лицомъ. Праздникъ вдохновенія является наградой за кропотливый, постоянный, нечеловѣческій трудъ. Флоберъ не Пушкинъ, который непроизвольно, по самой природѣ своей, „въ Испаніи испанецъ, съ грекомъ грекъ, на Кавказѣ вольный горецъ, а съ отжившимъ человѣкомъ дышитъ стариной времени давно минувшаго". Такого дара интуиціи у Флобера нѣтъ. Онъ и зодчій, онъ и чернорабочій. Камень за камнемъ стаскиваетъ онъ на себѣ отдѣльныя частицы своихъ будущихъ великолѣпныхъ зданій, нагромождаетъ груды матеріаловъ, сооружаетъ огромные лѣса и въ многолѣтнемъ каторжномъ трудѣ, пригоняя слово къ слову, нанизывая фразу на фразу, накладывая страницу на страницу заполняетъ постепенно содержаніемъ узоръ своего чертежа. Ночами сидитъ онъ надъ одной фразой, мѣсяцы уходятъ на нѣсколько десятковъ страницъ, долгіе годы на сравнительно небольшой томъ. Но когда взыскательный художникъ ставитъ наконецъ точку надъ своимъ произведеніемъ, оно представляется ему однимъ сплавленнымъ цѣлымъ, какимъ то монолитомъ. Слова нельзя выбросить изъ его прозы, не нарушивъ ея гармоніи, ея ритма. Когда уже набиралась Mme Bovary, Флобера просятъ измѣнить наименованіе журнала, упоминаемаго въ романѣ, вмѣсто Journal de Rouen поставить хотя бы Le Progressif de Rouen. Казалось бы, вещь безразличная. Но Флоберъ въ ужасѣ; онъ полушутя пишетъ своему другу Bouilhet что онъ „снѣдаемъ сомнѣніями", не знаетъ, какъ поступить. Онъ поручаетъ ему разрѣшить этотъ вопросъ и уже вполнѣ серьезно внушаетъ ему: „поразмысли, это сломаетъ ритмъ моихъ бѣдныхъ фразъ. Это важно".

Фразѣ, внѣшнему выраженію, стилю Флоберъ придавалъ огромное значеніе. За прекрасной формой не можетъ скрываться плохая идея, а хорошая идея можетъ быть выражена только прекрасной фразой. Уже на склонѣ лѣтъ, возражая Жоржъ Зандъ на упрекъ ея

въ увлеченіи внѣшней формой, онъ замѣчаетъ: „хорошо писать — это все“ и цитируетъ Buffon'a, который утверждалъ, что „хорошо писать — это въ одно и то же время хорошо чувствовать, хорошо думать и хорошо говорить“. „Забота о внѣшней красотѣ, продолжаетъ онъ, это для меня методъ. Если я обнаруживаю плохое созвучіе или повтореніе въ какой либо изъ моихъ фразъ, значитъ я гдѣ то фальшивлю (je patauge dans le faux); путемъ исканія я нахожу правильное выраженіе, которое и было единственнымъ и которое въ то же время гармонично. Никогда не будетъ остановки за словомъ, если владѣешь идеей“.

И какъ былъ бы огорченъ Флоберъ, если бы ему сказали, что все же лучшимъ его памятникомъ явятся не прекрасные, сдѣлавшіе эпоху романы, написанные его неподражаемой, гармоничной, отточенной прозой, не Madame Bovary и Éducation Sentimentale, — а тѣ разрозненные клочки бумаги, на которыхъ онъ, въ непринужденной бесѣдѣ съ друзьями, просто „творилъ“, просто „плакалъ“, просто „занимался самъ собой“. Въ этихъ алмазныхъ брызгахъ его пера больше „гармоніи“, чѣмъ въ его чеканныхъ твореніяхъ; глубже „умиленіе“, вызванное этими вдохновенными замѣтками; подлинно „вѣчнымъ“ будетъ тотъ плѣнительный обликъ, который отдѣляется отъ этихъ случайныхъ листковъ.

„Страсть къ фразѣ изсушила твое сердце“, говорила Флоберу его старушка мать. Дѣйствительно, еслибы мы знали только опубликованныя Флоберомъ глубокія и художественныя его творенія — мы не знали бы всей глубины его великаго сердца. Она раскрывается только въ его перепискѣ.*).

Письма выдающихся людей представляютъ собой вообще одно изъ интереснѣйшихъ проявленій человѣческаго творчества. Въ частности наша литература имѣетъ замѣчательные образцы эпистолярнаго рода. Достаточно независимо отъ писемъ Пушкина упомянуть письма Тургенева, Герцена, Эртеля, Чехова... Но переписка Флобера занимаетъ и въ эпистолярной литературѣ особое мѣсто. Причиной тому служатъ три обстоятельства. Одно коренится въ методѣ его художественнаго творчества, другое въ условіяхъ его жизни, третье — въ свойствахъ его характера.

Мы видѣли, какъ понималъ Флоберъ художественное творчество. Своимъ личнымъ настроеніямъ, переживаніямъ, размышленіямъ онъ не давалъ выхода. Гюставъ Флоберъ молчалъ въ художникѣ, молчалъ со стиснутыми зубами. А между тѣмъ, ему было что сказать. Невысказанныя имъ мысли душили его. „Вы думаете, писалъ онъ Ж. Зандъ, что разъ я провожу жизнь за изготовленіемъ гармоническихъ фразъ,

---

*) По моей иниціативѣ и просьбѣ мой ближайшій сотрудникъ по „Русской Мысли“, С. Л. Франкъ началъ въ свое время переводить „Избранныя мѣста изъ переписки Флобера“ для нашего журнала и часть этого перевода, превосходно исполненнаго, была напечатана въ немъ.

П. Струве.

избѣгая ассонансовъ, то у меня нѣтъ своихъ маленькихъ сужденій о предметахъ этого міра? Увы да, и я издохну въ ярости на то, что ихъ не говорю". Единственный способъ выраженія его личныхъ мнѣній — было живое общеніе на словахъ и на письмѣ съ друзьями. Не удивительно, что напряженіе и яркость мысли, лишенной всякаго иного выхода, и вдругъ освобожденной отъ цѣпей, — достигаетъ совершенно исключительной силы.

Но это напряженіе питается самыми условіями жизни Флоберя. Красавецъ въ молодости, обладатель независимаго состоянія, блестящій собесѣдникъ — Флоберъ явилъ своею жизнью своеобразный примѣръ того, что нѣмцы называютъ Weltaskese Онъ страстно любитъ жизнь, онъ обладаетъ ненасытимой къ ней любознательностью, его большое сердце художника радостно открыто для всякаго ея подлиннаго проявленія. Что-то отъ Гетевскаго пантеизма есть въ его мірощущеніи Но онъ не можетъ ужиться съ будничной дѣйствительностью — чувство прекраснаго, въ немъ заложенное, болѣзненно реагируетъ на всѣ проявленія человѣческой глупости и пошлости; обволакивающее его со всѣхъ сторонъ мѣщанство приводитъ его въ неистовство и бѣшенство — онъ бѣжитъ отъ него въ уединеніе, ищетъ отдыха и успокоенія въ изученіи и лицезрѣніи прекраснаго. Да онъ и не хочетъ погрузиться въ обывательщину: онъ сознаетъ свое призваніе, искусству хочетъ онъ отдать всего себя полностью. Искусство — его прекрасная дама, онъ — ея рыцарь, вѣрный до гроба. Кто знаетъ, быть можетъ, Тургеневъ, обдумывая свою памятную рѣчь о Донъ Кихотѣ и оцѣнивая духовную значимость этого грандіознаго образа имѣлъ въ полѣ своего зрѣнія рядомъ съ невзрачной фигуркой неистоваго Виссаріона и массивную фигуру французскаго друга. Отъ смѣшного до великаго одинъ шагъ, и то чистое, что горѣло въ сердцѣ Донъ Кихота, заполняло душу и Флобера. Характерно, что Донъ Кихотъ былъ твореніемъ, съ ранняго дѣтства близкимъ Флоберу и чтимымъ имъ до старости.

Едва ли исторія литературы знаетъ другой примѣръ такого полнаго безогляднаго отданія себя въ жертву искусству, такого безостаточнаго сжиганія себя на огнѣ этой единственной, всепроникающей страсти. Флоберъ подвижникъ искусства въ буквальномъ смыслѣ этого слова; оно заполняетъ всю его жизнь, налагаетъ на всю его судьбу неизгладимый отпечатокъ. Эта idée maîtresse обусловливаетъ своеобразіе всѣхъ его личныхъ отношеній и связей. Жизнь его бѣдна внѣшними событіями. Что для него главнѣйшія событія? — отдѣльныя мысли, чтенія, нѣкоторые закаты солнца въ Трувилѣ надъ моремъ, многочасовыя бесѣды съ друзьями. Случалось видѣть вамъ надъ пропастью легкое растеніе, развѣваемое вѣтромъ, устремляющееся въ пространство? Едва замѣтный корень прикрѣпляетъ его къ камнямъ, а все оно — порывъ къ солнцу. Такъ и нашъ поэтъ отъ земли устремляется къ искусству. И это пламенное устремленіе, опредѣляющее отношеніе Флобера ко всѣмъ лицамъ и событіямъ, находитъ сво-

бодное, такъ сказать, непрофессіональное выраженіе только въ его перепискѣ.

Если и методъ работы и условія жизни Флобера создавали обстановку, при которой переписка его должна была явиться мощнымъ выраженіемъ его творческой дѣятельности, то интимная прелесть, человѣческая близость и нравственная значительность его переписки обусловлены свойствомъ его личности. Флоберъ былъ человѣкомъ безпримѣрной искренности и правдивости въ сочетаніи съ огромнымъ чувствомъ отвѣтственности за свои дѣйствія, слѣдовательно, и слова. Вотъ ужъ у кого „слово гнило" не вылетало изъ устъ! За внѣшней формой случайной импровизаціи, содержаніе остается неизмѣнно глубокимъ и проникновеннымъ. За каждымъ выраженіемъ, за каждой мыслью чувствуется трепетаніе духовнаго нутра. Ничего не сказано, что не было бы продумано, прочувствовано, выстрадано, что не вырывалось бы прямо изъ сердца. Ощущеніе интимной близости къ автору не покидаетъ васъ ни на минуту, и всегда вы ощущаете его подлинную сущность, не заслоняемую внѣшней преградой словъ, чувствуете дыханіе его внутренняго „я". Вотъ онъ пишетъ матери — и неизреченной нѣжностью вѣетъ отъ этихъ писемъ огромнаго, немолодого уже мужчины къ одинокой старушкѣ, тому незначительному корешку, который прочнѣе всего держитъ его на землѣ. Вотъ его письма Луизѣ Коле единственной женщинѣ, которая вызвала съ его стороны серьезную привязанность — замѣчательная исповѣдь чистой, благородной сильной мужской души. Едва ли въ міровой литературѣ найдется другое произведеніе съ такой силой отражающее принципіальную психологическую разнокачественность мужчины и женщины А вотъ онъ уже усталый и пожилой пишетъ своему сердечному и почитаемому другу Ж. Зандъ. Это уже осень, задумчивая, ясная, зрѣлая, освѣщаемая послѣдними грозами. Мы видимъ его юнымъ и старымъ, онъ пишетъ матери, любимой женщинѣ, различнымъ друзьямъ, пишетъ о Шекспирѣ и Байронѣ, о существѣ поэтическаго творчества, о соціализмѣ, о любви, о путевыхъ впечатлѣніяхъ — и за рядомъ глубокихъ мыслей, блестящихъ сравненій, красочныхъ описаній, тончайшихъ психологическихъ наблюденій, искрящихся остротъ, за теплыми дружескими словами и гнѣвными восклицаніями, за слезами и смѣхомъ мало по малу вырисовывается во весь ростъ, во всемъ многобразіи житейскихъ отношеній живая личность Флобера. Много ли найдется лицъ, которыя выдержатъ свидѣтельское показаніе своей собственной переписки за длинную жизнь? Всегда почти переписка есть въ извѣстной степени разоблаченіе; у Флобера, наоборотъ, она — откровеніе, и нельзя передать какимъ обаяніемъ вѣетъ отъ постепенно раскрывающагося его духовнаго облика. Медленно и задумчиво проходитъ онъ мимо васъ, на пути жизни. Какъ пламя, несомое противъ вѣтра, сердце его влечется назадъ, къ памятникамъ прошлого. Съ горечью взираетъ онъ на современность, на торжествующее мѣщанство, обдавая его ѣдкимъ сарказмомъ. Его возмущаютъ доктринерскія попытки вмѣстить въ

сухія придуманныя формулы безграничность жизни. Мы готовы повѣрить, что солнце свѣтитъ лишь для насъ, а между тѣмъ мельчайшая точка млечнаго пути — огромный міръ, а усиленіе телескопа открываетъ новые и новые. Не глупо ли на человѣческихъ вѣсахъ пытаться измѣрить пески морского берега: на немъ можно либо гулять, либо преклонить колѣна. Жизнь надо пріять, какъ она есть, слѣдуя одному лишь чувству прекраснаго. Вѣдь жизнь, не оскорбляемая и не извращаемая лживымъ лицепріятіемъ, прекрасна во всемъ, даже въ гротескѣ. Развѣ не прекрасенъ Раблэ? Надо найти лишь точку опоры, ее надо искать въ себѣ, въ глубинѣ своего духа. И въ искусствѣ есть свой мистицизмъ, своя религія.

* * *

Мы не можемъ здѣсь излагать содержаніе замѣчательной переписки Флобера, но на одномъ вопросѣ мы хотѣли бы немного остановиться во вниманіе къ его животрепещущей современности — это на соціально-политическихъ воззрѣніяхъ Флобера.

Флоберъ прежде всего индивидуалистъ; въ творческой личности видитъ онъ основную человѣческую цѣнность и съ негодованіемъ и грустью взираетъ на наростаніе нивеллирующихъ общественныхъ теченій. Онъ не поддается гипнозу словъ — „республика", „демократія", „всеобщее образованіе", всеобщая подача голосовъ", онъ не видитъ въ ихъ осуществленіи панацеи отъ всѣхъ соціальныхъ золъ. Дѣтской сказкой звучатъ для него увѣренія будто человѣчество, на путяхъ прогресса, постепенно овладѣваетъ формулой благополучнаго и безбѣднаго существованія, близится къ окончательному разрѣшенію соціальнаго вопроса. Самое слово „соціальный вопросъ" глубоко возмущаетъ его. Тотъ день, когда будетъ найдено его рѣшеніе — будетъ послѣднимъ днемъ нашей планеты. Жизнь, исторія, все вообще есть вѣчный вопросъ. Къ суммѣ прибавляются все новыя цифры. Можно ли сосчитать спицы вертящагося колеса? XIX вѣкъ, въ своей гордынѣ освобожденнаго раба, воображаетъ, что онъ открылъ солнце. Говорятъ, Реформація подготовила Революцію. Да, но если бы на этомъ дѣло остановилось! Вѣдь сама Революція есть опять подготовленіе чего то новаго. И такъ далѣе и т. д. Наши самыя передовыя идеи покажутся смѣшными и отсталыми, когда на нихъ въ будущемъ будутъ оглядываться черезъ плечо. Демократія, такое же послѣднее слово человѣчества, какимъ было рабство, феодализмъ, монархія . . .

Человѣчество идетъ къ великому кризису. Сзади развалины, впереди еще неясныя зачатки будущаго, а кругомъ въ современности все прогрессирующее унизительное равненіе человѣчества по низменной пошлости. Былъ вѣкъ язычества, былъ вѣкъ христіанства, наступаетъ вѣкъ „мюфлизма" (muflisme), царство людскаго скотства. Равенство — вотъ лозунгъ ненавидящей свободу современности. Но это мертвящій, а не живительный лозунгъ, онъ вытравляетъ изъ сознанія людей подлинныя непреложныя цѣнности человѣческаго обще-

жнтія — право, справедливость, онъ разрушителенъ, антисоціаленъ. Все демократическое міровоззрѣніе проникнуто насквозь идеей равенства — и тѣмъ оно непріемлемо для Флобера и безплодно и постыдно въ его глазахъ. Вѣнецъ современной демократической идеологіи — соціализмъ, и къ нему Флоберъ безпощаденъ. Онъ ясно видитъ все духовное убожество этого матеріалистическаго суррогата религіи и ѣдко смѣется надъ залежами глупости и Калифорніями гротеска, таящимися въ соціализмѣ. Le rêve du Socialisme, говоритъ онъ, n'est ce pas de pouvoir faire asseoir l'humanité monstrueuse d'obésité dans une niche toute peinte de jaune comme les gares de chemins de fer, et qu'elle soit là à dandiner sur son siège, ivre, béate, les yeux clos, digérant son déjeuner, attendant le diner et faisant sous elle.

Подобное благополучіе должно быть достигнуто путемъ полнаго поглощенія чудовищемъ соціалистическаго государства всякаго индивидуальнаго дѣйствія, всякой личности, всякой мысли. Все будетъ дѣлать это государство, всѣмъ будетъ управлять оно. Жреческая тираннія лежитъ въ глубинѣ узкихъ соціалистическихъ сердецъ. На путяхъ къ соціализму человѣкъ дѣлается фанатикомъ болѣе, чѣмъ когда либо, но фанатикомъ самаго себя, только о себѣ поетъ онъ теперь, и его мысль, вздымающаяся выше солнца, пожирающая пространство и призывающая безконечность, не находитъ теперь ничего болѣе великаго, какъ лишь то самое убожество жизни, отъ котораго она пытается все время освободиться. Центральное мѣсто въ человѣческомъ міросозерцаніи получаетъ идея достиженія полнаго земного благополучія, идея земнаго рая — инфернальная, кощунственная идея, грозящая истребить человѣчество. Вѣдь, какъ только погибнетъ ощущеніе человѣческой недостаточности (insuffisance), ощущеніе жизненной бездны (néant de la vie) — люди станутъ глупѣе птицъ. Восемнадцатый вѣкъ отрицалъ душу — дѣвятнадцатому вѣку, быть можетъ, предстоитъ убить человѣка . . . . Появятся іезуиты будущаго — интернаціоналисты . . . Не будетъ болѣе мѣста идеямъ — останутся одни лишь вожделѣнія . . . Наступитъ тираннія, извращеніе природы (antinature), духовная смерть . . . Наступитъ свойственное всѣмъ темнымъ эпохамъ стремленіе къ мистицизму. Душа, не имѣя возможности раскрыться, будетъ уходить въ себя, наступитъ время всеобщаго томленія, вѣры въ конецъ свѣта, ожиданіе Мессіи. Но за отсутствіемъ теологической основы, гдѣ будетъ теперь точка опоры этого неосознаннаго энтузіазма? Одни будутъ искать его въ плоти, другіе въ старыхъ религіяхъ, иные въ искусствѣ; человѣчество, какъ колѣно израилево въ пустынѣ, будетъ поклоняться равнымъ идоламъ . . .

Соціализмъ отрицаетъ страданіе и этимъ отрицаетъ поэзію жизни. Онъ хочетъ изсушить кровь Христову, бѣгущую по нашимъ жиламъ. Напрасно. Нѣтъ той силы, которая могла бы ее уничтожить. Сейчасъ душа спитъ, опьяненная всѣми слышанными словами, но настанетъ пробужденіе, когда она предастся радостямъ освобожденія

Уходятъ правила, падаютъ преграды, нивеллируется жизнь, не останется никакихъ сдержекъ — это будетъ бѣшеное пробужденіе... Быть можетъ, великая смута предвозвѣщаетъ свободу.

Горизонтъ не имѣетъ берега, такъ какъ за видимымъ горизонтомъ разкрывается новый, а за нимъ опять новый. Разъ человѣчество постоянно въ движеніи, то нелѣпа попытка дѣлать окончательные выводы. Гомеръ не дѣлаетъ выводовъ, ни Шекспиръ, ни Гете, ни даже Библія. Имѣть въ рукахъ рѣшеніе, цѣль, причину! Мы были бы тогда Богомъ. Человѣческое общество не искусственное произведеніе людей, не работа выполняемая по плану. Отдѣльная воля имѣетъ такое же вліяніе на существованіе и уничтоженіе цивилизаціи, какъ на произростаніе растеній и составъ атмосферы. Вы приносите, великій человѣкъ, немного навоза сюда, немного крови туда, но вы уйдете, людская сила останется и будетъ двигаться безъ васъ, она увлечетъ за собой память о васъ вмѣстѣ съ остальными увядшими листьями, вашъ кусочекъ культуры исчезнетъ подъ травой, вашъ народъ подъ другими нашествіями, ваша религія подъ другими ученіями, но вѣчно, вѣчно будетъ наступать зима, весна, лѣто, осень, и не перестанутъ расти цвѣты, и не перестанутъ вздыматься изъ земли растительные соки...

Soyez plus chrétienne, пишетъ Флоберъ одной изъ своихъ корреспондентокъ, résignez vous à l'ignorance...

К. Зайцевъ.

Памяти А. А. Блока.

Кому назначенъ темный жребій,
Надъ тѣмъ не властенъ хороводъ.

А. Блокъ.

Tu non sé morta, mansé ismarrita
O, anima nostra . . .

Dante

I.

Писавшіе о смерти Блока уже вспоминали, и вспоминая сравнивали, столь же ранній уходъ и Пушкина и Лермонтова. И кто то сказалъ о немъ: наслѣдникъ Пушкина. Да, читая „Возмездіе", мы не можемъ не возводить Блока къ Пушкину: такъ писались „Онѣгинъ", „Мѣдный Всадникъ". Но, какъ и вообще новая русская поэзія (Ахматова, Мандельштамъ, нѣкоторые молодые, напримѣръ, покойный Георгій Масловъ), Блокъ повернулъ къ Пушкину лишь совсѣмъ недавно. Изошелъ же онъ отъ Лермонтова, отъ котораго протянулась въ русской поэзіи своя особая линія: черезъ Фета и Влад. Соловьева къ Александру Блоку. „Обреченнымъ" называлъ себя Блокъ. И какъ Лермонтовъ въ „Снѣ", видѣлъ свою смерть. Правда, пришла она не такъ, какъ онъ ее ждалъ, но на то она и обманщица, и притворщица: сегодня — старуха съ косой за плечами, завтра — Коломбина съ волосами по дѣвичьи заплетенными въ косу, „картонная невѣста" „Пьеро".

Любя жизнь, ненавидѣлъ и проклиналъ ее. Проклиная и ненавидя, принималъ ее со всѣми ея изгибами, со всѣми неразрѣшимыми противорѣчіями. А о смерти писалъ спокойно и ровно, какъ объ избавительницѣ примиряющей, не боясь ея — какъ обреченный, иногда желая.

Весны не будетъ и не надо:
Крещеньемъ третьимъ будетъ смерть.

И въ какой иной обители
Мнѣ влачиться суждено,
Если сердце хочетъ гибели,
Тайно просится на дно?

Такъ хорошо и вольно умереть . . .

Но жизнь зоветъ такъ властно и назойливо, и ей, „бабищѣ дебелой и румяной“ (какъ сказалъ другой поэтъ, смерть возлюбившій пуще жизни), онъ кричитъ:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И привѣтствую звономъ щита.

2

Вся жизнь, все творчество Блока — стремленіе примирить непримиримое, раскрыть противорѣчія, отыскать гармонію, разгадать имя Бога. И въ стремленіи ненасытимомъ рождаются усталость и скука. Тогда остается только готовить „усталую душу“ къ смерти, „пріучать“ ее „къ вздрагиваніямъ медленнаго хлада“,

Чтобъ было здѣсь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи.

И Прекрасная Дама, Мадонна-Звѣзда, павшая на землю, чтобы стать уличной незнакомкой, обернется тогда Бѣлой Смертью, ласковой послѣдней избавительницей:

Завила, сковала взорами
И рукою обняла,
И холодными призорами
Бѣлой смерти предала.

Въ лирической драмѣ „Незнакомка“ Блокъ показалъ намъ жизнь въ ея противорѣчіяхъ, съ диссонансами, но и съ повтореніями, разнородную и вѣчно—одну, какъ безысходный кругъ, какъ вертящаяся сцена. Небо—засыпанный снѣгомъ, въ голубомъ туманѣ тающій мостъ — улица — пошлая гостиная, гдѣ основной мотивъ „все это ужъ было когда то“ — опять Небо. Таковъ путь Незнакомки, кругъ странствій человѣческой души.

3.

То же „кольцевое“ представленіе о жизни — въ поэмѣ „Возмездіе“, столь отличной отъ раннихъ произведеній Блока, пушкински-строгой, классично-простой, „невской“ (какъ Нева, играютъ пэаны въ сковывающемъ гранитѣ ямбовъ):

Жизнь безъ начала и конца . . .

И та же обреченность:

Насъ всѣхъ подстерегаетъ случай.
Надъ нами — сумракъ неминучій,
Иль ясность Божьяго лица.

Какъ то неубѣдительно звучатъ слова поэта, обращенныя къ художнику въ самомъ себѣ:

Но ты, художникъ, твердо вѣруй
Въ начало и концы . . .
. . . . . .
Сотри случайныя черты —
И ты увидишь: міръ прекрасенъ.

Но жизнь дѣйствительная, вѣдь, вся состоитъ изъ случайныхъ чертъ, она зоветъ и манитъ своими противорѣчіями, контрастами, острыми углами. Она вся — изъ паденій и вознесеній. Художникъ воленъ на мигъ преобразить ее, но преображенная, сквозь огнь творчества прошедшая — она отмираетъ, а та дѣйствительная, отъ которой не уйти, — лишь „скука смертельная".

Ой ты скука скучная,
Скука смертная.

Остается лишь одновременно возлюбить и возненавидѣть. Какъ въ „Возмездіи" о XX вѣкѣ:

И отвращеніе отъ жизни,
И къ ней безумная любовь.

Или раньше въ бѣлыхъ стихахъ „О смерти":

. . . . . Такой любви
И ненависти люди не выносятъ,
Какую я въ себѣ ношу.

А въ слѣдующихъ за этими строкахъ какая *обреченная*, и вмѣстѣ полная и пьяная, жажда жизни, и какъ оттѣнена ея повторяемость!

. . . . . Хочу,
Всегда хочу смотрѣть въ глаза людскіе
И пить вино, и женщинъ цѣловать,
И яростью желаній полнить вечеръ,
Когда жара мѣшаетъ днемъ мечтать,
И пѣсни пѣть! И слушать въ мірѣ вѣтеръ!

Но въ той же книгѣ, въ стихотвореніи уже цитированномъ, поэтъ шлетъ вызовъ жизни:

Съ буйнымъ вѣтромъ въ змѣиныхъ кудряхъ,
Съ неразгаданнымъ именемъ Бога

(Нитцшевскій der unbekannte Gott!)

На холодныхъ и сжатыхъ губахъ.

Онъ принимаетъ жизнь, хотя знаетъ, что ничего, кромѣ „мученій" и „гибели" не дастъ она. Онъ любятъ ее, хотя вѣдаетъ, что она бѣдна и непонятна:

Но вѣрю: не пройдетъ безслѣдно
Все, что такъ страстно я любилъ,
Весь трепетъ этой жизни бѣдной,
Весь этотъ непонятный пылъ.

4.

Усталость и одиночество снова и снова возвращаются въ творчествѣ Блока:

И никому заботы нѣтъ,
Что людямъ дамъ, что ты дала мнѣ.
А люди на могильномъ камнѣ
Начертятъ прозвище: поэтъ.

Въ другомъ мѣстѣ еще болѣе подчеркивается эта отчужденность отъ людей:

Какъ тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшимъ,
И объ игрѣ трагической страстей
Повѣствовать еще нежившимъ.

И вглядываясь въ своей ночной кошмаръ,
Строй находить въ нестройномъ вихрѣ чувства,
Чтобы по блѣднымъ заревамъ искусства
Узнали жизни гибельный пожаръ.

Это восьмистишіе, какъ и стихотвореніе „Художникъ", суть замѣчательныя откровенія художника о творчествѣ. Въ будущемъ имъ мѣсто въ трактатахъ по психологіи творчества, равно какъ и тѣмъ замѣчательнымъ строкамъ, что уже дали въ русской поэзіи Пушкинъ и Тютчевъ. Творя, художникъ долженъ свою жизнь, свои переживанія сковать цѣпями формы, „строй" отыскать въ „нестройномъ". Актъ творчества есть актъ убійства, творчество въ себѣ мучительно-безрадостно, оно какъ фатально-неизбѣжный припадокъ болѣзни. А потомъ остается ужасное чувство пустоты, метафизической, всепоглощающей, неутолимой *скуки*. Съ поразительной силой и образностью это выражено въ стихотвореніи „Художникъ", которое — да будетъ позволено привести цѣликомъ.

ХУДОЖНИКЪ.

Въ жаркое лѣто и въ зиму метельную,
Въ дни вашихъ свадебъ, торжествъ, похоронъ,
Жду, чтобъ спугнулъ мою скуку смертельную
Легкій, доселѣ неслышанный звонъ.

Вотъ онъ возникъ и съ холоднымъ вниманіемъ
Жду, чтобъ понять, закрѣпить и убить,
И передъ зоркимъ моимъ ожиданіемъ
Тянетъ онъ еле примѣтную нить.

Съ моря ли вихрь? или сирины райскіе
Въ листьяхъ поютъ? Или время стоитъ?
Или осыпали яблони майскія
Снѣжный свой цвѣтъ? Или ангелъ летитъ?

Длятся часы, міровое несущіе,
Ширятся звуки, движенье и свѣтъ.
Прошлое страстно глядится въ грядущее.
Нѣтъ настоящаго. Жалкаго нѣтъ.

И, наконецъ, у предѣла зачатія
Новой души, неизвѣданныхъ силъ,
Душу сражаетъ, какъ громомъ, проклятіе:
Творческій разумъ осилилъ, убилъ.

И замыкаю я въ клѣтку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотѣвшую смерть унести,
Птицу, летѣвшую душу спасти.

Вотъ моя клѣтка, стальная, тяжелая,
Какъ золотая въ вечернемъ огнѣ.
Вотъ моя птица, когда-то веселая,
Обручъ качаетъ, поетъ на окнѣ.

Крылья подрѣзаны, пѣсни заучены.
Любите вы подъ окномъ постоять?
Пѣсни вамъ нравятся. Я же, измученный,
Новаго жду и скучаю опять.

5.

„Поэзія есть Богъ въ святыхъ мечтахъ земли" — сказалъ однажды сентиментальный иногда романтикъ Жуковскій. „Трезвый" нео-романтикъ Блокъ въ другомъ стихотвореніи о творчествѣ („Балаганъ") съ горечью говоритъ о поэзіи, какъ о ремеслѣ:

Тащитесь, траурныя клячи!
Актеры, правьте ремесло!
Чтобы отъ истины ходячей
Всѣмъ стало больно и свѣтло.

И дальше:

Въ тайникъ души проникла плѣсень,
Но надо плакать, пѣть, итти,
Чтобъ въ рай моихъ заморскихъ пѣсенъ
Открылись торные пути.

Да, люди проложатъ торные пути въ рай поэта, но души его они тамъ не найдутъ. Творенье не можетъ жить внѣ творца, оно всегда — мертворожденное дитя, и за радость владѣнія на мигъ силою преображающей приходится платить муками безысходной скуки, сознанія ненужности всего.

Нельзя сотворить изъ жизни сладостную легенду, какъ думалъ Сологубъ, нельзя и уйти отъ нея: она всегда и вездѣ будетъ „пытать, уничтожать, жечь". Любовь — ненависть, жизнь — творчество, — вотъ основныя антиномичныя категоріи Блока, непреодолѣнные, быть можетъ, непреодолимые, контрасты. Или — преодолимые только въ смерти.

Жизнь и творчество — двѣ параллельныя линіи, сходящіяся въ безконечности, въ пустотѣ. Но гдѣ-то есть Богъ, пусть неузнанный и неразгаданный, все-же тайно блюдущій міръ. Есть и путь къ нему, путь тоски и одиночества.

. . . Что гдѣ-то онъ тянется къ Богу,
Что гдѣ-то онъ плачетъ одинъ.

Смерть не есть конецъ, и только „не знающіе святыни" видятъ тоску на лицѣ „узнавшей радость" и печалуются объ ушедшемъ . . .

6.

Не избѣгъ Блокъ и вѣчно-русской антитезы личнаго и общаго. Есть въ его стихахъ т. н. „гражданскіе“ мотивы. Но они стоятъ не какъ что-то отдѣльное и въ искусствѣ ненужное, а выростаютъ изъ его великой любви-ненависти, перенесенной на Россію. Блокъ *безмѣрно* возлюбилъ Родину, и здѣсь — источникъ „Скиѳовъ“ и „Двѣнадцати“, источникъ блоковскаго „большевизма“. Любовь и вѣра. Та любовь, о которой въ „Скиѳахъ“, гдѣ слышится полетъ мѣткой стрѣлы и скачъ степной кобылицы, говорится:

Да, такъ любить, какъ любитъ наша кровь,
Никто изъ васъ давно не любитъ.
Забыли вы, что въ мірѣ есть любовь,
Которая и жжетъ и губитъ.

И та вѣра, гордая и безжалобная, та степная, вѣтровая, русская безпощадность въ любви, которая выразилась въ словахъ:

Тебя жалѣть я не умѣю
И крестъ свой бережно несу.
Какому хочешь чародѣю
Отдай разбойную красу.
Пускай заманитъ и обманетъ —
Не пропадешь, не сгинешь ты . . .

Эта-же вѣра въ „Двѣнадцати“, и особенно въ заключительномъ видѣніи.

Блокъ былъ строгъ къ себѣ и къ своему поколѣнію и заклеймилъ его въ безпощадныхъ стихахъ, посвященныхъ З. Н. Гиппіусъ. Онъ ощущалъ „роковую пустоту въ сердцахъ восторженныхъ когда-то“. Но мы знаемъ, что если пусто было сердце его, то потому, что въ немъ пронесся опустошительный, всесожигающій смерчъ любви. — Profani, procul ite — hic amoris locus sacer est.

Парижъ, 26 Августа 1921 г.

Глѣбъ Струве.

Голодъ.

Голодъ — его всѣ съ трепетомъ ожидали. Правда, одно время какъ будто казалось, что сама природа сжалилась надъ Россіей, и неизбѣжное не наступаетъ и не наступитъ. Но исторія и природа давали только отсрочки для того, чтобы, наконецъ, предъявить ко взысканію истерзанному и поруганному народу свой ужасный счетъ.

Ужасъ заключается именно въ томъ, что по этому счету въ первую голову расплачиваться будутъ не преступники и мучители, не тѣ, кто идейно и политически обанкротившись въ конецъ, судорожно цѣпляются теперь за власть, потерявшую всякій смыслъ, кромѣ самаго низменнаго (сохраненіе жизни и могущества относительно немногихъ физическихъ лицъ!). Платить будутъ ихъ жертвы, огромныя массы, одурманенныя въ свое время интернаціоналистически-коммунистической сивухой. Облыжные посулы и постыдныя натравливанія потребовали не только множества жизней въ жестокой борьбѣ человѣка противъ человѣка; этотъ ужасный посѣвъ даетъ теперь жатву безчисленныхъ голодныхъ смертей.

Помимо политическаго раздумья о смыслѣ всего совершившагося и совершающагося, неужели даже у творцовъ и дѣятелей этой революціи не шевелится чисто *моральный* вопросъ: стоило ли?

Что бы ни явилось конечнымъ „завоеваніемъ революціи", стоило ли ради этого нагромождать груды человѣческихъ тѣлъ, разбивать и коверкать жизнь цѣлыхъ человѣческихъ поколѣній?!

Страшная правда о русской революціи, ужасный урокъ, въ ней содержащійся, состоитъ въ томъ, что для Россіи она оказалась гораздо болѣе жестока и опустошительна, чѣмъ міровая война. Ей принесено въ жертву гораздо больше человѣческихъ жизней; ея опустошенія. физическія и духовныя,

во много разъ превосходятъ разрушенія, произведенныя войной. Единственный живой и говорящій огненными языками „завѣтъ“ русской революціи — *именно въ этомъ.*

Это *фактически непререкаемо.* И для всякаго сознательнаго русскаго человѣка это должно стать *морально неотразимымъ.* Это должно лечь въ основу непосредственнаго ощущенія пережитой и переживаемой исторіи.

Сознаніе и признаніе этого не есть политика, а нѣчто большее и болѣе важное. Политика есть всегда разсужденіе о цѣлесообразныхъ путяхъ человѣческаго дѣйствія. Она считается съ неизбѣжностями и ищетъ возможностей. Но политика всегда должна оперировать на основѣ какого то живого моральнаго ощущенія, категорическаго въ своихъ велѣніяхъ и сужденіяхъ. О революціи должно было и, я увѣренъ, сложилось у нравственно здоровыхъ русскихъ людей такое категорическое *моральное* ощущеніе.

Ужасъ положенія, въ которомъ очутилась Россія и которое возвращаетъ насъ вовсе не къ 1891 г. и не къ семидесятымъ годамъ XIX вѣка, а ко временамъ Годунова или средневѣковыхъ голодовокъ и великой міровой чумы XIV вѣка, состоитъ въ томъ, что дѣйствительная помощь голодающему сельскому населенію почти неосуществима въ средневѣковыхъ экономическихъ условіяхъ, искусственно созданыхъ большевистскимъ режимомъ.

Экономическихъ разрушеній, произведенныхъ трехлѣтнимъ режимомъ коммунистовъ, полнаго разстройства транспорта, уничтоженія элементарныхъ санитарныхъ условій, всего этого сейчасъ никакая самая обильная благотворительная помощь и никакая самая энергичная государственная дѣятельность устранить не смогутъ.

Возможна только весьма частичная помощь, и даже ея организація ставитъ вопросы, почти неразрѣшимые при существованіи такой власти, какъ власть коммунистовъ.

Этой ужасной дѣйствительности необходимо смотрѣть въ лицо.

Въ вопросѣ о голодѣ можно и должно отбросить всякія соображенія политики и политической тактики. И когда мы думаемъ оголодѣ, когда призраки смерти, рѣющіе надъ

родиной, стоятъ передъ нашимъ духовнымъ взоромъ, насъ занимаютъ не политическіе вопросы, насъ пугаютъ не перспективы какихъ-либо компромиссовъ съ той поистинѣ сатанинской властью, которая держитъ въ своихъ рукахъ Россію. Умирающая отъ голода страна, эти безчисленные гибнущіе русскіе люди всѣхъ возрастовъ и всѣхъ вѣръ, не могутъ служить предметомъ политическихъ расчетовъ и учетовъ и глубокомысленныхъ тактическихъ соображеній. *Имъ нужно помочь во что бы то ни стало.* Никогда ни однимъ словомъ, ни однимъ жестомъ нравственно здоровые русскіе люди не станутъ *никому* мѣшать въ этомъ дѣлѣ. Они знаютъ, что не голодомъ и вымираніемъ возродится Россія. Это — соціологическая истина; это — нравственная правда.

Гнететъ насъ мысль о томъ, что въ тѣхъ условіяхъ, въ какія поставлена Россія, дѣйствительная, своевременная и обильная помощь голодающимъ невозможна. Этому мѣшаетъ не только существованіе совѣтской власти; этому еще больше препятствуетъ то, что она *такъ долго существовала.* За это время она натворила такъ много зла, совершила такъ много разрушеній, что теперь побороть это зло, устранить изъ жизни эти разрушенія не можетъ никто, не можетъ даже сама совѣтская власть.

Вотъ, мысль о чемъ терзаетъ насъ, вотъ что поистинѣ безысходно. Насъ гнететъ пониманіе того безсилія, въ которомъ находится весь міръ, не могущій, дѣйствительно, въ полной мѣрѣ помочь Россіи. Міръ неспособенъ, нравственно и политически, на такое усиліе, но даже если бы онъ былъ на того способенъ, это усиліе сейчасъ — увы! — могло бы свершить очень немногое.

Въ этомъ ужасъ положенія, не укладывающійся ни въ какую политическую или тактическую схему. Голодъ *этого года* страшенъ самъ по себѣ, онъ еще болѣе ужасенъ тѣмъ, что за нимъ послѣдуетъ другой, болѣе жестокій голодный годъ. И такъ далѣе . . . . Но какъ бы ни были мрачны перспективы будущаго, въ настоящемъ нужно дѣлать все чтобы спасать русскія жизни отъ смерти. *Это довлѣетъ себѣ.* Это нужно дѣлать сейчасъ, съ рѣшимостью, не знающей предѣловъ.

Сентябрь 1921 г. **Петръ Струве.**

О причинахъ голода въ Россіи.

Почему произошло крушеніе большевизма? Мы думаемъ, что этотъ вопросъ законенъ именно въ поставленной формѣ „прошедшаго времени“: гибель коммунизма, какъ хозяйственно-соціальной системы, уже не отрицается и создателями его.

Но, ставя такого рода вопросъ, необходимо точнѣе формулировать его смыслъ. Прежде всего мы говоримъ о коммунизмѣ, какъ объ опредѣленной соціально-экономической системѣ, совершенно отвлекаясь отъ того, что, можетъ быть, относится къ субстанціальнымъ признакамъ самого явленія, но что въ данной связи не привлекаетъ нашего вниманія. Такимъ образомъ, большевизмъ, какъ теорія и практика жестокаго и откровеннаго насилія, пренебрегающаго всѣми индивидуальными особенностями тѣхъ народовъ и индивидовъ, которые жесточайшими мѣрами воздѣйствія загоняются въ стойла соціалистическаго хлѣва, политическій опытъ дѣйствительно осуществленнаго коммунизма, лежитъ сейчасъ внѣ границъ нашего зрѣнія. Мы сознаемъ, что вѣроятно этотъ подлинный ликъ соціалистическаго государства, исторически однажды лишь сдѣлавшагося бытомъ великой страны, послужилъ основой дѣйственнаго отвращенія многихъ тысячъ людей изъ культурныхъ слоевъ общества, съ оружіемъ въ рукахъ бросившихся на борьбу съ „большевизмомъ“. Но будемъ же откровенны и скажемъ, что если этими мотивами опредѣлялась линія поведенія наиболѣе культурныхъ слоевъ и ихъ вождей, то широкія массы рядовыхъ бойцовъ антибольшевистскаго лагеря руководились идеологіей другого порядка. Народныя массы, насколько они активно участвовали въ борьбѣ съ большевизмомъ, вели борьбу не за свободу человѣческой личности, не за правовое государство, не за возрожденіе великой отчизны, не за очищеніе поруганной святыни церкви, онѣ боролись за тотъ минимумъ экономическаго благосостоянія, который обезпечиваетъ самое существованіе, ибо таковое коммунизмомъ не обезпечивалось.

Почему же коммунизмъ не могъ обезпечить этого минимума и гибнетъ, доведя величайшую страну сельскаго хозяйства до такого голода, правильное представленіе о которомъ даютъ не историческія сопоставленія съ бѣдствіями 90-хъ или 70-хъ годовъ, а библейскія сказанія и пророческій гнѣвъ? Обвиняемые въ доведеніи Россіи до послѣдней черты нечеловѣческихъ страданій сошлются на разрушеніе народнаго хозяйства страны въ годы великой войны, на послѣдующія

трудности возстановленія этого хозяйства въ періодъ продолжающихся гражданской войны и блокады Россіи, наконецъ на то, что „Совѣтская власть управляетъ людьми, а не природой", на стихійный характеръ неурожая.

Насколько серьезны эти аргументы защиты и самозащиты, не скрывается ли за этими „пунктиками" совсѣмъ иная причина, которая сама по себѣ цѣликомъ объясняетъ все происходящее и привела бы Россію подъ большевиками къ тому же страшному концу, даже если бы не было раньше внѣшней войны, а послѣ — гражданской междуусобицы и тяжелаго недорода?

Какъ разъ опытъ мучительно-долгой и разрушительной гражданской войны показалъ насколько велики были силы русскаго народнаго хозяйства. Тогда какъ всѣ участвовавшіе въ войнѣ народы, и побѣдители и побѣжденные, испытывали по окончаніи войны очень серьезныя затрудненія вслѣдствіе оскудѣнія, явившагося необходимымъ слѣдствіемъ войны, Россія вела еще два длинныхъ года войну только на русскихъ земляхъ, только за счетъ силъ и средствъ русскаго народа. Не ясно ли, что если бы 1919 и 1920 года были не годами добиванія русскаго народа и народнаго хозяйства, если бы энергія воли направлена была не на разрушеніе, а на возстановленіе и возсозданіе Россіи, даже не вся эта энергія, а только часть ея потекла бы по руслу творчества, 1921 г. не былъ бы самой низкой точкой русскаго упадка. Во всякомъ случаѣ очевидно, что внѣшняя война не ослабила народнаго хозяйства Россіи больше, чѣмъ экономику другихъ участниковъ борьбы, и поскольку послѣдніе смогли къ настоящему времени преодолѣть острыя послѣдствія міровой войны, постольку существуетъ полная увѣренность, что Россія благополучно пережила бы тягости переходнаго періода.

Такъ же лживы попытки переложить свою отвѣтственность авторовъ лозунга „да здравствуетъ гражданская война!" на бѣлогвардейцевъ и контръ-революціонеровъ. Мы уже не говоримъ о томъ, что гражданскую войну вызвала, выносила и вскормила та же группа лицъ, которая, овладѣвъ, наконецъ, властью надъ всей страной, довела цѣлую Россію къ общей братской могилѣ. Въ отличіе отъ внѣшней войны, гражданская война въ гораздо меньшей долѣ затронула народное хозяйство страны. Очень скоро деревня поняла, что ей съ коммунистами не по пути. Большевики выполнили очень быстро свою историческую миссію: они дали мужикамъ „похабный" миръ и столь же похабно дали имъ землю. Таившееся въ сознаніи — даже больного отъ усталости — народа сознаніе, что безчестно разбѣжаться съ фронта по хатамъ успокаивалось тѣмъ, что хоть большевистская, но все же власть освобождала отъ обязательства оставаться на этомъ окончательно опостылѣвшемъ фронтѣ. Еле сдерживаемая разбойная страсть захватить чужія земли и раскрасть чужой инвентарь нашла широкій выходъ въ позволеніи начальства, декретомъ разрѣшившаго грабежъ и захватъ.

На этомъ, однако, и кончается романъ деревни съ большевиками. Больше уже коммунисты ни на что не нужны мужикамъ, но такъ какъ они продолжаютъ существовать и даже очень „докучаютъ“ крестьянамъ, то тѣ либо слабо огрызаются, либо притворяются примирившимися, но и въ томъ и въ иномъ случаѣ строютъ свою жизнь на принципѣ полнаго игнорированія власти и центровъ ея, городовъ. Уже это одно приводило къ тому, что народъ слабо участвовалъ въ гражданской войнѣ.

Гражданская война шла почти исключительно по главнымъ линіямъ желѣзнодорожныхъ путей и это преимущественно „городское“ направленіе движенія гражданской войны также въ немалой степени способствовало тому, что борьба не проникала въ народную толщу, что участвовали въ активныхъ операціяхъ не массы и множества внѣшней войны, а болѣе или менѣе активныя меньшинства.

Своеобразное воздержаніе деревни могло привести къ тому, . . сельское хозяйство Россіи мало испытало бы разрушительное воздѣйствіе гражданской войны, если бы въ качествѣ величайшаго фактора разрушенія не выступала сама большевистская власть. Гибель народнаго хозяйства страны вызвана была не гражданской войной, а попытками осуществленія соціалистическаго строя. И тѣ соціалисты всѣхъ мастей, которые склонны сейчасъ объяснять стрясшіяся надъ Россіей бѣдствія только тѣмъ, что власть досталась не имъ, „мягкимъ“ представителямъ эволюціоннаго на практикѣ соціализма, а „жесткимъ“ революціоннымъ проводникамъ этой доктрины, глубоко не правы. Ибо бѣдствіе коренится въ самой осуществляемой доктринѣ. А проводятъ ли безумную идею тихіе идіоты или буйные помѣшанные, это совершенно безразлично для конечнаго эффекта: раньше или позже, мягче или жестче, но здоровые люди будутъ гибнуть въ государствѣ, построенномъ сумасшедшими по образцу дома для умалишенныхъ.

Для чего нужна была крестьянамъ помѣшичья, церковная, монастырская и государственная земля? Для того, чтобы увеличить благосостояніе самихъ крестьянъ. Интересы соціальнаго цѣлаго, народа, государства такъ же мало интересовали мужиковъ при захватѣ земель и грабежѣ усадебъ, какъ мало интересовали солдатъ судьбы Россіи, когда они разбѣгались по домамъ дѣлить землю. Но у мужиковъ была при этомъ простая и крѣпкая „мужицкая“ мысль: увеличивъ запашку, они произведутъ большее количество продуктовъ, реализація которыхъ дастъ имъ избыточное сравнительно съ прежнимъ благосостояніе. Въ ихъ идеологіи не было ничего недоговореннаго, только ихъ толмачи, выбравшіе въ своей же партіи патентъ на непогрѣшимое знаніе нѣдръ крестьянской психики, с.-р'ы, говорили въ лунатическомъ бредѣ о „ничьей“ землѣ, о „Божьей“ землѣ. Сами крестьяне пользовались этой бредовой фразеологіей, чтобы подчеркнуть, что землю необходимо забрать у помѣщиковъ, разумѣется для передачи въ собственность имъ, крестьянамъ. Но въ крестьянскихъ притяза-

ніяхъ своекорыстныя стремленія и побужденія сочетались съ элементами экономическаго прогресса: мы произведемъ больше хлѣба и улучшимъ свое благополучіе; увеличеніемъ количества хлѣба мы окупимъ увеличеніе нашего благосостоянія. Это значило, что крестьяне не только будутъ большіе участки запахивать, но и лучше, чѣмъ раньше обрабатывать землю.

Идеологія с-р'овъ была фантастической по предпосылкамъ и реакціонной по результатамъ. Земля, не принадлежащая въ собственность мужику, должна была дать бо́льшіе результаты, чѣмъ если бы она была объектомъ его личной собственности, при чемъ результаты увеличеннаго сбора должны были улучшить благосостояніе всего общества и только въ соотвѣтствующей долѣ и участь непосредственно увеличившихъ свои трудовыя и капитальныя затраты обрабатывающихъ землю крестьянъ. Можетъ быть, по указаннымъ высокимъ побужденіямъ и стали бы обрабатывать землю интеллигентскія коммуны, состоящія изъ сотрудниковъ с-р.'овскихъ журналовъ, но живой крестьянинъ, такой какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, а не въ миражахъ с-р'овъ, не захотѣлъ работать по партійному рецепту с-р., воспринятому Ленинымъ со свойственной ему тактической смѣткой.

Соціалисты живутъ въ мірѣ фантомовъ, оттого они и превращаютъ живыхъ людей въ умирающіе призраки, а цвѣтущія области въ населенныя призраками пустыни. По проекціямъ своихъ нѣжныхъ и человѣколюбивыхъ душъ они построяютъ стимулы своихъ хозяйствующихъ субъектовъ, будучи отъ вѣка безсеребренниками, они съ ненавистью относятся къ капиталу, какъ производственному фактору и недооцѣниваютъ накопленіе, повидимому надѣясь на манну небесную, постоянный элементъ царства Божьяго, хотя бы и на землѣ.

Когда въ реальной обстановкѣ исторической дѣйствительности крестьянинъ увидѣлъ, что расширеніе площади посѣва путемъ вовлеченія въ обработку помѣщичьей земли не сулитъ ему увеличенія личныхъ благъ, онъ ограничивался засѣвомъ своего клина, несмотря на то, это въ что время въ городахъ шумѣли на всѣхъ разрѣшенныхъ коммунистическимъ начальствомъ сборищахъ, что недосѣвъ есть предательство интересовъ крестьянъ и рабочихъ. Когда крестьянину стало ясно, что горожане, ничего не производя, ничего не могутъ предложить ему въ обмѣнъ на продукты его труда, онъ ограничился производствомъ въ размѣрахъ удовлетворенія своихъ личныхъ потребностей. Послѣднія нѣсколько возрасли, но общій объемъ ихъ значительно сузился, такъ какъ выпалъ подлинный стимулъ всякаго хозяйственнаго прогресса: накопленіе. Соціалисты не понимаютъ, что организаторъ хозяйства актомъ личнаго присвоенія результатовъ производства и послѣдующимъ накопленіемъ выполняетъ величайшую соціальную функцію. Въ ихъ представленіи чистыхъ потребителей, которымъ чужда радость производства и гордость творческихъ элементовъ хозяйства, капиталистически хозяйствующій субъектъ просто потребляетъ излишки не имъ произведенныхъ продуктовъ.

Они не видятъ, что „капиталистъ“ не только живетъ въ дворцѣ, ѣздитъ на автомобилѣ, но и расширяетъ предпріятіе, т. е. увеличиваетъ общій запасъ благъ и, тѣмъ увеличивая „выработку“ всего общества, повышаетъ уровень его благосостоянія. Рабочіе русскихъ столицъ и, вѣроятно, всѣхъ городовъ Россіи поняли теперь, наконецъ, что выгоднѣе удѣлить часть произведенныхъ излишковъ капиталисту, который за то будетъ слѣдить за хозяйствомъ, чѣмъ захватить предпріятіе и „съѣсть“ капиталъ Только когда распорядителемъ хозяйства стали чуждые производства потребители, всѣ излишки производства доставались участникамъ производства, которые уничтожали эти излишки безостаточно въ потребительскихъ процессахъ, ничего не накопляя не только для расширенія, но даже для удержанія хозяйства на прежнемъ уровнѣ. Только при управленіи производственными процессами чистыми потребителями, только при соціалистическомъ режимѣ, можно было въ буквальномъ смыслѣ съѣсть всѣ фабрики и заводы Россіи: остались лишь фабричные корпусы и тѣ орудія производства, которыя физически нельзя было вымѣнять на съѣдобное благо. То же въ сущности произошло и съ домами, которые по тѣмъ же основаніямъ обратились изъ рентабельныхъ и удобныхъ жилыхъ помѣщеній въ отвратительные ретирады и помойныя ямы

И крестьянинъ подъ тяжелымъ воздѣйствіемъ потребительскаго режима соціализма уже въ своихъ расчетахъ считался со своимъ хозяйствомъ не какъ съ производственымъ процессомъ, а какъ съ чисто потребительнымъ. Наконецъ, производитель хлѣба усвоилъ и основную премудрость соціализма: каждому члену соціалистическаго братства до жно оставлять лишь такое количество благъ, которое необходимо ему для удовлетворенія его личныхъ потребностей. Умное начальство создало цѣлое министерство статистики, тамъ все подсчитали, не забыли и старыхъ буржуазныхъ работъ о крестьянскихъ бюджетахъ И опредѣлили, „учитывая индивидуальныя особенности отдѣльныхъ районовъ соціалистической Россіи“, сколько пудовъ хлѣба полагается на годъ мужику и бабѣ, парню и дѣвкѣ, лошади и курченку Мужикъ одновременно собственнымъ умомъ, и безъ помощи статистиковъ дѣлалъ ту же работу; прикинулъ умомъ, сколько у него хлѣба выходитъ на годъ, расчиталъ съ какой площади онъ такое количество соберетъ, и столько и засѣялъ.

И власть и народъ проводили принципіально ту же экономическую политику. Когда же власть убѣдилась, что крестьянство очень точно усвоило потребительское существо новаго хозяйства, а всѣ запасы прошлыхъ лѣтъ были подобраны до зерна, она поступилась было чистотой соціалистической идеологіи и чтобъ пробудить въ мужикѣ прежніе буржуазно-производительные навыки пошла даже буржуазной стезею: излишки за покрытіемъ государственнаго налога остаются частной собственностью производителя, независимо отъ размѣра личныхъ потребностей производителя. Но мужикъ не могъ

принять въ серьезъ „передышку“ власти; онъ понималъ, что новыя реформы не соотвѣтствуютъ общей системѣ хозяйства, у него не было личныхъ импульсовъ клюнуть на новую приманку, а главное прежная практика просвѣтила его, что власть — нечестная, а у него никакихъ „гарантій“ противъ обмана нѣтъ.

Вотъ въ этихъ условіяхъ запущенная и заброшенная земля ничего не уродила. Конечно, коммунисты не повинны въ засухѣ, конечно это — стихійное бѣдствіе, это — отъ Бога, съ которымъ они даже въ состояніи открытой войны.

Въ условіяхъ невысокой сельскохозяйственной техники русскаго крестьянскаго хозяйства урожай и неурожай всегда бывали въ значительной долѣ факторами самодовлѣющими. Глупое самодержавное правительство царской Россіи настолько считалось съ этимъ обстоятельствомъ, что постоянно было готово на случай недорода и имѣло сельскую продовольственную часть — спеціальный техническій аппаратъ борьбы съ недородомъ и помощи пострадавшимъ, равно какъ постоянно имѣло готовые продовольственные запасы того же спеціальнаго назначенія, хранившіеся въ сельскихъ общественныхъ магазинахъ всѣхъ селъ страны.

Въ томъ то и коренится разница между нынѣшнимъ величайшимъ бѣдствіемъ, постигшимъ нашу родину, и неурожаями, ранѣе бывавшими: прежде Россія имѣла народное хозяйство, сильное своимъ *производительнымъ* характеромъ, нынѣ народное хозяйство Россіи, управляемое потребителями, совершенно немощно. Раньше полный недородъ даже огромныхъ районовъ могъ быть преодолѣнъ накопленными запасами цѣлой страны; былъ транспортъ, правильно функціонировавшій и какъ желѣзнодорожный, и какъ водный и какъ гужевой; былъ точный механизмъ власти, былъ налаженный санитарно-медицинскій аппаратъ; было, наконецъ, воспитанное въ атмосферѣ активной любви къ ближнему, общество.

Сейчасъ всего этого нѣтъ и трудности борьбы съ голодомъ въ Россіи безпредѣльно велики. Въ странѣ всѣ запасы съѣдены до корочки, благополучные районы могутъ расчитывать лишь на скудный сборъ урожая текущаго года. Транспортъ изношенъ до послѣдней степени и одновременно съ ввозомъ изъ чужихъ странъ продовольствія необходимо будетъ ввозить транспортныя средства для послѣдующей перевозки ввезенныхъ хлѣбныхъ грузовъ и медикаментовъ. Власть ничего не способна сдѣлать, она вызываетъ лишь смертельную ненависть и физическое отвращеніе.

Къ продовольственной кампаніи въ Россіи необходимо отнестись именно какъ къ кампаніи. Вѣдь самое это наименованіе содержитъ указаніе на близость понятій продовольственной и военной операцій Сейчасъ же, это вѣрнѣе, чѣмъ когда либо ранѣе. Мы уже не говоримъ о томъ, что работа будетъ протекать въ условіяхъ исключительной неувѣренности и полной необезпеченности самого существованія работниковъ: гарантіи Совнаркома! кто не знаетъ, какъ это

почтенное заведеніе держитъ свое слово. Столь же мало обезпечена неприкосновенность грузовъ не только въ пути ихъ слѣдованія по Россіи, — когда мимо голодающихъ будутъ проходить вагоны или караваны съ грузами, едва ли они будутъ благоразумно дожидаться своего череда, — но даже въ портахъ прибытія, гдѣ базисные склады будутъ опустошаться охраняющими ихъ частями самыхъ надежныхъ красноармейцевъ. Вопросъ о внутреннихъ перевозкахъ прибывшаго изъ за границы продовольствія въ предѣлахъ Россіи одинъ изъ самыхъ трудно разрѣшимыхъ: какъ передвигать десятки милліоновъ пудовъ грузовъ, когда на желѣзныхъ дорогахъ не только нѣтъ вагоннаго парка и здоровыхъ паровозовъ, но нерѣдко и непрогнившихъ шпалъ, когда уничтоженіе и мобилизація лошадей не даетъ возможности использовать гужевой транспортъ, а о морскомъ и рѣчномъ транспортѣ вспоминаютъ лишь въ давнопрошедшемъ времени.

Троцкій грозилъ, какъ расчитываемая прислуга, бить посуду и хлопать дверьми, когда придетъ часъ освобожденія Россіи отъ большевистскаго плѣна. Увы, эта угроза уже приведена въ исполненіе коммунистами въ размѣрахъ, которые превосходятъ воображеніе человѣка. Почти въ 20 хлѣбородныхъ губерніяхъ страны царствуетъ смерть, и не только остальная Россія ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не можетъ помочь остро пострадавшимъ, но даже помощь изъ за границы настолько проблематична, что голодающіе внутреннимъ чутьемъ понимаютъ, что на помощь нельзя расчитывать.

Россія скатывается въ Азію, можетъ быть, даже въ Африку ... Плодородныя земли бросаются, заростаютъ бурьяномъ; вѣками уже осѣдлое и трудолюбивое земледѣльческое населеніе превратилось вновь въ кочевую или, вѣрнѣе, бродячую массу, и безъ скота, съ дѣтьми и скарбомъ въ рукахъ идетъ въ безвѣстныя дали, послѣднимъ крестнымъ путемъ къ кресту надъ общей могилой. Сбываются страшныя пророчества ... Изъ подъ шутовского колпака революціи проступаетъ звѣриный ликъ русскаго бунта, безсмысленнаго и безпощаднаго.

О, большевики въ голодѣ не повинны: они „управляютъ“ людьми, а не стихіями. Но почему же Россіи 70-хъ годовъ, бездорожной и нищей странѣ, только что переставшей быть крѣпостной, голодъ не угрожалъ такими бѣдствіями, какъ коммунистической 1921 г.?

Порожденные стихіей народной усталости „похабные“ властители будутъ уничтожены стихіей народнаго отчаянія, порожденнаго коммунистическимъ режимомъ „братства и любви“.

Русскій голодъ 1921 г. — апогей соціалистическаго хозяйства и вѣчный памятникъ исторически осуществленнаго „научнаго соціализма“ по рецептамъ пророка его Маркса.

Д. О. Линскій.

Русскія Дѣла.

(Политическій обзоръ).

II

Судьба „новаго курса“. — Прошло почти полъ года съ тѣхъ поръ, какъ X съѣздъ коммунистической партіи принялъ такъ называемый „новый курсъ“. За это время собиралась въ маѣ еще конференція той же партіи, постановившая, что курсъ этотъ вводится „всерьезъ и надолго“. Но хотя Ллойдъ Джоржъ и ставилъ даже въ примѣръ англійской рабочей партіи благоразуміе Ленина, какихъ либо замѣтныхъ перемѣнъ и сдвиговъ въ экономической политикѣ совѣтской власти на дѣлѣ такъ и не произошло.

Наиболѣе внѣшне замѣтной новинкой было только открытіе въ столицахъ лавокъ и кофейныхъ даже съ музыкой. Въ соединеніи съ относительной свободой для мѣшечниковъ, это въ самомъ началѣ весной дѣйствительно немного облегчило положеніе. Но подвозъ сталъ затѣмъ затрудняться. Было снова издано полное запрещеніе вывоза продуктовъ съ Украины, съ Юго Востока, изъ Сибири, — вообще изъ всѣхъ болѣе или менѣе избыточныхъ мѣстностей. И цѣны тогда настолько поднялись, что для большинства населенія лавки и кафе стали недоступны. Большевики довольны такимъ результатомъ и злорадно отмѣчаютъ „безплодность освобожденія торговли“.

Послѣ долгихъ споровъ внутри руководящихъ круговъ было вынесено рѣшеніе о денаціонализаціи мелкой и средней промышленности. Въ то же время, сохраненъ былъ цѣликомъ государственный планъ снабженія сырьемъ и топливомъ, а такъ какъ при транспортномъ кризисѣ трудно ожидать и того, что будутъ снабжены государственныя первоочередныя предпріятія, — врядъ ли на долю, частныхъ предпринимателей что нибудь останется, кромѣ того, что они добудутъ нелегальными путями. Но въ подпольномъ видѣ частная предпріимчивость дѣйствовала и раньше, это опять признаніе существующаго, а не нововведеніе.

Коммунистическіе вожди считаютъ величайшей изъ своихъ „реформъ“ замѣну разверстки натуральнымъ налогомъ. Разница теоретически такова: по разверсткѣ на каждую деревню или даже мѣстность возлагалось обязательство поставить такое то количество хлѣба, исчисленное приблизительно по предполагаемой платежеспособности, натуральный налогъ долженъ взыматься съ каждаго хозяйства, въ

зависимости отъ площади посѣва и дѣйствительнаго сбора, причемъ хозяинъ, внесшій налогъ полностью, можетъ затѣмъ продавать излишки.

Фактически: въ 1920 г. было собрано 280 мил. пудовъ хлѣба, въ 1921 г. назначено было ко взиманію 240 (еще имѣется и мясной налогъ и другіе). Т. о. взять въ деревнѣ предполагалось почти столько же, усложнялся только способъ взиманія. И при элементарности совѣтскаго аппарата неудивительно, что, какъ пишутъ совѣтскія газеты, мѣстные „продорганы" часто упрощаютъ себѣ работу и просто переименовываютъ разверстку въ налогъ.

„Новый курсъ" преимущественно существовалъ больше въ теоріи, но онъ продолжалъ волновать умы коммунистовъ, такъ какъ все же являлся отступленіемъ отъ догмы. На съѣздѣ Совѣтовъ Народнаго Хозяйства былъ при выборахъ президіума забаллотированъ Рыковъ, одинъ изъ главныхъ сторонниковъ „буржуазныхъ поправокъ". Борьба шла упорная и хотя рѣзкаго поворота не произошло, но за послѣднее время толки о „новомъ курсѣ" въ совѣтской печати стали замолкать, а Ц. К. коммунистической партіи издалъ декларацію, въ которой разъясняется, что никакой денаціонализаціи въ виду и не имѣлось, что возможна только сдача въ аренду отдѣльныхъ государственныхъ предпріятій, при сохраненіи контроля надъ ними, и т. д.

Безплодность введенія частичныхъ поправокъ въ законченную систему совѣтскаго хозяйства a priori была ясна сразу. И все же для большевистской власти „новый курсъ" явился довольно умѣлымъ тактическимъ ходомъ. Въ минуту психологическаго напряженія онъ разрядилъ атмосферу: передъ усталыми глазами отчаявшихся замаячилъ блуждающій огонекъ надежды на какой то мирный исходъ, на „эволюцію", у иностранцевъ явился удобный предлогъ „всерьезъ" завязать торговыя сношенія, противники были сбиты съ толку: что это — капитуляція или обманъ?

Былъ, конечно, и рискъ въ этомъ пріемѣ: смута въ умахъ внутри партіи. Въ мартѣ на этотъ рискъ пошли; но опасность вполнѣ реальна, всякая попытка „углубить" „новый курсъ" могла бы вызвать настоящій расколъ. Поэтому всего вѣроятнѣе, что „реформы" будутъ опять сданы въ архивъ.

Третій конгрессъ третьяго интернаціонала.—Еще въ періодъ незаконченныхъ толковъ о „новомъ курсѣ" открылся третій конгрессъ Третьяго Интернаціонала.

При томъ исключительномъ значеніи, которое имѣетъ въ настоящее время въ Россіи коммунистическая партія, подчинившая себѣ всю страну и распылившая всѣ силы сопротивленія, международный коммунистическій конгрессъ является крупнымъ явленіемъ и въ русской внутренней жизни: онъ выясняетъ намѣренія и чаянія „правящихъ круговъ".

Когда засѣдалъ одиннадцать мѣсяцевъ передъ тѣмъ второй конгрессъ того же Интернаціонала, члены его каждый день слѣдили на

огромной картѣ фронта за продвиженіемъ красной арміи въ предѣлы Польши. Воздухъ казался еще насыщеннымъ катастрофами. Но третій конгрессъ собрался въ дни затишья И докладъ Троцкаго о непримиримыхъ противорѣчіяхъ внутри капиталистическаго міра, о соперничествѣ Японіи и Америки, о броженіяхъ въ колоніяхъ — звучалъ не очень убѣдительно, и брошенная имъ дата грядущаго міроваго конфликта — 1924 годъ, когда закончатся новыя флотскія программы — уже своей отдаленностью мало вызывала надеждъ.

„Не требуйте отъ сегодняшняго дня того, что можетъ дать только завтрашній день, а сегодня сдѣлайте все необходимое для того, чтобы подготовить этотъ завтрашній день“ — закончилъ Радекъ свой докладъ о тактикѣ. Создавать организацію во всѣхъ странахъ, строго централизованную и направленную изъ Москвы, и путемъ использованія всѣхъ конфликтовъ привлекать на свою сторону рабочія массы, — отказываясь, въ тоже время, отъ „принятія боя въ невыгодныхъ условіяхъ“ — вотъ сравнительно скромная программа ближайшихъ дѣйствій, принятая конгрессомъ для заграницы; единству организаціи придается какъ прежде особое значеніе; и поэтому вопросъ объ италіанскихъ соціалистахъ и Коммунистической Рабочей Партіи Германіи (и тѣмъ и другимъ предъявленъ ультиматумъ) занялъ чуть ли не половину всѣхъ засѣданій.

Но сложнѣе былъ вопросъ о тактикѣ въ Россіи. Сохранять *организацію* — легальную или подпольную можно и годами, въ ожиданіи „выгодныхъ условій принятія боя“, труднѣе — удерживать *власть* надъ огромной, хотя и распыленной страной.

Въ засѣданіи 5 іюля Ленинъ сдѣлалъ большой докладъ о положеніи въ Совѣтской Россіи. Главныя черты слѣдующія: Создалось равновѣсіе силъ: ни мы ихъ, ни они насъ. Міровая революція „развивалась за истекшій годъ не такъ прямолинейно, какъ мы предполагали, когда совершали нашу революцію“. Безъ международной революціи побѣда, конечно, невозможна. Передышку нужно использовать, „не упуская ни одного мгновенія изъ виду необходимости быть готовыми къ открытому военному бою“. Нужны „организація и укрѣпленіе Красной арміи“, тщательная подготовка революціи въ капиталистическихъ странахъ и колоніяхъ. Внутри Совѣтской Республики классъ капиталистовъ уничтоженъ. Но существуютъ классы „мелкихъ товаропроизводителей и мелкаго крестьянства“. „Величайшимъ вопросомъ революціи является борьба съ этими двумя классами... *Простая экспропріація и изгноніе здѣсь не могутъ имѣть мѣста*“ . . . Такъ какъ всѣхъ крестьянъ изгнать, очевидно, нельзя, то необходимъ союзъ съ ними. „Вопросъ сводится къ тому, кто будетъ руководить крестьянствомъ: пролетаріатъ или буржуазія“. Рѣшающее вліяніе самого крестьянства — недопустимо: „такъ какъ крестьянство несамостоятельно, то это практически сводится къ возстановленію капитализма.“ Союзный договоръ съ крестьянствомъ — основанный на обѣщаніи охраны земли отъ помѣщиковъ, и „нату-

ральномъ налогѣ", какъ величайшей уступкѣ, — диктуется, при этомъ, властью съ мечомъ въ рукѣ: „мы не обѣщаемъ никакихъ свободъ и никакой демократіи, но говоримъ крестьянству, что оно должно выбирать между *нами*, согласными до возможныхъ границъ итти имъ на уступки, дабы сохранить за собою власть и повести къ соціализму, — и *открытой гражданской войной*. Все остальное — вздоръ, чистѣйшая демагогія". (бурные апплодисменты). Въ преніяхъ по докладу Ленина демонстрировали свое единодушіе съ нимъ Троцкій и Бухаринъ, противники „новаго курса", и возражали только г-жа Коллонтай и представители Комм. Партіи Германіи. Единогласно была принята резолюція, одобряющая тактику русскихъ коммунистовъ — могло ли быть иначе? Если *идейно* Россійская Коммунистическая партія подчинена Третьему Интернаціоналу, то *фактически* она является его главной движущей силой, и пока не произойдетъ коммунистическаго переворота въ какой либо другой странѣ или пока Совѣтская власть не падетъ въ Россіи — Центральный Комитетъ этой партіи, властвующій надъ многомилліонной страной, будетъ имѣть бо́льшій вѣсъ, чѣмъ всѣ субсидируемыя и поддерживаемыя имъ полу-подпольныя и гонимыя партіи во всѣхъ прочихъ государствахъ.

Перерегистрація. — Чтобы продержаться, чтобы „готовить завтрашній день", коммунистическая партія рѣшила прежде всего очистить свои ряды отъ неустойчиваго элемента. Отличительной чертой большевиковъ всегда было предпочтеніе качества — количеству. Свободную запись въ партію они открывали только въ наиболѣе трудныя для себя времена; кандидаты должны были обычно подвергаться различнымъ испытаніямъ и отбывать длительный стажъ. Тѣмъ не менѣе, выгоды — широкій объемъ правъ — были настолько велики, что много находилось безпринципныхъ людей, изъ выгоды пытавшихся пристроиться къ партіи. Настоящій моментъ явился благопріятнымъ для чистки потому, что по словамъ „Правды" — многіе члены партіи, не понявшіе „исторической ограниченности новаго курса", обнаружили свою буржуазную сущность, занявшись „лавочками" въ ущербъ партійной работѣ.

Распубликованная въ „Извѣстіяхъ" система провѣрки, съ опросомъ сослуживцевъ, съ устнымъ экзаменомъ и т. д. довольно сложна, и врядъ ли будетъ проведена цѣликомъ. Появившіяся въ совѣтской печати юмористическія сценки изъ практики перерегистраціи показываютъ, однако, — кромѣ обычной сумбурности совѣтскихъ порядковъ — что обстрѣлъ испытуемыхъ ведется скорѣе слѣва, и подвергается удаленію главнымъ образомъ правое крыло, — тѣ, кто слишкомъ поспѣшно обрадовались „новому курсу" и рѣшили, что наступили капиталистическіе порядки. Въ этомъ смыслѣ перерегистрація имѣетъ извѣстное политическое значеніе.

Неурожай въ Поволжьи и Общественный Комитетъ. — Общее экономическое положеніе страны не улучшилось. Добыча угля въ Донецкомъ бассейнѣ опять упала. Правда, начали поступать въ большихъ размѣрахъ закупленные заграницей товары; за первое полугодіе прибыло 11, 4 мил. пудовъ, въ томъ числѣ на 4, 2 мил. пудовъ — продовольствія. При томъ, что это количество распредѣлялось на сравнительно небольшое количество людей — главнымъ образомъ на армію и жителей двухъ столицъ, — это все-таки было нѣчто. Поступленія продолжаютъ пока возрастать; но ихъ предѣлъ въ ограниченности золотого запаса.

Въ тоже время сталъ выясняться катастрофическій неурожай въ среднемъ и нижнемъ Поволжьи, дѣлавшій довольно обширный раіонъ уже не избыточнымъ, а явно дефицитнымъ. По поводу этого неурожая, вызвавшаго мѣстами выселеніе цѣлыхъ деревень, создалось, особенно заграницей, много легендъ и невѣроятныхъ слуховъ. Писалось о многомилліонной толпѣ голодающихъ, идущей на Москву, о бояхъ, о томъ, что голодная армія уже дошла до Смоленска (?), — забывшая было о Россіи иностранная печать наполнилась сенсаціонными телеграммами.

Дѣйствительность, повидимому, проще и, пожалуй, трагичнѣе. Нѣтъ милліонной арміи голодающихъ, нѣтъ боевъ и похода на Москву. Но въ глубинахъ Восточной Россіи широкія пространства обречены на голодный моръ; десятки, а то и сотни тысячъ крестьянъ разбросаны безпомощными кучками, съ телѣгами полными жалкимъ скарбомъ, вдоль линіи сибирской и оренбургъ-ташкентской дорогъ, — на путяхъ къ мифическому „Царю Индійскому", милліоны десятинъ стоятъ незасѣянными.

Пустуютъ поля не только въ неурожайной мѣстности, не только тамъ, гдѣ населеніе бѣжало отъ голода. Причины сложнѣе — тутъ и страхъ реквизицій, и маломощность оскудѣвшаго мелкаго хозяйства. Общій недоборъ хлѣба сами большевики исчисляютъ въ 48%, да кто и какъ считалъ? Всѣ цифры теперь такъ гадательны. Но другой вопросъ, насколько голодъ въ деревнѣ грозитъ существованію Совѣтской власти? Онъ не затрудняетъ выколачиванья хлѣба въ урожайныхъ мѣстностяхъ (скорѣе наоборотъ: отряды изъ голодающихъ лучшіе сборщики). Онъ облегчаетъ психологически сокращеніе пайковъ въ городахъ: „въ Поволжьи и не такъ голодаютъ". Онъ, наконецъ, дѣлаетъ городское населеніе еще болѣе зависимымъ отъ пайка, такъ какъ отпала обширная область, въ которую можно было ѣздить „самоснабжаться".

Пока не развалился транспортъ и не исчерпанъ золотой запасъ, Совѣтской власти непосредственно голодъ не угрожаетъ. Но тѣмъ трагичнѣе положеніе пострадавшихъ отъ неурожая мѣстъ. Только теперь до крестьянства доходятъ, въ до ужаса реальной формѣ, послѣдствія развала государственности. Пока было ясное небо, отсутствіе дома не ощущалось; но отъ непогоды — уже укрыться теперь

негдѣ. Сейчасъ — это только сравнительно небольшая полоса, но она всего страшнѣе, какъ прообразъ грядущихъ бѣдъ.

Такъ какъ въ засухѣ — большевиковъ трудно обвинить, они на этомъ разъ не только не стали молчать о бѣдствіи, но забили тревогу по всему фронту совѣтской печати. Ими былъ даже образованъ въ Москвѣ, по типу Брусиловскаго Особаго Совѣщанія, Общественный Комитетъ по борьбѣ съ голодомъ, предназначенный, главнымъ образомъ, для психологическаго воздѣйствія заграницей. Чтобы Комитетъ не могъ пріобрѣсти какого либо самостоятельнаго значенія, они назначили предсѣдателемъ и его замѣстителемъ видныхъ коммунистовъ — Каменева и Рыкова. Впрочемъ, самый составъ Комитета гарантируетъ его безвредность для большевиковъ: въ немъ много представителей науки и искусства, нѣсколько толстовцевъ, и очень мало людей изъ политическаго или хотя бы земскаго или городского круга дѣятелей; и вошедшіе въ него, при этомъ, почти все люди, уже давно ставшіе на точку зрѣнія мирнаго дѣлового сотрудничества съ Совѣтской властью. Поэтому, пожалуй, и нѣсколько преувеличенно торжество Каменева, заявившаго въ газетѣ „Путь“ (№ 139) по поводу Комитета: „готовность работать подъ руководствомъ совѣтской власти является прямымъ вызовомъ заграничнымъ бѣлымъ организаціямъ . . . Если охватившій цѣлые раіоны голодъ вызвалъ передвижку общественныхъ силъ, то она въ пользу Совѣтской власти“. Это осторожное „если“ какъ нельзя болѣе умѣстно: *внутри* Совѣтской Россіи никакого *сдвига* въ пользу большевиковъ, конечно, не произошло. — Нѣсколько иначе обстояло дѣло заграницей . . . — объ этомъ послѣ.

На дальнемъ Востокѣ. — 26 мая во Владивостокѣ почти безъ усилія была свергнута власть Дальневосточной Республики — коммунистическаго государства — буфера между Совѣтской Россіей и Японіей.

Создавшееся положеніе не открываетъ пока широкихъ возможностей. Около двадцати тысячъ войска, большею частью разоруженные остатки арміи Колчака, т. н. „каппелевцы“ — сейчасъ вся реальная опора новаго правительства. Благожелательный нейтралитетъ японской оккупаціонной власти гарантируетъ пока отъ нашествія красныхъ войскъ, продолжающихъ занимать Хабаровскъ. Но будущее неясно.

У власти сталъ президіумъ состоявшагося въ мартѣ съѣзда несоціалистическихъ организацій Дальняго Востока, во главѣ съ Меркуловымъ и Колесниковымъ. Втеченіе іюня шла борьба между сторонниками новой власти и атаманомъ Семеновымъ, ссылавшимся на то, что ему отъ Колчака передовѣрена власть Верховнаго Правителя. Помимо личныхъ антипатій и борьбы честолюбій, между боровшимися сторонами были и принципіальныя разногласія: Семеновъ стоялъ за походъ противъ большевиковъ, за освобожденіе Сибири; меркуловское правительство только за обереганіе приморскаго оазиса и

и противъ борьбы подъ широкими лозунгами. Рѣшающее значеніе получила, повидимому, непопулярность Семенова среди „каппелевцевъ"; послѣ неудачной попытки апеллировать къ войскамъ, онъ бѣжалъ въ Маньчжурію.

Меркуловское правительство созвало 20 іюля Народное Собраніе; въ избирательномъ законѣ заслуживаютъ вниманія статьи, согласно которымъ устранялись отъ выборовъ коммунисты, а съ кандидатовъ бралась подписка о непринадлежности къ коммунистической партіи и о несодѣйствіи ей.

Большинство въ собраніи оказалось на сторонѣ правительства. Начатая въ концѣ іюля коммунистами всеобщая забастовка окончилась неудачей.

Итакъ русскій анти-большевистскій оазисъ сейчасъ всетаки существуетъ. И это уже нѣчто. Но огромны пространства глухой тайги, безмѣрны разливы сибирскихъ рѣкъ — такъ далеко еще отъ Владивостока до Москвы . . .

Національный Съѣздъ. — Въ жизни зарубежной Россіи продолжались кристаллизаціонные процессы.

5—12 іюня засѣдалъ въ Парижѣ Съѣздъ Національнаго Объединенія. Основной его смыслъ — созданіе изъ раздробленныхъ зарубежныхъ русскихъ силъ единой организаціи, которая бы явилась прямой продолжательницей дѣла противобольшевистскихъ коалицій этихъ лѣтъ. Въ томъ, что съѣздъ воспринялъ традицію „бѣлой" борьбы отъ Корнилова до Врангеля, что онъ поставилъ во главу угла борьбу съ большевиками, прямую и непримиримую, — было главное его значеніе, стоящее внѣ партійныхъ споровъ.

Передъ созывомъ съѣзда высказывались опасенія, что онъ будетъ недостаточно многолюденъ, что онъ не явитъ должнаго единодушія. Но съѣздъ оказался и многолюднымъ, и сплоченнымъ. Онъ былъ внушительной манифестаціей несломленной воли къ борьбѣ въ зарубежной Россіи.

Отграниченный слѣва рѣзкой враждебностью сторонниковъ „новой тактики", съѣздъ самъ въ нѣкоторой степени отграничилъ себя направо, — и въ разосланномъ первоначальномъ циркулярѣ иниціативной группы, и, отчасти, въ своихъ постановленіяхъ. Но его нельзя, тѣмъ не менѣе, считать партійнымъ, умѣренно правымъ или умѣренно лѣвымъ начинаніемъ. Если Національный Съѣздъ и не создалъ общерусскаго противобольшевистскаго фронта, — онъ выявилъ центральное ядро этого фронта, онъ объединилъ людей, для которыхъ превыше и главнѣе всего — освобожденіе родины отъ коммунистическаго гнета; для которыхъ борьба съ нимъ является священной войной, и армія, своей кровью запечатлѣвшая эту борьбу,— родной и близкой. Въ этомъ — главное. Люди очень разныхъ взглядовъ на этомъ сошлись, — *не отрекаясь отъ себя*. И поэтому такъ легко критикамъ слѣва улавливать злорадно правыя черточки на

съѣздѣ, а критикамъ справа — утверждать, что онъ явился собраніемъ кадетъ и „умѣренныхъ“ соціалистовъ.

Рейхенгалльскій Съѣздъ. — На второй день Національнаго Съѣзда пришлось закрытіе другого съѣзда зарубежной Россіи, засѣдавшаго съ 30 мая по 6 іюня въ Рейхенгаллѣ, Съѣзда Хозяйственнаго Возстановленія Россіи, иначе монархическаго объединенія.

Задача его была нѣсколько иная, чѣмъ у Національнаго съѣзда — болѣе идейно отвлеченная. Назрѣвавшія въ широкихъ русскихъ кругахъ монархическія настроенія должны были вылиться въ конкретную форму. И этотъ съѣздъ тоже явился компромиссомъ. Если Національный съѣздъ объединилъ монархистовъ и республиканцевъ на идеѣ борьбы съ большевизмомъ — Рейхенгалльскій съѣздъ на идеѣ монархіи объединилъ и сторонниковъ конституціи, и сторонниковъ самодержавія. Компромиссностью, недоговоренностью отличаются поэтому и его постановленія. Конкретно одно: признаніе необходимости возстановленія въ Россіи монархіи подъ скипетромъ историческаго Императорскаго Дома Романовыхъ. Эта идея раздѣляется не только участниками съѣзда. Но самый характеръ создавшагося объединенія слишкомъ узокъ для настоящаго времени. Никто не знаетъ путей ближайшаго развитія, и ни одной живой силы, способной приблизить избавленіе нашей родины, не слѣдуетъ поэтому отвергать. Отказываясь заранѣе отъ сотрудничества съ „республиканскими теченіями“ (каковыми, повидимому, считаются всѣ не открыто-монархическія), Рейхенгалльскій съѣздъ свелъ себя самъ къ идеологической манифестаціи, по своему законной и даже полезной, но мало подвигающей впередъ дѣло спасенія Россіи.

Будетъ ли достигнутъ какой либо синтезъ обоихъ съѣздовъ, или пути ихъ разойдутся еще дальше въ будущемъ, — объ этомъ трудно сейчасъ гадать.

Вопросъ о голодѣ. Мѣсяца черезъ полтора послѣ этихъ съѣздовъ въ русской печати заграницей, а потомъ и въ иностранной фейерверкомъ вспыхнули извѣстія о голодѣ въ Поволжьи. Какъ всегда, на большомъ разстояніи, разсматриваемые въ увеличительное стекло предметы принимаютъ невѣроятные размѣры, такъ и тутъ статьи и телеграммы совѣтской печати выросли, конечно, необычайно. Но даже и тѣ, кто отличалъ преувеличенія отъ дѣйствительности, больно ощутили эту новую бѣду, поразившую измученный русскій народъ.

Никто не злорадствовалъ. Наоборотъ: общее желаніе какъ то помочь заставило многихъ забыть суровую дѣйствительность и заговорить о немедленной безоговорочной помощи, какъ будто при совѣтскомъ строѣ возможно прекратить и предотвратить голодное вымираніе. Но если бы это было дѣйствительно возможно, сами большевики бы это охотно сдѣлали: голодъ и имъ *удовольствія* не доставляетъ. Нѣтъ, самыя основы ихъ строя — мѣшаютъ борьбѣ съ голо-

домъ. И лучшей помощью было бы сверженіе совѣтской власти. Пока же она существуетъ, возможна только очень ограниченная, „красно-крестная“ помощь черезъ „нейтральныхъ“, черезъ иностранцевъ.

Этой помощи, опять таки, сочувствуютъ всѣ. Но чтобы и она дошла до голодныхъ — нуженъ извѣстный контроль, — участіе иностранцевъ въ доставкѣ продовольствія на мѣста и въ его распредѣленіи. Большевики желали бы избѣжать контроля и получить все въ свои руки, хотя бы черезъ Каменевскій Общественный Комитетъ, и попутно продвинуть впередъ международное признаніе своей власти. Надо сказать, что нѣкоторые русскіе заграничные круги оказали имъ въ этомъ, быть можетъ, безсознательно значительное содѣйствіе.

Въ цѣломъ рядѣ городовъ Западной Европы возникли комитеты помощи голодающимъ. Поскольку они занимались сборомъ пожертвованій и агитаціей въ пользу помощи черезъ международныя организаціи, — это было, конечно, вполнѣ естественно. Нѣкоторые изъ этихъ комитетовъ пришли къ рѣшенію вступить въ непосредственныя сношенія съ Общественнымъ Комитетомъ въ Москвѣ, но все это оборвалось вслѣдствіе закрытія Комитета Совѣтской властью и ареста многихъ, и притомъ самыхъ активныхъ, его членовъ. Сотрудничество съ Общественнымъ Комитетомъ могло, казалось, разрѣдить атмосферу борьбы. Могъ, казалось, заграницей произойти тотъ „сдвигъ общественныхъ силъ въ пользу совѣтской власти“, о которомъ говорилъ Каменевъ*) Но чека рѣшила иначе, и въ этомъ сказалась неумолимая логика исторіи.

Иностранцы и голодъ. — Вопросомъ о русскомъ голодѣ занялись и иностранцы. Американскій Комитетъ помощи съ Хувером во главѣ вступилъ съ большевиками въ переговоры объ оказаніи помощи милліону или полутора милліонамъ больныхъ и дѣтей. Большевики ставятъ нѣкоторыя затрудненія въ вопросѣ о контролѣ, но можно надѣяться, что американцы добьются возможности передать продовольствіе тѣмъ, кому оно предназначается.

Верховный Совѣтъ державъ Согласія также поставилъ на обсужденіе вопросъ о содѣйствіи голодающимъ. Русскія организаціи въ Парижѣ, преодолѣвъ многообразныя тренія, объединились на общей запискѣ, поданной Бріану, сводящейся къ просьбѣ о помощи при соблюденіи извѣстныхъ гарантій. Впервые подъ одной запиской сочетались имена Авксентьева и Милюкова съ именами Гучкова и Гурко. Но въ средѣ самого Верховнаго Совѣта возникли разногласія. Англичане стояли за оказаніе помощи черезъ Совѣты; французы, итальянцы

*) Любопытно при этомъ отмѣтить, что сторонники „новой тактики“ изъ партіи к. д., органомъ которой являются „Послѣднія Новости“ въ Парижѣ и „Голосъ Россіи“ въ Берлинѣ, шли значительно дальше навстрѣчу большевикамъ, чѣмъ эсеры изъ „Воли Россіи“, и только послѣ полученія рѣзкаго воззванія московскихъ эсеровъ нѣсколько перемѣнили тонъ.

янцы и американцы напирали на необходимость контроля. Образована была комиссія изъ представителей многихъ государствъ, которая должна имѣть неоффиціальный характеръ, чтобы ея дѣловыя сношенія съ большевиками не послужили поводомъ утверждать, будто совѣтская власть получила международное признаніе.

Въ общемъ помощь этой комиссіи, вѣроятно, такъ или иначе объединится съ Хуверовской организаціей.

Окраины. — Вѣсть о голодѣ и слухи о движеніи голодающихъ на Западъ встревожили окраинныя новообразованія. Они дали лишній толчокъ той работѣ по ихъ сближенію, которая велась въ послѣднее время.

Польско-румынскій союзный договоръ, заключенный въ началѣ лѣта, направленъ не только противъ Германіи или Венгріи, сколько въ первую очередь противъ красной опасности на восточной границѣ. Но онъ идетъ и дальше, защита аннексіи Бессарабіи и польскихъ пріобрѣтеній по рижскому миру — также входитъ въ число его цѣлей. Соглашеніе прибалтійскихъ новообразованій съ польско-румынскимъ союзомъ пока не осуществимо, изъ за польско-литовскаго конфликта. Между собою Литва, Латвія и Эстонія до нѣкоторой степени уже повидимому сговорились, есть связь и съ Финляндіей. Сплошная цѣпь отъ Печенѣги до Аккермана протянута между Россіей и Западной Европой, звенья скрѣплены, правда, еще не вездѣ. Изъ великихъ державъ пока одна Америка отказывается признать это расчлененіе Россіи.

Не только реально существующія, но и счетенныя съ политической карты окраинныя республики напоминаютъ постоянно о себѣ Западной Европѣ. Такъ недавно представители Азербейджана, Арменіи и Грузіи торжественно представлялись Бріану. Пріемъ этотъ былъ тѣмъ примѣчательнѣе, что французское правительство въ свое время наотрѣзъ отказалось отъ признанія правительства Юга Россіи послѣ эвакуаціи Крыма, хотя оно имѣло и армію и флотъ, въ то время, какъ закавказцы имѣютъ, насколько извѣстно, только личности своихъ министровъ. Политическая игра на сепаратизмъ окраинъ продолжается такимъ образомъ и въ отношеніи Кавказа. Врядъ ли, однако, дѣло дойдетъ до реальной помощи кавказцамъ противъ красной арміи, все сводится къ выявленію извѣстныхъ настроеній.

Въ данный моментъ, повидимому, ни одна изъ державъ согласія не жаждетъ воскресенія Россіи, скорѣе ощущается ими смутный страхъ передъ нею, наиболѣе опредѣленно высказываемый Ллойдъ-Джорждемъ. Большевиковъ, наоборотъ, бояться перестаютъ. Все это пока не сулитъ близкаго освобожденія извнѣ.

15 августа 1921 г. **С. С. Ольденбургъ.**

По поводу книги Носке Von Kiel bis Kapp.

Книга Носке „Von Kiel bis Kapp" содержитъ въ себѣ воспоминанія Носке о его дѣятельности въ революціонное время вплоть до оставленія имъ должности министра. Книга эта несомнѣнно исторически значительна какъ потому, что касается очень важнаго момента въ исторіи Германіи и всей Европы, такъ и потому, что она написана крупнымъ и сильнымъ человѣкомъ, отношеніе котораго къ этому моменту имѣетъ обще-человѣческій интересъ. Однако, помимо общаго интереса, книга Носке имѣетъ, думается намъ, особое значеніе для насъ, русскихъ. Притомъ книга эта не только проливаетъ свѣтъ на вопросъ нашего будущаго, указывая нѣкоторыя вѣхи нашей дѣятельности на путяхъ возрожденія Россіи. Цѣлый рядъ фактовъ, содержащихся въ книгѣ, несмотря на весь ихъ грустный обще-человѣческій смыслъ, на русскаго читателя производитъ утѣшительное впечатлѣніе. Почти съ самаго начала революціи, и уже во всякомъ случаѣ съ момента господства большевиковъ, мы, русскіе, стали смотрѣть на себя, какъ на какихъ то паріевъ человѣчества, какъ на народъ, способный къ тому, что невозможно ни у какого другого народа. Особенно это чувствовалось и чувствуется въ бесѣдахъ съ иностранцами. Съ гордостію они намъ говорили, что событія, подобныя нашимъ, возможны только у такого некультурнаго, нецивилизованнаго народа, какъ мы, что въ болѣе культурныхъ странахъ они совершенно невозможны и т. д. Подавленные происходящими событіями, мы въ такихъ случаяхъ предпочитали отмалчиваться и даже, въ душѣ, порой начинали стыдиться своего народа. И вотъ въ этомъ отношеніи книга Носке, рисующая ту обстановку, въ которой ему пришлось дѣйствовать, помогаетъ намъ поднять голову и сказать, что толпа — всюду толпа, что антиобщественные инстинкты, всегда въ извѣстной мѣрѣ таящіеся во всякомъ человѣкѣ, всегда и всюду одинаковы, если они лишены надлежащей сдержки.

Позволимъ себѣ привести эпизоды изъ книги Носке, ярко изображающіе событія Германской революціи. Берлинъ, Январь 1919 г.: вооруженныя банды господствуютъ въ городѣ. На вокзалахъ и въ разныхъ частяхъ города трещатъ выстрѣлы. Даже прижимаясь къ домамъ трудно избѣгать пуль. Всѣ газеты захвачены спартакистами (стр. 73). Въ Дюссельдорфѣ въ ночь съ 8 на 9 Января 1919 г. были захвачены всѣ газеты и нѣкоторыя изъ нихъ уничтожены.

„Дюссельдорфскія Извѣстія“ были принуждены выходить подъ именемъ „Краснаго Знамени Нижняго Рейна“. 9 Января выдающіеся люди были арестованы въ качествѣ „заложниковъ“. 19 января мирная демонстрація демократовъ и соціалистовъ большинства была обстрѣляна бѣглымъ огнемъ съ автомобилей, при чемъ на мѣстѣ остались 14 убитыхъ и 30 раненыхъ. 16 и 17 Января были разрушены бюро всѣхъ партій (кромѣ коммунистической и партіи независимыхъ). Предводитель бандъ, Шмидкенъ, вымогалъ и растрачивалъ общественныя деньги . . . Въ Гамборнѣ и другихъ мѣстахъ было убито большое число лицъ. Въ Мюльгеймѣ въ Государственномъ Банкѣ 12 февраля появились членъ и служащіе совѣта солдатскихъ депутатовъ и подъ угрозой примѣненія силы заставили выдать 75,000 марокъ для оплаты людей, назначенныхъ ими въ охрану (стр. 122). Тогда же въ Эссенѣ въ засѣданіи представителей: совѣтовъ рабочихъ и солдатскихъ допутатовъ, 7-го Армейскаго Корпуса, трехъ соціалистическихъ партійныхъ комитетовъ и горнорабочихъ собраніе постановило: потребовать возстановленія главнаго солдатскаго совѣта въ Мюнстерѣ и немедленнаго удаленія Командующаго войсками генерала и всѣхъ офицеровъ, причастныхъ къ уничтоженію этого совѣта . . . и далѣе: въ сознаніи опасности, которая угрожаетъ завоеваніямъ революціи, собравшіеся представители промышленнаго района обязываются призвать всѣхъ рабочихъ къ всеобщей забастовкѣ, если ихъ требованія не будутъ исполнены (стр. 124). Для того, чтобы помѣшать передвиженію войскъ въ эту мѣстность, было рѣшено взорвать желѣзныя дороги, при чемъ человѣкъ, по имени Дюбильцигъ, извѣстный раньше какъ банковскій грабитель, получилъ миссію добыть взрывчатыя вещества и имѣлъ соотвѣтствующій мандатъ (стр. 124). Въ Національномъ Собраніи раздавались голоса, что если подобное положеніе вещей въ Вестфаліи, важнѣйшемъ каменноугольномъ и промышленномъ районѣ, не будетъ прекращено въ самое короткое время, то вся Германія очутится на краю гибели. Въ Берлинѣ въ концѣ іюня и началѣ іюля желѣзнодорожная забастовка угрожала жизни и здоровью населенія. Одинъ изъ предводителей забастовщиковъ хвастался, что ему извѣстно, что прежде всего пострадаютъ женщины и дѣти, но тѣмъ не менѣе поѣзда не пойдутъ. Въ одномъ собраніи ораторъ говорилъ, что не слѣдуетъ пропускать ни одного поѣзда съ молокомъ. Пускай отъ этого погибнутъ нѣсколько грудныхъ дѣтей, во время войны ихъ погибало еще больше (стр. 132). Въ Брауншвейгѣ лица, арестованные коммунистами и независимыми не получали пищи, но за то избивалась кулаками. Во время ихъ заключенія жилища ихъ подверглись разграбленію, при чемъ были похищены цѣнныя бумаги, деньги, платье и т. под. (стр. 128). Въ Мюнхенѣ правильно избранный всеобщимъ голосованіемъ ландтагъ былъ разогнанъ выстрѣлами, при чемъ, прибавляетъ Носке, независимые въ точности слѣдовали примѣру русскихъ большевиковъ, которымъ они во мно-

гомъ подражали. Въ Берлинѣ въ мартѣ 1919 г. забастовщики (въ борьбѣ съ ними было убито до 1200 человѣкъ) требовали между прочимъ немедленнаго признанія власти совѣтовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, немедленнаго вооруженія революціонныхъ рабочихъ, немедленной хозяйственной и политической связи съ русскимъ совѣтскимъ правительствомъ и т. д. (стр. 105). Въ Лейпцигѣ, подъ предводительствомъ нѣкого Гейера, было экспропріировано изъ городской кассы 400,000 марокъ на уплату содержанія бастующимъ желѣзнодорожникамъ. Изъ этой суммы одинъ изъ довѣренныхъ людей предводителя, ранѣе нѣсколько разъ осужденный за кражи и мошенничества, присвоилъ себѣ 100,000 марокъ. На попойку въ публичномъ домѣ онъ истратилъ 11,000 марокъ. Въ Мюнхенѣ во время господства совѣтовъ министромъ иностранныхъ дѣлъ былъ докт. Липпъ, два раза бывшій въ заключеніи въ сумасшедшемъ домѣ. Министру путей сообщенія той же совѣтской республики онъ написалъ слѣдующее письмо: „Дорогой мой товарищъ по должности. Я объявилъ войну Вюртембергу и Швейцаріи, потому что эти собаки не доставили мнѣ тотчасъ же 60 локомотивовъ. Я убѣжденъ, что мы побѣдимъ. Кромѣ того для этой побѣды я еще получу благословеніе папы, съ которымъ я очень хорошо знакомъ". Другой изъ вождей, д. Ротенфельдеръ, былъ за нѣсколько лѣтъ передъ этимъ выпущенъ изъ психіатрической больницы, и, по заключенію врачей, неспособенъ къ разумной работѣ. Подобныхъ типовъ, говоритъ Носке, было много. Въ Берлинѣ образовался спеціальный совѣтъ изъ представителей дезертировъ, которые требовали уплаты содержанія со дня дезертирства (стр. 74). Въ Гамбургѣ во время господства солдатскихъ совѣтовъ въ лазаретахъ для венерическихъ больныхъ всѣ врачи и служебный персоналъ были терроризованы, весь порядокъ госпиталей нарушенъ. Больные вечеромъ расходились по улицамъ и распространяли заразу (стр. 160). Въ Килѣ казенные продовольственные магазины были разграблены (стр. 29). Тамъ же въ морскомъ складѣ одежды солдатскій совѣтъ распредѣлилъ одежду между рабочими и между прочимъ раздѣлилъ запасы шелковой матеріи, которая была привезена въ качествѣ военной добычи (стр. 44). На громадномъ минномъ заводѣ въ Килѣ работа производилась спустя рукава. Сотни рабочихъ стояли у станковъ безъ дѣла. Одинъ изъ рабочихъ на вопросъ: что онъ дѣлаетъ, спокойно отвѣчалъ: ничего. Тѣмъ на менѣе всѣ получали плату за 8-часовой рабочій день по повышенной нормѣ (стр. 44). Въ Шпандау (около Берлина) въ громадныхъ государственныхъ мастерскихъ въ рабочее время происходили политическіе дебаты. Въ Январѣ тамъ было выплачено около 42 милліон. марокъ заработной платы, при чемъ произведенная работа ни въ какой мѣрѣ не соотвѣтствовала этой оплатѣ. Матеріалы на многіе милліоны марокъ были расхищены (стр. 143). Въ войскахъ выборный командный составъ не имѣлъ никакого авторитета надъ солдатами. Съ войсками ничего

нельзя было предпринять. Когда ихъ надо было на что нибудь употребить, они не шли (стр. 62). Въ Балтикѣ нѣмецкіе войска не оказывали наступающимъ большевицкимъ отрядамъ никакого сопротивленія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ фронта солдаты братались съ большевиками и дѣлились съ послѣдними своими запасами. Такимъ образомъ, въ руки большевиковъ попало большое количество военнаго имущества, ружей, пулеметовъ и т. под.

Мы могли бы увеличить число цитатъ, но полагаемъ, что и этихъ достаточно, чтобы нарисовать себѣ ясную картину Германіи въ революціонное время. Въ заключеніе мы приведемъ лишь воззваніе листковъ и газетъ коммунистовъ и независимыхъ: „Правительственные войска вошли въ Бременъ. Никакіе уступки не помогли. Рабочій классъ въ Бременѣ дошелъ до границъ возможнаго. Онъ согласился на возвращеніе народныхъ коммиссаровъ, на выдачу оружія и аммуниціи. Но для Эберта—Шейдемана—Носке этого мало. Они хотятъ поставить ногу на шею пролетаріата. Онъ долженъ быть теперь униженъ болѣе, чѣмъ когда либо. Кровью и желѣзомъ хотятъ Эбертъ—Шейдеманъ—Носке обезпечить тріумфъ капитализма. Никогда въ исторіи классовой борьбы грубѣе и циничнѣе не проливалась кровь, чѣмъ теперь это сдѣлали Эбертъ—Шейдеманъ въ Бременѣ. Насильники думаютъ, что они могутъ васъ стереть въ порошокъ. Уже начинается новая травля, которая представляетъ собой только преддверіе къ введенію осаднаго положенія. Рабочіе, пролетаріи наружу! Собирайтесь по мастерскимъ! Выбирайте новые совѣты рабочихъ депутатовъ! Долой приверженцевъ Эберта—Шейдемана, кровавыхъ собакъ и ихъ защитниковъ изъ рабочихъ совѣтовъ! Рабочіе совѣты — въ окопы! Ваше существованіе поставлено на карту! Собирайтесь, возставайте противъ насилія и террора! Солдатскіе совѣты впередъ! Отомстите убійцамъ вашихъ братьевъ! Долой Эберта—Шейдемана, которые предали васъ офицерамъ! Мы требуемъ, чтобы Берлинскій рабочій совѣтъ собрался и вынесъ приговоръ кровавымъ собакамъ! Массовой протестъ противъ убійцы! Долой Эберта—Шейдемана! Да здравствуетъ соціальная революція! Долой Національное Собраніе! Вся власть совѣтамъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ!“ Въ цѣломъ рядѣ городовъ были распространены слѣдующіе листки: „Контръ-революція жаждетъ крови рабочихъ! Адскіе рабы капитала, Эбертъ—Шейдеманъ—Носке, объявили бѣлый терроръ! Революція должна быть ниспровергнута, должна быть потоплена въ крови, чтобы опять возстановить капиталистическую работу, чтобы обратить рабочій классъ въ стадо рабовъ, чтобы голодъ и несчастіе рабочихъ обезпечили оргіи блюдолизовъ капитализма! Кровавое безуміе побуждаетъ защитниковъ капитала, Эберта—Шейдемана—Носке, ко все болѣе ужаснымъ насиліямъ. Послѣ того, какъ берлинскіе рабочіе были повидимому подавлены, наступила очередь для Бремена. Никогда правительство Эберта—Шейдемана—Носке не смоетъ съ своихъ рукъ кровавыхъ пятенъ! Неизгладимо лежитъ

на немъ Каинова печать братоубійцы! Правительство крови и насилія должно быть низвергнуто! Возбуждайте во всей странѣ массовыя возстанія! Выходите на улицы! Начинайте забастовки! Углубляйте революцію! Долой палачей рабочаго класса! Долой Эберта—Шейдемана—Носке! Долой Національное Собраніе! Вся власть совѣтамъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ!"

Да простятъ намъ читатели: хотя мы изложили лишь нѣкоторые изъ приводимыхъ Носке фактовъ, ихъ оказалось все же много. Но приводя эти столь знакомыя намъ, русскимъ, картины, мы хотѣли подчеркнуть, что подобныя явленія не имѣютъ мѣстнаго или присущаго тому или иному народу въ отдѣльности характера и смысла. Нѣтъ, эти печельныя явленія — общечеловѣческія, они при извѣстныхъ условіяхъ могутъ происходить вездѣ и всегда, а это, повторяемъ, имѣетъ несомнѣнно отрадное для насъ значеніе, заставляетъ насъ болѣе правдиво смотрѣть на свой народъ и, кромѣ того, — даетъ намъ возможность съ большей надеждой взирать въ будущее. Уроки для будущаго можно, думается, найти въ томъ, какъ развивались далѣе тождественныя въ первоначальномъ видѣ революціонныя явленія. Здѣсь однако, уже замѣчается не сходство, а наоборотъ, глубокое различіе между нашими и германскими событіями. Германія справилась съ большевизмомъ, съ своими спартакистами и независимыми, она не дошла до анархіи и распада. Мы же . . . но къ чему повторять то, что мы всѣ знаемъ, что извѣстно всему міру?! Отчего это произошло? Отчего при полномъ тождествѣ первоначальныхъ проявленій получились противоположные результаты? Само собою разумѣется, что говорить въ исторіи о полномъ тождествѣ какихъ либо явленій, а тѣмъ болѣе о тождествѣ двухъ народовъ, не приходится. Совершенно ясно, что Германія представляетъ собой далеко не то, что мы имѣемъ въ Россіи. Здѣсь имѣется на лицо и значительная разница въ культурномъ и политическомъ воспитаніи массъ, и серьезныя экономическія различія, громадное преобладеніе въ Россіи крестьянскаго элемента въ сравненіи съ Германіей съ ея гораздо болѣе численнымъ фабричнымъ пролетаріатомъ, и разница въ самомъ характерѣ и духѣ народовъ, большая привычка нѣмцевъ къ дисциплинѣ и порядку и т. д., однимъ словомъ, цѣлый рядъ причинъ, которыя неминуемо должны были вліять на тотъ или иной исходъ революціоннаго движенія. Но, не смотря на это, является вопросъ, нѣтъ ли въ тѣхъ способахъ, какими справлялась Германія съ большевизмомъ, нѣкоторыхъ обще-человѣческихъ чертъ, нельзя ли признать, что при всѣхъ различіяхъ, всегда и вездѣ, для того, чтобы справиться съ вырвавшимися наружу инстинктами разрушенія и съ демагогіей, опирающейся на эти инстинкты, необходимы извѣстные пріемы, извѣстные способы борьбы, которыхъ нельзя миновать, къ которымъ необходимо приходится прибѣгать при современномъ развитіи человѣчества. Книга Носке въ этомъ отношеніи тоже даетъ

драгоцѣнныя указанія и, притомъ, имѣющія для насъ, русскихъ, не только историческое, но, думается, и серьезное актуальное значеніе.

Если приведенныя выше цитаты изъ книги Носке даютъ намъ возможность, по нашему мнѣнію, занять подобающее намъ мѣсто среди другихъ народовъ, то дѣйствія Носке въ его борьбѣ съ анархіей должны заставить насъ призадуматся, не слѣдуетъ ли намъ оглянуться на самихъ себя съ тѣмъ, чтобы не быть впослѣдствіи такъ же выброшенными за бортъ общественной жизни, какъ это случилось теперь, а посильно содѣйствовать возрожденію нашей родины. Думается, что подобныя указанія въ книгѣ Носке найдутся, но прежде чѣмъ говорить о нихъ, надо, конечно, имѣть точное представленіе о томъ, кто такой Носке. Очевидно, Носке не могъ дѣйствовать въ безвоздушномъ пространствѣ, онъ на кого то опирался, и понять его дѣйствія и ихъ результаты можно только въ связи съ тѣмъ, что его окружало. Носке — соціалъ-демократъ, фракціи такъ называемаго большинства и депутатъ Рейхстага. Съ гордостью называетъ онъ себя революціонеромъ, приверженцемъ революціонной Соціалъ-Демократіи, освободительницы народовъ (стр. 7). Но онъ революціонеръ только въ смыслѣ революціонированія умовъ съ цѣлью подготовки ихъ къ широкимъ политическимъ и соціальнымъ реформамъ, онъ противникъ всякихъ насильственныхъ дѣйствій. (стр. 8).

Въ приказѣ Носке по Килю отъ 11 Ноября, который мы приводимъ съ сокращеніями, ясно выражаются его цѣли и стремленія: „Въ Берлинѣ образовалось новое работоспособное правительство. Соціалистическое большинство стремится насколько возможно быстро водворить порядокъ. Предстоитъ правильная работа во всѣхъ отрасляхъ труда. Побѣда соціалистическихъ рабочихъ и солдатъ безусловна во всемъ государствѣ. Всякое сопротивленіе новому правительству безполезно. Представители буржуазнаго міровозрѣнія должны безъ сопротивленія подчиниться неизбѣжному и въ интересахъ страны и всего народа содѣйствовать возстановленію всего того, что разрушено 4-хъ лѣтней войной. Рабочіе и солдаты, Ваша побѣда по всей линіи произошла быстро и окончательно. То правительство, которое теперь управляетъ государствомъ, — это ваше правительство. Поэтому теперь ваша обязанность не только не допускать никакого препятствія его дѣятельности, но во имя вашихъ же интересовъ помогать вашей самой усердной работой тѣмъ довѣреннымъ людямъ, которые теперь стоятъ во главѣ управленія. Только если всѣ будутъ дѣйствовать сообразно вышесказанному, тогда только можетъ быть удастся избавить Германію отъ тяжелыхъ потрясеній, народъ отъ увеличивающейся нужды и смотрѣть на переворотъ, какъ на благо". (стр. 56) Далѣе Носке говоритъ: нѣмецкій рабочій классъ въ значительной степени политически воспитанный и организованный въ соціалъ-демократической партіи,

привыкшій въ мастерскихъ къ здравымъ воззрѣніямъ въ хозяйственныхъ вопросахъ, долженъ былъ показать, чего онъ стоитъ. Если онъ доросъ до своей задачи, то онъ покорилъ бы весь міръ для соціализма. Черезъ годъ 24 Октября 1918 г. Носке въ рейхстагѣ говорилъ: „домъ горитъ и депутатъ Гаазе по моему мнѣнію подлилъ масла въ огонь и способствовалъ тому, что люди, которые всѣ вмѣстѣ должны были спасать, вцѣпились другъ другу въ волосы. Моя фракція хочетъ, чтобы у нѣмецкаго пролетаріата сохранилась крыша надъ головой. Я раздѣляю воззрѣнія г. Гаазе, что большая часть нѣмецкихъ хозяйственныхъ предпріятій созрѣла для соціализаціи. Но именно поэтому мы не желаемъ сначала ихъ разрушить гражданской войной, а потомъ начать ихъ вновь возсоздавать, наоборотъ, мы держимся убѣжденія, что сила нѣмецкаго рабочаго класса, значительно притомъ увеличенная притокомъ изъ близкихъ къ нему круговъ и изъ среды разореннаго средняго сословія, будетъ достаточно велика, чтобы составить въ Германіи большинство, достаточное для органическаго, правильнаго устройства мірового соціалистическаго порядка . . . на насъ лежитъ обязанность всѣми силами воспротивиться тому, чтобы въ Германіи возникла война всѣхъ противъ всѣхъ“. (стр. 58) Думается, что изъ приведенныхъ выдержекъ картина того, что представляетъ изъ себя Носке, вырисовывается достаточно ярко. Носке — соціалъ-демократъ, не только считающій большую часть нѣмецкихъ капиталистическихъ предпріятій готовыми къ соціализаціи, но и думающій о всемірномъ господствѣ соціализма и притомъ не въ видѣ отдаленной мечты, но уже осязающій это господство, какъ будто видящій практическую возможность его осуществленія. Излагать программу нѣмецкой соціалъ-демократической партіи мы, конечно, не будемъ, она достаточно извѣстна, тѣ цѣли, которыя она себѣ ставитъ, — независимо отъ болѣе или менѣе спорнаго вопроса объ ихъ немедленной реальной осуществимости, — опредѣленны и ясны; это во первыхъ; а во вторыхъ, какъ Носке, такъ и его партія, считаютъ возможнымъ въ настоящее время проведеніе своей программы, только опираясь на большинство всего населенія и черезъ посредство правильно организованнаго народнаго представительства. Насиловать волю всего населенія, бороться противъ нея другими средствами, кромѣ парламентарныхъ, ни Носке, ни его партія не считаютъ возможнымъ, увѣренные, что при достаточной зрѣлости всего народа и при всеобщемъ избирательномъ правѣ они всегда получатъ большинство, которое поведетъ народъ къ возможному для него благу. Такимъ образомъ, и цѣли Носке и способы ихъ осуществленія ясны. Но за то, если кто либо вознамѣрится другими путями, не парламентарными способами борьбы, а путемъ насилій, воспрепятствовать тому, что Носке, стоя во главѣ управленія, считаетъ въ данное время необходимымъ для блага народа, то въ способахъ противодѣйствія этому насилію Носке уже не церемонится. Онъ въ этомъ отношеніи послѣдовате-

ленъ и рѣшителенъ. Уже въ самомъ началѣ своей дѣятельности въ Килѣ онъ опредѣленно высказывается, что теперь (когда революціонное движеніе распространилось на всю Германію) не мѣсто лавировать, а надо твердо взять возжи въ руки (стр. 25). Цитируя слова одного изъ вождей желѣзнодоржной забастовки, что желѣзнодорожники схватили государство за горло, Носке сказалъ, что всякой рукѣ, которая будетъ угрожать жизни населенія онъ, пока находится въ должности, раздробитъ кости (стр. 133). Когда его уговаривали принять должность военнаго министра, онъ сказалъ: „пускай такъ! Кто нибудь долженъ быть кровавой собакой, я не боюсь отвѣтственности!“ И этотъ смѣлый и рѣшительный человѣкъ съ желѣзной послѣдовательностью проводилъ то, что онъ считалъ необходимымъ для блага своей родины. Мы не будемъ утомлять читателя выписками изъ книги Носке о его дѣйствіяхъ, отсылаемъ ихъ непосредственно къ самой книгѣ: вкратцѣ лишь скажемъ, что Носке удалось, частью приглашеніемъ добровольцевъ, частью привлеченіемъ нѣкоторыхъ частей изъ войскъ, унтеръ-офицеровъ и старослужащихъ офицеровъ и генераловъ сформировать достаточныя, вполнѣ дисциплинированныя военныя силы, съ помощью которыхъ онъ и остановилъ начинавшуюся анархію, съумѣлъ обезпечить выборы въ новый рейхстагъ, и далъ послѣднему силу и возможность осуществлять свои постановленія. Трудно, конечно, утверждать категорически, еще труднѣе доказать, но все таки думается, что Носке — человѣкъ, которому Германія обязана тѣмъ, что она справилась съ большевизмомъ и анархіей, и, повидимому, теперь уже справляется и съ хозяйственной разрухой; и это при условіи, что самымъ фактомъ военнаго пораженія она была поставлена въ очень тяжелыя условія .

Если мы отъ этихъ указаній обратимся къ нашему недавнему прошлому, то увидимъ иную картину. Первое время, даже болѣе полугода послѣ революціи господствовали у насъ двѣ соціалистическія партіи — соціалистовъ-революціонеровъ и соціалъ-демократовъ меньшевиковъ. Первая въ лицѣ своего признаннаго вождя г. Чернова провозгласила лозунгъ „правотворчество снизу“ и подъ этимъ лозунгомъ крестьянскимъ массамъ дана была возможность разграбленія владѣльческихъ хозяйствъ, безсмысленнаго и безцѣльнаго уничтоженія народнаго достоянія. Какъ будто эта партія имѣла свою программу, свои цѣли, но . . . объ этомъ не было и рѣчи, лишь бы угодить массамъ. Соціалъ-демократы — ихъ не менѣе извѣстный вождь г. Церетелли въ Учредительномъ Собраніи прямо заявилъ, что ихъ цѣль въ настоящее время — „выбить почву изъ подъ ногъ большевиковъ“, и во имя этой цѣли —все, что угодно массамъ, все, чѣмъ можно ихъ привлечь на свою сторону. Партійныя стремленія и цѣли все это забыто и отброшено. Конечно демагогіей взять верхъ надъ большевиками не удалось. Слишкомъ большіе они въ этомъ были мастера. При этомъ отсутствіи ясныхъ, опредѣленныхъ цѣлей

и стремленій можно ли говорить о послѣдовательномъ, неуклонномъ проведеніи какого либо принципа, о реальномъ противодѣйствіи инстинктамъ анархіи и разрушенія? Вспомнимъ при этомъ о сентиментально-безвольномъ Временномъ Правительствѣ, провозгласившемъ въ качествѣ основнаго принципа своей дѣятельности лозунгъ — „ни одной капли крови во что бы то ни стало", и поэтому пассивно смотрѣвшемъ, какъ толпы озвѣрѣвшихъ людей рвали и убивали другихъ людей, защитить которыхъ было прямой обязанностью правительства. Но, конечно, все это было и, какъ говорится, быльемъ поросло. Мы пишемъ не исторію и долѣе останавливаться на воспоминаніяхъ и рекриминаціяхъ не будемъ. Спрашивается, теперь, въ настоящее время, научились ли мы чему нибудь, вывели ли изъ прошедшаго какія либо заключенія, и имѣемъ ли какія нибудь опредѣленныя стремленія, цѣли и способы дѣйствій, или же все то, что было, прошло для насъ совершенно безслѣдно?

Носке кончаетъ свою книгу, слѣдующими словами: „Благодарности въ политикѣ никогда не бываетъ и я не ожидалъ ея. Нѣмецкій языкъ имѣетъ очень немного такихъ ругательствъ, которыя не были бы примѣнены ко мнѣ съ Января 1919 г. Кровавая собака и убійца были не изъ худшихъ. Всего громче кричали тѣ, которые пытались свалить на меня вину за ихъ ложную политику. Руководящія идеи моей политики въ теченіи 14 мѣсяцевъ были прямы и послѣдовательны:

Предотвращеніе хаоса и
Оздоровленіе народа работой."

Объ этихъ лозунгахъ слѣдуетъ подумать и намъ.

1921 г. 3 Марта г. Софія. **Ф. В. Татариновъ.**

КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

1. Гибель Запада.

Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 1920.

Книга Шпенглера, большой томъ въ 600 стр., посвященная труднѣйшимъ проблемамъ историческаго синтеза, выдержала въ короткій срокъ 32 изданія (50 тыс. экземпляровъ) — доказательство, какъ созрѣла потребность осмыслить окаменѣвшую школьную вульгату. Смѣлая попытка Шпенглера хороша уже этимъ, хотя книга его — плодъ, по всей видимости, недолгой науки. Но первыя же страницы создаютъ иное впечатлѣніе. Наряду съ отталкивающей самоувѣренностью, съ грубѣйшими фактическими ошибками, съ голословными „вѣщаніями", — много глубокихъ, смѣлыхъ и оригинальныхъ мыслей, широта размаха, серьезность общаго заданія. Анализировать Шпенглера шагъ за шагомъ, критиковать отдѣльныя, подчасъ чудовищныя, утвержденія, было бы очень не легко и ненужно: авторъ слишкомъ ужъ очевидно то и дѣло сходитъ съ почвы современной науки. Но главныя его идеи, — пусть и непріемлемыя въ его формулировкѣ, — заключаютъ въ себѣ зерно большой и глубокой правды, и тѣмъ самымъ жизненны и плодотворны. То, что онъ называетъ своимъ „Коперниковымъ" открытіемъ, — идея внутренняго единства каждой данной культуры, насчитываетъ около двухсотъ лѣтъ существованія, ибо принадлежитъ еще Вико. Въ наше же время это „открытіе" служитъ предпосылкой для всякаго историка. Но эту старую мысль Шпенглеръ продумалъ по новому. „Духъ" извѣстнаго народа, извѣстной эпохи, — этотъ „X", къ которому все сводится, это неопредѣленное и невѣсомое, долженъ быть схваченъ въ его простѣйшихъ выраженіяхъ. Высшія, культурныя цѣнности, символы Духа должны быть сведены къ своимъ элементамъ, выраженію тѣхъ „апріори", которыя служатъ предусловіемъ постиженія міра. Ибо эти „апріори" мѣняются отъ эпохи къ эпохѣ. „Пространство" и „время" означали нѣчто иное для древнихъ грековъ, нежели для насъ. Индусъ постигалъ міръ вообще „внѣ времени". Этимъ и опредѣляется индивидуальность, единственность каждой культуры. Шпенглеръ пытается установить главные морфологическіе признаки великихъ культуръ, — Египта, Индіи, Семитскаго Востока, Классической Древности, Германо-романской Европы. Каждой изъ нихъ присущъ свой „стиль", который не надо смѣшивать со „стилями" историковъ искусства. Онъ зависитъ отъ того, какъ воспринимается міръ, статически или динамически, отъ того первичнаго, элементарнаго вопроса, съ какимъ субъектъ подходитъ ко всякому объекту: „гдѣ" или „когда"; отъ того, подъ какую категорію онъ подводитъ все данное — бытія или становленія. Античность всецѣло „а-исторична", въ противоположность слѣдующей эпохѣ, ибо въ ней, т. сказать, слабо развито чувство времени. Она воспринимаетъ процессы, какъ в е щ и, видитъ въ мірѣ лишь отдѣльныя, застывшія, неподвижныя т ѣ л а. Въ ея драмѣ, ея біографіи нѣтъ развитія характеровъ, ея историки описываютъ отдѣльные эпизоды безъ всякой — въ строгомъ смыслѣ — хронологіи, ибо нельзя же (такъ, по крайней

мѣрѣ, кажется Шпенглеру) назвать хронологіей счетъ годовъ безъ начальнаго пункта: вся античность обходится безъ единой общей эры. Античность создала математику, въ основѣ которой лежитъ понятіе неизмѣняемой величины. Идея функціи была бы въ древности психологически немыслима. Возникаетъ, однако, вопросъ, какимъ образомъ эта „а-историческая культура могла породить Ѳукидида, у котораго мы и до сихъ поръ учимся исторически мыслить? Изученіе великихъ историковъ древности убѣждаетъ, что чувство измѣненій во времени — это основное историческое чувство не было чуждо античности. Но только античность это движеніе представляла себѣ иначе, чѣмъ мы („мы", т. е. люди христіанской эпохи), —не „впередъ", а „назадъ", не какъ развитіе, какъ прогрессъ, но какъ декадансъ, не въ направленіи въ высшей цѣли, къ „Царству Божію" и т. п., но въ направленіи къ смерти и къ разрушенію. Христіанство, вмѣстѣ съ идеей призванія человѣчества, приноситъ съ собою идею прогресса, цѣлесообразности исторіи. Эта идея лежитъ въ основѣ в с ѣ х ъ міросозерцаній христіанской поры, — не исключая и тѣхъ, которыя ее отвергаютъ, ибо въ этомъ отрицаніи всегда есть или „бунтъ" или резиньяція: дѣйствительное противопоставляется должному. Какъ морфологически ни несходно раннее христіанство съ позднѣйшимъ (утвержденіе Шпенглера), — обѣ христіанскія культуры одинаково проникнуты этой идеей. Значитъ, одно только морфологическое изученіе недостаточно для пониманія извѣстной культуры. Шпенглеръ правъ, когда подчеркиваетъ морфологическое несходство ранняго христіанства и современнаго соціализма, такъ часто теперь сближаемыхъ (мы сейчасъ познакомимся съ его точкой зрѣнія), но онъ ошибается, говоря, что между ними нѣтъ ничего общаго и что сближеніе это — плодъ отсутствія чутья историческихъ нюансовъ: при всемъ различіи „стилей", соціализмъ все же остается порожденіемъ христіанства, какъ ученія о „благой вѣсти"

Каждой „культурѣ" соотвѣтствуетъ своя „цивилизація". Цивилизація приходитъ на смѣну культурѣ. Въ цивилизаціи культура завершается, заканчивается, умираетъ. Цивилизація механична, культура органична. Культура — творчество, бьющее свободно изъ глубинъ духа; цивилизація — упорядоченіе, регулировка, систематизація, кодификація, подведеніе итоговъ, похороны культуры. Культура — жизнь, цивилизація — смерть. Цивилизація — Римъ, взявшій въ опеку и задушившій ею эллинизмъ, Берлинъ, явившійся на смѣну Флоренціи и Парижа (это говоритъ авторъ!). Цивилизація наступаетъ тогда, когда культура развивается до самопознанія; признакъ, что подлинная творческая сила изсякла. Никакія „исканія", никакіе призывы къ „возрожденію" тутъ помочь не могутъ: цивилизація способна только на учебникъ, библіотеку, музей, „Сумму богословія", на „устраненіе противорѣчій", на расчистку дорожекъ въ разросшемся буйно саду культуры, но ни единаго деревца она вырастить не въ состояніи.

Съ 1800 года Европа вошла въ стадію своей „цивилизаціи". Съ каждымъ десятилѣтіемъ отмираютъ творческія силы, жизнь столько же выигрываетъ во внѣшней упорядоченности, сколько теряетъ въ красочности, оригинальности, напряженности. Шпенглеръ напрасно думаетъ, что и это его „открытіе". Умираніе европейской культуры отъ избытка „прогресса" съ разныхъ сторонъ и съ различными оттѣнками пророческаго паѳоса было освѣщено и возвѣщено Герценомъ и Флоберомъ, Ницше, Достоевскимъ и Леонтьевымъ, Мережковскимъ и Гершензономъ. Но у Шпенглера и здѣсь есть нѣчто свое. Цивилизація есть завершеніе не „вообще" культуры, но данной опредѣленной культуры, она в ы р а с т а е т ъ изъ своей культуры и носитъ на себѣ е я индивидуальные, морфологическіе признаки. Античность завершается стоицизмомъ, индійская культура буддизмомъ. Стоическая autarkeia уже „дана" въ покоющейся въ своей гармоніи статуѣ Фидія, Нирвана „дана" во всей абсолютно-безврем-

ной культурѣ Индіи. Въ чемъ же выразилась сущность европейской, романо-германской культуры? Шпенглеръ видитъ ее въ „фаустовскомъ“ ощущеніи безконечности времени и пространства, и въ стремленіи совладать съ нею, преодолѣть ее. Этому соотвѣтствуютъ универсализмъ философско-религіозный и политическій (античность не знала этого инстинктивнаго стремленія государствъ къ безконечному расширенію), безграничность запросовъ разума, всепроникающій историзмъ, — короче „динамизмъ“, выразившійся въ концепціи человѣка и общества, въ морали, въ религіи, въ искусствѣ, въ естествознаніи, построенномъ на понятіи энергіи, и въ математикѣ, создавшей ученіе о перемѣнныхъ величинахъ и объ исчисленіи безконечно малыхъ. Въ стадіи „цивилизаціи“, т. е. культуры, осознавшей себя и свои цѣли, это даетъ имперіализмъ, какъ политическую теорію и какъ моральное ученіе Uebermenschentum и Wille zur Macht и соціализмъ, какъ психологически присущее цивилизаціи стремленіе докончить, доведя ее до совершенства, свою культуру. Соціализмъ и имперіализмъ одно и то же[1]): сущность соціализма — принудительная организація благосостоянія для всѣхъ, вездѣ и на всегда. Ницше — антисоціалистъ по недоразумѣнію и потому, что онъ не продумалъ собственнаго ученія: онъ „возвѣстилъ“ бѣлокураго звѣря, но осуществить его могъ бы только соціализмъ. Ницше былъ соціалистъ. Едва ли это вполнѣ вѣрно. Въ соціализмѣ много сторонъ. Въ немъ есть и воля къ мощи и тяга къ смиренію, къ убожеству, къ „спасенію души“. Ницше понялъ только одну сторону. Шпенглеръ только другую. Соціализмъ не выводится весь изъ ранняго христіанства, но онъ имѣетъ и въ немъ свои корни. Всякая послѣдующая культура включаетъ въ себя всѣ предыдущія. Чѣмъ позднѣе культура, тѣмъ сложнѣе ея „стиль“.

Относя соціализмъ къ стадіи „цивилизаціи“, Шпенглеръ сближается съ Леонтьевымъ. Христіанство приходится на начальную стадію западно-европейской („Фаустовской“) культуры, соціализмъ на конечную. Христіанствомъ открывается новый эонъ, соціализмомъ завершается старый. Здѣсь есть одна трудность, которую Шпенглеръ обходитъ очень неловко. По его мнѣнію культура, вообще, не подлежитъ обновленію. Одна культура отмираетъ и замѣняется другою. Христіанство — порожденіе совершенно особой, „магической“, „арабской“ культуры, только что зачинающейся. Пусть такъ, но распространилось то оно все же въ средѣ, „одряхлѣвшей“ и обреченной на смерть. Между тѣмъ Шпенглеръ не признаетъ „возрожденій“. Мысль его здѣсь частью не продумана, частью просто исторически невѣрна. Онъ, во-первыхъ, считаетъ, что новая культура создана всецѣло новыми носителями, — германскими завоевателями Римской Имперіи, — положеніе, основанное на устарѣломъ взглядѣ, будто Имперія была „залита потоками варваровъ“. Во-вторыхъ, онъ имѣетъ смѣлость, вообще, не считать европейскую культуру христіанской. Дѣло, однако, не въ „культурѣ“, а въ самомъ соціализмѣ. Не „культура“ стара, — культуры не имѣютъ возрастовъ въ строгомъ біологическомъ смыслѣ, какъ утверждаетъ Шпенглеръ, повторяя наивное, еще античное воззрѣніе: старъ соціализмъ. Попытка соціалистическаго переустройства общества послѣ великой войны преждевременна для этого общества, но для соціализма она уже является запоздалой. Общество еще не дозрѣло, соціализмъ уже перезрѣлъ. Чистый соціализмъ постепенно перестаетъ быть dée-force для тѣхъ, кто вообще, его понимаетъ. Когда христіанство выступило на завоеваніе міра, оно еще не отвердѣло въ опредѣленной формѣ. Оно было еще полно внутренняго броженія и горѣнія. Еще не отзвучали „глаголы“ боговдохновенныхъ „пророковъ“ и „пророчицъ“, еще „доктрина“ не заступила мѣста моленій. Если бы „Сумма Богословія“

[1]) В. Книга Шпенглера закончена въ 1917 году.

св. Ѳомы появилась въ III в., христіанство бы погибло. Соціализмъ уже давно сталъ „православнымъ вѣроученіемъ“. Онъ прошелъ черезъ свою Сорбонну и свою Болонью. Онъ сталъ достояніемъ уже даже не кодификаторовъ, а глоссаторовъ. Онъ обратился въ систему. О чемъ бы ни говорилъ соціалистъ, онъ обязательно начнетъ съ „происхожденія семьи, собственности и государства“, потому что у него „все связано вмѣстѣ“. Ни одно великое дѣло не осуществлялось по заранѣе разработанному плану. Колумбъ не зналъ, что откроетъ Америку. Лютеръ не зналъ, что кончитъ „консисторіей“ и „суперинтендентами“: онъ думалъ о спасеніи души, а реформація вышла, какъ вторичный результатъ. Римляне не собирались создавать міровую Имперію, и, даже создавъ ее, не сразу это замѣтили. Соціалисты дѣйствуютъ „по Марксу“, какъ нѣмцы вели имперіалисткую политику „по Рорбаху“, — и съ тѣмъ же успѣхомъ. Соціализмъ уже умеръ, потому что перешелъ въ каноническія книги. Въ этомъ ужасъ соціалистическаго опыта, производящагося въ Россіи: — ибо это подлинный и безупречный соціализмъ, весь основанный на самыхъ несомнѣнныхъ „текстахъ“, и всякіе разговоры о томъ, что большевики „не соціалисты“, что они „измѣнили соціализму“ — лицемѣріе или недомысліе. Безъ мукъ, крови и преступленій не обходится ни одинъ переворотъ. Но если бы какимъ-нибудь чудомъ случилось, что соціалисты отказались убивать и пытать, — было бы не менѣе ужасно. Ужасъ въ мертвенности, призрачности этого опыта. Соціалистическое творчество — contradictio in adjecto. Творчество оплодотворяетъ. Соціализмъ ничего оплодотворить уже не можетъ. Кого онъ схватилъ въ свои объятія, того ждетъ участь Леноры, увлеченной мертвецомъ въ его могилу. Соціализмъ дѣйствовалъ въ теченіе всего минувшаго столѣтія и былъ могучимъ факторомъ европейской исторіи. Что онъ не создалъ соціалистическаго строя, — было закономѣрно: вся культура есть совокупность только непредвидѣнныхъ результатовъ и непреднамѣренныхъ достиженій. Но теперь соціализмъ способенъ только разрушать и истреблять.

Причина быстраго омертвѣнія соціализма лежитъ въ немъ самомъ, — въ этой странной религіи безъ божества, безъ идеала человѣка. „Культура вообще“ здѣсь не причемъ. Современная культура не исчерпывается „имперіализмомъ“ и „соціализмомъ“, она дала не только Маркса и Родса, но и Владимира Соловьева. Впрочемъ, какъ разъ Соловьева Шпенглеръ считаетъ представителемъ иной, новой, нарождающейся, русской культуры, которая призвана замѣнить собою западную. Послѣдняя глава 2-го (еще не вышедшаго) тома называется: Das Russentum und die Zukunft, т. е. знаменитый нашъ „западникъ“, противникъ Данилевскаго, избранъ какъ живой аргументъ въ пользу славянофильства въ нѣмецкой книгѣ, такъ напоминающей „Россію и Европу“ и своей основной идеей о смѣнѣ „культурныхъ типовъ“, и своими надеждами на Россію, какъ носительницу культуры будущаго.

П. Бицилли.

2. Паденіе римской республики.

Eduard Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, 1919.

Трудно указать въ исторіи другой періодъ, который былъ бы намъ такъ хорошо извѣстенъ, какъ этотъ, — отъ смерти Суллы до второго тріумвирата. Для него мы располагаемъ единственнымъ въ своемъ родѣ источникомъ. Это произведенія Цицерона. Прежде всего его письма. Онъ былъ уменъ и наблюдателенъ, впечатлителенъ и воспріемчивъ. Не было, если не считать короткихъ промежутковъ, момента, когда бы онъ не игралъ роли, которая ему казалась главной, и во всякомъ случаѣ была

первостепенной. Вліятельный, благодаря своему таланту публициста, онъ былъ нуженъ каждому изъ очередныхъ хозяевъ положенія въ Римѣ. Онъ старался увѣрить себя и другихъ, что онъ совѣтчикъ, руководитель и вдохновитель Помпея, Красса, Цезаря, Октавіана, хотя всего чаще былъ ихъ porte parole. При своей способности поддаваться внушенію, онъ легко претворялъ чужіе замыслы въ свои идеи, и истинная зависимость тѣхъ и другихъ нерѣдко отъ него ускользала. Но подчасъ онъ замѣчалъ, что его карьера не совсѣмъ соотвѣтствуетъ ея началу; къ тому же, если онъ и былъ морально неспособенъ уподобиться Катону или Бруту, — онъ былъ достаточно тонокъ и чутокъ, чтобы не видѣть этого. Все вмѣстѣ дѣлаетъ произведенія Цицерона драгоцѣнными для насъ. Въ рѣчахъ и политическихъ трактатахъ находимъ отраженіе „офиціозныхъ" точекъ зрѣнія на каждый актуальный вопросъ. Въ письмахъ онъ изо дня въ день сообщаетъ обо всемъ, что знаетъ, что подозрѣваетъ, чего опасается, раскрываетъ государственныя тайны, отводитъ душу. Вмѣстѣ съ нимъ мы слѣдимъ за развитіемъ міровой трагедіи т. ск. одновременно изъ зала и изъ за кулисъ, постигаемъ всю сложность сплетенія индивидуальныхъ воль и нащупываемъ подлинную ткань исторіи. Но здѣсь кроется особаго рода опасность. Римская исторія, пропущенная сквозь призму Цицерона, этого столь во многомъ „современнаго человѣка" съ его интеллектуализмомъ, слабоволіемъ, нервичностью, — начинаетъ казаться намъ современной. Мало кто избѣжалъ этого. Какъ разъ лучшія книги грѣшатъ модернизаціей. Цезарь Моммзена — идеалъ демократическаго вождя, котораго такъ недоставало Германіи 48-го года. Ферреро, современникъ нынѣшней политики, развивающейся подъ дѣйствіемъ отвлеченныхъ силъ, безъ выдающихся личностей, не учелъ значенія „героевъ" въ энтичной, куда менѣе организованной жизни. У него Цезарь, — чтобы онъ не „мѣшалъ" соціально-экономическимъ факторамъ, доводится до величины, которой можно „пренебречь". (Наоборотъ, у Моммзена Цезарь — „само совершенство", и это одно лишаетъ его правдоподобія). Эдуардъ Мейеръ свободенъ отъ модернизаціи и отъ увлеченій. Разработка источниковъ у него доведена до высшей степени напряженности. Изъ поддающихся учету фактовъ ни одинъ не упущенъ. Впервые одно изъ величайшихъ міровыхъ событій разсказано „wie es eigentlich gewesen". Въ началѣ періода, открывающагося смертью Суллы, — полный хаосъ. Сенатская конституція, возстановленная Суллой, держалась его личностью. Она пережила Суллу только потому, что сначала замѣнить ее было нечѣмъ и некому. „Демократической партіи" не существовало, потому что въ Римѣ послѣ-сулланскаго періода не было элементовъ, изъ которыхъ она могла бы сложиться. Соціальный вопросъ выродился въ планы безобразныхъ и преступныхъ заговоровъ. Народные трибуны, подобные Клодію и Милону, становятся главарями вооруженныхъ шаекъ, держащихъ городъ въ террорѣ. За ними дѣйствуютъ „добрые мужи", друзья Цицерона. Единственный человѣкъ, могущій замѣнить Суллу, великій конквистадоръ Помпей, „царь царей" на Востокѣ, возвратясь въ Римъ, попадаетъ въ ложное положеніе. Не было ни лицемѣрія, ни бездарной слабости, какъ кажется Моммзену, въ томъ, что онъ не захватилъ власти, хотя и стремился къ ней. Съ римской точки зрѣнія иниціатива врученія полномочій „принцепсу" должна была исходить отъ органовъ республики. Что расшатывающаяся конституція должна получить точку опоры въ какомъ-либо опредѣленномъ лицѣ, было ясно. Но „единственность" Помпея оспаривалась. Былъ еще Крассъ, за нимъ осторожно выдвигался геніальный, но еще не оперившійся, Цезарь. Помпей ввязался въ сложную игру замысловатыхъ и темныхъ политическихъ комбинацій, разрѣшившуюся, наконецъ, первымъ тріумвиратомъ, — первой попыткой организаціи республики на началахъ разграниченія власти между Сенатомъ и тремя властителями, — путемъ выдѣленія имъ нѣкоторыхъ провинцій — сатрапій. Но

вліятельнѣйшій изъ властителей, Помпей, лишь номинально завѣдуетъ „своей“ провинціей, — на дѣлѣ же остается въ Италіи, гдѣ играетъ не поддающуюся правовому опредѣленію роль „принцепса“, — покуда разрывъ Цезаря съ нимъ и Сенатомъ не обращаетъ его въ вынужденнаго защитника отживающей аристократической республики. Въ первой части книги Эд. Мейера — помимо изумительнаго изображенія лицъ и ситуацій, — важно, и совершенно ново, — выясненіе значенія перваго тріумвирата послѣ знаменитаго съѣзда въ Луккѣ, какъ прототипа системы, творцомъ которой считается обычно Августъ. Рука объ руку съ практикой идетъ теорія. Цицероновъ трактатъ о республикѣ — теоретическое обоснованіе принципата. „Первый мужъ“ носитель монархическаго начала въ идеальномъ „смѣшанномъ строѣ“, — это Помпей.

Эдуардъ Мейеръ — сознательный послѣдователь Ѳукидида. Для него, какъ для Ѳукидида, исторія не повторяется въ своихъ ситуаціяхъ; но человѣческая природа неизмѣнна, и потому каждое событіе, при всей своей единственности, имѣетъ вѣчный смыслъ. Поэтому Ѳукидидъ утверждалъ, что излагая событія такъ, какъ они происходили на дѣлѣ, онъ создалъ непреходящую цѣнность (ktema eis aei). Эд. Мейеръ указываетъ, что по его мнѣнію наиболѣе актуально въ его книгѣ. Многоголовое правительство, какимъ было сенатское, неспособно къ энергичной внѣшней политикѣ. Клемансо и Вильсону пришлось „узурпировать“ исключительныя полномочія во время войны. Эд. Мейеръ имѣетъ въ виду именно С. Америку. Чѣмъ глубже будетъ Америка вовлекаться въ міровую политику, тѣмъ рѣзче будетъ выясняться несоотвѣтствіе ея конституціи съ новыми задачами. Вниманіе знаменитаго историка отвлечено къ Америкѣ не впервые. Уже онъ давно писалъ, что завоеваніе въ 1898 г. филиппинскихъ острововъ — величайшее по значенію событіе въ исторіи новаго времени. Еще до войны, онъ, всю жизнь занимавшійся исторіей древняго міра, сталъ изучать исторію Соед. Штатовъ. Замѣчу кстати, что Леонтьевъ еще въ 70-хъ годахъ предвидѣлъ для Америки возможность, при тѣхъ же условіяхъ, перехода къ монархіи.

Вторая часть книги посвящена единовластію Цезаря. Замѣчательно упорство, съ какимъ Цезарь добивался царскаго титула. Нѣтъ никакихъ основаній объяснять это, какъ часто дѣлаютъ, „болѣзненнымъ состояніемъ“ Цезаря, „душевнымъ переломомъ“, утратой „пониманія реальности“. Цезарь считалъ это необходимымъ для упроченія своего положенія передъ походомъ на Парѳянъ. Въ выдуманномъ ad hoc „предсказаніи“, что Парѳянъ побѣдитъ только царь, была своя правда. Осуществить задачу Александра В., доставшуюся по наслѣдству Риму, долженъ былъ, казалось, человѣкъ, равный ему во всемъ: Цезарь уже былъ богомъ, какъ Александръ, но народъ отказался признать его Царемъ. Былъ намѣченъ компромиссъ: Римъ и Италія экзимировались бы изъ монархіи, сохранили бы номинальную свободу. Въ связи съ этимъ планъ переноса столицы на Востокъ[1]). Цезарь, такимъ обр., стремился къ тому, что было реализовано три вѣка спустя. Онъ предвосхищалъ будущее развитіе, — перерожденіе Имперіи въ національное государство, — одинъ изъ двухъ возможныхъ для каждой имперіи — образованія по существу переходнаго — путей. (Другой — распаденіе). Къ этой же цѣли направлены всѣ прочія мѣры Цезаря: выведеніе римскихъ колоній во всѣ области Имперіи и заселеніе ихъ городскимъ пролетаріатомъ и новыми гражданами, — иной разъ изъ отпущенниковъ, щедрая раздача правъ римскаго гражданства, введеніе въ Сенатъ представителей Галльской

[1]) Впрочемъ это стоитъ подъ вопросомъ, хотя самъ Эд. Мейеръ не сомнѣвается въ такомъ планѣ. Источники говорятъ глухо. Въ противорѣчіи съ этимъ стоятъ, какъ будто, заботы Цезаря о благоустройствѣ Рима и Италіи, грандіозные планы строительства въ городѣ.

знати. Августъ не послѣдовалъ этой политикѣ. Но уже Клавдій пытался вернуться къ ней! Отпоръ, встрѣченный имъ въ Сенатѣ, (у Тацита, Анналы, XI, 23, переданы пренія, отрывокъ протокола засѣданія сохранился въ надписи), показываетъ, какъ сильны былы пережитки идеи города — государства и фетишизмъ „чистоты крови", въ Римѣ, казалось бы, совсѣмъ неумѣстный. Идея царства вытекала изъ общаго плана Цезаря само собою: провинціалу званіе „перваго гражданина города" (princeps civitatis), или „первоприсутствующаго члена римской городской думы" (princeps senatus) не говорилъ ничего.

Но римская знать не примирилась съ реформой. Катонъ, который не былъ смѣшнымъ тупицей, бездарнымъ романтикомъ „юнкерства", какимъ его изображаетъ Моммзенъ, покончилъ съ собой послѣ Фарсалы. Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. Его единомышленники убили Цезаря въ день, назначенный для провозглашенія его царемъ. Ими руководили идеалистическіе мотивы. Шекспиръ это понялъ лучше Моммзена. Ихъ часто упрекаютъ въ томъ, что своимъ дѣяніемъ они снова навлекли на Римъ ужасы и бѣдствія гражданской войны. „Но при этомъ часто забываютъ, прекрасно говоритъ Эд. Мейеръ, — что часто какъ разъ изъ чистѣйшихъ мотивовъ вытекаютъ самыя пагубныя дѣла, ибо идеалистическое настроеніе является скорѣе препятствіемъ, нежели условіемъ пониманія реальныхъ силъ и историческихъ двигателей". Для насъ та концепція свободы, за которую боролись Брутъ и Кассій, — узка и мало привлекательна. Но для нихъ она была высшей цѣнностью. Августъ считался съ нею и чтилъ ее. Достигши единовластія, онъ возстановилъ республику и занялъ въ ней мѣсто „перваго мужа". Въ этомъ отношеніи онъ продолжалъ дѣло не Цезаря, но Брута.

Въ результатѣ послѣдовательныхъ перерожденій принципатъ превратился въ монархію, — одновременно съ тѣмъ какъ „міръ" слился съ Римомъ. Періодъ 66—44 годовъ представляется какъ бы прологомъ, напередъ резюмирующимъ содержаніе трехсотлѣтняго развитія Рима отъ Августа до Константина. Сперва торжествуетъ начало, за которое сложили головы Помпей и Цицеронъ. Затѣмъ начало, стоившее жизни Цезарю. Такая отсрочка имѣла важныя послѣдствія. Неудача Цезаря, говоритъ Эд. Мейеръ въ другой своей новой книгѣ (Weltgeschichte und Weltrieg), спасла романизмъ: „вѣкъ Цезаря" не былъ бы „вѣкомъ Августа". Италія обратилась бы въ „провинцію". Самостоятельная римская культура остановилась бы въ своемъ развитіи. Это стоитъ въ связи съ его убѣжденіемъ, что Цезарь рѣшилъ перенести центръ тяжести Имперіи на Востокъ. Мы видѣли, что это — только гипотеза. Во всякомъ случаѣ по отношенію къ Городу Цезарь держался той же національно-реставраціонной политики, которая при Августѣ привела къ расцвѣту „романизма". Гораздо важнѣе политическія послѣдствія мартовскихъ идъ. Консервативная политика принципата, колеблющееся отношеніе къ первостепенному жизненному вопросу расширенія національной базы, вліяла задерживающе на развитіе военной мощи Имперіи. „Цезарь не сталъ бы плакать о погубленныхъ въ Тевтобургскомъ лѣсу легіонахъ, — хорошо говоритъ Эд. Мейеръ: онъ создалъ бы на мѣстѣ новые". Германія была бы завоевана. Крассъ былъ бы отомщенъ, и на Востокѣ не создалась бы сила, погубившая въ VI в. Имперію. Цезарь былъ послѣднимъ конквистадоромъ. Принципатъ возвращается къ осторожной политикѣ до-лукулловской поры. Современникамъ и послѣдующимъ поколѣніямъ только казалось, что Имперія совпала со „вселенной". Съ этой точки зрѣнія политика принципата была измѣной и Цезарю и Помпею.

П. Бицилли.

3. Страницы изъ исторіи Добровольческой Арміи.

Проф. В. Даватцъ. На Москву. Парижъ, 1921 г., стр. 116, п. 4 франка.

О самомъ значительномъ, что создано было въ борьбѣ противъ большевиковъ въ Россіи — о Добровольческой Арміи — слишкомъ мало знаютъ и заграницей, и въ Совѣтской Россіи; непонятное тѣмъ, кто зналъ армію, отношеніе къ ней со стороны широкихъ круговъ объясняется прежде всего этимъ незнаніемъ. Добровольческая Армія не умѣла рекламировать себя; она боролась и умирала — почти молча. Черезъ страшныя событія послѣднихъ трехъ лѣтъ она прошла какъ бы съ опущеннымъ забраломъ и осталась непонятой.

Книга профессора В. Даватца цѣнна прежде всего тѣмъ, что она ярко выражаетъ пафосъ добровольческаго движенія. Она равно характерна и восторженнымъ героизмомъ — и политической неопредѣленностью цѣлей. Авторъ — русскій интеллигентъ, изъ умѣренныхъ соціалистовъ пришедшій къ к.-д., но оставшійся на лѣвомъ крылѣ. Когда военное счастье отвернулось отъ Добровольцевъ, когда Харькову, гдѣ В. Даватцъ былъ профессоромъ математики, стала угрожать опасность — онъ выступилъ съ яркимъ призывомъ къ бодрости (статья его была отмѣчена всею ростовской печатью): „Именно теперь, когда врагъ временно торжествуетъ, нужно не уходить въ свою скорлупу, но громко и смѣло закричать: да здравствуетъ Добровольческая Армія!“

Онъ сдѣлалъ больше: передъ эвакуаціей Ростова, уже въ декабрѣ 1919 г., среди трагическаго развала, онъ поступилъ рядовымъ добровольцемъ на бронепоѣздъ „На Москву“. Книга его — это дневникъ событій съ 1 января по 14 марта 1920 г. — краткій періодъ боевъ подъ Батайскомъ и Ростовомъ и отхода черезъ Кубань, до эвакуаціи Новороссійска включительно. Дневникъ писался тамъ же, на мѣстѣ (послѣдніе дни Новороссійска на пароходѣ и въ Севастополѣ 15—20 марта).

Батайское стояніе, — когда небольшія добровольческія части остановили и сдерживали полтора мѣсяца лавину красныхъ войскъ, докатившуюся безъ остановки отъ Орла до Ростова, — останется навсегда одной изъ славныхъ страницъ исторіи русской арміи. Ему, а также чудесному взятію Ростова добровольцами въ началѣ февраля 1920 г. — посвящена первая половина книги. Вѣра въ значеніе борьбы — на каждой страницѣ. 19 января мы читаемъ: „На лѣвомъ рукавѣ моей англійской шинели — трехцвѣтный треугольникъ. Наши дѣти будутъ гордиться этими скромными лентами . . .“ „Выше идеала единой Россіи (и большевики стремятся къ единой Россіи) стоитъ идеалъ правды и добра, за который мы боремся . . .“ — „Мнѣ радостно, что я работаю въ этой лабораторіи будущей Россіи.“ 28 января: „Я чувствую, что люблю Деникина такъ, какъ солдатъ любитъ своего вождя. Я вспоминаю „Войну и Миръ“, гдѣ описывается это чувство любви къ государю, когда хочется просто умереть на его глазахъ“. Онъ тяготится тѣмъ, что профессіональные военные считаютъ его часто „маргариновымъ солдатомъ“ и страстно жаждетъ участія въ бою.

Наконецъ — наступленіе — на этотъ „наглый городъ“, на „торжествующій совдепъ“. Взятіе Ростова, 9-е февраля среди освобожденнаго города, праздникъ на всѣхъ улицахъ — пишущему эти строки привелось это видѣть самому! — и потомъ неожиданное очищеніе города — уже 10 февраля — изъ за прорыва на кубанскомъ фронтѣ. Пр. Даватцъ узналъ о предстоящемъ отходѣ въ ночь на 10-е. „Почему не убило меня тогда, 7-го февраля“, пишетъ онъ, „я умеръ бы съ сознаніемъ, что мы одерживаемъ побѣду“.

Вторая часть книги — описаніе самаго тяжелаго: отхода среди разваливающейся арміи, оставленія Новороссійска. 23 февраля въ дневникѣ стоитъ: „Почти для всѣхъ, кого я встрѣчаю, наступаютъ дни ужаса и

отчаянія . . . Для меня же совершается великое таинство . . . и кончается литургія оглашенныхъ. Начинается литургія вѣрныхъ . . . Чѣмъ больше оглашенныхъ отойдутъ отъ нашей литургіи, тѣмъ чище и полнѣе будетъ наше послѣднее служеніе".

Дневникъ не скрываетъ и темнаго: новороссійской паники, грабежей, но основная нота продолжаетъ оставаться бодрой. Еще въ послѣдній день передъ эвакуаціей Новороссійска, 13/26 марта бронепоѣздъ „На Москву" выходитъ на позиціи и прикрываетъ отступленіе. Этотъ день описанъ особенно ярко. Такъ и видишь этотъ людской потокъ, текущій съ горъ къ морю, вдоль полотна желѣзной дороги; пущенный большевиками паровозъ „брандеръ", врѣзывающійся въ толпу; озлобленныя, вышедшія изъ подъ всякой власти войска. Погрузка на суда, подъ огнемъ, ужасъ возможности быть брошенными . . . Но книга заканчивается словами гордости тѣмъ, что „въ послѣдній моментъ дано мнѣ было счастье пріобщиться къ литургіи вѣрныхъ". „Сплотимся же тѣснѣе во имя нашей идеи!" Эта идея остается невыраженной. Но вѣра, даже неясная, пламенна и жива у „вѣрныхъ".

Дневникъ проф. Даватца охватываетъ маленькую часть трехлѣтняго существованія Добровольческой Арміи. Но духъ Арміи отразился въ этой книгѣ, и въ этомъ непреходящая ея цѣнность.

С. С. Ольденбургъ.

4. Пьеръ Гійляръ. Трагическая судьба Россійской Императорской Семьи. К-поль 1921 г. 46 стр. Издательство „Сфинксъ."

„Вѣчная память", хочется прошептать по прочтеніи этой небольшой убого изданной книжки, гдѣ такъ просто и живо разсказанъ ужасный конецъ отрекшагося отъ престола Императора и его семьи.

Но не одни чувства глубокой жалости и состраданія къ беззащитнымъ жертвамъ большевистской гнусности пробуждаетъ въ читателѣ разсказъ г. П. Гійляра. Онъ заставляетъ также горестно задуматься надъ моральнымъ уровнемъ людей, пришедшихъ къ власти на смѣну обвѣтшавшему самодержавію. Временное Правительство, составленное изъ виднѣйшихъ представителей боровшейся со старымъ режимомъ интеллигенціи и, казалось бы, воплотившее въ своемъ лицѣ всѣ лучшія чаянія прогрессивной части русскаго общества, не нашло въ себѣ достаточно мужества и нравственной силы, чтобы твердой рукой взять такъ легко перешедшую къ нему всю полноту государственной власти и, не угодничая передъ кровожадными инстинктами толпы, обезпечить, какъ слѣдуетъ, личную неприкосновенность своему побѣжденному и болѣе уже не опасному противнику . . . Яркое подтвержденіе справедливости часто нынѣ высказываемаго мнѣнія, что война и революція обнаружили съ ужасающей силой, какъ мало въ насъ честности и сознанія долга. Невольно приходитъ въ голову мысль, что изъ пучины постигшихъ Россію испытаній она воспрянетъ снова лишь тогда, когда среди русскихъ людей произойдетъ отборъ не только на разумъ, но и на честность, беззавѣтный патріотизмъ и самоотверженное служеніе долгу. А до этого врядъ ли будутъ удачны ихъ попытки оздоровить свою Родину, и вѣрнымъ сынамъ Россіи, при воспоминаніи о быломъ величіи „вожделѣннаго" нынѣ Отечества, остается лишь горестно восклицать, глядя на моральную нищету современности: „О чудесе! Како сопрягохомся тлѣнію!"

П. Остроуховъ.

Русское Обозрѣніе, № 1—2, январь—февраль 1921, Пекинъ; № 3—4, мартъ—апрѣль 1921, Харбинъ.

Покинувъ родные очаги и родныя могилы, оставивъ все накопленное годами тяжелаго труда, уходятъ русскіе люди изъ родной страны, оккупированной творцами и агентами Интернаціонала. Но даже въ бѣдственныхъ условіяхъ непомѣрно тяжкаго исхода, въ условіяхъ острой нужды и часто даже откровеннаго голода, русская эмиграція не прекращаетъ своего культурнаго существованія. Едва ли не лучшимъ показателемъ этого служитъ появленіе въ самыхъ отдаленныхъ центрахъ міра—районахъ сосредоточенія русскихъ бѣженцевъ—неизбѣжныхъ въ русской культурной средѣ „толстыхъ журналовъ." Та же потребность разобраться въ основныхъ вопросахъ окружающей жизни, та же нужда въ выясненіи совершающихся событій, которыя сдѣлали столицы центромъ русскихъ журналовъ, которые жадно читались и обсуждались во всѣхъ уголкахъ нашего великаго отечества, привели къ возникновенію русскихъ журналовъ не только въ Парижѣ, Софіи, Берлинѣ, Прагѣ, но и въ Пекинѣ.

Русская эмиграція, вынужденная покинуть родную землю при гибели дѣла адмирала Колчака, эмиграція русскихъ людей изъ Сибири направилась въ наши пограничные дальневосточные порты, а также въ Японію и въ Китай. И съ конца 1920 г. сначала въ Пекинѣ (въ типографіи Русской Духовной Миссіи), а потомъ въ Харбинѣ „Дальневосточная лига свободы и правъ человѣка" издаетъ журналъ „Русское обозрѣніе." Содержаніе послѣднихъ дошедшихъ до насъ номеровъ журнала (январь-февраль и мартъ-апрѣль) обнаруживаетъ, что въ самыхъ отдаленныхъ концахъ русскіе люди думаютъ общую думу, болѣютъ единой болью.

Содержаніе журнала интересно и разнообразно. Въ отличіе отъ обычнаго типа русскаго журнала „Русское Обозрѣніе" даетъ много интересныхъ свѣдѣній о жизни Сибири и нашей дальневосточной окраины. Журналъ удѣляетъ много вниманія не только изящной литературѣ, но и научному отдѣлу и политическимъ обзорамъ. Наряду съ преимущественно переводными романами, печатаются и произведенія русскихъ авторовъ, изъ нихъ выдѣляется интересный романъ Л. Никитина — Сила земли, эпическое описаніе земской среды незадолго до русской катастрофы.

Въ отдѣлѣ научномъ рядъ статей посвященъ вопросамъ нашего дальняго Востока, что представляетъ особый интересъ для русскаго читателя, уже въ теченіе ряда лѣтъ оторваннаго отъ всего того, что происходило въ Сибири и на Дальнемъ Востокѣ. Поэтому многое изъ этой информаціи носитъ характеръ новизны, несмотря на то, что журналъ попадаетъ къ намъ съ большимъ опозданіемъ. Таковы статьи П. Шкуркина — Китай и дальневосточныя перспективы, Ургинскаго — Къ событіямъ въ Монголіи, инж. А. Савицкаго — промышленность Амурско-Приморской окраины, равно какъ обзоры „на Даль-

немъ Востокѣ.“ Эта же территоріальная близость съ Сибирью и Дальнимъ Востокомъ находитъ свое отраженіе въ историческихъ воспоминаніяхъ участниковъ борьбы съ большевиками: статья члена правительства при адмиралѣ Колчакѣ, пр.-доц. Петербургскаго университета (онъ же нынѣ редактируетъ журналъ). Г. Гинса — Рецепты спасенія и военно-политическій очеркъ А. И. Соколова — Борьба съ большевиками въ Туркестанѣ. И намъ, участникамъ и свидѣтелямъ борьбы съ большевиками на югѣ и юго-востокѣ Россіи исключительно интересно слѣдить за тѣмъ, какъ совершалась борьба въ далекой окраинѣ, какъ тѣ же великія силы народнаго духа и подъема разбивались объ инерцію еще не прошедшаго большевистской школы нагляднаго обученія народа, распылялись въ интригахъ и бездарности тѣхъ, кто шелъ рядомъ съ горѣвшими патріотическимъ пламенемъ, не запылавъ, однако, этимъ священнымъ огнемъ.

Изъ статей общаго характера интересенъ очеркъ Е. Яшнова, который, являясь формально отзывомъ о еще ненапечатанной работѣ извѣстнаго марксистскаго экономиста П. Маслова — Міровая соціальная проблема, далеко выходитъ за границы библіографическаго очерка. И П. Масловъ и реферирующій его Е. Яшновъ ставятъ на обсужденіе очень важный экономически и соціально вопросъ о внутренней порочности соціалистическаго мышленія, направляющаго все свое вниманіе въ попыткахъ перестроить общество на моментъ потребленія и распредѣленія уже созданныхъ благъ, а не на увеличеніе производства, не на развитіе производительныхъ силъ самого хозяйства. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно знаменательно признаніе марксиста П. Маслова, что капиталистическое хозяйство наиболѣе способствовало и способствуетъ развитію производительныхъ силъ хозяйства. Основываясь на русскомъ опытѣ, разсматривая большевизмъ какъ уже осуществленную и опытнымъ путемъ провѣренную систему приложенія соціалистической доктрины къ дѣйствительной жизни, П. Масловъ принужденъ поставить крестъ надъ соціализмомъ какъ попыткой сдѣлать человѣчество болѣе богатымъ, а хозяйство болѣе продуктивнымъ, То, что, такъ называемымъ, буржуазнымъ экономистамъ было видно a priori, потребовало для убѣжденія П. Маслова страшнаго доказательства: опытнаго разрушенія Россіи.

Безсмысленно и безобразно проведенный большевиками контроль надъ промышленностью, превратившій Россію въ страну „свободную отъ промышленности“ составляетъ предметъ статьи Н. Петрова (министра земледѣлія адмирала Колчака, недавно умершаго въ эмиграціи) — Соціальный контроль надъ хозяйственной дѣятельностью.

Русскій читатель встрѣтится въ „Русскомъ Обозрѣніи“ съ рядомъ вопросовъ интересующихъ и волнующихъ его за тысячи верстъ отъ мѣста изданія журнала и почувствуетъ близость къ тѣмъ многимъ тысячамъ невольныхъ бѣглецовъ изъ Россіи, которые подъ разными широтами и у береговъ разныхъ чужихъ водъ думаютъ все о томъ же: о своей великой, прекрасной и несчастной отчизнѣ.

Д. О. Линскій.

С. В. Маракуевъ. Очередныя задачи русской коопераціи Прага 1921.

Брошюра предсѣдателя правленія Юго-вост. союза союзовъ С. В. Маракуева интересна прежде всего, какъ показатель значительнаго отрезвленія части русскихъ кооператоровъ, а затѣмъ, какъ одна изъ попытокъ продумать планы практической работы въ послѣбольшевистской Россіи.

Если разсматривать автора брошюры, какъ представителя нашихъ интеллигентовъ-кооператоровъ, то брошюра показываетъ, какой крупный шагъ по пути къ оздоровленію всего соціально-политическаго и экономическаго міровоззрѣнія сдѣланъ за время революціи этими слоями русской интеллигенціи. Надо вспомнить сплошь соціалистическій и рѣзко революціонный составъ кооператоровъ, чтобы оцѣнить размѣръ этого шага. Сама кооперація была для большинства ихъ лишь способомъ проникновенія въ массу и революціонизированія ея. Признаніе этого находимъ у Маракуева. „Отлично извѣстно, пишетъ онъ, что многіе Союзы были штабъ-квартирами тѣхъ или иныхъ политическихъ партій — то меньшевиковъ, то с.-р.“ (18). Соотвѣтственно съ этимъ подбирались сотрудники, книги для библіотекъ, велась партійная агитація. Надо учесть это усиленное дѣланіе кооператорами революціи, чтобы оцѣнить разстояніе, которое надо было пройти для того, чтобы написать: „все, что поставила себѣ цѣлью совѣтская власть, оказалось ложью и химерой“ (7), „все, что было заготовлено до соціализма — распредѣлили, а потомъ... никакихъ товаровъ... не оказалось“ (6), или выставить въ качествѣ руководящаго начала слѣдующее положеніе: „Интеллигенція, пошедшая на службу народу въ сельской коопераціи, обязана рѣшительно отказаться отъ всякихъ попытокъ проведенія въ жизнь какихъ бы то ни было соціалистическихъ теорій, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока таковыя не будутъ выдвинуты самимъ крестьянствомъ“ (29). Сколько разъ повторяли это противники революціи и соціализма, и съ какой ироніей это встрѣчалось кооператорами, особенно „господами изъ инструкторскихъ отдѣловъ“. Нужна была революція и всѣ ея ужасы до нынѣшняго голода включительно, чтобы убѣдились.

Однако, и до сихъ поръ отрезвленіе еще не полно. Не говорю уже о томъ, что въ брошюрѣ Маракуева нѣтъ-нѣтъ и проскользнетъ набившій оскомину выпадъ по адресу „стараго правительства“ или „земства изъ господствующихъ классовъ“. Болѣе характерно другое. По мнѣнію Маракуева кооператоръ не имѣетъ права ни прямо, ни контрабандой навязывать народу соціалистическія теоріи, которыя народъ „категорически отказывается принять“, но кооператоръ не долженъ дѣлать этого только потому, что онъ не призванъ быть учителемъ и руководителемъ народа, а лишь исполнителемъ воли народа. Но, еслибы кооператоръ призналъ, что онъ учитель и руководитель народа, знающій, что народу нужно и полезно, и куда слѣ-

дуетъ его вести, то отвѣтъ на вопросъ о томъ, какую цѣль ставитъ себѣ русская кооперація, былъ бы по мнѣнію Маракуева все же таковъ: „кооперація есть переходная ступень къ соціализму, а соціализмъ есть та грядущая форма общественно-экономическихъ отношеній, при которой лучше всего устроится жизнь человѣчества вообще и русскаго крестьянина въ частности“ (25—26). Кооператоръ, слѣдовательно, остается соціалистомъ и только долженъ затаить свои соціалистическія стремленія. Смѣемъ увѣрить, что такой полуобращенный и неискренній человѣкъ ничего путнаго не сдѣлаетъ. Народная масса захочетъ учителей и руководителей, но, разъ она, какъ это признаетъ Маракуевъ, опредѣленно антисоціалистична, она пожелаетъ имѣть руководителями людей, которые такъ же глубоко проникнуты здоровымъ инстинктомъ собственности, какъ проникнуто имъ само крестьянство. Людей, для которыхъ и грядущая форма общественно-экономическихъ отношеній есть не соціализмъ, а тотъ институтъ частной собственности, послѣ отмѣны котораго свалились на народъ всѣ казни египетскія И крестьянство найдетъ, а если надо будетъ, выдвинетъ изъ своей среды именно такихъ работниковъ для своей крестьянской коопераціи. Во многомъ прозрѣвшій авторъ брошюры этого еще не видитъ. А между тѣмъ это то основное, которое будетъ опредѣлять остальное.

Что касается плана кооперативной работы въ послѣбольшевистской Россіи, то авторъ правильно приспособляетъ весь свой планъ къ вскрытому большевизмомъ яркому антагонизму между городскимъ пролетаріатомъ и крестьянами-собственниками. Послѣдніе уже въ совѣтской Россіи являются важнѣйшимъ факторомъ. По сверженіи же большевизма вліяніе крестьянской массы будетъ еще ощутительнѣе. Этотъ фактъ, уже отмѣченный вдумывавшимися въ судьбы послѣреволюціонной Россіи, положенъ Маракуевымъ въ основу всѣхъ его предположеній. На деталяхъ этихъ предположеній не стану останавливаться. Отмѣчу лишь, что Маракуевъ правильно зоветъ кооператоровъ-бѣженцевъ уже теперь готовиться къ предстоящей работѣ. Онъ своевременно напоминаетъ русскимъ бѣженцамъ притчи о неразумныхъ дѣвахъ и о рабѣ, зарывшемъ въ землю ввѣренный ему талантъ. Объ этихъ притчахъ должно помнить и бѣженцамъ — антисоціалистамъ. Ибо можетъ быть не такъ долго ждать того времени, когда именно ихъ силы потребуются для Россіи, продѣлавшей всѣ установленныя фазы революціи.

А. Билимовичъ.

Маркъ-Марія-Людовикъ Таловъ. Любовь и голодъ. Книга Лирики. Парижъ. Издательство „Орфей“ 1921. Владиміръ Холодковскій. Великая безкровная... Стихи. Изданіе А. А. Волошина. Севастополь 1921. В. А. Мошинъ Сибирскіе мотивы. Издательство Ладыжникова. Берлинъ 1921. В. А. Мошинъ. Передъ бурей. Издательство Ладыжникова. Берлинъ 1921. Григорій Финнъ. Пасмурныя птицы. Стихи 1918—20, Константинополь, 1921.

Небольшая книжка стиховъ Талова притязаетъ на изысканность. Поэтъ „Маркъ-Марія-Людовикъ“ зараженъ парижскимъ литературнымъ снобизмомъ и не желаетъ отставать отъ своихъ знаменитыхъ „собратьевъ“ — Поля Клоделя, Франсиса Жамма и Поля Фора. Портретъ автора работы Антоніо Симонта, рядъ кубистическихъ „рисунковъ и гравюръ на деревѣ“, принадлежащихъ экзотическимъ мастерамъ (Оттонъ ванъ Рейсъ, Адитія-Марія ванъ Рейсъ, Ортисъ-дэ-Заратэ, Осипъ Цадкини), торжественное французское посвященіе въ началѣ книги и серія посвященій отдѣльныхъ стихотвореній знатнымъ иностранцамъ (напр. „Барону Геліону дэ-Бервику“ или „Графинѣ Маріи-Терезіи дэ-Монтэйнаръ), разнообразнѣйшіе эпиграфы, начиная съ Апокалипсиса и Рюисбрука Удивительнаго и кончая Шиллеромъ, Тютчевымъ и Виллономъ — такова утонченная внѣшность этого сборника. Въ стилизованной заключительной замѣткѣ издательства удостовѣряется, что „сія книга лирики, принадлежащая перу „русскаго трубадура“, была окончена печатаніемъ въ тысяча девятьсотъ двадцатомъ году и т. д.“, а на первой страницѣ авторъ рекомендуетъ себя и открываетъ намъ свои намѣренія:

Я, менестрель Россіи, Маркъ-Марія-
Людовикъ Таловъ, нынѣ собираюсь
Повѣдать людямъ о моей любви“.

Однако, русскій трубадуръ и менестрель имѣетъ очень смутное представленіе о характерѣ средневѣковой поэзіи; его языкъ — скуденъ и невыразителенъ, стиль — безцвѣтенъ и неряшливъ, стихосложеніе диллетантски-безпомощно. Избранная имъ тема, — любовь и голодъ — имѣющая въ поэзіи блестящую традицію (Теофиль-дэ-Віо, Виллонъ и др.), требуетъ лирической силы и паѳоса. Читатель долженъ повѣрить, что поэтъ дѣйствительно „зналъ любовь и голодъ волчій — Двѣ силы, движущія міръ“, — однако, утвержденія мало: необходима убѣдительность слова и художественнаго образа. Въ противномъ случаѣ всѣ эти покаянные вопли о „распятіи Христа на роковомъ и страстномъ ложѣ продажной, покупной любви“, весь этотъ низкопробный демонизмъ (твою я

вѣчность продалъ за поцѣлуй Діавола") и тошная эротика à la Брюсовъ („Рукой, въ страстяхъ отяжелѣлой, я грудь ея обвилъ, какъ хитрый Змѣй") — покажутся вылинявшими тряпками изъ гардероба русскаго символизма. Сочетаніе имени Христа („о Господи, Сладчайшій Іисусе Христе") съ описаніями „полныхъ нечисти объятій нуждой убитой Магдалины" и „подтековъ въ пріятно пахнущемъ тѣлѣ" женщины звучатъ почти кощунственно.

Смерть зачала Душа отъ буйной плоти
И смерть пріялъ отъ рукъ моихъ Христосъ"—

такая „мистика страстнаго дѣйства" заставляетъ содрогнуться отъ отвращенія. Изображенія голода во всей ихъ трагической серьезности производятъ комическое впечатлѣніе. Такъ вѣчно голодный и вѣчно влюбленный гимназистъ мечтаетъ о женщинахъ и ѣдѣ:

Когда внезапно хлѣбомъ пахло
Мой жадный взоръ летѣлъ въ подвалъ
Вдыхая запахъ грудью чахлой,
Я дикій голодъ ощущалъ.

Нѣкоторыя біографическія подробности интимнаго свойства оживляютъ скучное нытье этого сборника. Мы узнаемъ о „большой дыркѣ въ штанахъ" автора, о его ботинкахъ, „пропускающихъ дождь и холодъ", о томъ, что онъ „выпилъ за здоровье свое" („не помню, сколько выпилъ. Знаю, что выпилъ"), о томъ, что онъ „поужиналъ, слава Богу". Нѣкоторыя изыски его эротики такъ и остаются для насъ недоступными:

„Густого дыма клубки
Ей въ ротъ пускаю всласть.

Авторъ пользуется „vers libres" — пріемъ самый несложный: онъ пишетъ свою прозу неравными строками, начиная каждую изъ нихъ съ большой буквы. Болѣе грамотно написаны сонеты („Двойное бытіе"), но зато и болѣе тускло.

Владиміръ Холодковскій посвящаетъ свою книгу стиховъ „Великой,, безкровной. . .", безправнымъ жертвамъ Великой Россійской Революціи, маленькимъ, незамѣтнымъ, будничнымъ жертвамъ, столь незначительнымъ „въ историческомъ итогѣ". Цѣль автора прежде всего филантропическая — онъ хочетъ утѣшить и порадовать русскихъ изгнанниковъ, поэтому было бы неумѣстно прилагать къ его сборнику художественныя мѣрки —онъ стоитъ внѣ ихъ. Послѣ стиховъ Талова, полная непретенціозность „творчества" В. Холодковскаго дѣйствуетъ успокоительно. Поэтъ „по старинкѣ", „повѣствовательнымъ тономъ" нашихъ писателей-народниковъ разсказываетъ трогательныя и чувствительныя исторіи: о вещахъ, попавшихъ въ комиссіонный магазинъ, объ оживающемъ портретѣ Ея Свѣтлости, о дѣвочкѣ и нищемъ, о молодой дамѣ, у которой разграбили имѣніе и мужъ которой „застрялъ на сѣверѣ", о генералѣ, съ котораго большевики сорвали погоны, о смерти маленькаго

надета на улицахъ Стамбула, о тургеневской женщинѣ, сдѣлавшейся въ Константинополѣ кокоткой и т. д. Стиль автора, какъ когда-то у насъ говорили, „гладкій“; правда, стихи его иногда напоминаютъ газетную прозу, но все-же это стихи, ибо въ концѣ каждой строчки поставлена риѳма (напр. болтливости — расти, расти; мечтаньями — воспоминаніями, листики — мистики). Какой неизжитой запасъ романтизма и возвышенныхъ чувствъ въ стилѣ „Нивы“! Какой сложный составъ женской души раскрываетъ намъ авторъ. Напр.:

Отъ милой пушкинской Татьяны
Свой честный родъ вела она....
Съ дворянской чистотою Лизы
Слились въ ней: Вѣры гордый умъ,
И милой Марфиньки капризы.

У В. Холодковскаго добрая и „поэтическая душа“, но все же стихотворная форма его произведеній — случайность.

Непостижимо, почему издательство Ладыжникова рѣшило подарить русскому читателю два тома стиховъ В. А. Монина („Сибирскіе мотивы“ и „Передъ бурей“, въ общемъ 348 страницъ), написанныхъ въ первое десятилѣтіе двадцатаго вѣка. Монотонно-уныло текутъ тусклыя, безжизненныя слова, сухой дробью отбивается деревянный ритмъ, неразличимыя и сѣрыя ползутъ вереницы стиховъ. Гдѣ-то, въ сибирской глуши, сердца еще горятъ великими идеалами, гражданской скорбью и возмущеніемъ, благими порывами къ „просвѣщенію“ и жаждой полезнаго труда на нивѣ народной. Для этихъ „пѣвцовъ“ — Некрасовъ представляется недосягаемымъ свѣтиломъ, Никитинъ — пророкомъ, Кольцовъ — дерзкимъ новаторомъ. Некрасовская традиція псевдонародничества съ ея избитыми восторгами и обличеніями, съ ея „крестьянской рѣчью“, удалой тройкой, кабакомъ, дорогой столбовой, Волгой-матушкой и „мужицкой долей“ — даетъ обильную жатву въ стихахъ Монина. Онъ перенимаетъ у учителя не только форму поэмы (идеалъ „Кому на Руси жить хорошо“), композицію строфы и размѣръ (трехстопный анапестъ), но и всѣ трафареты словеснаго выраженія. Напр.

Будетъ пѣть ее многіе годы
Несмолкающій голосъ народа
За работой, въ пути и въ пиру...
Сила чудная пѣсни свободной
Вся сольется съ душою народной,
Поведетъ эту душу къ добру.

Такіе стихи ниже уровня элементарной поэтической грамотности. Они плохи даже для деревенскаго самоучки. Кольцовская манера извращается подражателемъ:

Были бы въ селеньяхъ
Новые домишки,
Всюду бы читались
Новенькія книжки.

Развѣ это не злая пародія на Кольцова! И такіе перлы поэзіи нижутся съ упорнымъ прилежаніемъ на протяженіи 348 страницъ. Повторяемъ: ихъ появленіе на свѣтъ намъ непонятно, вѣроятно, потому, что

„Идеалы и думы поэта
Недоступны для шумнаго свѣта“ („Генію пѣсни“)

Послѣ творчества г. Монина маленькій сборникъ „Пасмурныя птицы“ Григорія Финна производитъ отрадное впечатлѣніе. Молодой поэтъ несомнѣнно одаренъ художественнымъ вкусомъ и чувствомъ формы. При нѣкоторой неувѣренности фактуры и притушенности красокъ все-же чувствуется лирическій подъемъ общаго настроенія. Ритмическая сторона наиболѣе дефективна: авторъ стремится къ тонкимъ эффектамъ ломанныхъ размѣровъ, не овладѣвъ вполнѣ техникой классическаго стихосложенія. Поэтому получаются невозможныя сочетанія пяти-, шести- и даже семи-стопныхъ строкъ въ одномъ стихотвореніи, комбинаціи правильныхъ и свободныхъ стиховъ въ одной строфѣ. Поэтическій языкъ г. Финна колеблется между мистически-торжественнымъ стилемъ молодого Блока и четкой простотой слога Ахматовой. Эти два имени невольно припоминаются при чтеніи его сборника. Голосъ Блока слышится въ стихахъ:

„Ты-ль мерцающею пѣснью
Въ черный годъ вошла въ мой домъ,
Преклонившаго колѣни
Опоясала мечомъ“;
или: „Уже земля въ туманахъ только мнится
Просторъ зеленый пустъ и тихъ.
О, Русь, угрюмая орлица,
Мучительнѣйшая изъ возлюбленныхъ моихъ.

Пѣсни г. Финна о поляхъ сраженій, о пасмурныхъ птицахъ, объ аломъ винѣ крови, о смерти и о Ней, „осіянной тихимъ свѣтомъ“, сходящей „вьюжной ночью“ къ раненому воину, эти просвѣтленно-скорбныя пѣсни навѣяны „Стихами о Россіи“. Но въ молитвенный строй Блока вплетается тонкая мелодія ахматовскаго лиризма.

Милый, прощай, покидаю тебя.
Тонетъ въ далекомъ морѣ дорога.
Знаю, горько кляня и любя,
Будешь роптать и печаловать много
Стану у крѣпко молчащихъ воротъ
(Осѣни насъ Господняя сила).
Долго чашу несла я — и вотъ
На гранитъ ступеней уронила.

Увлеченіе автора рѣдкими словами (замрѣлъ, чабръ, толока, зазыва) сложными рифмами и ассонансами, (влажнымъ — каждый, кентавровъ — лучезарной, сирыми — мира мы, осіянной — не зря намъ, другимъ — любила имъ) нарушаетъ единство впечатлѣнія. У г. Финна еще нѣтъ своего стиля: онъ поетъ — и при томъ не плохо — съ чужихъ голосовъ. Но онъ учится у большихъ мастеровъ — и такая школа, несомнѣнно, оформитъ его дарованіе.

К. Мочульскій.

Игорь Сѣверянинъ. Менестрель. Новѣйшія поэзы. Томъ XII. Издательство „Москва“ Берлинъ, 1921.

Двѣнадцать томовъ „поэзъ“, многотысячныя изданія „Громокипящихъ кубковъ“, „Ананасовъ въ шампанскомъ“, „Златолиръ“ и прочихъ изысковъ „удивительно вкусныхъ, пѣнистыхъ и острыхъ“, солидная критическая литература, тріумфальныя турнэ по Россіи, оглушительный успѣхъ поэзо-вечеровъ, восторженныя толпы поклонниковъ и поклонницъ . . . Развѣ это не слава? — Развѣ это не „поэтовъ русскихъ король“?

Игорь Сѣверянинъ — геній a priori. Обычно поэтъ предоставляетъ критикѣ оцѣнивать его достоинства, и только въ концѣ творческаго пути у него выростаетъ сознаніе своихъ заслугъ. Тогда онъ воздвигаетъ себѣ „нерукотворный памятникъ“ — такъ дѣлали Горацій и Пушкинъ. Сѣверянинъ поступилъ наоборотъ: онъ сначала построилъ монументъ своей геніальности и славѣ, а потомъ сталъ писать стихи. Онъ такъ громко говорилъ о себѣ, что въ него повѣрили.

„Я повсеградно оэкраненъ,
Я повсесердно утвержденъ“.

Происхожденіе этого короля весьма любопытно: его выдумала „кучка“ московскихъ литераторовъ. Она пошутила надъ наивнымъ молодымъ человѣкомъ, увѣнчавъ его бутафорской короной. Но эта выходка московскихъ чудаковъ имѣла серьезныя послѣдствія. Не только сама жертва свято увѣровала въ свое призваніе — но и заставила вѣрить въ него широкій кругъ публики. Появленіе новаго бездарнаго стихотворца, одержимаго маніей величія, конечно, не страшно: оно осталось бы незамѣченнымъ въ толпѣ статистовъ на Парнассѣ. Страшно то, что дребезжаніе его „варварской лиры“ нашло откликъ въ тысячахъ сердецъ: страшно то, что его мишурной коронѣ поклоняются до сего дня. Поэтому творчество И. Сѣверянина заслуживаетъ вниманія, какъ симптоматическое явленіе нашей культуры, какъ показатель эстетическаго уровня „средняго читателя“.

Говоря о культурѣ, мы обычно учитываемъ только верхи — послѣдній тонкій слой. Эта небольшая группа читаетъ Блока и Ахматову, слушаетъ Скрябина, смотритъ на картины Сомова и Судейкина и т. д. Но подъ первымъ слоемъ лежитъ второй — болѣе широкій, нашего культурнаго tiers-état. У него своя опредѣленная эстетика, своя литература (Вербицкая, Нагродская, Лаппо-Данилевская и др.), своя музыка (романсы Вертинскаго) и искусство (кинематографъ, театры миніатюръ и пр.). Tiers-état съ любопытствомъ и завистью смотритъ вверхъ: онъ хочетъ самаго моднаго, „самаго дорогого“. Для него-то изготовляются „поэзы“ и „ключи счастья“. И. Сѣверянинъ утолилъ его жажду эксцентричнаго, безумно-дерзкаго, пряного и „шикарнаго“. Въ манерномъ раскачиваніи его berceuse'ъ,

рондо, тріолетовъ, терцинъ (какія изысканныя названія!), въ звонкомъ щелканіи французскихъ словъ (какая образованность!), въ игрѣ терминологіей ресторана и бара, кондитерской и café-concert'a, въ щеголяніи словаремъ косметики, парфюмеріи и моднаго магазина, въ пользованіи жаргономъ high-life'наго курорта, кулисъ и будуара деми-монденки — воплощается завѣтная мечта мѣщанина о „прекрасной жизни" — деньгахъ, комфортѣ и великолѣпномъ женскомъ тѣлѣ въ тонкомъ бѣльѣ. То-же эстетство, которымъ переболѣли верхи, тотъ-же эротизмъ съ его „культомъ тѣла" и „свободной любви", только упрощенные и преломленные въ романѣ Вербицкой, въ фильмѣ кинематографа и въ романсахъ вродѣ „Дышала ночь восторгомъ сладострастья", тотъ же ресторанъ Блока съ цыганами и „черной розой въ бокалѣ золотого какъ небо Аи", только воспринятый не посѣтителемъ, а оффиціантомъ, тѣ-же „Шабли во льду, поджаренная булка и вишенъ спѣлыхъ сладостный агатъ" Кузьмина, только приспособленные ко вкусу менѣе взыскательнаго гастронома, тѣ-же „ночныя чары, содроганія и крики страсти" Брюсова, только попроще и подешевле. Такъ поэзія Сѣверянина препарируетъ „изыски" символической школы, фабрикуя изъ нихъ популярное изданіе „для всѣхъ". (Пора популярить изыски! — Мороженое изъ сирени). Отъ души символизма, его вѣры и тайны, отъ его проваловъ въ вѣчность и мистическихъ восхожденій ad realiora въ общедоступномъ изданіи ничего не осталось. Зато все измышленное, мертворожденное и лживое вспухло уродливыми нарывами. Пламенный неофитъ, Сѣверянинъ свято вѣритъ въ свою „красоту". Обнажая язвы учителей, онъ не глумится надъ ними, но своимъ преклоненіемъ онъ еще подчеркиваетъ ихъ безобразіе. Поэтъ абсолютно лишенъ юмора: въ своемъ упоеніи дорогими винами и пирожными отъ Berrin — онъ наивный комикъ. Чтобы почувствовать этотъ пафосъ шика и комфорта, нужно проникнуть въ психологію приказчика изъ Гостиннаго двора, вдругъ вышедшаго въ люди. Какимъ заманчивымъ кажется міръ послѣ душнаго полумрака за прилавкомъ: какъ свѣжи „всѣ впечатлѣнія бытія": и пріятная эластичность резиноваго ландолета, и ослѣпительная скатерть ресторанного столика съ „графиномъ кристальной водки и икрой въ фарфорѣ", и конфекты éclair и boule de neige отъ Gourmets, и женщины „въ сакѣ плюшевомъ желтомъ" или „шеколадной жакеткѣ", и „роскошь волнующихъ витринъ, палитра струнъ и музыка картинъ". Весь міръ, со всѣми его ананасами, морожеными изъ сирени и женщинами, пахнущими вервеной, — принадлежитъ поэту. Отсюда наивная самовлюбленность и наглая самоувѣренность parvenu. Сѣверянинъ искренно убѣжденъ, что вся Россія избрала его королемъ поэтовъ. Въ годину гибели Родины онъ озабоченъ:

Гдѣ состоится перевыборъ
Поэтовъ русскихъ короля?
Какое скажетъ мнѣ спасибо

Родная русская земля?
И состоится ли? — едва-ли.
Не до того моей странѣ.
(Менестрель, „Самопровозглашеніе").

Но разъ въ странѣ безпорядки и перевыборы состояться не могутъ, онъ принужденъ самъ себя провозгласить королемъ. Какъ преломляется переживаемая Россіей трагедія въ его психикѣ? Стихи послѣднаго сборника „Менестрель" даютъ интересный матеріалъ.

Гибель міра для поэта
Вѣдь не такъ страшна,
Какъ искусства гибель. Это
Ты поймешь одна.

Живя въ Эстляндіи авторъ слѣдитъ за „контрастными событіями". „Голодные ужасы въ Вѣнѣ" бросаютъ его „въ холодъ и дрожь". „А то, что у насъ на Востокѣ, — Почти не подвластно уму", — но „Мы сыты, мы главное сыты. — И значитъ — для вѣры бодры". И въ громахъ міровой катастрофы Сѣверянинъ вѣренъ своему „гастрономическому" вдохновенію. Узнавъ изъ газетъ о гражданской войнѣ въ Россіи, онъ поэтически выражается:

Все это утѣшаетъ мало
Того, въ комъ тлѣетъ интеллектъ.

Арестованъ Соллогубъ, умеръ Андреевъ, Собиновъ, Рѣпинъ; авторъ жалуется, что въ Россіи у него почти не остается друзей и сообщаетъ намъ, что

„Въ Россіи тысячи знакомыхъ,
Но мало близкихъ".

Наиболѣе комическое впечатлѣніе производитъ его скорбь по поводу гибели культуры, въ которой виноваты „футуристы-кубо" (Авторъ забылъ, что онъ самъ футуристъ-эго!) и ихъ царь Бурлюкъ (!). Финалу стихотворенія могъ бы позавидовать Кузьма Прутковъ: „Позоръ странѣ, въ руинахъ храма — Чинящей пакостный развратъ".

Въ другой поэзѣ онъ разсказываетъ, какъ ходилъ въ крестьянскія избы и спрашивалъ: „Вы читали Бальмонта, — Вы и Ваша семья". Получивъ отрицательный отвѣтъ, онъ жалѣетъ „Бальмонта, и себя, и страну" и рѣшаетъ, что „странѣ такой впору погрузиться въ волну". О томъ, какъ рисуется Сѣверянину „культурная жизнь", свидѣтельствуетъ „Поэза для бѣженцевъ". Русская колонія въ Эстоніи огорчаетъ поэта своими „запросами желудочными и тѣлесными", и онъ предлагаетъ ей „давать вечера музыкально-поэзовокальные", ставить „пьесы лойяльныя, штудировать Гоголя, Некрасова" и . . . „путешествіе знать Гаттерасово" (ради рифмы).

Первые сборники Сѣверянина при всей ихъ вульгарности и пошлой безвкусицѣ были отмѣчены мелодическимъ единствомъ. Напѣвность Бальмонта сочеталась въ нихъ съ темпами полумѣрныхъ вальсовъ и цыганскихъ романсовъ. Въ „Менестрелѣ" чувствуется полный упадокъ и этой дешевой эффектности. Нѣкоторые стихи

столь кустарны и косноязычны, что появленіе ихъ послѣ многихъ лѣтъ стихотворной практики (12 томовъ стиховъ) кажется невѣроятнымъ. Шедевромъ „гражданской лирики" Сѣверянина является „Поэза Правительству". Приведемъ изъ нея двѣ строфы:

Правительство, когда не чтитъ поэта
Великаго, не чтитъ себя само.
И на себя накладываетъ veto
Къ признанію, и срамное клеймо.
Правительство, лишившее субсидій
Писателя, вошедшаго въ нужду,
Себя являетъ въ непристойномъ видѣ
И вызываетъ въ немъ къ себѣ вражду.

Трудно повѣрить, что это не пародія. Такая поэтическая безграмотность (ни ритма, ни даже синтаксиса) въ связи съ духовнымъ убожествомъ — ниже уровня творчества раешниковъ и дядей Михеевъ. Кромѣ стиховъ, посвященныхъ „гражданскимъ мотивамъ", мы находимъ въ сборникѣ рядъ любовныхъ произведеній: „Терцины-колибри", неизбѣжный „Малиновый berceuse", сонеты, рондели, рондо, газеллы, ноны, секстины и пэ — полная коллекція утонченныхъ стереотипныхъ формъ. Но какимъ доморощеннымъ содержаніемъ наполнены ихъ благородно-хрупкія очертанія.

Картофель — тысяча рублей мѣшокъ.
Въ продажѣ на фунты... Выбрасывай балластъ.
(Секстина XI).

Одна терцина оканчивается въ стилѣ античныхъ пародій К. Пруткова:

Люби меня, натуры не ломая.
Бери меня. Клони скорѣе ницъ.

Въ другихъ старинныхъ размѣрахъ есть ловкость жонглера, извѣстное техническое умѣніе; но полное отсутствіе чувства стиля и культуры слова дѣлаютъ эти произведенія образцами ложнаго жанра.

Въ творчествѣ И. Сѣверянина въ искаженномъ и извращенномъ ликѣ изживается культура русскаго символизма. Давно исчезнувшая на верхахъ, она просочилась мутными струями въ нисшій слой и страшнымъ оборотнемъ живетъ въ немъ и понынѣ. Солнечныя дерзанія и „соловьиныя трели" Бальмонта, демоническая эротика Брюсова, эстетизмъ Бѣлаго, Гиппіусъ и Кузьмина, поэзія города Блока — все слилось во всеобъемлющей пошлости И. Сѣверянина. И теперь въ эпоху „катастрофическихъ мироощущеній" эта скудость духа русскаго поэта ощущается особенно болѣзненно.

К. Мочульскій.

„Первое Свиданіе“, поэма Андрея Бѣлаго.

Въ Троицынъ день текущаго 1921 года Андрей Бѣлый написалъ поэму. Нынѣ поэма эта появилась въ свѣтъ въ номерѣ второмъ (Августъ) временника литературы и политики „Знамя“, выходящаго въ Берлинѣ подъ редакціей Александра Шрейдера[1]). Произведеніе имѣетъ автобіографическій характеръ; оно посвящено переживаніямъ поэта въ бытность его студентомъ въ Москвѣ (въ девяностые года прошлаго вѣка).

„Двадцатилѣтіемъ томимый,
Двадцатилѣтіемъ черненъ,
Я слышу зовъ многолюбимый
Сегодня — Троицынымъ днемъ.

И подъ березкой кружевною,
Простертой доброю рукой,
Я смытъ вздыхающей волною
Въ неутихающій покой“.

Въ повѣствовательной части поэма облечена въ одежду бытовыхъ описаній. Но это не только бытовой разсказъ о юношескомъ увлеченіи, и не просто повѣсть романтической любви (хотя въ нѣкоторомъ и существенномъ поворотѣ она есть именно такой разсказъ и такая повѣсть). Это подлинно — „стихи о Прекрасной Дамѣ“ и Рыцарѣ Ея — „великомъ мистикѣ“ — Соловьевѣ. Свиданіе, о которомъ говоритъ заглавіе, это не только rendez-vous московскаго студента, это скорѣе первое изъ тѣхъ свиданій, которыя въ жизни Бѣлаго соотвѣтствуютъ, быть можетъ, „тремъ свиданіямъ“ Владиміра Соловьева . . .

Поэма имѣетъ глубокое и цѣнное идеологическое и историческое содержаніе. И съ тѣмъ большей силой выступаетъ въ ней черта, характерная для всѣхъ, безъ исключенія, крупныхъ русскихъ поэтовъ современности, но въ особенности для Бѣлаго; сочетаніе совершенно несомнѣннаго поэтическаго генія съ неполнотой совершенства и даже, временами, съ прямымъ несовершенствомъ поэтическаго творенія . . . Въ предисловіи къ поэмѣ Андрей Бѣлый сказалъ о себѣ: „Я — стилистическій пріемъ“; мы бы сказали: не одинъ какой-либо, но цѣлое собраніе, музейная коллекція разнообразнѣйшихъ „стилистическихъ пріемовъ“... „Первое Свиданіе“ выдержано въ четырехстопномъ ямбѣ („Стой ты, какъ конь, заржавшій стихъ — . . . Будь крытъ, четырехстопенъ, тихъ . . .“) — въ размѣрѣ „Евгенія Онѣгина“. Размѣръ этотъ сочетается въ иныхъ частяхъ поэмы со стремленіемъ подойти къ духу пушкинскаго романа. Но наряду съ „пушкинскими“ строфами, — строкою ниже, строкою выше, — характерное декадентство, „fin du siècle“, въ стилѣ В. Иванова или пошибѣ Минскаго, съ нагроможденіемъ отвлеченныхъ существительныхъ: „Вставайте, морочныя смѣны — Пустовороты бытія — Какъ пустолопнувшія пѣны“ . . . и т. д. (курсивъ здѣсь и повсюду нашъ), и тутъ же, въ ближайшемъ сосѣдствѣ, стихи въ футуристическомъ духѣ („О, мѣсяцъ,

[1]) При печатаніи допущены многочисленныя опечатки, иногда такъ искажающія оригиналъ, что съ трудомъ добираешься до смысла.

одуванчикъ бурь! . . . Взирай оттуда, мертвый взоричъ, — Взирай, повѣшенный, и стынь . . ." и т. д.) глагольныя формы и поэтическій „инвентарь" à la Игорь Сѣверянинъ: „Меня онѣжили уайтъ-розы, т. е. духи фирмы Аткинсона! Поистинѣ эклектизмъ дурного тона. И все-таки подлинная поэзія. Не въ тѣхъ „декадентскаго" или „футуристическаго" пошиба стихахъ, образчики которыхъ мы только что привели, но въ иныхъ элементахъ поэмы; и этими иными элементами является все, что остается въ поэмѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, правда, довольно многочисленныхъ отдѣльныхъ мѣстъ (напр., отрывокъ объ олимпійскихъ богахъ въ первой и затѣмъ пятая и седьмая главы) . . . И эта „иная" часть есть поэтика, сгущенная и напряженная, въ которой бытовой реализмъ, выдержанный то въ особомъ „бѣловскомъ" стилѣ, то въ духѣ „Евгенія Онѣгина", — сочетается съ мечтательно-нѣжнымъ, богатымъ символами и вѣрою вѣяніемъ Романтизма . . . Именно въ этомъ сочетаніи прелесть поэмы. Душа взыскуетъ неизрѣченнаго, томится о

„Дѣвѣ, что на насъ сойдетъ . . .
Овѣявъ зовомъ бирюзовымъ,
Всегда таимая средь насъ, —
Взирая изъ любимыхъ глазъ".

И вотъ найденъ земной образъ совершенства:

„Сережа (Соловьевъ, П. С.), заклокочивъ клочень,
Взираетъ въ очи Сони Н-ой. . .
Мнѣ блещутъ очи — очень, очень
Надежды Львовны Зориной".

Но „образъ совершенства" не затуманиваетъ внимательнаго взгляда наблюдателя дѣлъ земныхъ . . . Поэтъ мечтаетъ о Прекрасной Дамѣ, — но тѣмъ своеобразнѣй и тѣмъ острѣй становится его реалистическое чувство:

„Пройдетъ, — мы всѣ разинувъ рты,
Идіотически ослабнемъ;
Пройдетъ, склонясь въ свои цвѣты,
Съ курносымъ безволосымъ бабнемъ;
Пройдетъ и сядетъ въ первый рядъ,
Смѣясь безъ мысли и безъ рѣчи. . .
И на фарфоровыя плечи,
Переливаясь, бросятъ взглядъ, —
Всѣ электрическія свѣчи. . .
И вотъ идетъ огней зарницей,
Сама собой озарена,
Неся, какъ трэнъ, свое „Во-имя" —
Надежда Львовна Зорина".

Эти строфы конгеніальны Блоковской „Незнакомкѣ". Здѣсь тотъ же мотивъ, что въ „Незнакомкѣ" (проходящая мимо!), и такъ же, какъ у Блока, — все очарованіе романтизма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, острые блики реальности: „Пройдетъ, склонясь въ свои цвѣты, — съ курносымъ, безволосымъ бабнемъ" . . . И такъ же, какъ образъ „Незнакомки", образъ Зориной только мелькаетъ въ поэмѣ. Подлинная героиня послѣдней — это философская и музы-

кальная „Москва“ девяностыхъ годовъ, въ частности семья Соловьевыхъ и, болѣе всего, властитель думъ поэта Владиміръ Соловьевъ. Интересно отмѣтить нѣкоторую общность тоноса бѣловской поэмы и „Воспоминаній“ кн. Е. Н. Трубецкого, печатающихся въ „Русской Мысли“. Одинаково отношеніе обоихъ авторовъ къ описываемому; тождественъ объектъ; тождественно лицо, являющееся средоточіемъ духовнаго вниманія авторовъ (хотя у Трубецкого средоточіемъ незримымъ), а именно Владиміръ Соловьевъ. Но только у Трубецкого — „Воспоминанія“, а у Бѣлаго—поэма, дающая болѣе высокую, чѣмъ „Воспоминанія“, интуитивную убѣдительность картины . . .

Однажды, когда Александръ Блокъ былъ еще живъ, автору этихъ строкъ довелось сопоставлять его „Двѣнадцать“ съ Пушкинскимъ „Мѣднымъ Всадникомъ“ (см. статью „Идея Родины въ совѣтской поэзіи“ въ кн. 1—2 „Русской Мысли“ за текущій годъ). И авторъ этихъ строкъ воспринялъ не какъ случайность, когда, по прочтеніи „Перваго Свиданія“, почувствовалъ, что нѣкоторыя строфы поэмы онъ готовъ поставить наряду со стихами „Евгенія Онѣгина“ . . . Бѣловское описаніе московскаго симфоническаго концерта аналогично пушкинской картинѣ балетнаго спектакля::

„Я — вотъ! Я — здѣсь: студентъ московскій
Я — на подъѣздѣ... Люстры свѣтъ.
И Алексѣй Сергѣичъ П-овскій...
И — сердца бѣгъ, и — въ сердцѣ стукъ . . .
Сердца — бѣгутъ: на звуки... Вѣрьте—
Въ субботу вечеромъ нашъ кругъ
На симфоническомъ концертѣ.
Проходятъ, тащатся, текутъ...
Вокругъ — шпалеры кавалеровъ
Сѣдыхъ, муругихъ, пѣгихъ, сѣрыхъ, —
Купцовъ, ученыхъ, мильонеровъ...“

Только вмѣсто балерины Истоминой, — впрочемъ, изображенный тоже, какъ своего рода „балерина“, — дирижеръ Сафоновъ:

„Взойдя на дирижерскій пультъ,
Пересѣкая рой поклоновъ,
Приподымаетъ громкій культъ...
Кидаясь бѣлой бородой
И кулаками на фаготы, —
Короткій, толстый и сѣдой, —
Онъ выборматываетъ что то;
Подъ люстры палочкой мигнувъ, —
Волторну поздравляетъ съ бракомъ;
И строгій разговоръ волторнъ
Фаготы порицаютъ хоромъ...
А ужъ Сафоновъ изъ усовъ,
Надувши пухнущія губы,
На флейтъ перепелиный зовъ
Приказъ выкидываетъ въ трубы;
И подъ Василій Ильичомъ,
Разставивъ ноги калачемъ, —
Всѣ скрипоканты провизжали,
Руководимые Гржимали...
Кидаясь бѣлой бородой
И кулаками на фаготы —
Короткій, толстый и нѣмой
Какъ бы вынюхиваетъ что то:
Присядетъ, вскинувъ въ воздухъ носъ —
Вопросъ, разносы въ глазѣ хитромъ
И — стойку сдѣлавши, какъ песъ,
Несется снова надъ пюпитромъ;
Задохнется и — оборветъ...
Со лба платкомъ стираетъ потъ...
И раздѣляется поклономъ
Межъ первымъ рядомъ и балкономъ..

Проникнутое сладкой грустью бѣловское описаніе общенія съ семьею Соловьевыхъ — не менѣе, для своей эпохи, насыщенное отображеніе духовной обстановки, чѣмъ пушкинское повѣствованіе о деревенскихъ встрѣчахъ и бесѣдахъ Онѣгина и Ленскаго. Въ немногихъ строфахъ дается образъ гостепріимнаго домашняго очага, который есть въ то же время одинъ изъ очаговъ духовной жизни московской высшей интеллигенціи:

„Слѣдя перемокрѣвшимъ снѣгомъ,
Бывало, я звонился здѣсь... —
Михалъ Сергѣичъ Соловьевъ
Дверь отворялъ, смѣясь безъ словъ.
Сутуловатый, малорослый
И блѣдноносый, — подойдетъ,
И я почувствую, что — взрослый,
Что мнѣ идетъ двадцатый годъ;
И весь конфузясь и дичая,
За круглымъ, ласковымъ столомъ
Хлебну крѣпчающаго чая
Съ ароматическимъ душкомъ.
Михалъ Сергѣичъ повернется
Ко мнѣ изъ кресла цвѣта „бискръ",
Стекло пенснэйное проснется:
Переплеснется блескомъ искръ;
Его онъ сбрасываетъ кротко
Золотохохлой головой.
Съ золотохохлою бородкой —
Прищурый, слабый, но — живой...
Дымитъ струями папиросы,
Голубоглазитъ на меня;
Развѣетъ вѣеромъ вопросы
Онъ чубукомъ изъ янтаря.
И ароматомъ странной вѣры
Обкуритъ каждый мой вопросъ"...

Здѣсь убѣждаетъ все: именно такимъ, физически хилымъ („худой и хилый, кроя плэдомъ — Давно простуженную грудь") рисуется въ воображеніи Михаилъ Сергѣевичъ Соловьевъ: „книголюбъ, любитель фабулъ, — Знатокъ, быть можетъ, инкунабулъ, — Слагатель неслучайныхъ словъ . . ." И сына его Сережи, конечно, „Двѣ бабушки, четыре дяди — И кажется шестнадцать тетъ . . . Выращивали пяди", и, согласно порядку, гигіенически нелѣпому, но столь распространенному въ семьяхъ русской высшей интеллигенціи и неизбѣжной въ этой обстановкѣ духовнаго горѣнія: „Трехъ лѣтъ, ну право же, ей Богу съ! — Трехъ лѣтъ (скажу безъ лишнихъ словъ) — Трехъ лѣтъ ему открылся Логосъ . . . — Шести: Григорій Богословъ" . . . „Онъ вотъ: провидецъ и поэтъ, — Ключарь небесъ, матерый мистикъ, — Голубоглазый гимназистикъ".

Бѣлый изображаетъ Владиміра Соловьева:

„...Сквозной фантомъ,
Какъ бы согнувшійся съ ходулей
Войдетъ и вспыхнувшимъ зрачкомъ
Въ сердца ударится, какъ пулей...
Съ подпотолочной высоты
Онъ рухнетъ въ эмпирію кресла...
И Соловьевъ, усѣвшись въ нишѣ,
Играетъ молча съ братомъ „Мишей",
Рукой бросаясь, какъ на бой,
На доску, онъ уткнется въ шашки;
И поражаютъ худобой
Его обтянутыя ляжки;
А комариная нога,
Костей непрочное жилище,
Тутъ обнаружитъ сапога
Нечищенное голенище!
Разсердится надъ поддавкомъ;
Атмосферическимъ дымкомъ
Судьба трагическая дышетъ;
И въ „Новомъ Времени" о томъ
Демчинскій знаетъ, но не пишетъ.
„Въ сознаньи нашемъ кавардакъ.
Атмосферическихъ явленій,
Свѣченій, зорь нельзя никакъ
Понять съ научной точки зрѣній".
И ткнется головой въ колѣни,
И стащитъ пару крендельковъ...
Михалъ Сергѣевичъ...
Вздыхая въ пепелъ папиросъ:
„Не оскудѣла Мирликія...
Однакожъ: будетъ... Духовъ день"...
Сережа Соловьевъ подъ небо
Воскликнетъ, стиснувъ мякишъ хлѣба:
А нука — всѣ, кому не лѣнь —

Въ отвѣтъ на дерзости такія:
Въ Москвѣ устроимъ Духовъ День".
О. М. — пророчески: „Россіи
Судьба священная ясна".
Я — про себя: „Судьба Софіи:
Надежда Львовна Зорина"...
А Соловьевъ, не отвѣчая,
Молчитъ надъ чашкой: „Чаю—чая...
И чаю — сахара небесъ;
Погибнетъ врагъ! Христосъ воскресъ!"
Пожавши руки торопливо,
Какъ бы влекомъ самой судьбой,
Какъ бы вздыхая сиротливо,
Какъ бы вздыхая надъ собой, —
Пройдетъ въ переднюю, къ шинели:
Въ мѣха шинели кроетъ взоръ;
И — удаляется въ мятели:
Священной бородой — въ боберъ..."

Для насъ, современниковъ, не можетъ не быть интереснымъ, что послѣ ряда десятилѣтій единовладычества въ литературѣ рѣчи прозаической, когда ритмическое слово находило пристанище только въ лирикѣ, именно въ нашу эпоху созданы въ стихахъ вещи значенія историческаго: поэмы Блока, Бѣлаго и, совсѣмъ въ другомъ родѣ, Маяковскаго . . . У Блока и Бѣлаго — приближеніе къ Пушкину. Только Пушкинъ былъ по времени — первымъ, а эти пришли черезъ столѣтіе и какъ бы завершаютъ кругъ: отъ Пушкина — къ Пушкину . . . Пушкинъ достигалъ цѣлостнаго совершенства своихъ произведеній. Для того же, чтобы историческая „непреходящесть" осѣнила вещи Бѣлаго и Блока, — ихъ нужно „препарировать", освобождать отъ явно неудачныхъ и „преходящихъ" наслоекъ и частей. Въ частности, въ поэмѣ „Перваго Свиданія" не одна сотня строкъ можетъ быть интересна только для цѣнителя рифмованныхъ разсужденій по гностикѣ.

Отрывокъ, посвященный воспоминаніямъ о Соловьевѣ, завершается аккордомъ грусти:

„Онъ — канулъ въ Вѣчность: безъ возврата.
Пришелъ въ восторгъ нездѣшнихъ мѣстъ . . .
Въ монастырѣ: въ волнахъ заката —
Рукопростертый, бѣлый крестъ —
Стоитъ, какъ память дорогая...

(Вспомнимъ: „И только крестъ и тѣнь вѣтвей — Надъ бѣдной нянею моей" . . .)

Но не этимъ аккордомъ заканчивается произведеніе:

„Бывало: бѣлый переулокъ
Въ снѣгу — дымитъ, и снѣгъ лежитъ.
И Богоматерь въ переулокъ
Слезою чистою глядитъ".

Снѣгъ становится эмблемою святости. У Блока Христосъ „Нѣжной поступью надвьюжной — Снѣжной розсыпью жемчужной" указуетъ путь обезумѣвшимъ... У Бѣлаго Михаилъ Сергѣевичъ Соловьевъ есть „длань, протянутая къ Богу — Сквозь нѣжный вѣтеръ пурговой"... Снѣгъ — символъ смерти. Станетъ ли онъ символомъ новой жизни, — въ преображеніи и святости? . . .

„Бѣгу Пречистенкою... Мимо...
Куда? Мета — заметена.
Но чистотой необъяснимой
Пустая улица ясна.
Кто тамъ, всклокоченный метелью,
Скрывъ озабоченный свой взоръ,
Прошелъ пророческой шинелью:
Сѣдою бородой — въ боберъ,
Чтобъ вихри свистами софистикъ
Заклокотали въ кругозоръ, —
Взвизжали: Вотъ — великій мистикъ!"
И усвистали за заборъ..."

Вихри обнаруживаютъ, кто такой незнакомецъ . . . Вихри и „вовъ софистикъ" — какъ лейтмотивъ (обычный бѣловскій пріемъ!) сопровождаютъ Владиміра Соловьева . . . Но вѣдь Соловьевъ спистъ на кладбищѣ монастыря. Тѣмъ сладостнѣе встрѣча, преодолѣвающая Смерть,

„Проснулась — на Дѣвичьемъ Полѣ
Знакомымъ передрогомъ ширь:
„Извозчикъ!.. Стой... Со мною, что-ли?
„Въ Новодѣвичій монастырь...
— „Да чтобъ тебя: сломаешь сани!"
И снова зовъ — знакомыхъ словъ:
— „Тамъ — день свиданій, день возстаній
— Ты кто?" — „Владиміръ Соловьевъ".

Видѣніемъ, расторгающимъ Смерть, заканчивается поэма.

Петроникъ.

Юрій Никольскій. Тургеневъ и Достоевскій. (Исторія одной вражды). Софія, Русс. — Болг. Книгоиздат. 1921).

„Вражда" Тургенева и Достоевскаго можетъ быть предметомъ изученія съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ: какъ біографическій эпизодъ, какъ моментъ въ развитіи русской общественности, какъ психологическая загадка, наконецъ. И вотъ при чтеніи книжки Ю. А. Никольскаго все время кажется, что авторъ соединилъ подъ одной обложкой черновые наброски отдѣльныхъ главъ, писанныхъ каждая съ новой установкой. Изложеніе пестритъ выписками и цитатами, мозаически межъ собой „цементированными", но не сращенными органически въ цѣлостное изображеніе. Въ построеніи есть, правда, свой центръ тяжести, но болѣе по задачѣ, чѣмъ въ выполненіи. Авторъ пытается вскрыть глубинные корни психологическаго конфликта, возведя его къ „волевой противоположности", къ „бытіевой" (Sic! „бытійной?) полярности двухъ существъ. Совершенно справедливо опредѣлять Тургенева, какъ „детерминиста", а Достоевскаго, какъ исповѣдника свободы воли, и сопоставлять это съ безсиліемъ, безхарактерностью перваго и активностью (хотя бы только потенціальной) второго. Но характеристика, даваемая Никольскимъ, слишкомъ схематична, направлена, такъ сказать, на внѣопытныя глубины „интеллигибельнаго характера", на душу an sich, тогда какъ психологически-объяснительное значеніе можетъ имѣть лишь „эмпирическій характеръ". По этой причинѣ авторъ не схватилъ пункта пересѣченія отдѣльныхъ воззрѣній Тургенева, возбуждавшихъ отталкиваніе въ Достоевскомъ: атеизма, руссофобства и германофильства. Несомнѣнно, что „раздражалъ" Достоевскаго самъ живой Тургеневъ, а не тѣ или другія его мысли. Ю. А. Никольскій самъ это отмѣчаетъ, и все же не дѣлаетъ попытки показать, какъ же представлялся Достоевскому

— Тургеневъ-человѣкъ, ограничиваясь поверхностными замѣчаніями о „завистливыхъ“ чувствахъ къ барину, помѣщику, баловню судьбы и пр. Отъ этого остается неяснымъ „каррикатурный“ образъ Кармазинова: историко-литературныя сопоставленія, весьма любопытныя, не могутъ замѣнить раскрытія и освѣщенія того процесса, въ силу котораго живыя впечатлѣнія отъ дѣйствительнаго лица претворились въ художественный лже-портретъ. „Столкновеніе личностей — событіе ирраціональное“, и этого нельзя обойти простою ссылкой на неизбѣжность схематическаго подхода; схемы бываютъ разныя, полезныя и вредныя, и авторъ, по нашему мнѣнію, неудачно выбралъ путь изолирующей абстракціи тамъ, гдѣ слѣдовало прибѣгнуть къ сочувственной интуиціи. Страннымъ образомъ, онъ совершенно обходитъ то обстоятельство, что не съ однимъ Достоевскимъ поссорился и враждовалъ Тургеневъ, а и съ Толстымъ, и съ Герценомъ, — это одно уже должно было подсказать, что въ самомъ „эмпирическомъ обликѣ“ Тургенева крылось что-то такое, что толкало на разрывъ. Это была та самая оскорбляющая suffisance „линяющаго“ западнаго человѣка, которая дѣлала Герцену непосильной жизнь на „тинистомъ“ Западѣ и съ которой, въ Карлсруэ или Буживалѣ, привольно уживался Тургеневъ. И если слѣдовать настоянію Тургенева, — „судить не по одностороннимъ извѣтамъ, а по результатамъ цѣлой жизни и дѣятельности“, то нельзя замолчать того отталкиванія, которое внушилъ Тургеневъ заразъ тремъ геніальнѣйшимъ (именно въ качествѣ людей) изъ своихъ современниковъ. То, что Герценъ писалъ потомъ Чичерину, онъ смѣло могъ бы адресовать Тургеневу, въ дополненіе къ сверкающимъ страницамъ „Концовъ и Началъ“: „Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы . . . знаете, что если прошедшее было такъ и такъ; настоящее должно быть такъ и такъ, и привести къ такому-то будущему . . . Вы . . . знаете, куда идти, куда вести“. Конечно, это — „детерминизмъ“, но не въ видѣ отвлеченныхъ формулъ, какъ и не въ видѣ „онтологическаго“ — „ноуменальнаго“ ядра личности, а въ видѣ той незримой атмосферы, которую человѣкъ носитъ повсюду съ собой, и которая сквозитъ во всякомъ его словѣ и жестѣ, въ самой его походкѣ. Въ данномъ случаѣ этотъ „детерминизмъ“ проявляется у Тургенева въ его доктринерской вѣрѣ въ genus europaeum и несомнѣнной принадлежности къ ней русскаго народа, и въ тѣхъ легковѣсныхъ пожеланіяхъ и оцѣнкахъ, которыя она подсказывала ему по отношенію къ злобамъ дня, въ поверхностномъ и легкомысленномъ train'ѣ жизни. Вотъ что возмущало Достоевскаго, какъ и Толстого и Герцена — безотвѣтственность Тургенева за себя въ его собственныхъ глазахъ. На этой глубинѣ изслѣдователь и долженъ остановиться, стараясь найти психологическіе корни конфликта; тогда онъ, дѣйствительно заразъ избѣгнетъ и пошловатаго анекдотизма, принимающаго поводы и симптомы за причины, и абстракт-

наго схематизма „вещей въ себѣ“, не „объясняющаго“ ровно ничего.

„Вражда“ Тургенева и Достоевскаго не была только иррацiональнымъ столкновенiемъ полярныхъ человѣческихъ монадъ; какъ историко-бытовой фактъ, она была обнаруженiемъ глубокаго психологическаго расщепленiя русской „интеллигенцiи“ — не „знавшихъ опредѣленно, куда идти, куда вести“ и не искавшихъ пути. Не вокругъ „теоретической“ проблемы свободы воли рождались непрiязненные порывы, а вокругъ практическаго вопроса — что дѣлать? Не случайно „западники“ отвѣчали въ сущности — „ничего“: вѣдь fata volentem ducunt, nolentem trahunt, вѣдь есть — „прогресъ“ и genus europaeum. Не одинъ Тургеневъ былъ „трусомъ“; вспомнимъ — отъ Грановскаго горячо любимаго, нѣжнаго „благороднаго“, Герцена властно откинула его „боязнь консеквентности“, его желанiе во что бы то ни стало помирить для своего интимнаго обихода расплывчатую вѣру въ Бога и атеистическую мудрость лѣваго гегельянства. Эту черту совершенно вѣрно передалъ Достоевскiй въ образѣ Верховенскаго, вся каррикатурность котораго зависитъ только отъ слишкомъ рѣзкаго нажима кисти въ проведенiи контуровъ и линiй. И неужели совмѣщенiе въ одномъ литературномъ замыслѣ этихъ двухъ „шаржей“ не навело автора на мысль, что здѣсь выражалась борьба Достоевскаго съ цѣлымъ „направленiемъ“?

„Судить“ и понять непривлекательный конфликтъ: Тургеневъ—Достоевскiй — можно, конечно, лишь „по результатамъ всей жизни и дѣятельности“, но это значитъ не перечислить всѣ „факты“, а — раздвинуть перспективы. Ю. А. Никольскiй упустилъ прекрасный случай на примѣрѣ обнажить корни „вражды“. Сравнимъ „Отцы и дѣти“ съ „Бѣсами“. Объектъ — все тотъ же рускiй нигилизмъ. Но могъ ли, — безразлично, какими мнѣнiями взаимно обмѣнялись писатели по поводу этихъ произведенiй, — въ глубинѣ души тотъ, кто видѣлъ подъ покровомъ убогой русской дѣйствительности бѣсовскiя силы, обуревающiя смертныя души, не „разойтись“ съ тѣмъ, кто видѣлъ только Базарова и Кукшину??*)

Г. В. Ф.

СПИСОКЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ВЪ РЕДАКЦIЮ ЖУРНАЛА „РУССКАЯ МЫСЛЬ“ ДЛЯ ОТЗЫВА.

Зарницы. Русскiй нацiональный еженедѣльникъ. Софiя.

Зеленая Палочка. № 5—6. Изд. „Сѣверъ“, б. о. г. стр. 60.

Д-ръ Г. А. Зивъ. Троцкiй. Изд. Народоправство Нью-Iоркъ 1921, стр. 96.

---

*) Намъ вопросъ о духовномъ соотношенiи Достоевскаго и Тургенева представляется гораздо болѣе сложнымъ, чѣмъ автору. Тургенева вообще нельзя понять, не вдумавшись въ его классическую переписку съ Герценомъ.

Ред.

Златорогъ, Год. II. Априлъ—Май, кн. 4—5 Изд. А. Паскалевъ, стр. 303.

Ивановъ-Разумникъ Что такое интеллигенція, стр. 30. Испытаніе въ грозѣ, и бурѣ стр. 67. Россія и Инонія, стр. 80. Свое лицо, стр. 31 Изд. Скифы, Берлинъ, б. о. г.

Исходъ къ Востоку. Предчувствія и свершенія. Утвержденіе евразійцевъ. Складъ изданія въ Россійско-Болгарскомъ Книгоиздательствѣ, Софія, 1921, стр. VII—125.

Инженеръ Катель. 1) Соединенные Штаты Америки и всемірная война; 2) Всемірная война и союзъ народовъ. Neues Vaterland, Берлинъ, 1921, стр. 78 и 118.

Н. Клюевъ. Избяныя пѣсни, Изд. Скифы, Берлинъ, б. о. г. стр. 30.

Книга для всѣхъ, № 1. Изъ русскихъ поэтовъ, № 2—3. Поэзія большевистскихъ дней. Изд. Мысль. Берлинъ, 1921, стр. 61 и 124, цѣна выпуска 3 гер. марки.

Ко всѣмъ, кто болѣетъ душой за родину. Изд. Всероссійскаго Объединенія имени Косьмы Минина. Константинополь. 1921, стр. 24.

Н. А. Лазаркевичъ. Льняное дѣло въ Западной Европѣ. Изд. Центр. Товар. льноводовъ, Лондонъ 1921.

Лидія Крестовская. Изъ исторіи русскаго волонтерскаго движенія во Франціи. Изд. Паволоцкаго, Парижъ, б. о. г. стр. 143.

М. Ю. Лермонтовъ. Собраніе сочиненій, 3 тома. Изд. И. П. Ладыжникова, Берлинъ, 1921.

Проф. Ю. В. Ломоносовъ. Воспоминанія о мартовской революціи 1917 г. Стокгольмъ Берлинъ, 1921, стр. 86.

С. Б. Маракуевъ, предсѣдатель Правленія Ювосса (юго-восточнаго союза союзовъ). Очередныя задачи русской коопераціи. Прага, стр. 39.

Томашъ Г. Масарикъ. О большевизмѣ. Изд. „Наша Рѣчь". Культурно-историческая библіотека, № 1, стр. 59.

П. Н. Милюковъ. Исторія второй русской революціи, томъ I вып. 1. Противорѣчія революціи. Россійско-Болгарское Книгоиздательство. Софія, стр. 248.

В. А. Мошинъ 1) Сибирскіе мотивы. 2) Передъ бурей. Изд. Ладыжникова, Берлинъ 1921.

Юрій Никольскій. Тургеневъ и Достоевскій (Исторія одной вражды). Россійско-Болгарское книгоиздательство, Софія, стр. 108.

Національная Россія. Бѣлградъ, 24 Марта 1921 г, стр. 24.

Общій съѣздъ Представителей Русской Торговли и Промышленности. Доклады. 1. Итоги и существо коммунистическаго хозяйства. П. Б. Струве. 2. Количественные итоги снабженія населенія и промышленности Совѣтской Россіи необходимыми продуктами. В. Ф. Гефдингъ. 3. Снабженіе населенія и промышленности Совѣтской Россіи необходимыми продуктами. В. Ф. Гефдингъ. 4. Положеніе сельскаго хозяйства и аграрный вопросъ. 5. Банки и денежное обраще-

ніе. 6, О кредитахъ для возстановленія русскаго народнаго хозяйства. Торговые договоры Совѣтской Россіи и экономическая политика иностранныхъ государствъ по отношенію къ Россіи. 8. Внѣшняя торговля Совѣтской Россіи. В. Ф. Гефдингъ. 9. Состояніе и движеніе населенія въ Совѣтской Россіи. Парижъ, 1921.

Отечество. Еженедѣльный литературно-художественный журналъ, № № 1 и 2. Парижъ. 1921, стр. 14.

Антонъ Піонтковскій. Разсказы минувшихъ дней. Парижъ, 1921, стр. 95.

А. П. Правосудіе въ войскахъ ген. Врангеля. Конст-ль 1921, стр. 26.

Полк. Полтавецъ-Остраница. Війна. Зальцовельдъ. 1921 стр. 24.

А. С. Пушкинъ Собраніе сочиненій. 4 тома. Изд. И. П. Ладыжкова. Берлинъ, 1921.

Ф. И. Родичевъ. Большевики и евреи, Изд. Общества имени Герцена. Лозанна, б. о. г., стр. 23.

Русскій Дальній Востокъ, экономическій ежемѣсячникъ № 1—4 Токіо. 1920.

Русская книга № 1—6, Русскій Книжный магазинъ „Москва" Берлинъ б. о. г.

Русское Обозрѣніе ежемѣсячный журналъ. № 1—2, январь-февраль, Пекинъ. № 3—4; мартъ-апрѣль, Харбинъ 1921.

М. С. Р—а. Пѣсни контръ-революціи. Изд. Всероссійскаго Объединенія имени Косьмы Минина. Конст-ль, 1921, стр. 30.

Слънце № 1 и 2; Книгоизд. „Слънце", Софія, 1921.

К. Н. Соколовъ. Правленіе Генерала Деникина (изъ воспоминаній). Росс.-Болгарск. Книгоизд. Софія, 1921, стр. 290.

В. Станкевичъ. Судьбы народовъ Россіи. Бѣлоруссія. Украина. Литва. Латвія. Эстонія. Арменія. Грузія. Азербейджанъ. Финляндія. Польша. Изд. И. П. Ладыжникова. Берлинъ, 1921, стр. 373.

П. Б. Струве. 1. Итоги и существо коммунистическаго хозяйства. Рѣчь, произнесенная на общемъ съѣздѣ представителей русской промышленности и торговли въ Парижѣ 17 Мая 1921 г. Изд. „Слово". Берлинъ. 2. Статьи о Львѣ Толстомъ. Россійско-Болгарское Книгоиздательство. Софія, 1921 г., стр. 66.

И. С. Тургеневъ. Мѣсяцъ въ деревнѣ. Изд. Ладыжникова. Берлинъ, 1921 г., стр. 154.

Теорія и практика совѣтскаго строя. Вып. I. Республика совѣтовъ, стр. 145. Вып. II. Земля и хлѣбъ, стр. 104, Изд. „Скифы". Берлинъ — Миланъ (б. о. г.).

Маркъ Марія Людовикъ Таловъ. Любовь и Голодъ. Книга лирики. Изд. „Орфей". Парижъ, 1921 г., стр. 93, цѣна 10 фр.

Училищенъ Прѣгледъ. № 4—7. Изд. Минист. Нар. Просв. Софія. 1921 г.

Григ. Финнъ. Пасмурныя птицы, Стихи. 1918—1920, Константинополь 1921.

В. Холодковскій. Великая, безкровная . . . Стихи. Изд. А. А. Волошина, Севастополь 1921.

И. Штейнбергъ. Отъ февраля по октябрь 1917 г. Изд. „Скифы" Берлинъ — Миланъ, (б. о. г.) стр. 129.

И. Эренбургъ. Ликъ войны. (Во Франціи). Россійско-Болгарское Книгоиздательство. Софія 1920 г. стр. 107.

Ювеналъ. Міровая угроза. (Этапы русской революціи). Константинополь, 1921 г., стр. 57.

Abraham Jarmolinsky. The Kennan Collection. The New Jark Public Library, 1921 г., стр. 13.

Замѣченная опечатка: на стр. 310 въ примѣчаніи подъ строкой лишняя буква „В".

† ИВАНЪ ВАЗОВЪ.

Въ то время, когда заканчивалось печатаніе этой книжки „Русской Мысли“, именно 22 сентября, въ Софіи скоропостижно скончался болгарскій поэтъ Иванъ Вазовъ. Отлагая до другого раза обстоятельную характеристику творчества маститаго болгарскаго писателя, мы, раздѣляя горе Болгаріи, ограничимся о немъ пока лишь настоящей краткой замѣткой.

Иванъ Минчевъ Вазовъ родился 27 іюня 1850 г. въ г. Сопотѣ въ семьѣ мѣстнаго торговца.

Получивъ первоначальное образованіе въ школахъ родного города, Калофера и Пловдива, Иванъ Вазовъ въ 1870 г. отправился въ Румынію. Съ этого именно времени и начинается его общественная и литературная дѣятельность. Вазовъ входитъ въ кружокъ тѣхъ болгарскихъ эмигрантовъ, которые подготовляли освобожденіе Болгаріи отъ ига турокъ. Энергично работая съ ними, онъ пишетъ рядъ стиховъ, въ которыхъ выражаетъ надежды и стремленія народныхъ массъ. Начало объявленной 12 апрѣля 1877 г. Россіей войны Турціи — войны за освобожденіе Болгаріи — захватило Вазова въ Бухарестѣ. Онъ былъ свидѣтелемъ прибытія въ Румынію русскихъ войскъ, направлявшихся по ту сторону Дуная для освобожденія его родины . . . Муза его не могла не воспѣть этихъ великихъ историческихъ моментовъ . . . Имъ въ это время написаны полныя чувства стихотворенія — „Россія“, „Ода Императору Александру“, „Николай Николаевичъ“, „Здравствуйте, братушки“ и другія. Произведенія эти навсегда останутся достойнымъ памятникомъ великихъ событій, давшихъ примѣръ любви одного народа къ другому . . . Они были отпечатаны на отдѣльныхъ листахъ и распространялись въ массѣ экземпляровъ среди болгаръ . . .

Съ момента перехода русскихъ войскъ черезъ Дунай началось возстановленіе Болгаріи. Полный силъ, энергіи, горячей любви къ своему народу, 30 лѣтній поэтъ Вазовъ явился для свободной Болгаріи великой творческой силой. Для него всюду въ Болгаріи открылась возможность плодо-

творно работать, и съ этого времени начинается та его общественно-литературная дѣятельность, которая, постепенно расцвѣтая, создаетъ ему исключительную популярность въ Болгаріи. Онъ несетъ обязанности депутата, онъ редактируетъ и издаетъ рядъ болгарскихъ журналовъ и газетъ, составляетъ для молодой болгарской школы „Болгарскую хрестоматію", занимаетъ постъ министра народнаго просвѣщенія, вводя рядъ улучшеній въ дѣло обученія болгарскаго юношества . . . Работая въ этомъ направленіи, Вазовъ ни на минуту не забываетъ и своей музы, и изъ подъ пера его выходитъ длинный рядъ произведеній — всѣхъ родовъ литературы — лирическихъ, эпическихъ, драматическихъ („Казаларската царица", „Ивайло", „Бориславъ", „Кжмъ пропасть" и др.).

Само собой разумѣется, что жизнь поэта за все это время не течетъ гладко, безъ тревогъ и волненій; онъ, какъ общественный дѣятель, переживаетъ различныя политическія передряги въ Болгаріи и испытываетъ результаты борьбы политическихъ партій. Такъ въ 1887 г. онъ долженъ былъ временно покинуть Болгарію и жить въ Россіи, главнымъ образомъ, въ Одессѣ (до марта 1889 г.). Но и внѣ отечества онъ не бросаетъ своей литературной работы, но продолжаетъ ее вездѣ, и именно въ Одессѣ пишетъ большую часть своего знаменитаго романа „Подъ игото", въ которомъ такъ прекрасно изображена жизнь Болгаріи предъ освобожденіемъ. Романъ этотъ переведенъ на *всѣ* европейскіе языки и всюду критикой былъ отмѣченъ весьма сочувственно.

Литературной работы Ив. Вазовъ не оставлялъ до самой смерти, и творчество его, выразившееся въ громадномъ количествѣ стихотвореній и др. произведеній, собранныхъ во многихъ томахъ, стяжало ему въ Болгаріи имя Народнаго поэта. Вазовъ жилъ чувствами народа своего, его радостями, его горестями, въ минуты которыхъ бодро звалъ своихъ согражданъ къ борьбѣ, къ стремленію къ лучшему. Онъ съ полнымъ правомъ могъ сказать о себѣ:

От ранните си младини запех
За родина и за свобода
И с таз земя се радвах и болех,
Любих я в щастие и в несгода,
И мойто битие всецело слех
Сжс битието на народа . . . .

Проф. М. Попруженко.

Рускій книжный магазинъ. **„НАША РѢЧЬ"** Книгоиздательство, Русская типографія.

Praha II Kateřinská 40. Čechoslovakia.

Дешевая библіотека произведеній русскихъ писателей.

№		
1.	Русскій букварь по Вахтерову, 2-е изд. съ удареніями . . .	7.70
2.	Сказка о Жаръ-Птицѣ, съ удареніями. .	1.65
3.	I-я Русская книга для чтенія, 2-е изданіе съ удареніями.	8.80
4.	И. Тургеневъ. Разсказы: Бирюкъ, Пожаръ на морѣ . . .	2.20
5	А. Чеховъ. Вишневый садъ	5.—
6	И. Тургеневъ. Рудинъ	7.20
7.	Н. Гоголь. Ревизоръ.	5.50
8.	А. Чеховъ. Пять юморист. разсказ. . . .	2.40
9.	Ф. Достоевскій. Неточка Незванова . .	19.80
10.	А. Пушкинъ. Капитанская дочка	10.50
11.	В Гаршинъ Надежда Николаевна	8.80
12.	Н. Мельникова-Папоушкова. Антологія русской поэзіи XX в.	9 90
13.	Тоже, часть II-я Нов. поэз.	13.20
14.	А. Пушкинъ. Борисъ Годуновъ	6.—
15.	Русскія народн. сказки, т. I-й съ многоч. рис.	6.60
16	Тоже т. II-й съ рис.	6.60
17.	А. Пушкинъ. Пиковая дама	3.30
18.	Салтыковъ-Щедринъ. Сказки I	3.30
19.	Тоже, Сказки II . .	3.30
20.	А. Пушкинъ. Дубровскій	6.60
	Масарикъ. О большевизмѣ	6.60
	Б. Морковинъ. Новый фразеолог. руск.-чешск. словарь съ указ. грам. форм. и удареній	77.—

ПОСТУПИЛИ НА СКЛАДЪ:

Аверченко. Книга новыхъ разсказовъ. Севастополь. 1920 г. 24·—
Раковскій. Въ станѣ Бѣлыхъ (Отъ Орла до Новороссійска) Гражд. война на Югѣ Россіи . . . . . 60·—
„ Конецъ Бѣлыхъ (Отъ Днѣпра до Босфора) Вырожденіе, агонія и ликвидація . . . . . 50.—
„Смѣна Вѣхъ". Сборникъ статей: профес. Ключникова-проф. Н Устрялова, проф С. Лукьянова, Бобрищева Пушкина и проф. Чахотина. Великая русская революція ея истор. знач. и анализъ 8 фр. (30 ч. кр.)
Лазаркевичъ. Льняное хозяйство, Роскоши. изд рис. черт. 10 ч фр.

Книги о Чехословакіи: Первый Торг. Промыш. справочн. Чехословакіи 373 стр. 4° 110. В. Голечекъ. Чехословацкое войско въ Россіи. 2. 20, И. Кудель. Первая годовщина чехословацкой республ. 1, 65, Л. Кундеръ. О музыкѣ Чехослов народа 1,65, Штейдлеръ. Движеніе Чехословаковъ въ Россіи 1.50, Дворжакъ. Кооперація въ Чехословакіи II. — Информаторъ. Дѣловой справочн. по Чехіи. 6. 60.
Кромѣ того на складѣ имѣются: книги о современной Россіи, Книги о новой и новѣйшей литературѣ. Поэтическая литература. Книги изъ эпохи Совѣтск. Россія. Изъ борьбы противъ большевиковъ. Эпоха Корнилова, Деникина, Юденича и Врангеля. Книги для дѣтей и юношества. Учебники для низшихъ, среднихъ и высшихъ школъ, изд. до войны, въ Россіи.
Музыкальная библіотека. Русскія, цыганскія, украинскія народн. пѣсни, романсы и аріи изъ оперъ и др: по 2.20 ч. кр.
На складѣ можно получить всѣ газеты и журналы, выходящіе за пред. Сов. Россіи.
За границу заказы выполняются по полученіи соотвѣтствующей суммы.
Каталоги высылаются по требованію безплатно.

AP
50
R8
g.41
kn.8-9

Russkaia mysl'

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY